

Н О В Ы Й
М И Р

9

Н О В Ы Й
М И Р

*Мохмаев-
Искандер*

1969

9



1969

Н О В Ы Й И М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 9

Сентябрь, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ: Иван Николов — Гор- док; Павел Матев — Вновь ты снишься мне...; Недялко Йорданов — Любовь; Иван Давыдков — Фракийские курганы; Елисавета Багряна — Судьба нестинарки; Орлин Орлинов — Иное время...; Радой Ралин — Молитва. Перевели И. Лиснянская, Яков Хелемский, Ирина Озерова, Н. Злотников, Елена Николаевская	3
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Три минуты молчания, роман. Окончание	8
Л. АБДУЛЛИНА — Три стихотворения	96
ВИКТОР НЕКРАСОВ — В жизни и в письмах	98
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Вертушинка	126
ИЗ СТИХОВ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ: Максуд Шейхзаде — Памяти друга, Маяк рижского порта; Хуснитдин Шарипов — Горлинка поет; Абдулла Арипов — Слушая «муноджат», Золотая рыбка; Эгам Рахим — Снова осень над крышами, осень...; Джуманияз Джаббаров — Граница юно- сти. Перевел А. Наумов	128
Б. МОЖАЕВ — Лесная дорога, очерк	132
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Новый год у Дуная, стихотворение	151
Д. САМОИЛОВ — Предместье, стихотворение	152
ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ	
А. ЦЕЙТЛИН — Ленин и большевистские публицисты	153
В МИРЕ НАУКИ	
Д. ЛИХАЧЕВ — Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления)	167
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АВЕТИК ИСААКЯН — Ованес Тумаян (К столетию со дня рождения). Предисловие Л. Ахвердяна. Перевела с армянского Нелли Хачатурян	185

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ПЕРЕПИСКА И. Е. РЕПИНА и А. И. КУПРИНА (Публикация и комментарии К. А. Куприной)	193
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА СВЕТЛОВА. Публикация Н. Федосюк	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
С. ВЕЛИКОВСКИЙ — После «смерти бога» (О «Постороннем» Альбера Камю)	215
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Яков Хелемский. Беседа продолжается.— А. Липелис. Серафим Фролов и другие.— В. Масловский. Глазами очевидца.— В. Кардин. Верность себе.— Г. Литинский. По завещанию отца.	233
<i>Политика и наука</i>	
М. Галлай. «Ла» — человек и самолет.— В. Борнычева. Статистика труда.— Н. Коржавин. «Не природа, а история».— Е. Гнедин. Научно-техническая революция в капиталистических странах.— А. Немировский. Новые данные к старому спору.	249
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	268
КОРОТКО О КНИГАХ — Материалистическая диалектика и методы естественных наук.— Иван Зубенко. Тополя в соломе.— А. Л. Чижевский, Ю. Г. Шишина. В ритме Солнца.— Владимир Лифшиц. Назначенный день.— Е. И. Регирер. Развитие способностей исследователя.— Сергей Званцев. Миллионное наследство. Рассказы о Таганроге.— А. Н. Копылов. Культура русского населения Сибири в XVII—XVIII вв.— С. Лемешев. Путь к искусству.— А. Л. Монгайт. Надпись на камне	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287



ПАВЕЛ МАТЕВ

* * *

Вновь ты снишься мне, душу тревожа.
А зачем? Я не знаю и сам.
Как по сельским сырým бездорожьям,
Ты по влажным прошла небесам.

Шла ты робко, наивно и юно,
Как положено первой любви,
Но деревья молчали чугунно,
Листья спали — зови не зови...

Лишь орехи, беззвучнее листьев,
Пали наземь в рассветном дыму.
Как по лугу, тропою росистой,
Ты по сердцу прошла моему.

Но и ты не прислушалась к пульсу,
Что звенел среди трав, на тропе,
И к тому, как в долине проснулся
Птичий хор и запел о тебе.

Ты была безымянной, летучей.
Что ж я памятью этой живу?
Видно, облако, ставшее тучей,
Помнит утреннюю синеву.

Перевел Яков Хелемский.

НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ

★

Любовь

Рискованна и неразумна,
Мгновенна и обречена —
Ты можешь ли брести бесшумно,
В таинственность облачена?

Свободно, смело и открыто
Лишь птицы любят в вышине, —
Ты — скрытно, жалко и забито
Во тьме живешь и тишине.

На мушку взята взглядом праздным,
Окружена со всех сторон...
Тебе, сраженной словом грязным,
Готов охотничий загон.

А ты, прекрасна и печальна,
А ты, смела и весела,
Идешь своей дорогой дальней,
Как раньше беззаботно шла.

Ты лишь самой себе приснишься,
Обнимешь лишь себя саму,
И бесконечно ты стремишься
Неведомо куда, во тьму.

Все длится, длится день бездомный
 В безвестности, чтоб стать затем
 Воспоминанием бездомным
 И песенкой, известной всем.

Я вижу, как на полустанке
 Толпа склонилась над тобой
 И невесомые останки
 Хоронит в бездне голубой.

Перевела Ирина Озерова.

ИВАН ДАВЫДКОВ

★

Фракийские курганы

Вы всегда напоминали мне фракийские курганы.
 Под травой тревог и будничных забот
 угасали ваши дни.
 Вы того не замечали.
 Времени шумел круговорот.

Но пришел однажды час, плуг коснулся вашей тайны.
 Пахарь камень зацепил,
 открылся вход.

Вздрогнул спички огонек,
 словно испугавшись мрака,
 и в пещере осветил невысокий свод.
 Фрески украшали свод, свежие совсем,
 как будто

их создатель только что отошел на миг,
 и сверкали на полу золотые два сосуда,
 каждый солнышка был маленький двойник.

Археологи легко сдули с их боков легенды
 и торжественно,
 как древний дар земли,
 понесли. А на пути высились еще курганы.
 Обходили стороной их.

Мимо, мимо шли.

Перевел Н. Злотников.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

★

Судьба нестинарки¹

Стоишь ты, всем ветрам подвластна,
 На перекрестке роковом,—
 О Родина, как ты прекрасна
 В своем упорстве вековом!..

¹ Н е с т и н а р к а — женщина, пляшущая обрядовый танец на раскаленных углях.

Скажи, каким великим даром
Твоя земля наделена,
Что, сквозь удары, сквозь пожары
Пройдя,— ты силы вновь полна?

Хоть кровью жизнь тебя омыла,
Ты родила среди крапив
Ивайловцев и богомилов,
Слезами землю окропив...

Во имя их, непокоренных,
Ты в мгле странджанских чащ глухих
Плясать на углях раскаленных
Учила дочерей своих.

Не потому ль на углях жарких —
О женщин вечная судьба! —
Поныне пляшут нестинарки,
Откинув волосы со лба.

Перевела Елена Николаевская.

ОРЛИН ОРЛИНОВ

...падаю перед тобой на колени и вздыхаю:
«Я вас люблю, мадам!»

*(Из письма Карла Маркса
его жене Женни Маркс)*

* * *

Иное время
И иное племя..
Минувший век рассказывает нам,
Как падал Маркс
Пред Женни
На колени
И говорил:
«Я вас люблю, мадам!»

Иные времена —
И мы иные,
Скептически относимся к словам,
Скупы,
Как на монеты золотые,
На страстное:
«Я вас люблю, мадам!»

В любовь играем мы
Без жажды муки,
И змея сделал жертвою Адам.
Не потому ль
Нам чужды эти звуки —
Забывтое:
«Я вас люблю, мадам!»

Тут — суетно,
 Там — некуда податься...
 Жизнь отмеряется за граммом грамм...
 И в ад
 Никто не хочет отправляться
 Из-за какого-то:
 «Я вас люблю, мадам!»

Рассчитываем
 Каждое мгновенье...
 Но верю:
 Сила тайная и нам
 Дана,
 Чтобы упасть вдруг на колени
 И прошептать:
 «Я вас люблю, мадам!»

Перевела И. Лиснянская.

РАДОЙ РАЛИН

★

Молитва

Свобода — это хлеб,
 который каждый день
 замешивают,
 выпекают и едят.

Свобода
 каждый день должна быть свежей,
 и каждый день
 ее должно быть вдоволь.

Но каждодневно надобны усилья,
 чтоб хлеб был теплым,
 чтобы был он сытным.

Не ешьте же огрызки!
 Хлеб вчерашний
 застрянет в горле.
 Хлеб чужой застрянет.

Пеките сами хлеб
 и им живите.

Свой хлеб насущный сам себе добудь.

Перевел Н. Злотников.



ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ*

Роман

Глава четвертая

ЕСТЬ РАБОТА НА ПАЛУБЕ!

1

Никто из нас не думал, что в эту же ночь мы еще будем метать. Если и пишется хороший косяк — его пропускают, дают команде выспаться после базы. Это святое дело, и всякий кеп эго соблюдает, пусть там хоть вся рыба Атлантики проходит под килем. И после отхода мы все легли, только Серега ушел на руль. Но тут все законно: на ходу, да в такую погоду, штурману одному трудно. Хотя я знал и таких штурманов, которые после базы матроса не вызывают — сами и штурвал крутят, и гудят, если туман или снежный заряд.

И вот когда мы уже все заснули, скатывается рулевой по трапу, вламывается в кубрик и орет:

— Подымайсь — метать!

Ни одна занавеска не шелохнулась. Тогда он сам полез по всем койкам — задрать одеяла и дергать нас за ноги.

— Ты, Серега, в своем уме? — спрашиваем.

— Я-то в своем, на «голубятнике» чокнулись. Вставай, ребята, по хорошему, все равно спать не дадут. Сейчас старпом прибежит.

Шурка спросил:

— Может, еще передумают?

— Ага, долго думали, чтоб передумывать. Кеп-то и сам не хотел: пускай, говорит, отдохнут моряки. Это ему плосконосый в трубу нашептал: косяк мировейший, ни разу так не писалось, а мы к тому же двое суток потеряли промысловых. И Родионыч его поддержал: действительно, говорит, с чего это разнеживаться? Полгруза только сдали и бочки порожние приняли...

Васька Буров сказал:

— Все понятно, бичи. Мало, что они на промысле остались, теперь еще выслужиться нужно. Старпому перед кепом, кепу — перед Родионычем. А нам — перед кем?

— Ну дак чего? — спросил Серега.

— Иди, подыдемся.

В капе, слышно было, старпом ему встретился:

— Что так долго чухаются?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 7 и 8 с. г.

— Уйдем-ка лучше, старпом. Невзначай, гляди, сапогом заденут...

Поднимались мы по трапу — как на эшафот, под виселицу. Кругом выло, свистело, мы за снегом друг друга не видели, когда разошлись по местам. Кеп кричал — из белого мрака:

— Скородумов, какие поводцы готовили?

— Никаких не готовили!

— И не надо! Нулевые ставьте!..

«Нулевые» — это значит совсем без верхних поводцов. Сети прямо к кухтылям привязываются и стоят в полметре от поверхности. Вообще-то редкий случай. Но значит, и правда косяк попался хороший и шел неглубоко.

— Поехали!

И тут я вспомнил — у меня же «стоянка» не обнесена. Ну кто ж знал, что сразу вымечем? Кеп матерился, почему не «едем», но из палубных никто меня не ругал; Шурка мне потравил трос из-под лебедки и шел рядом, чтоб мне веселей было по планширу балансировать, и я обнес, ничего почти не видя. Вымок притом, как собака, потому что рокана я не надел, и никто их не надевал, выскочили в телогрейках.

Куда сети уходили, мы тоже не видели — во мглу, в пену, к чертям на промысел. И я не кричал: «Марка! Срост!», а просто рядом с дрефтером присел на корточки и чуть не в ухо ему говорил. Да он и не к маркам привязывал, а как бог на душу положит, на счет. Раз мне почудилось — он с закрытыми глазами вяжет. Так оно и было, они то и дело у него слипались, и я держал нож наготове — если у него пальцы упадут под узел. Все равно б я, наверно, не успел.

Вернулись, сбросили с себя мокрое на пол, места ж для всех не хватит на батарее, и завалились. Черта нас кто теперь к шести разбудит!

Нас и не будили. Мы сами проснулись. И поняли, почему не будят — шторм.

Серая с рыжиною волна надвигалась горой, нависала, вот-вот накроет с мачтами, вот уже полубак накрыло, окатывает до самой рубки и шипит, пенится, как молодое пиво. Взбираемся потихоньку на гору и с вершины катимся в овраг и уже никогда из него не выберемся. Но выбираемся чудом каким-то.

Все море изрыто этими оврагами, и мы из одного выползали, чтоб тут же — в другой, в десятый, и душу ознобом схватывало, как посмотришь на воду — такая она тяжелая, как ртуть, так блестит — ледяным блеском. Стараешься смотреть на рубку, ждешь, когда нос задерется и она окажется внизу, и бежишь по палубе, как с горы, а кто не успел или споткнулся, тут же его отбрасывает назад, и палуба перед ним встает горой.

В салоне набились — по шести на лавку, чтоб не валиться друг на дружку. В иллюминаторе — то небо, то море, то белесое, то темно-сизое, как чайчье крыло. Даже фильмы крутить не хотелось, пошли обратно, досыпать.

Васька Буров сказал весело:

— Задул, родной, моряку выходной.

Шурка с Серегой сыграли кон, пощелкались нехотя и тоже легли. Кажется, у них там за сотню перевалило. А может, и по новой начали, после «поцелуя».

Я лежал, задернув занавеску, качало с ног на голову и ни о чем не хотелось думать. В шторм просто ни о чем не думается. Сколько этот «выходной» продолжится — неделю, две, — это в счет жизни не идет. И отдыхом тоже это не назовешь.

Пришел Митрохин с руля, из соседнего кубрика кого-то позвал на

смену и ввалился — сапоги чавкают, с телогрейки течет. Стал новеллу рассказывать — как его прихватило. И представьте, у самого капа — ну надо же. Вот это единственное приятно в шторм послушать — как там кого-то прихватило волной. В особенности когда тебе самому тепло и сухо. Главное ведь — посочувствовать приятно; сам знаешь, каково оно — всю палубу пройти, брызги не поймать, от десяти волн уберечься, а одиннадцатая тебя специально у самого капа ждет, гадина. Все-таки есть в ней что-то живое и — сволочное притом. Не просто так, бессмысленная природа.

А перед тем, как заснуть, он сказал:

— Похоже, ребята, что выбирать сегодня придется.

Машина чуть подработала, выровняла порядок. В соседнем кубрике сменщик Митрохина — бондарь, кажись? ну да, бондарь — натягивал сапоги, слышно было — что мокрые. Стукнул дверью, захлопал по трапу. Выматерил всю Атлантику — с глубин ее до поверхности и от поверхности до глубин небесных, — так ему, верно, теплее было выходить. И опять все утихло, только шторм не утих.

Шурка первый не выдержал, отдернул занавеску:

— Ты чего сказал?

Митрохин, конечно, с открытыми глазами лежал. Поди пойми — спит он или мечтает.

— Это он сказал — выбирать придется? Или же мне померещилось?

— Лежи, — говорю, — никто ничего не слышал.

— Бичи, кто из нас псих?

Васька Буров закричал внизу, подо мною.

— Кто ж, если не ты? Какого беса выбирать — девять баллов.

Шурка еще полежал, послушал.

— Слабеет погода, бичи.

— Умишко у тебя слабеет, — сказал Васька. — Поспи, оно лучшее лечение.

Но Шурке скажи — завтра тебя расстреливать будут, утречком, в шесть тридцать, — он в пять проснется и к шести на месте будет, такая натура.

— Да разбудите вы чокнутого! Пусть скажет толком, а то мне не заснуть.

— Вот будешь шуметь, — Васька ему погрозил, — и правда позовут.

С полчаса мы еще лежали, и вдруг захрипело в динамике и сказали, что да, выбирать.

Я насилу дождался, пока этот чертов чекиль придет ко мне из моря — так брызги секли лицо. Откатил люковину, нырнул в трюм. Волна прошла сверху и залилась в люк, мне за шиворот. А им-то там каково было, на палубе!

Фомка мне обрадовался, придвинулся поближе. А клюв-то какой разъявил! Поди, чувствовал, какая там рыба сидела в сетях. Самый точный был эхолот, я бы ему жалованье платил — наравне со штурманами.

Вот — слышно, как она бацает, тяжелая, частая. И как в икре оскользаются сапоги, как сетевыборка стонет и шпиль завывает от тяжести. Я было выглянул, но тут мне с ведро примерно пролилось на голову. Это уж я знаю, какой признак, когда волна ко мне залетает в трюм — не меньше восьми, выбирать нельзя.

Там что-то начали орать, потом дрефтер ко мне прихлопал:

— Сень, вылазь на фиг!

— Чего там? Обрезаемся?

Но он уже дальше пошел, ругаясь на чем свет стоит.

Я вылез — вся палуба в рыбе, ребята в ней по колено мотались,

бились о фальшборт, икрой измазанные, в розовом снегу. Сеть шла на рол — вся серебряная, вся шевелилась. Я все это видел с минуту, потом повалил заряд, только чья-нибудь зюйдвестка мелькала, или локоть, или спина.

Я пробрался к дрейфтеру — он у шпилья стоял, смотрел в море. Не знаю, что он там видел — кроме снега и черной волны. У него самого все лицо залепило, на каске налипли сосульки. Стоял и шептал себе под нос:

— Христа спасителя бога мать вашу олухи на нашу голову мозги нам пият по-страшному сами не ведают что творят и в рыло их и в дыхало...

— Дриф, ты чего?

Обернулся ко мне, с закрытыми глазами, и рывкнул:

— Вир-рай из трюма! Вирай до сроста и обрезаемся!.. Пусть чего хотят делают.

Я выбрал полбухты, закрепил на кнехте, и он тогда прядины обрехал на сросте.

— Закрой люковину, еще кто провалится..

Ощупью я до нее добрался, кинул обрезанный конец и задраил люк. Потом — к сетевыборке, сменил кого-то на тряске. И тряс, ничего уже не видя, не чувствуя ни рук, ни плеч, ни ног, на которых, наверно, по тонне навалилось; не выдрать сапоги из рыбы, разве что ноги из сапог, пока меня не отодвинули — дальше, на подтряску.

Потом и трясти уже стало некуда. Из рубки скомандовали:

— Трюма не открывать. Оставить рыбу на борту.

Загородили ее рыбоделом, бочками с солью и так оставили — авось не смочет. Гурьбой повалили в кубрик, роканы и сапоги побросали на трапе. Телогрейки свалили в кучу на пол.

— Все, бичи,— сказал Шурка,— последний день живу..

Слышно было, как шел к себе дрейфтер и сказал кому-то, может, и себе самому:

— Списываюсь на первой базе. Хоть в галюнщики. Нет больше дураков!

Васька Буров лежал-лежал и засмеялся.

— Ты чего там? — спросил Шурка.

— Есть дураки. Не перевелись еще. Сейчас опять позовут, и что — не выйдем?

— Ну да, позовут!

— А вы кухтыли видали?

— И что — кухтыли? — Шурка свесился через бортик. — Я тебя, главбич, не понимаю. Потрави лучше божественное про волков.

— Чего тут не понимать. Кухтыли наполовину в воду ушли. Там рыба сидит — вы, щенки, такой и не видели! Кило по четыреста на сетку.

— Свистишь. Как ты мог кухтыли видеть, когда такой заряд?

— Я по рыбе чувствую. У меня такая только раз на памяти была.

— Ну ладно, по четыреста. А как ее выберешь, когда и трюма не открыт?

Васька вздохнул:

— Вот я и говорю — не перевелись. Разве им, на «голубятнике», рыба теперь нужна? Они сдуру-то выметали, а теперь порядок боятся утопить. Не хватает кепу теперь еще сети потерять — его тогда не то что в трети, его в боцмана разжалуют. Порядок — он деньги стоит. Это слезки наши ничего не стоят.

Кто-то захлопал сверху. Мы сжались в койках, нету нас, умерли. А пришел — кандей Вася.

— Ребятки, обедать.

Мы ему обрадовались, как родному.

— Вась, ты чо ж по палубе бежал? Не мог по трансляции объявить?

— У меня ж на камбузе микрофона нету. Ну, что, ребятки, кеп велел команду как следует накормить.

А это плохое начало, я вам скажу, когда велят команду накормить «как следует».

— Жалко вас, ребятки. До ночи не расхлебаете.

Вот он почему и бежал по палубе, кандей. Хотелось — нам посочувствовать.

В салоне сидели нахохленные, лицо у каждого и руки — как кирпичом натерты. Жора-штурман поглядел на нас с усмешкой:

— Что нерадостные? Таковую рыбу берем!

— Где ж мы ее берем? — спросил Васька Буров. — Мы ее только щупаем да назад отдаем.

Жора пожал плечами. Его вахта еще не наступила, рано голове болеть.

— Позовешь выбирать? — спросил Шурка.

— А что думаете — пожалую? — Жора вдруг поглядел на меня. — Это вот кого благодарите.

Все на меня уставились. Жора поднялся и вышел. Я-то понял, что он имел в виду — как я отдал кормовой и оставил Гракова на пароходе. Да, пожалуй, не будь его, кеп бы нас не поднял. Ну что ж, придется рассказать, рано или поздно узнают. Но тут сам Граков пришел, сел у двери с краю, где всегда кеп садится.

Кандей ему подал то же, что и нам, только не в миске, а на тарелке, как он штурманам подает и «деду». Граков это заметил, вернул ему тарелку в руки.

— Что за иерархия? Ты меня за равноправного члена команды не считаешь?

Вася пошел за миской. Тоже кандею мороки прибавилось. А Граков глядел на нас, откинувшись, улыбался, вертел ложку в ладонях, как будто прядину сучил.

— Тяжко, бичи? Приуныли, носы повесили. А ведь слабая же погода, моряки!

Шурка сказал, не подняв головы:

— Это она в каютке слабая.

— Намек — поняла. А на палубу попробуй выйди? Это хочешь сказать? А вот пообедаю с тобой — и выйду. Тогда что?

Шурка удивился.

— Ничего. Выйдете, и все тут.

Пришел «дед». Мы подвинулись, он тоже сел с краю, против Гракова.

— Как думаешь, Сергей Андренч, — спросил Граков, — поможем палубным? Всем вместе на подвахту, дружно? Животы протрясем, я даже капитана думаю сагитировать. А то ведь у этой молодежи руки опускаются перед таким уловом.

«Дед» молча принял тарелку, стал есть.

— Ну, тебе-то, впрочем, не обязательно. С движком, поди, забот хватает?

«Дед» будто не слышал его. Нам даже не по себе стало. Хотя бы он поморщился, что ли. Граков все улыбался ему, но как-то уже через силу. Потом повернулся к нам — лицо вдруг подобрело, лоб заблестел, посветлел от улыбки.

— Бука он у вас немножко, «дед» ваш. Постарел, все мы помалу в тираж выходим. Так не замечаешь, а посмотришь вот на такие молодые

рыла, на такую нахальную молодость — грустно, признаться... Да. Но вы такими не будете, каким он был. Ах, какой лихой!.. Ты ведь с лопатки начинал, кочегаром, не так, Сергей Андреич?.. С кочегаров, я помню. Так вот, однажды колосники засорились, а топка-то еще горячая, но полез, представьте, полез там штыковочкой шуровать, только рогожкой мокрой прикрылся. И никто не приказывал, сам. Говорят, подметки там у тебя на штиблетах трещали, а?.. Скажете небось: глупо, зачем в пекло лезть, неужели нельзя лишний час подождать, пока остынет? Да вот нельзя было. Вся страна такое переживала, что лишнюю минуту дорого казалось потерять. Вы-то, пожалуй, этого не поймете. Да и нам-то самим иной раз не верится — неужели такое было?.. А — было! Вот так, молодежь. А вы — чуть закачалось, уже давай тоже... права качать: «Ах, штормяга!.. Ах, лучше переждем, перекурим это дело...»

«Дед» лишь раз на него взглянул — быстро, из-под бровей, тусклыми какими-то глазами, — но что-то в них все же затеплилось как будто. Или показалось мне. Точно бы они там оба чем-то повязаны были, в свои молодые, чего и вправду нам не понять. Не знаю уж чем.

Ввалился «мотыль» Юрочка — в одних штанах, в шлепанцах, с платком замасленным на шее. Граков к нему повернулся — с добрым таким, мечтательным лицом — и только руками развел и засмеялся: уж такая это была нахальная молодость, рыло такое смурное, взгляд котиный.

— Вот, поговори с таким... энтузиастом. Про юность мятежную. Поймет он что-нибудь? Когда в таком виде в салон считает возможным явиться. Ох, распустил вас Сергей Андреич...

— А чо, с вахты.— Юрочка побурел весь, заморгал.

«Дед» ему сказал угрюмо:

— Масла не добавляй больше. Я замерял перед пуском, там на ладонь лишку.

Юрочка вытянулся — с такой готовностью:

— Щас отольем немедленно.

— На работающем двигателе не отливают. Масло — в работе. Сегодня, я думаю, дрейфовать придется, тогда уж остановим.

— А может, и не придется дрейфовать? — Граков уже не «деда» спрашивал, а всех нас.— Выберем и снова — на поиск?

«Дед» отставил тарелку, выпил единым духом компот и пошел. Граков ему глядел вслед — то ли с печалью, то вроде бы жалостно.

— Как все жд Бабилеро-то сдал. Слышит, наверно, плохо. Ну, и мнение, конечно, трудно переменить, раз оно сложилось.— Опять он к нам повернулся с улыбкой.— Так как, моряки? Выйдем или перекурим это дело?

— Я — как прикажут,— сказал Шурка.

— Все ты мне: «Как прикажут»! А сам?

Мы вставали по одному и вылезали — через его колени.

— Так ты меня жди на палубе,— сказал он Шурке.— Ты меня там увидишь, матрос.

Мы его увидели на палубе. С «маркони» он вышел, с механиками, со старпомом, только доспехи ему подобрали новые, ненадеванные. Предложили на выбор — гребок или сачок: не сети же начальству трясти. Он подумал и взял сачок. Сдуру как будто — на гребок нет-нет да обопрешься в качку, а сачком надо без задержки вкалывать, по пуду забирать в один замах, тут в два счета сдохнешь. Да он-то не затем вышел, чтобы сдыхать,— так размахался, что мы только очи вылупили. И еще покрикивать успевал, хоть и с хрипом:

— Веселей, молодежь, веселей! Неужто старичков поперед себя пустим? И-эх, молоде-ожь!..

Уже ему чешуя налипла на брови и всего залепило снегом, уже кто вышел с ним — понемногу сдохли, только чуть для виду гребками ворочали,— а у него замаха такой же и оставался широченный, как будто он вилами сено копнил, и никакая же одышка его не брала. Честное слово, даже нам это передалось, хоть мы и с утра были на палубе. Васька Буров и то сказал с восхищением:

— Вона, как мясо-то размотал! Первый раз такого бзикованного вижу.

Потом не стало его видно, Гракова, заряд повалил стеной, и хрипенья его за волной не слышно. И Жора-штурман скомандовал:

— Обрезайсь!

Но это еще не конец был, еще мы два раза выходили и пробовали выбирать. И он исправно с нами выходил и все нам доказывал, что погода слабая и что он бы за нас, нынешних, за сто двоих бы не отдал—тех, прежних. И мы себе знай трясли, вязли в рыбе, мокрые, мерзлые до костей, и все понапрасну — все равно ее смывало в шпигаты, не успевали ее отгрести у нас из-под ног, а подбора то и дело застревала в ба-рабане и рвала сети — одну за одной.

— Утиль производим, ребята,— сказал нам дрифтер. Он держал в руках сетку: сплошные дыры, не залатать. Вытащил ее из порядка и надел себе на плечи, как рясу.— Сейчас вот так вот к кепу пойду, покажу ему, чего мы спасаем.

Когда вернулся, на нем лица не было, из глотки только хриплый лай слышался:

— Кончился я, ребята.

— Да кеп-то, кеп чо говорит?

— Обрезайсь! Крепи все предметы по-штормовому. Больше десяти обещают.

Крепили в темноте уже, при прожекторах. Пальцы не гнулись от холода, а узел ведь голой рукой вяжешь, в варежках это не получается, когда они сами колом стоят. Да и не греют они, брезентовые, лучший способ — пальцы во рту подержать. А мне еще пришлось стояночный трос волочить да чекиль привинчивать. Когда добрались до коек, уже и согреться не могли, хоть навалили сверху все, что было.

Пришли кандей Вася с «юношей», притащили чайник ведерный, поили нас, лежачих, из двух кружек. И мы понемножку начали оживать. Наверное, лучше этого нет ничего на свете, когда горячее летает в тебя после снега, после ветра и стужи и зажигает внутри, и понемногу, постепенно ты отходишь, уже можешь дышать, уже руки и ноги — твои, все тело к тебе возвращается из далекого далека, уже говорить можешь и улыбаться, хоть губы еще не слушаются, уже подумываешь — не встать ли, не сползть ли куда? Ну, хоть в салон, фильмы покружить...

Первый Шурка вспомнил:

— А что у нас там за картиночку «маркони» притащил?

— Спи давай,— сказал Митрохин.— Какое теперь кино? Теперь бы сон хороший увидеть.

— Про что, например?

— Как мы домой придем. Гарантийных, семьдесят пять процентов, получим...

— Что ты мне поешь? Это не сказка, это я и так увижу.

Васька Буров пообещал:

— Я тебе и сказку расскажу. Только не шебаршись.

— Про чего?

— Как король жил. В древнее время. И было у него два верных бича.

— Это как они царевну сватали? — Шурка полез из койки. — Гравил уже.

— И вовсе не про то. А как они рыбу-кит поймали и живого ко дворцу доставили.

— Быть этого не может. У меня их братан в Индийском каждый день по штуке ловит. Дак он, как вытащишь, тут же от своего веса гибнет. Айда в картину, бичи!

Шурка уже портянки наматывал на столе. Двужильные мы, что ли? Ведь только что помирали!

Из соседнего кубрика тоже пошли, представьте. На палубе ужас что делалось — выглянуть страшно. Но побежали, нырнули в снег и ветер...

А я — задержался. Я про Фомку вспомнил — что надо ему на ночь еды оставить. Не знаю, едят они по ночам или нет, но ведь в трюме сидит, для него там все сутки — ночь. Рыбу всю смыло, но я в шпигатах нашарил пару селедин. Потом отдраил люковину, откатил ее. В трюме черно было, глупыша я не увидел.

— Фомка! Рыбки хочешь?

Я хотел кинуть ему, да побоялся — еще по больному крылу попадуд, лучше слазить.

И я сел на комингс, опустил ноги в люк. А рыбу переложил под мышку и прижал локтем. Волна меня ударила в спину и прокатилась дальше, вторая ударила, а я все не мог достать ногой до скобы. Тогда я решил спрыгнуть. Оно высоко, конечно, но я-то помнил — там все-таки бухта жожака уложена, ноги не отобьешь, лишь бы на лету за скобу не задеть. Я лег животом на палубу и сполз пониже, пока не протиснулись локти, потом оттолкнулся и полетел.

Я ни за что не задел и не стукнулся, не отбил ног. Потому что упал — в воду.

2

Я рванулся и заорал с испугу, но тут же сообразил, что зря — всего-то мне по пояс. Ну, может, чуть выше, дальше-то шла курточка, я же в ней пошел. Но сердце чуть не выпрыгнуло. Я и про люковину забыл — что надо ее задрать сперва, иначе с палубы нальет, а сразу полез искать, откуда просачивается. И на слух и руками шарить по переборкам.

Одна переборка была — с грузовым трюмом, легкая, дощатая, сквозь нее, наверно, просачивалось. Я полез по скобам, ухватился за верхнюю доску и подтянулся. А протиснуться не смог, пришлось две доски вынимать из пазов, чтобы пролезть под бимсом.

Дальше шли бочки. Они утряслись уже, и я полез прямо по ним попластунски, а спина терлась о подволоку. Темень была хоть глаз выколи, и бочки подо мной разъезжались, я больше всего боялся, что руку зажмет или ногу. А бояться-то надо было другого — если в трюм хорошо натекло, то ведь они всплывут, пустые, и так меня прижмут, что я и вздохнуть не смогу. Но этого я как-то не сообразил, иначе б, конечно, не полез сдуру.

Наконец я добрался-таки до борта, то есть просто башкой в него стукнулся. Примерно я знал, где может быть шов, я как раз полтрюма прополз. Раздвинул две бочки, лег между ними, пошарил рукою вниз. Варезек на мне не было, так что я недолго шарил — руку обожгло струей. Так и есть, шов разъехался, не знаю — повыше или пониже ватерлинии. Но уж какая тут, к чертям, ватерлиния, когда пароход переваливает с борта на борт и при каждом крене вливается чистых три ведра в трюм.

Я еще протиснулся, прошупал шов сверху вниз, но так и не достал до конца — то ли руки не хватило, то ли пальцы онемели, не чувствовали.

Те две бочки, между которых я лежал, я понемногу оттиснул назад, стало чуть посвободнее, и я тогда сполз пониже. Вода просачивалась с шипением, с хлопом, и мне жутко сделалось: влезть-то я влез, а как теперь выберусь? Бочки мои опять сошлись и наполнили на меня. Ну, это вообще-то можно было и предвидеть, но я же сначала делаю, а потом думаю.

И зачем я, собственно, сюда лез? Ну, нашел я эту дыру, а чем ее заткнешь? Хотя бы подушек натащить из кубрика. Я еще пониже опустился и прижался к щели спиной, а ногою нашарил пиллерс и уперся. Хлюпать как будто перестало, но холодило здорово сквозь куртку. А уж про штаны и говорить нечего. Но все-таки я неплохо устроился, жить можно, и вливалось по полведра, не больше.

Только я успел это подумать, как меня бочкой шарахнуло по лбу. Хорошо еще — донышком, не ребром, но гул пошел будто здоровчик. Вот это дело, думаю. Так и менингит можно заработать, психом на всю жизнь заделаться.

Я уже локти выставил, пускай по ним бьет, рукава все же на меху. А бочки — только и ждали. Тут же мне руки зажали, не вытащить. И пока одни держат, другие лупят почему зря.

В общем, я хорошо вляпался. И что же, так я и буду всю картину сидеть? Жди, куда хватятся. Ну, хватятся-то скоро, на судне если человека в шторм полчаса не видно, его уже ищут. По трансляции вызывают, в гальюны стучатся. Но ведь подумают — меня за борт смыло, станут прожекторами нашаривать. Это на час история, а потом, конечно, в скорбь ударятся, по поводу безвременной моей кончины. Кто ж догадается, что я под палубой сижу, с бочками сражаюсь?

Вдруг слышу: пробежал кто-то — по брезенту, по трюмному. Как будто по голове моей пробацали. Мимо люка пробежал — и не заметил, что он отдраен, вот олух! — скатился в кубрик. За ним еще один. А первый уже вернулся и говорит ему — как раз над люком:

— Ни в кубрике, ни в гальюне.

— Где ж еще? За бортом...

А я вам что говорил? Сперва в гальюне поискали, теперь — за бортом.

Позвали унылыми голосами:

— Сень, ты где прячешься? Сеня, мать твою, отзовись!..

Я и хотел отозваться, но тут проклятая бочка меня снова шарахнула, да не по лбу, а прямо в лицо. А эти двое куда-то ушли, не слышно их, только ветер поет и волна катится по палубе, заливая вожаконный трюм.

Но вот опять чьи-то шаги над головой, медленные, грузные, и вдруг звон — споткнулся обо что-то.

— Кто люковину оставил?

По голосу — «дед».

— Какую?

— Таковую, от вожаконного... Судить вас мало!

— Да она задраена была.

— Я, значит, отдраил?

Поволокли люковину. Вот те раз, думаю, только я и ждал, когда вы меня закупорите.

Я заорал что было силы:

-- Эй, на палубе! Здесь я, живой!

«Дед» наклонился над люком:

— В трюме! Кто там есть?

— Я!

— Кто «я»?

— Да я же, «дед»!

— Ты чего там делаешь? Вылазь.

— Не могу, бочками задавило.

— Черти тебя туда занесли?

— А кто ж еще.

«Дед» полез в трюм, сапоги его застучали по скобам.

— «Дед», не лезь дальше!

Но он уже плюхнулся в воду. Выругался, полез ко мне, стал раздвигать бочки.

— Сильно льет, Алексеич?

— Сейчас помалу. Я спиной держу.

— Так, — сказал «дед». — Затычку изображаешь? Ну, потерпи, милый. Да поберегись — шов дышит, может тебя защемить.

— Ага, спасибо.

«Дед» вылез, закрыл люковину. Опять мне стало страшно. Но там уже какая-то беготня пошла. Пробили водяную тревогу — протяжными гудками и колоколом. Вся палуба загремела от беготни. А я уж совсем закоченел, уже под курточку просочилось до плеч, и локти сплошь избило.

Кто-то опять люковину отдраил:

— Сень, жив там?

Шурка Чмырев.

— Жив. Но бедствую.

— Хреново, значит, тебе живется? Курить небось охота?

Вот, самый верный вопрос задал человек. А я и не знал, отчего мне так хреново.

— Сейчас покуришь. Смена тебе идет.

Шурка спрыгнул в воду и охнул. За ним еще кто-то. Вытащили несколько досок из переборки, пошвыряли в воду. Кто-то начал ко мне протискиваться по бочкам.

— Сень, ты там особенно не расстраивайся, ладно? Все починим, все наладим...

Сергея Фирстов.

— Э, ты там не молчи. Нам твой голос очень необходим, Сеня.

— Ладно, ползи давай.

У меня уже язык к зубам примерз. А он все полз да полз и распрасшивал:

— И чего это ты, Сеня, сюда забрался? Удивляюсь я, как ты только такие места находишь?

Сто лет он ко мне полз. Но правда ему тоже нелегко приходилось. Он языком-то молчал, а сам бочки из-под себя выбирал и подавал назад Шурке.

Дополз наконец, ткнулся мне головой в зубы:

— Извини, Сень. Как твое мнение, полчаса выдержу?

— Я час сидел, не умер.

— Какой час? Полбобины только успели прокрутить.

— Ладно, полбобины...

— Сейчас... Бочки только раскину.

Еще одно столетие он бочки раздвигал. Потом закурить решил, сделал пару затяжек и сунул мне в рот.

— Давай отвались.

Борт поднялся, и вода схлынула, и я тогда отодвинулся от дыры. Сергей упал на нее спиной. Потом борт пошел вниз.

— Ой,— говорит он,— холодно!

— А ты думал.

— Рокан прожигает. Ты мне подстели чего-нибудь.

— Что я тебе подстелю?

— А в чем ты сидел? — Он протянул руку и нашарил куртку. — Во, куртка своего подстели...

Тут-то я и призадумался.

Мне не курточка было жалко, с ней-то чего могло случиться. Но в ней еще письма были, от Лили. И последнее и те, что она мне в прошлые рейсы присылала. Письма она любила писать, это просто редкость в наше время, и большие, подробные. «Мы все — дети тревоги, что-то в нас все время не может успокоиться, что-то мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чем-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, приедемся к какому-то берегу, нас уже не будет...» Вот, даже сейчас я их помню. И еще про то, что она во мне увидела, чем я ее особенно поразил. Может, мне этого больше никто никогда и не скажет. И откуда ж мне было знать, что придется их в кулаке переть через залитый трюм. От них бы, конечно, кисель остался. А не вынуть их, оставить в курточке... Не в том дело, что Серега мог бы их там нащупать, а просто — суеверие, понимаете? Как будто что-то случилось бы с ними, вот я такой толчок почувствовал в душе.

— Чего ты? — спросил Серега. — Курточку жалеешь? Не жалей. Мы, может, вообще отсюда не выберемся.

— Брось, не паникуй.

— Да я-то уж чувствую.

Я снял курточку, сложил ее вовнутрь подкладкой. Серега отодвинулся, и мы ее затолкали в шов.

— Теперь порядок. Иди грейся. Шурку через полчаса пришли.

Я выполз по бочкам и тут вспомнил про Фомку. Нельзя птицу в мокром трюме оставлять, мало ли что дальше будет.

Фомка сидел тихо в гнездышке, совсем сухой, но в руки сразу пошел, как я только позвал его: «Фомка, Фомка». И пока я лез по скобам, он весь распластался у меня на ладони, свесил больное крыло. Я хотел его в кубрик отнести, но вдруг он спрыгнул и побежал от меня, вскочил на планшир. Сидел на нем нахохленный, оставив крыло.

— Ну что, Фомка,— сказал я ему,— иди, штормуйся, как можешь.

Волна накатила, захлестнула планшир, а когда схлынула — Фомки уже не было. Я испугался, пробрался к фальшборту. Фомка лежал на крутой волне, сложив крылышки, клювом и грудкой к ветру — как настоящий моряк. Все-таки он выбрал штормящее море, а не трюм, где ему и сытно было, и тепло. Плохи, должно быть, наши дела, я подумал. Потом заряд налетел, и больше я Фомки не видел.

Под кухтыльником кто-то отвязывал помпу, тащили шланги. Я в гальюне напялил чей-то рокан, своего не нашел, выскочил им помогать. Шурка тут был, Васька Буров и Алик.

— А где ж другие?

— Где надо,— сказал Шурка.— В кубрике у механиков натекло. По колено, шмотки плавают. Во до чего картины доводят. Еще не дай бог в машину просочится.

— Не дай бог,— я сказал.

— А чего особенного? Вполне могло и в машину.

— Погибаем, но не сдаемся,— сказал Алик.

Васька Буров на него заорал:

— Плюнь три раза, салага! Плюнь сейчас же!

Алик плюнул.

— Не соображаешь, так помалкивай.

Потащили помпу к жожаковому трюму. Под ногами елозили доски, рыбодел, каталась пустая бочка. Мы спотыкались, падали и снова тащили. Потом опустили шланг и стали качать прямо на палубу — двое на одном плече, двое на другом.

Васька покачал, покачал и спросил:

— Бичи, а бочки-то со шкантами?

— Это к чему ты? — спросил Шурка.

— Дак если они заткнутые, они и держать будут, воду не пустят.

Мы бросили качать.

— Это у бондаря надо спросить, — сказал Шурка. — А где он, бондарь? У механиков там выкачивает. Хрен знает. Которые со шкантами, а которые и без шкантов.

— Они же все равно немоченые, — сказал Алик.

И верно, немоченая бочка, хоть и заткнута, все равно пропускает.

— Немоченые, дак теперь намочились, — сказал Васька. — Зря качаем.

Шурка подумал и вдруг заорал на него:

— А ну ты в болото, сачок! Я лично тонуть не собираюсь. — И сам закачал как бешеный.

В это время из рубки крикнули:

— Помпу — к машине!

До нас это как-то не сразу дошло.

— А трюма?

— Сказано вам — к машине!

— Дождались, — сказал Васька. — Доехали. А все ты, салага, накаркал: «Погибаем, погибаем»...

Шурка уже тащил помпу от люка. Я выбрал шланг, крикнул туда, в темень:

— Серега, жив там?

Ответа никакого. Я испугался до смерти — не захлебнулся ли он там? Или бочками задавило?

— Серега, гад полосатый!

— Ау! — как из могилы донеслось. — Скоро вы там?

У меня от сердца отлегло.

— Какой «скоро!» — сказал я ему радостно. — Только начинается.

— Мне сидеть?

— Вылазь.

— Пластырь не будете заводить?

— Вылазь, в машине вода.

Он загромыхал там бочками.

— Зачем же мы с тобой сидели, Сеня?

— Выберешься один?

— Да выберусь... Но сидели, спрашивается, зачем?

— Ладно тебе... Люковину задрайшь?

— Да уж задраю. Но учти, Сеня, так ты мне и не ответил...

Я побежал помогать с помпой. Мы ее протащили в узкости, между фальшбортом и рубкой, отдраили дверь в коридор. Комингс тут — чуть не до колена, и пока мы эту дуру перетаскивали, все руки себе пооборвали. Но сразу же и забыли про них.

Из шахтной двери пар валил, а сквозь пар мы увидели воду — черную, в мазутных разводах. Пайолы кое-где всплыли и носились с волной. Именно с волной — целое море разлитое бушевало в шахте: то кидалось на переборку, а то накатывало на фундамент, и из-под машины пыхало паром. Даже дико было, что она еще работает, стучит.

Выходной шланг вывели за дверь, на палубу, а входной опустили в шахту. До воды он не доставал.

Из пара выплыл Юрочка — по колено в воде, но, как всегда, полуголый.

— Олухи, шланг наростить не сообразили?

— Чем его наростишь? — спросил Шурка. — У тебя запасные есть?

— А нечем — так на хрена тащили? От главного покачаем.

— А что ж не качаете?

— Как это не качаем? Сразу и начали, как потекло.

Где же ты был, сволочь? — хотелось мне его спросить. Где ты был, когда «потекло»? Сидел небось на верстаке, вытачивал какую-нибудь зажигалочку, пока тебе уже пятку не подмочило. А когда спохватился, так «деда» позвать духу не хватило, сам решил откачать, а сам ты толком не знаешь, как водоотлив включается.

— Чего ж теперь с помпой-то? — спросил Васька. — Опять двадцать пять, назад волоки?

— А кто вам ее велел сюда переть?

— Бичи, — сказал Васька. — Я лучше спать пойду.

Из-за машины вышел «дед» — тоже весь в пару, но в пиджаке, с галстуком.

— Куда помпу отсылаешь? — сказал Юрочке. — Прошляпили мы с тобой, так пусть хоть вручную помогут.

Это он потому сказал «мы с тобой», что на вахте моториста «деду» тоже полагается быть — не всю вахту, но заходить, поглядывать. А «дед» сначала кино смотрел, а потом меня бегал искать. Но шляпил-то, конечно, он, Юрочка.

— Так шланг же у них не достает, Сергей Андреич.

— Ведрами пусть почерпают.

— Гуляйте с вашей техникой, — сказал Юрочка.

Опять мы эту дуру перетаскивали через комингс. Но уж до места не тащили, затолкали в угол, лишь бы не мешала проходу. Стали ведром черпать — один внизу набирал, двое на трапе передавали, четвертый с ним бегал к двери, выплескивал на палубу.

Потом Шурку позвали на руль. Вместо него Серега пришел — ро-кан зачем-то скинул, телогрейка в снегу.

— Ты б хоть куртку мою надел, — говорю ему.

— А ничего, Сеня, я так. — Он выплеснул ведра три, потом сказал: — Да и нету ее, куртки-то.

— Как нету?

— А высосало к чертям в дыру.

Я прямо обалдел.

— Как ее могло высосать?

— Так...

— А ты куда смотрел?

— А я не смотрел, Сеня. Там же темно, в трюме-то. Я чувствую — жжет. Пощупал — а куртки и нету. То-то я тебя спрашивал: зачем мы там сидели?

— Чертов ты хмырь!

— Будет вам лаяться, — сказал Васька. — Нам бы пароход спасти, а по курточке ты после поплачешь. Думаешь, мне твоей курточки не жалко?

— Мне тоже прямо плакать хотелось, — сказал Серега. — Ты уж прости, Сеня.

Я бы озял по-настоящему, да сил не было. Мы уже ведер тридцать вылили. Или сорок, я не считал. Васька Буров, который считал, сказал, что шестьдесят восемь. А воды и на дюйм не убавилось. И паром

уже всю шахту застлало, только мелькали чьи-то головы, руки, и показывалось, ехало вверх ведро — наполовину, конечно, расплесканное...

Сменили нас кандей с «юношей», бондарь и один из механиков.

— Сходите покушайте, ребята, — сказал нам кандей. — Час вам дам. Я там борща сварил.

Он все же настоящий был повар, всегда у себя на камбузе хозяин. Да нам-то сейчас меньше всего есть хотелось.

— Лучше покемарю я этот час, — сказал Васька Буров. — И вам советую.

Я все же пошел вдоль планшира, хотел поглядеть на волну — может быть, там и волочится моя курточка? — но что увидишь, заряд совсем озверел.

В кубрике повалились в койки, и Васька захрапел тут же. Серега еще поворочался, постонал, но тоже затих. А мне вдруг и спать расхотелось — все я за эти письма переживал. Ну, и за курточку тоже. Вы же помните, чего она мне стоила. Но главное — вот что меня стало мучить: ветер переменится, и она же непременно в Гольфстрим выплывет, а там пароходов — яблоку, негде упасть, и кто-нибудь мою курточку подберет, и будут читать эти письма, не совсем же они размокнут. И как я тогда перед Лилей буду выглядеть? Ведь это по всему флоту пойдет, какие мы «дети тревоги» и чем я ее там поразил при первом знакомстве. И все это еще легендами обрастет, и никто даже не вспомнит, как их нашли, эти письма, а выйдет — как будто я сам их пустил читать. Я прямо похолодел, как представил себе ее лицо. «Ну что ж, я этого, в общем-то, должна была ждать». Уж лучше б она утонула, проклятая курточка. Но ведь не утонет сразу, шмотки долго носятся по морю, пока из них воздух не выйдет...

Вдруг я услышал — машина сбавила обороты. И сразу начало в борт ударять — не выгребаем, значит, против волны, и лагом нас развернуло.

Я не улежал, пошел из кубрика. Навстречу Шурка бежал с руля.

— Что там делается?

— Бардак полнейший. Кеп с «дедом» сцепились.

— Из-за чего?

— Сходи, стоит послушать.

В коридоре, у шахты, я увидел кепу — в расстегнутом кителе, шапка на затылке, с ним рядом — Жора-штурман. «Дед» стоял на трапе, весь обрызганный маслом, руки заголены до локтя и тоже все черные, в масле.

— Ты понимаешь, что делаешь? — кричал кеп. — Почему обороты сбавил?

— Потому что трещина в картере, масло хлещет.

— Откуда трещина? Почему раньше не было?

«Дед» объяснял терпеливо:

— Была, только не обнаружили сразу. Вода накатила, а он раскаленный, вот и треснул.

— Пусть хлещет, а ты подливай. Заткни ее чем хочешь. Ветошью, тряпками.

— Николаич, — сказал «дед». — Не дури, мне тебя слушать стыдно.

Жора-штурман вылез вперед кепы.

— Ты с кем разговариваешь? — заорал на «деда». — Ты с капитаном разговариваешь. «Не дури»!

— Правильно, Ножов, — сказал «дед» спокойно. — С капитаном. Не с тобой. Так что помолчи, молодой, да ранний. Капитан же обязан понимать, что, если все масло вытечет, двигатель перегреется и заклинит, а хуже того — поршни прогорят, тогда уж его не починишь.

— Ты еще чинить собираешься? — кеп прямо взвизгнул.

— Не знаю еще. Но остановить придется. От «шенибека» будем качать.

— Ты в уме? — спросил кеп. — Нас же на Фареры тащит!

И я почувствовал, как у меня ноги сразу ослабели и холод где-то под ложечкой. Ну, правильно, ветер же обещали остовый, это значит — к Фарерам, на скалы. Сколько ж до них, до этих скал?

— Тебя сети тащат, — сказал «дед». — Ладно, выметал перед штормом, но хоть бы заглубил их. Так ты еще «нулевые» поводцы поставил. Вот теперь и подумай — не обрезать ли от сетей.

— Прибавь обороты! Я знать ничего не хочу!

«Дед» поморщился, как будто у него зуб заболел, поднялся на ступеньку и закрыл дверь. Жора ее толкнул, но «дед» успел повернуть задрайку.

В шахту еще одна дверь есть, за углом коридора, против «дедовой» каюты; они туда кинулись. Навстречу вылез второй механик, развел руками — мол, рад бы вам подчиниться, но выгнал меня Бабилов. Жора его оттолкнул. Но из двери еще Юрочкин беретик показался, потом Юрочкино круглое плечико, Юрочкина мощнейшая грудь. И уж он вылезал, вылезал — так что «дед» и по этому трапу успел подняться и звякнуть задрайкой.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Юрочка. — Он там один управится.

Кеп замолотил в дверь кулаками. Жора еще ботинком добавил. Но это уже совсем глупо, мы б эту дверь всей командой не высадили. Побежали наверх, на ростры — туда окна шахты выходят, стеклянные створки, как у парников. Из створок валил пар, мешался со снегом, с брызгами. «Дед» внизу еле различался у машины.

— Бабилов! — закричал кеп. — Ты под суд пойдешь!

«Дед» поднял голову:

— Ты лучше с сетями подумай. Останавливаю главный.

— Не смей, Бабилов!

Машина еще поворчала и смолкла. Теперь лишь вспомогач работал на откачку.

Кеп выпрямился. Где-то уж он свою ушанку потерял, и снег ему падал на лысину, ветер раздраивал китель — он ничего не замечал.

— Тащит на Фареры, — сказал уныло. — Ну что — стрелять в него?

А стрелять у нас было из чего — три боевых винтаря в запломбированной каптерке; нельзя же судно совсем безоружным выпускать в море. И я уже подумал: что мне-то делать? Тут с ними драку затеять, на рострах? Или ребят позвать на помощь?

— Только это не поможет, — сказал кеп. — Ну что? Придется «SOS» давать...

— Что ж остается, — сказал Жора.

Они сошли в рубку. Пар внизу, в шахте, понемногу рассеивался, и я увидел — «дед» согнулся возле машины, сливает масло в огромный противень, и оно хлещет и пенится, брызжет ему на голые руки, в лицо.

— «Дед»! Тебе помочь?

Он поднял голову, сощурился:

— Ты, Алексеич?

— Могу я тебе помочь?

— Ничего, сам попробую. Я двери не хочу отдраивать.

— «Дед», это надолго?

— Да если б раньше! Заварили бы и горя не знали.

— Я тебе сварщика пришлю, первостатейного. Чмырева Шурку. Он тебе трещину заварит — потом не найдете, где и была.

— Давай, пусть постучит три раза.

— Зачем? Я тебе его на штерте смайную.

«Дед» сказал весело:

— Это мысль!

Шурку я долго расталкивал, он мычал, брыкался, никак не мог вспомнить, что такое с нами случилось. Я напомнил. Потом мы Серегу подняли. С полатей стащили поводец и пробрались остороженько на ростры. Шурка все еще сонный был, как муха, когда мы его сажали в беседочный узел и просовывали между створок.

— Бичи, вы куда меня, в ад? Я вам этого не прощу.

— В рай,— сказал Серега.— Где тепло и мухи не кусают.

Мы уперлись в комингс и потравливали, а Шурка, кажется, даже успел заснуть в беседке. «Дед» его поймал за ноги и отвел от машины.

— Штерт закинем,— сказал Серега.— На всякий случай.

Мы его закинули в море и пошли с ростр. Серега вдруг встал, схватил меня за рукав. Кто-то маячил на верхнем мостике — без шапки, в раздраенном кителе.

— Кеп,— сказал Серега.

Мы притаились за трубой. Кеп поднял руку и пальнул из ракетницы. Мы только красную вспышку увидели на миг, над самым стволом, и тут же ее как срезало, только шипение донеслось. Он перезарядил и опять пальнул. Опять только вспышка и шипение.

— Доигрались мы, Сеня. Я те говорю: не выберемся.

Мы уже на палубу сошли, а кеп все палил. Отсюда лишь выстрел было слышать, а вспышки уже не видно.

3

Мы вошли в кап. Снизу боцман грохотал, наткнулся на нас.

— Ты и ты. Айда якоря отдадим.

Втроем, держась друг за дружку, мы добрались до брашпиля, потащили с него брезент. Он там за что-то зацепился, никак не лез. Серега тащил его за угол и рычал от натуги, а боцман орал на него, чтоб дал сначала распутать.

Волна перехлестнула фальшборт, окатила нас вместе с брашпилем, и вдруг брезент сам взлетел, как живой, его подхватило и понесло. Ну, пес с ним, с брезентом, но боцман-то куда делся? Как не было боцмана. Уж не за борт ли смыло? Ну, тут одна надежда — что его второй волной зашвырнет обратно. Бывают такие от судьбы подарочки. Нет, приполз откуда-то на карачках.

— Жив, только руку убил. Брезент хотел догнать.

Серега на него накинулся:

— Все скаредничаешь, душу лучше спасай!

— Боцман! — из рубки донеслось.— Шевелись там с якорями.

Мы переждали еще волну и отдали стопор. Якорь пошел, плюхнулся, цепь загрохотала в клюзе. Мы ждали, когда он «заберет». Это всегда чувствуешь по толчку. Иногда и с ног сбивает. Но нас не сбило.

— Не достал,— сказал Серега.— Глубина там.

— Какая? — спросил боцман.— Эхолот сорок показывает.

— Давай второй.

Опять мы ждали толчка и не дождались.

— Ползут,— сказал боцман уныло.— Дно не якорное. Чистый камушек тут. Плита.

— А мослов-то сколько! — сказал Серега.

— Мослов до феньки. Только за них не зацепишься. Пошли, что мы тут выстоим.

Здоровенная волна догнала нас, ударила в спину. Как будто мешком ударило — с мокрым песком, — и я полетел на кап грудью. Там я присел, скорчился, в глазах померкло от боли. Кто-то меня потянул за ворот. Серега мне что-то кричал, я не слышал что. Он меня взял под мышки и рванул:

— Стой вот так, боком! Держись за поручень.

Ага, вот и поручень нашелся. Я и забыл, что он приварен к переборке. Серега меня отодрал от него, потащил за собою, втолкнул в дверь.

Мы стояли в капе, прижавшись друг к дружке, зуб на зуб у нас не попадал. А я еще отдышаться не мог после удара. Боцман сказал:

— Не работают якоря.

— Не ворожи, — сказал Серега. — Я вроде бы рывок слышал.

— Цепь-то звякает. Не натянулась.

Что уж он там слышал? Мы только ветер слышали и как волна ухает в борт.

Из рубки Жора-штурман крикнул:

— Страшной, что там у тебя с якорями?

Боцман сложил у рта ладони:

— Отдали якоря!

— А сносит!

— Не забрали. Ползут.

— Твою мать! — крикнул Жора. — Утильные они у тебя.

— Какие есть!

Жора не ответил, поднял стекло в рубке.

Я вспоминал, как нависали над нами эти скалы, гладкие, как будто их полировали, льдистым снегом покрытые. Все мы, конечно, окажемся в воде, без этого не обойдется, да на нас и сейчас сухой нитки нет, а до ближайшего селения там десять миль идти в лучшем случае, оледенеем на ветру, не дойдем. Да и не придется нам идти, сперва еще нужно на скалы взобраться. На них еще никто не взобрался. А ведь все жить хотели.

— Утильные! — вдруг сказал боцман. — А у меня ведь еще якорешко есть. Вот он-то правда что утильный.

— Свистишь, — сказал Серега. — Где он у тебя?

— Махонький. Килограммов на сто. Где? В боцманской. Запратал я его. Мне в порту ревизию делали по металлолому и как раз про этот якорешко и спрашивали. А я сказал: утопили его. Вдруг понадобится?

— Ух ты, вологодский! — сказал Серега. — Учетистый.

Первым боцман шагнул из капа, за ним Серега и я. Пошли, согнувшись, держались за стояночный трос. За него вообще-то не то что держаться, а близко нельзя подходить в шторм. Но больше-то за что еще держаться?

Навстречу по тросу двое шли, Васька Буров с Митрохиным. Мы их завернули.

— Еще б двоих, — сказал боцман.

— А салаги где? — спросил Серега.

— Качают у механиков в кубрике. Не надо салаг. Кандея возьмем и «юношу».

Мы дошли до кормы и через заднюю дверь вломились в камбуз. Плита топилась, на ней ездил и попыхивала кастрюля, а кандей спал, сидя на табуретке, голова у него моталась по оцинкованному столу.

Мы его растолкали — он схватил черпак, кинулся к своей кастрюле.

— После, — сказал боцман. — Сейчас помоги нам с якорем. «Юноша» где?

— Спит в салоне. — Кандей скинул передник и напялил телогрейку.

Она у него сохла над плитой, и теперь от нее пар валил.— А может, не надо «юношу»? Он хуже меня умаялся.

— А справимся вшестером?

— Не справимся — разбудим.

И вот мы вшестером взлезли на крыло мостика, отперли дверь в каютерку. Понесло оттуда олифой, плесенью, черт-те чем еще — боцман и правда великий был барахольщик. Мы откидывали какие-то банки, обрывки тросов, цепные звенья, мешки, досточки, а боцман светил фонарем и причитал:

— Осторожно, ребятки, тут добра на три парохода хватит.

— Слушай,— спросил Васька Буров,— а может, его и нету, якоря-то? Ну, померещилось тебе.

Боцман даже обиделся:

— Если хочешь знать, так у боцмана все, что тебе, дураку, померещится, и то должно быть.

Долго мы еще копались в этой каше. Вдруг Васька Буров заорал:

— Есть! Держу его за лапу!

— Держи! — боцман тоже заорал.— Таш-ши веселей!

Но не так-то просто было его тащить. Он второй лапой так застрял, что мы впятером не могли выволочь.

— Вот так бы в грунте держал,— сказал Серега.

Боцман обрадовался:

— Сурово держит? А что думаешь, а может, и в грунте. Только б забрал, забрал бы, родной!

Наконец выволокли его на крыло. Не знаю уж, сколько в нем было весу — может быть, сто, а может, и триста. Упарились мы с ним на все пятьсот. Двое за лапы тащили, трое за веретено, боцман шестым взялся — за скобу.

Потом спускали его по трапу... Как нас тут до смерти не зашибло? Двое внизу подставляли плечи, а другие на них опускали эту тяжесть смертную, да еще одной рукой каждый, другой-то за поручень держались. Потом тащили в узкости, потом по открытой палубе, и он цеплялся за леера, за бакштаг, на прощанье еще за кнехт ухитрился. Руки мы себе хорошо пооборвали.

— Вот вам и утиль! — боцман все радовался.— погоди. ребятки, сейчас мы его привяжем. На него вся надежда!

«Надежа» лежал на полубаке — самый простой адмиралтейский якорь, легонький, как для прогулочной яхты, теперь-то это видно было, а мы лежали вповалку под фальшбортом. нас тут не било волной, а только окатывало сверху, и ждали, пока он привяжет трос, проведет через швартовный клюз. Никому не дал помогать, сам мудрил.

— Ну, ребятки, поплюем на него.

От всей души мы на него поплевали, на нашу «надежу».

— Боже поможи. Теперь вываливай потихоньку.

Всплеска мы почему-то не услышали. Кто-то даже через планшир заглянул — куда он там делся.

— От троса! — боцман взревел.

Он посветил фонарем, и мы увидели, как трос летит в клюз и бухта разматывается как бешеная. Но вот перестала, и у нас дыхание захватило. Трос дернулся, зазвенел, пошел царапать клюз.

— Забрал, утильный,— боцман это чуть не шепотом сказал, погладил трос варежкой.

В капе мы постояли, опять прижавшись друг к дружке, и слушали, слушали. Нет, не лопался. И било уже в другую скулу, нос поворачивался вокруг троса.

— Знать бы,— сказал боцман,— взяли б его на цепь.
 — А у тебя и цепь есть утильная? — спросил Серега.
 — У меня все есть.
 Стекло в рубке опустилось, Жора закричал весело:
 — Страшной, якоря-то — держат!
 — Покамест держат.
 — А что ж не докладываешь?
 — Вот и доложил. — Он все прислушивался. — Шелестит,— сказал уныло. — Кто слышит? Трос в клюзу шелестит. Трется.
 — Не перетрется,— сказал Васька Буров. — Может, мешковину подложить?
 — Пойду погляжу на него.
 Вернулся он весь белый от сосулек, они звенели у него на рокане, как кольчуга.
 — Лопнет,— сказал безнадежно. — Немного подержит, конечно. А потом, конечно, лопнет.
 — Что ж делать? — спросил Серега. — Мы уж все сделали, что могли.
 — Сети надо отдать. Только они там, на «голубятнике», ни за что на это не пойдут.
 — Может, сказать им? Они ж не знают, что мы утильный отдали. Всех наших походов не знают.
 — Знают они,— сказал Васька Буров. — Когда мы его с реллинга спихивали, кто-то из рубки выглядывал. Я видел.
 — А все же... — сказал Серега. — Что они — жить не хотят?
 Он первый пошел, мы за ним. Из рубки нас увидели, опустили стекло. Там видно было Жору-штурмана, а за спиной у него — кепа.
 — Чего тебе, Страшной? — спросил Жора.
 Боцман взлез на трюм, взялся рукой за подстрельник. А мы держались за его рокан.
 — Сети надо отдать, Николаич.
 Кеп высунулся — в ушанке на бровях,— спросил визгливо:
 — Ты думаешь, о чем говоришь?
 — Не выдержит трос. Одна хорошая волна — и лопнет.
 — А эти? — спросил Жора. — Чем тебе не хороши?
 — Я, Ножов, не тебе говорю. Ты еще не видал. поди, как гибнут. А вот так и гибнут.
 — Знаем, что делаем,— сказал кеп. — Тут люди тоже с головами.
 Боцман еще чего-то хотел сказать, подошел к самой рубке. Но Жора поднял стекло.
 — Не ведают, что творят,— боцман затряс головой.
 Мы повернули назад, к капу.
 — За имущество дрожат, а головы своей не жалко. И на что надеются? А, пусть их, как хотят. Я спать иду.
 Он шел по трапу и все тряс головой. Кто-то ему врубил свет, лампочка горела вполне, а в тусклом свете боцман наш был совсем горбатый.
 — Пошли и мы,— сказал кандей Вася. — Неужели никто борща не покушает?
 Мы потащились опять в корму.

В салоне на лавке спал «юноша» — в тельняшке, в застиранных штанах и босой. Голова у него свесилась, и его всего возило по лавке, тельняшка задиралась на животе, но не просыпался.

Кандей нам налил борща, а сам присел на краешке, курил, морщил страдальческое лицо. Миски были горячие зверски, Васька Буров скинул шапку и поставил миску в нее, и так штормовал у груди. Мы тоже так сделали. А кандей все подливал нам, пока мы ему не сказали «хорош».

Потом попросили у него курева, наше все вымокло, и задымили. Плафон светил тускло, и мы качались в дыму, как привидения — на щеках зеленые тени, глаза у всех запали.

— Бичи,— сказал Васька Буров,— когда эта вся мура кончится, я знаете чего сделаю? Я на юг поеду, в Крым.

— В отпуск?— спросил Митрохин.— Рано еще, это бы в мае.

— Насовсем. Хватит с меня этой холодины, разве же люди рождаются, чтоб холод терпеть? Никогда мы к нему не привыкнем. Пацанок брошу, бабу брошу. Первое время только греться буду на песочке. Даже насчет жратвы не буду беспокоиться.

— Там тоже зима бывает,— сказал Митрохин.

— Где? У нас такого лета не бывает, какая там зима. Везет же людям. А как обогреюсь немножко, я, бичи, халабудку себе построю. Прямо на пляже. Ну, поближе к морю. В Гурзуфе.

Сергея сказал:

— Алушта еще есть, получше твоего Гурзуфа.

— Не знаю. Я в Алуште не был. А Гурзуф — это хорошо, я там два месяца прожил. Только я там с бабой был и с пацанками, вот что хреново. Хату снимать, харч готовить. А одному — ничего мне не надо. Валяйся день целый брюхом к солнышку. И был бы я — Вася Буров из Гурзуфа.

— Так и писать тебе будем,— сказал Сергей.— Васе Бурову в Гурзуф.

— Не надо писать. Вы лучше в гости ко мне приезжайте. Я всех приму, пляж-то большой. Я вам, так и быть, сообщу по-тихому, как меня там найти. Только бабе моей не говорите. А то она придет и опять меня в Атлантику загонит. А в Гурзуфе я прямо затаюсь, как мыша, нипочем она меня не разыщет. И будем мы там жить, бичи, без баб, без семей. А рыбу ловить — исключительно удочкой. Я там таких лобанов ловил закидушкой, на хлебушек. А барабулька! Копчененькая, а? Сколько наловим, столько и съедим. Здесь же, у костерочка.

— Это ты самую лучшую сказку сочинил,— сказал Митрохин.

Васька удивился:

— Почему же это сказка? Думаешь, люди так не живут?

— А разве не сказка? — сказал Сергей.— Это как же, без баб? Без них не обойдется.

— А тогда все пропало. Нет, бичи. Уж как-нибудь своей малиной, одни мужики.

— Нет,— сказал Сергей.— Все-таки нельзя, чтоб без баб. Баба — она самая главная ловушка, никуда от нее не денешься. И все мы это знаем. И все равно не минуем.

— Уж так ты без них не можешь?

— Я-то? Да хоть год. Это они без нас не смогут. Так что — разыщут, не волнуйся. Разобьют малину.

Васька вздохнул:

— Это точно. Поэтому-то, бичи, жизни у нас не получится. Ну, дней десять продержимся, а ради них ехать не стоит, лучше уж сразу и бабу с собой бери, и пацанок.

Мы помолчали, закурили еще по одной.

— Кого-то несет,— сказал Сергей.

Старпома к нам принесло. Наверное, с вахты, хотя на самом-то деле вместо него там кеп заправлял с Жорой — уже и безрукавку свою мехо-

вую надел, и волосы примочил, и зачесал набок. Кандей пошел на камбуз за борщом. Старпом сидел, постукивал ложкой по столу и глядел на нас насмешливо. Отчего — непонятно.

— Ишь, расселись, курцы!

— А тебе-то что? — спросил Васька. — Мы свое дело сделали. Теперь ты нам не мешай, мы тебя не тронем.

— Да по мне хоть спите, хоть песни пойте.

Опять же — все с каким-то презрением, как будто это мы загубили пароход.

— Ну, как там, на мостике? — спросил Митрохин. — Что слышно?

— Все хотите знать?

— Я-то нет, — сказал Васька. — Я и так все знаю.

— Все, все знаешь?

— А что там? «SOS» дали, теперь подождем, чего мы из него высосем.

— Ну да, у тебя забота маленькая.

— А у тебя — побольше?

Старпом хмыкнул, принялся за борщ. Но при этом еще такую рожу делал — таинственную, значительную.

— Идет к нам кто-нибудь? — спросил Серега. — Хоть один пароходишко? Только ты не кривляйся. Мы тебя как человека спрашиваем.

Старпом покраснел до самых волос. Серега смотрел на него спокойно, даже как будто с жалостью.

— А какой бы ты хотел пароходишко?

— Опять ты кривляешься, — сказал Серега.

— Ну, база повернула. Доволен? Только ей, базе, знаешь, сколько до нас идти?

— А поближе никого нету?

— Ну, есть. Наш один и рижанин. Только им лагом к нам идти¹. Сам понимаешь.

Серега вздохнул.

— Понимаю. Лагом бы я и сам не пошел при такой погоде. Да уж как не повезет, так на все причины.

— А думаешь, мы одни такие невезучие? Иностранец вон еще бедствует, шотландец. Ему еще похуже, под самыми Фарерами болтается.

— Помогй ему бог, — сказал Васька. — Чего ж он, дурак, промышлял, в фиорде не спрятался?

— Вот не спрятался.

— А сколько ж все-таки ей идти? — спросил Митрохин. — Базе-то?

— Сколько, сколько! Семь верст — и все лесом.

— Опять ты за свое, — сказал Серега. — И что ты за пустырь, ей-богу. Человек тебя спрашивает, потому что жизнь от этого зависит. Он у тебя любую глупость может спросить, а ты ему обязан ответить, понял?

Старпом кинул ложку:

— Ну что привязались? Пожрать нельзя. Подите все у кепа спросите.

— А тебе он не отвечает? — спросил Васька.

Старпом встал, пошел к двери. Тут он как будто нашелся, что ответить Ваське, повернулся — и застыл с раскрытым ртом. Толчок был еле слышный, только зазвякали миски. И «юноша», который спал на лавке, вздрогнул и проснулся:

— А? Куда идти?

— Никуда, — сказал Васька. — Теперь уж все. Оборвали трос...

Старпом бухнул дверью, побежал.

¹ То есть бортом к волне.

— Да он и ненадежный был,— сказал Серега.— Трос-то.

Наверху затопали, заорали, и мы только успели докурить, как послышалась тревога. Уже не водяная, а шлюпочная — длинный гудок, шесть коротких.

«Юноша» спросонья пошел за нами — как был, в тельняшке, в беретике. Спихватился, стал напяливать малестинку.

— Ты озверел? — спросил Серега.— Так и в шлюпку сядешь? Поди рокан надень.

— А успею? Ребятки, я быстренько, я прямо мигом.

Кинулся в камбуз, где у него мешок висел и телогрейка. Напялил ее, а в мешок стал запихивать галеты, банки со сгущенкой. Телогрейка у него не застегивалась: все пуговицы были оборваны. Так, полосатый, и пошел за нами на ростры.

Там уже кто-то возился около шлюпок, стаскивал с них брезент. Старпом бегал в рокане и орал:

— Не эту! Другую! Кто же наветренную вываливает? Надо подветренную!..

Из-за шлюпки высунулась фигура, по голосу — дрефтер.

— А сам-то смыслишь — какая теперь с-под ветра?

Пароход разворачивало, вожак и сети его тянули.

— Ты на колдунчик посмогри!

— Сам ты колдунчик. Уйди, без тебя тошно.

— Скородумов, я на тебя управу найду!

— Вот, найди сперва. А покамест я буду командовать.

Снежный заряд перестал, луна блеснула в сизых лохмотьях, и море открылось до горизонта — черные валы с оловянными гребнями. Ветром их разбивало в пылищу. Пароход обрывался вниз, катился по ледяному склону, и новый вал вырастал над мачтами. Не приведи бог видеть такое море. Лучше не смотреть, а делать хоть какое-то дело, пока еще душа жива, хоть что-то в ней теплится.

Мы налегли на шлюпбалки. Дрифтер с размаху навалился плечом, хрипел:

— Повело, ребята, повело!

Шлюпбалки скрипели, не поддавались, потом сами пошли с креном. Шлюпка вывалилась и закачалась. Волна прошла гребнем под нею и лизнула в днище.

— Стой! — кричал дрефтер.— Садись трое. Фалинь травы, фалинь!

— А где он, фалинь?

Трое уже перелезли в шлюпку и разбирали весла, а фалинь все не могли найти. Вдруг я увидел — Димка стоит спокойненько, держит его в руках.

— Он же у тебя, салага!

— Это и есть фалинь?

— Да он у него несрощенной! — Серега в темноте разглядел.

Я в это время держал шлюптал, обе руки у меня были заняты.

— Сращивай! — сказал я Димке.— Учили тебя.

— А чем?

— В боцманском ящике штерт возьми. Знаешь где?

Он метнулся куда-то. Я уже пожалел, что послал его. Но тут же он вернулся с бухточкой, и как раз такой толщины, как нужно.

— Брамшкотом вяжи.

Он скинул варежки, заложил под мышку.

— Брамшкот — это двойной шкот?

— Двойной. Только не спеши.

— Быстрее! — орал дрефтер.

Димка его не слушал. И правильно, фалинь наспех не сrostишь, на нем всю шлюпку можно загробить. И мне понравилось, что руки у него не дрожат. И он не торопится в шлюпку.

— Хорош! — сказал я ему. — Я сам потравлю. Иди вниз.

— Зачем?

— Садиться — зачем.

— Вот так, как есть, без шмоток? — Он поглядел кругом. — Алик, ты где?

— Садись иди, Алик уже там небось!

На рострах осталось нас четверо, по двое на каждую шлюпталю. Эту, я знал, мы не для себя спускаем. Пока сойдем, там уже будет полно. А нам вторую вываливать, для «голубятника». И хорошо, подумал я, как раз будем с «дедом». Если что случится с нашей шлюпкой, мы все-таки вместе.

Дрифтер кричал снизу:

— Трави помалу. Майнай!

Мы потравили на метр, не больше, и — не вовремя. Как раз пароход вышел из крена и начал заваливаться на другой борт. И шлюпка с размаху стукнулась. Те, кто в ней был, попадали на дно. Но как будто никого не зашибло, никто не крикнул.

— Трави веселей, — орал дрифтер, — ничего! Не соломенная!

Вдруг я почувствовал, как ослабли лопаря. Это волна подхватила шлюпку. Теперь уже поздно в нее садиться, а нужно скорее отпихиваться — багром или веслом. А кто-то еще лез через планшир и не мог перелезть... Шлюпку приподняло и ударило об фальшборт с треском.

Мы навалились на шлюпталю, повели обратно. Шлюпка приподнялась, мы чувствовали ее тяжесть.

— Вылазь! — орал дрифтер. — Я удержу!

И правда удержал ее у планшира, пока все не вылезли, потом перескочил сам и отпихнул:

— Вир-рай!

Пока мы ее поднимали, она еще два раза треснулась. Весь борт у ней раскололся, от штевня до штевня, и сквозь трещину ливня текло. А сверху ее и не успело залить, я видел, это она все набрала днищем.

Мы ее поставили опять в киль-блок и закрепили концами лопарей. Но с таким же успехом ее можно было и выкинуть.

Пошли вниз. Старпом встал у нас на дороге:

— Куда? Почему шлюпку оставили?

Я шел первым. Я ему сказал:

— Успокоили шлюпку. Можно кандею отдать на растопку.

— Мореходы, сволочи! А ну — назад, вторую вываливать!

Я прошел мимо него.

— Кому говорю — назад!

«Рыбкин» шел за мною. Сказал ему:

— Вторую тоже успокоим. Даже полегче. Вторая-то — на ветру.

Мы уже до капа добрались, а тифон все ревел, звал на ростры.

В кубрике Шурка укладывал чемоданчик. Я сразу как-то почувствовал, что не вышло у них с машиной. И он тоже понял, что у нас не вышло со шлюпкой.

— Заварили? — спросил Серега.

Шурка закрыл чемоданчик и закинул его на койку.

— Трещина-то что, а вот три поршня прогорело, «дед» через форсунки прощупывал. Это не заваришь.

— Сколько там, девять осталось? — сказал Серега. — На них можно идти.

— Далеко ли?

Тифон в кубрике все надрывался.

— Выруби его,— сказал Шурка.— Только расстраивает.

Я подошел и сорвал провод.

— Вот так-то лучше.— Шурка почесал в затылке, опять потянул чемоданчик, достал из него карты.

Сергея сел против него за стол.

— Какой у нас счет? — спросил Шурка.— И в чью пользу, я что-то забыл?

— Сдавай!

Пришел Димка и сел в дверях на комингс. Смотрел, как они играют, приглаживал мокрую челку, и скулы у него темнели. Вдруг он сказал:

— Все-таки вы подонки, не обижайтесь. Я думал: вы хоть побарахтаетесь до конца. Еще что-то можно сделать, а вы уже кончились, на лопатках лежите.

Сергея сказал, глядя в карты:

— Плотик есть, на полатах. С веслами. Хочешь, мы тебе с Аликом его стащим? Может, вы, такие резвые, выгребете.

— Я разве о себе? Мне за вас обидно. Хоть бы вы паниковали, я уж не знаю...

— Это зачем? — спросил Шурка. Он поглядел на Ваську Бурова.— Мы с тобой плавали, когда сто пятый тонул?

— Ну!

— Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше, и движок хоть не совсем скис. А все равно не выгребли. Об чем же нам беспокоиться?

— Не об чем, так ходи,— сказал Сергей.

— Отыграться надеешься? — Шурка спросил злорадно.— Не отыграешься.

— Просто слушать вас противно! — сказал Димка.

— А не слушай,— ответил Шурка.

Васька Буров вздохнул — долгим, горестным вздохом, — встал посреди кубрика, ни за что не держась, стащил промокший свитер, нижнюю рубашу. Он, верно, был когда-то силен, а теперь плечи у него обвисли, мускулы сделались, как веревки, когда они много раз порвались, а их снова сплескивали. Васька обтерся полотенцем с наслаждением, как будто из речки вылез в июльский день, потом из чемоданчика вынул рубашу, сухую, глаженую, примерил на себя.

Димка на него глядел сощурысь и скалился:

— Пардон, кажется, состоится обряд надевания белых рубах? Не ожидал!

— Ох,— сказал Васька.— Белая, серая... лишь бы сухая. А у тебя что — своей нету? А то могу дать.

— О нет, спасибо.

Васька надел рубашу — она ему была чуть не до колен, — откинул одеяло и лег. Вытянулся блаженно. Димка встал с комингса, глядел на него, держась за косяк.

Васька сложил руки на груди, сплел пальцы:

— Бичи, кто закурить даст?

Шурка кинул ему пачку.

— Ох, бичи, до чего сладко! — Васька глотнул дыма и выдохнул медленно в подволок.— Я так думаю: мы носом приложимся. Это лучше, если носом. Никуда бежать не надо. Ни на какую палубу.

Димка сплюнул, пошел из кубрика, грохнул дверью.

А я смотрел на Васькино лицо, такое успокоенное, на Шурку с Сергеем, на четыре переборки, где все это с нами произойдет. Вон та, носовая, сразу разойдется — и хлынет в трещину. Из двери еще можно

выскочить, но это если у двери и сидеть,— из койки не успеешь. Нет, нам не очень долго мучиться. Может быть, мы и подумать ни о чем не успеем. У берега волна швыряет сильнее, скала в обшивку входит, как в яичную скорлупу...

Так, я подумал, ну, а зачем все это, за что? В чем мы таком провинились?

Я даже засмеялся — со злости. Шурка с Серегой взглянули на меня — и снова в карты.

А разве не за что? — я подумал. Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. И это нам — за все, в чем мы на самом деле виноваты. Не перед кем-нибудь, перед самими собой.

В кубрике все темней становилось, уже, наверное, садились там аккумуляторы, а Шурка с Серегой все играли, хотя уже и масть было трудно различить.

— Ничего, — сказал Шурка, — сейчас у тебя нос будет свечой, хоть совсем плафон вырубай. — Он скинул карту и спросил: — Васька, тебе кого жалко? Кроме матери, конечно.

Васька с закрытыми глазами ответил:

— Матери нет у меня. Пацанок жалко.

— Бабу не жалко?

— Не так. Да она-то мне не родная. Маялась со мной, так теперь облегчится. А пацанки мне родные и любят меня. Вот с ними-то что будет?.. Но вы не спрашивайте меня, бичи. Я молча полежу, подумаю.

— А мне бабу жалко, — сказал Шурка. — Что она от меня видела? Только же записались — и уже лаем. Перед отходом и то поругались. Серега скинул карту и сказал:

— Ну, это по-доброму, это ревность.

— Да и не по-доброму тоже хватало... А тебе — кого?

— Многих, — Серега ответил мрачно. — Всех не вспомнишь.

— А тебе, земля?

Кого же мне было жалко? Если мать не считать и сестренку. Корешей я особенных не нажил... Нинка, наверно, заплачет, когда узнает. Хоть у нас и все кончилось с Нинкой и, может быть, ей с тем скуластенкиным больше повезло — все равно заплачет, это она хорошо умеет. Вот Лиля еще погрустит. Но утешится быстро: я ведь ей ничего не сделал — ни хорошего, ни плохого. Клавке и то я больше сделал, нахамил, как мог... Чего-то мне вдруг вспомнилась Клавкина комната — какие-то подушечки вышитые, салфеточки, картинки из журналов веером по стене. И сама такая была уютная в халатике, милая, все так и загорелось у ней в руках, когда мы к ней вломились. Другая б выставила, а она мне еще стопку поднесла персонально, когда я на пол сел у батареи. Неладно все как получилось с Клавкой! Мне вдруг стыдно стало, так горячо стыдно, когда вспомнил, как она стояла передо мной на холоде с голыми локтями, грудью. Что, если она и вправду не виновата ни в чем? А если и виновата — никакие деньги не стоили, чтобы я так с нею говорил. Что же она про меня запомнит?..

— Девку мне одну жалко, — я сказал. — Обидел ее ни за что.

— Сильно обидел?

— Да хуже нельзя.

— Не простит она тебе?

— Не знаю. Может, и простит. Но забыть не забудет.

— А хорошая девка?

— И этого не знаю...

Я встал, пошел из кубрика.

5

Наверху, в капе, Алик выливал воду из сапога, Димка его держал за локоть. Я к ним поднялся. Димка взглянул на меня и оскалился:

— Тоже деятели, а? Ну, комики!

— Не надо,— попросил Алик.— Кончай.

— Что — у самого коленки дрожат?

— Ну, дальше? Что из этого?

— Ничего,— сказал Димка.— Как раз ничего, друг мой Алик. Все естественно. Когда есть личность — ей и должно быть страшно. У нее есть что терять.

— Кончай, говорю.

— Нет, но где же все-таки волки? Я думал, они будут спасаться на последнем обломке мачты.

— Ты погоди,— сказал я ему,— до обломков еще не дошло.

— Ах, еще нужно этого дожидаться?

Что мне было ему ответить? Я и сам так же думал, как он.

— С тобой это было уже? — спросил Алик меня.

— Ни разу.

— Поэтому ты и спокоен. Не веришь, да?

— Какая разница — верю я или нет. Чему быть, то и будет.

— А я все-таки до конца не верю.

— Счастлив ты. Так оно легче.

Его будто судорогой передернуло. Я пожалел, что сказал ему это. Ведь такое дитя еще, в смерть никак не поверит. Я-то вот — верю уже. Меня однажды в драке, в Североморске, пряжкой звезданули по голове — я только в госпитале и очнулся. И понял: вот так оно все и происходит. Мог бы и не проснуться. Смерть — это не когда засыпаешь, смерть — это когда не просыпаешься. Вот с тех пор я и верю.

— Идите в кубрик, ребята,— сказал я им.— Пока вас на палубу не выгнали, мой вам совет: падайте в камыши.

— Эту философию мы тоже знаем,— сказал Димка.— Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А все само собой образуется?

— Конечно,— говорю.— Само собой.

Алик улыбнулся:

— Шеф, твои слова вселяют в нас уверенность.

— А для чего ж я стараюсь?

Пошли. Вот как просто, думаю, людей успокоить. Начни им доказывать, что мы потому-то и потому-то погибнуть не можем, они распросами замучают — как да что. А скажи им: «Авось пронесет» — и есть на чем душе успокоиться.

В капе вдруг посветлело — это, я понял, кто-то из рубки к нам идет и ему светят прожектором. Так и есть — в дождевике кто-то, в штурманском. Увидел меня, откинул капюшон. Жора-штурман.

— Выходить думаете?

— Выходили. Шлюпку одну успокоили. Теперь-то зачем?

Но он был настроен решительно. Еще не намок. А сухой мокрого тоже не разумеет.

— А ну пошли.

Шурка с Серегой в самый раж вошли, даже не посмотрели на Жору. Салаги только начали разуваться. А Васька все так и лежал с закрытыми глазами, пальцы сплетя на груди, но — не спал, что-то нашептывал.

Жора к нему первому подошел:

— Вставай.

Васька поглядел на него равнодушно, как бы сквозь него, и устоялся в переборку.

— Тревогу для кого играли?

— Не знаю. Не для меня. Меня-то уже ничего не тревожит.

Тут Жора и увидел этот провод, который я сорвал.

— Хари ленивые! Себя уже спасать неохота! В могилу легче, чем на палубу?

Глаза у него и без того красные, как у кролика. А тут дикой кровью налились.

— Тебе бы автомат,— сказал Серега.— Ты б нас всех тут очередями, да?

Жора шагнул к нему, замахнулся. Серега начал бледнеть, но глаз не отвел. Жора его оставил, опять взялся за Ваську.

— Встанешь, скотина?

Взял его обеими руками за ворот и посадил в койку. А вернее, держал его на весу. Он сильный, Жора. Он бы мог его и к подволоку вздернуть, одной левой. Васька захрипел, ворот ему стянул горло.

Димка и Алик застыли молча. Вдруг Димка стал матовый, сказал, сжав зубы:

— Ну, если б мне так!..

Жора поглядел на него и кинул Ваську опять на койку.

— Можно и тебе.

Димка мотнул головой и весь сжался, стал в стойку — левую выставил вперед, а правой прикрыл челюсть. Но я-то чувствовал, чем это кончится. Жора на ринге не обучался. Но он обучался стоять на палубе в качку. И ни за что не держаться. Он не шатнулся, когда кубрик накренило. А Димка упал спиной на переборку, и от его стойки ничего не осталось.

Кинулся вперед Алик, выставил руку:

— Вы что? Опомнитесь!..

Я увидел — сейчас он будет бить их обоих. Он их будет бить страшно, в кровь, зубы полетят. И мы все вместе этого бугая не одолеем. Я шагнул Жоре наперерез и обеими руками толкнул в живот. Он не устоял и сел в койку. А я наклонился и взял в руку что потяжелее — сапог.

— С битьем ничего не выйдет,— сказал я Жоре.

Он сидел в койке — коленями чуть не к подбородку. Пока бы он встал, я бы успел ему всю рожу разбить сапогом. Да просто пальцем повалил бы обратно.

— Ладно,— сказал Жора.— Пусти.

Я бросил сапог. Он вылез, пошел к двери.

— Через пять минут не выйдете к шлюпке — всем, кто тут есть, по тридцать процентов срежу.

— Что так мало? — сказал Шурка.— Валй все сто.

Васька вдруг всхлипнул. Глаза у него полны были слез. Шурка повернулся к нему:

— Ты чего, Вась? Не надо.

Васька утер слезы кулаком, а они от этого полились еще сильнее. Это невыносимо смотреть, как бородатый мужик плачет навзрыд. Тут и Жора смутился:

— Не скули, хрена ли я тебе сделал?

— Уйди. В гробу я тебя видел. Урод. Палач.

— Хватит,— сказал Жора.— Кончай, а то...

— Ну, бей, сволочь. Ударь лежачего.

— Ты встань,— Жора усмехнулся,— будешь стоячим.

— Не встану. Подохну здесь, а не встану. Зачем мне жить, когда такие твари живут, как ты...

Слезы Ваську совсем задушили.

— Уйди же, — сказал Серега. — Уйди по-доброму.

Жора оглядел нас всех и перестал усмехаться. Наверное, дошло и до него, что мы кончились, не поднять нас никакой силой.

Он вышиб кулаком дверь, пошел. Прошел половину трапа и крикнул:

— Шалай! Ну-к, выйди.

Я к нему поднялся.

— Ты все про свою судьбу понял? Тебе ж не плавать после этого, кончилась твоя карьера. После того, как ты руку на штурмана поднял. Не руку, а — сапог.

— На штурмана нельзя, — я сказал. — На матроса можно.

— Дурак, я жаловаться не пойду. Я тебя своими мерами калекой сделаю на всю жизнь. В порту сочтемся, согласен?

— Хорошо бы еще доплыть до него.

— Что за плешь? Что вы все сопли распустили!

Дико мне было слышать, как человек других уговаривает, когда сам не верит ни на копейку. Он повернулся, чтобы идти, и снова встал.

— А не думаешь, Шалай, что вся эта плешь — с тебя началась? Своей вины тут не чувствуешь? Я, между прочим, не доложил никому, как ты кормовой отдал. Так ты бы, дурак, благодарность поимел. А ты мне не даешь людей поднять по тревоге. За такие вещи знаешь, что делают? Шлепают — и будь здоров.

— Жора, сети надо отдать.

— Прекрати! Ты за них не ответчик. — Вдруг он наклонился ко мне, к самому лицу: — А хочешь собой, так сказать, пожертвовать — валяй, руби вожак.

Я не ответил.

— Но не советую, — сказал Жора.

Он вынырнул, побежал по палубе, и свет в капе померк. Я сел на ступеньку. Да, так оно и выходит, что с меня началось. Если Фугле-фиорда не считать, где все решали. Вот в этом все дело, что все. Не на кого пальцем показать. Ну, ладно, пусть на меня. Тогда чего ж я сижу, ведь топор — тут, за капом, в ящике лежит. Раза четыре стукнуть по вожаку — вот и вся жертва. Должен же я что-то для людей сделать, если я же их, оказывается, и погубил.

Вдруг я увидел — Димка стоит внизу, тусклый свет падает на него из кубрика. Не знаю, сколько он там стоял. Может быть, он слышал наш разговор с Жорой.

Димка прикрыл аккуратно дверь, поднялся ко мне, сел рядом:

— Нужно все-таки что-то делать, шеф.

— Это и я думаю. Только, наверно, поздно.

— Шеф... Правда, что плотик есть на полотах?

— А ты не видел? Ну, он всегда поводцами завален. Белый такой, с красным.

— Он надувной?

— Плотик-то? Нет, железный. Пустотелый.

— Там двое смогут?

— Ну... Вообще-то он тузик.

— Ну и что — тузик?

— Одноместный, значит. Но двое тоже смогут. Хотя опасно.

— Утонет?

— Тесно в нем. Трудно грести. Ну, когда жить хочется... А что, решились вы с Аликом?

Он придвинулся ко мне.

— Шеф, послушай. Это не так безумно, как кажется... Два дня мы продержимся, а там нас подберут. Здесь же промысел, проезжая дорога. Ведь глупо же, пойми, ехать в открытый гроб. Ведь все уже лежит, лапами вверх. Только мы двое. Я это сейчас понял... Шеф, мы не умрем. Это я точно говорю, умирают же не от шторма, не от голода. Только от страха. Это доказано, шеф. Об этом книги написаны¹. Но мы-то не трусы! Мы хоть побарахтаемся — для очистки совести.

Говорил он прямо как проповедник. Даже глаза у него светились. И я подумал: конечно же, можно. Можно и шлюпку вывалить вторую. Можно плотики сплести из кухтылей, плоты из бочек.

— Да если бы все, как вы,— сказал я ему.

— Шеф, пошли!

Он встал, потащил меня за рукав.

— Куда?

— Пошли сядем в плотик. Пока не поздно.

— Да там же только двое сядут.

— Шеф. Все умерли от страха. А человек жив, пока он хочет жить.

Ведь ты хочешь? Если сейчас не рискнем...

— Понимаешь, я еще «деда» хочу вытащить. Я «деда» не брошу. И Шурку... И Серегу... И «маркони»...

— Им легче будет — с тобой заодно?

— Ну, как тебе объяснить? Да чего объяснять? Ты же Алика не бросишь?

Он не глядел на меня.

— Алика я спрашивал. Он не рискнет. Шеф, тут закон простой. В плотик садится, кто хочет. Двое — значит, двое. Иначе не спасается никто.

Он так печально это сказал, безнадежно. Мне даже жалко его стало, вот черт какой...

— Ну, послушай,— я его посадил рядом.— Ну, я тебе скину плотик. И ящик притащу шлюпочный. Там галеты, вода пресная, бинты. Попробуй один. Одному же легче в тузике. Два свитера наденешь под рокан: от холода еще умирают, не только от страха. Может быть, выгребешь. И кто тебя упрекнет, что ты жить хотел?

— Нет,— он замотал головой.— Один умирает. Это я знаю хорошо. Какие же мы все кретины! Какой я кретин!

— Да не убивайся ты, ей-богу. Если б ты по-настоящему хотел, поплыл бы и один.

— А ты?

— И я бы. Если б меня ничто не держало.

Он вздохнул.

— Нет. Ничего не выйдет.

Вышел Алик — в одних носках. Поднялся к нам.

— Ну что? — спросил беспечным голосом.— Не решается, викинг?

— Ты береги тепло,— я ему посоветовал.— Без сапог не ходи, с ног все и начинается.

— Иди спать, Алик,— сказал Димка.— Пойдем и мы ляжем. Лапами вверх.

Алик его проводил глазами и сказал мне:

¹ Дима, очевидно, имеет в виду известные слова Алена Бомбара, заключающие его книгу: «Жертвы легендарных кораблекрушений, умершие преждевременно! Я знаю, вас убило не море. Вас убил не голод. Вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».

— Шеф, если тут дело во мне, то я — пас. Это действительно так. Мы договорились.

Я взялся за голову.

— Не могу я вас понять. Не могу, и всё. Как это так можно договариваться?

— Тут простой расчет, шеф. Простой и трезвый.

— Иди к богу в рай! Уйди. Я вас обоих знать не хочу.

— Зачем же злиться? На кого, шеф?

— На себя одного.

— А мы при чем?

— Оба вы такие хорошие — сил моих нет!

Я взялся за поручень, поднялся, пошел вверх. Вдруг сорвался, полетел назад затылком, но чудом вывернулся, звериным каким-то рывком. Сердце у меня чуть не выпрыгивало.

Дрифтерский ящик я легко нашарил, но пока топор искал в темноте, среди всякого барахла, мне все лицо искололо снегом. Я прижал топор к груди, вытер лицо, а все не решался идти дальше, на полубак. Его и не видно было, полубака, — сплошная белая мгла и рев. Но я-то должен был его рубить, мой вожачок. То есть не самый вожак, пеньку-то что стоит перерубить, а плетёный стояночный трос, из стальной жилы. Он и убить может. Ну, ладно, я подумал, это все-таки мое дело вожачковое, никто за меня его не сделает. Вот разве помог бы кто.

Я увидел — Алик выглядывает, жметесь от холода.

— Пойди, — говорю, — к лебедке, ты все равно намок. Стопор ты знаешь, как отдать. А я рубану на кипе.

— А кто это приказал?

— Э, кто приказал!

Я пошел, как слепой, нашарил трос и потом — по нему, плечом вперед. Натянут он был, как штанга, и когда я добрался до киповой планки и ударил, топор отскочил, как резиновый. А на тросе — я пощупал — и следа не осталось от удара.

— Давай помогу.

Я оглянулся — Алик стоял у меня за спиной, весь облепленный, лицо в снегу.

— Отвались!

— Ну, что злишься? Давай вместе. Чем тебе помочь?

— Иди в кап, убьет же концом!

— А тебя?

— Ты смоешься?

Волна нас накрыла обоих, только я успел пригнуться под планшир, а его потащило, только носки его замелькали. И, представьте, он вскочил и снова начал ко мне подбираться. Ладно, мне не до него было.

По две, по три жилки рвались после каждого удара, и трос звенел, как мандолина, отбрасывал топор, будто живой. А часто и по планширу попадало или по кипе. Но я озверел уже, рубил, как заведенный. Он делался все тоньше, готов уже был лопнуть, и я оглянулся — нет ли кого на палубе. Алик стоял у капа, прижавшись.

— Полундра от вожака!

Одной рукой я подобрал полу телогрейки и накрыл голову, а другой рубил.

Полубак пошел вверх, и трос заскрежетал на кипе — я поостерегся его рубить, — но тут-то он и лопнул сам. Я не видел, как он хлестнул в воздухе, но по капю удар был, как будто клепальным молотом. А от капа — меня по плечу! Я завалился и поехал к трюму. Там только вскочил на ноги. А топора как не было.

Алик стоял на том же месте, держался за поручень. Как его только не задело? Счастливая же у салаги судьба!

— Вот и вся любовь! — сказал я ему почти весело.

Он смотрел на меня молча.

— Пошли.

Я его потащил за собой в кап. Он все смотрел на меня. А я смотрел на рубку, хотел разглядеть стекла.

— Там ничего не слышали, — сказал Алик. — Никто не выглянул.

— Услышат.

— И что тебе за это?

— Как что? Сознательная порча судового имущества. Годков десять, наверно. Ты бы мне сколько дал?

— Никто же не видел.

— А ты?

— Я тоже не видел.

Ах, какой хороший был мальчик! Как он мне нравился!

— Что же ты хочешь? — я спросил. — Чтоб кепа за них разжаловали? Или у всей команды бы вычитали?

— А сколько они стоят?

— Сто тысяч. Хоть видал когда-нибудь столько?

— Новыми?

— Настоящими. Золотом.

— Но он же сам мог порваться.

— Мог бы. Но не порвался. И на планшире от топора след.

— Что ж теперь делать?

— Спать. Или жизнь спасти. Только я думаю — все равно поздно.

В кубрике все почему-то посмотрели на меня. Но никто слова не сказал. Я скинул телогрейку и увидел — все плечо у нее располосовано, вата торчит наружу. Я ее кинул на пол, сел на нее, прислонился к переборке. Плечо еще только начинало разгораться, хоть первая боль и схлынула.

— Знобит, земля? — Шурка поднялся, своей телогрейкой, такой же вымокшей, укрыл мне спину. — Ну-ка, уберем тут.

Он скинул все с камелка, чтоб я мог прислониться, но трубы были чуть теплые. Но, может, даже лучше к холодному прижаться? Я закрыл глаза, стал уговаривать плечо, чтобы утихло. Иногда помогает. Шурка опять отсел к Сереге — играть.

Не знаю, какое дело я сделал — доброе или злое. Но я его сделал.

Вдруг Митрохин — он рядом со мной сидел на полу — спросил испуганно:

— Что это, ребята?

Я открыл глаза. Свет начал меркнуть. Волосок в лампочке был чуть розовый.

— Ребята, — сказал Митрохин, — это ж конец!

— Не блажи, — сказал Шурка. — «Дед» всю энергию на откачку пустил. Или на стартер копит.

— Нет, ребята, — Митрохин замотал головой. — Я тоже все верил, что не конец. Нет, нет! Все уже, ребята, гибнем!

Он забился, как в припадке. А может, это и был припадок: он ведь какой-то чокнутый. Шурка с Серегой кинулись к нему, схватили за руки. Он с такой силой вырывался, что они вдвоем не могли удержать.

— Ребята, я ж во всем виноват! Я вас тогда всех погубил. Из-за меня же вы в порт не пошли. Ребята, простите. Можете вы меня простить?

Он мне попал по больному плечу, я чуть не взвыл, толкнул его ногой.

— Молчал бы теперь, сволочь...

Он еще сильнее забился. Кричал что-то через слезы, слов нельзя было разобрать.

— Свяжите его, ребята,— попросил Васька.— Я с ума сойду.

Шурка зажал Митрохину рот, и он вдруг присмирел, только мычал тихонько. Они его подняли, перенесли на койку.

— Глаза ему закройте,— сказал Васька.— Он же не спит никогда.

— Спит,— сказал Серега.— С открытыми-то он и спит.

А свет совсем погас. И слышно было только волну и жалобный стон всего судна.

Я опять прислонился спиной к батарее и закрыл глаза.

6

Не рассказывал я вам про китенка?

Все-таки я, наверно, заснул, а в шторм всегда плохое снится. Я многих расспрашивал — на одного дома рушатся, и кругом разбитые головы, сломанные руки торчат из-под камней, кровь вперемежку со щебнем; другой — от змей не может избавиться, они по всей комнате ползают, некуда ступить; еще кто-нибудь голым себя видит — на улице, где полно людей. А мне — всегда снится снежное поле.

Я по нему бреду один, а вокруг намело сугробов, и меня самого заметает снегом. И вдруг мне кажется, что ведь эти сугробы — засыпанные люди, я только что с ними рядом шел, через метель, мы из одной фляжки отпивали по очереди, отогревались спиртом. И вот они все замерзли, только я один бреду еще, но и меня сейчас заметет. И меня ужас охватывает, хочу я их всех оторвать, разгребая снег руками — вот уже чью-то руку нащупал, холодную, вот чью-то голову. А меня всего леденит, и снег набивается в глаза, в рот и опять засыпает тех, кого я только что отрыл. Я уже из сил выбился, и меня тоже всего засыпало, и наваливается сон — такой, что я веки приподнять не могу. На минуту мне даже хорошо делается, тепло, но я-то ведь знаю — вот так и замерзают в степи, надо себя пересилить, выбиться из-под снега. И сколько я ни рвусь — все попадаю то локтем, то коленкой в мертвые животы, в мертвые лица, как будто в мешки с камнями...

Вот тут я просыпаюсь, и так мне нехорошо, и я думаю: о чем бы вспомнить мне, чтоб страшный этот сон развеялся? Хоть бы о какой-нибудь твари живой, которая только радость доставила и ничего другого. Вот про китенка, например, это самое лучшее. Я бы хотел его увидеть во сне. Но ни разу он мне не приснился.

Не знаю уж, как это вышло, что он к нам в сети попал; киты ведь у нас селедку не выедают, как акулы. А этот-то совсем был молочный. Может быть, он мамашу свою потерял, обезумел со страху и носился туда-сюда по морю — пока не напоролся на наш порядок. Запутался, рваться стал и еще больше наматал на себя сетей. Да не одних сетей, а поводцов еще и жожака.

И вот под утро вахтенный штурман прибегает в кубрик: «Ребята, сети выбирать. Срочно!» А что за срочность такая, что час докемарить не даешь? «Да нечисть какая-то попалась, пароход шатает!» Мы прислушались — и правда дергается пароход. Ну что — пошли, вытрясли сколько-то там сетей, подвирали эту нечисть к борту. Оказалось — синий китенок попался, вот и вся-то нечисть, но правда — редкость большая, их уже всех почти выбили. Ну, ладно, а что же с ним делать? Обрезать от него, выкинуть метров двести порядка? Но жалко всем: ведь погибнет китенок, он же весь спеленутый, плавником не пошевелит. А на нем тоже не разрежешь путы, это водолазов нужно звать, да

к нему и подплыть опасно, убьет и не заметит. «Давай на палубу вывирывать,— кеп приказал.— Что еще остается?»

Один шпиль не взял, врубили еще стояночную лебедку и еще «сушилку», которая между мачтами растянута, на ней мы сети сушим, и сетевыборка его тащила. В общем, все машинки, какие только есть на пароходе. Кто-то даже якорный брашпиль предложил приспособить, но побоялись цепью китенка покалечить. Да мы и так его вытащили — и машинками и руками тащили за подбору — сперва хвост, потом все остальное. Молочный-то он молочный, но зверь будь здоров, хвост у него с одного борта свешивался, а головой он лежал на другом. Сети мы на нем обрезали, растащили, а он себе полеживал, иногда лишь подрагивал кожей. Да мало сказать — подрагивал, от этого все лючины скрипели на трюме. Кто-то догадался — поливать его забортной водой, чтоб шкура не сохла, специально вахтенного к нему приставили. И китенок совсем успокоился, только посвистывал дыхалом. Красивых он был цветов — сверху черно-синий, а к брюху постепенно светлел. И что удивительно — все твари в море холодные, а к нему прикоснешься — как будто лошадь гладишь по морде, возле ноздрей.

Но что ж теперь делать с ним? Распеленали, а как обратно стащить в море? Это надо стрелу иметь с вылетом за борт, а такой на СРТ нет. Все работы на пароходе прекратились, рыбу не ищем, сетей не мечем: палуба китенком занята. И не пройти никак, не перепрыгнуть. Пытались через него лазить, но он от этого начинал беситься, сбрасывал с себя людей. Пришлось боцману из досок трап сколотить, и мы по нему бегали через китенка — из кубрика в салон, из салона в кубрик. Тут кто-то мысль подал: «А давайте его на базу вместо селедки сдадим, в нем же тонн восемь будет весу. Он нам план порушил, он же нам его и выполнит. Все равно без базы мы его не смайнаем».

А уже на всех судах заметили, что мы китенка везем, то и дело нашего «маркони» запрашивают: «Куда тащите кита? В этом возрасте охота на них запрещена, конвенции не знаете?» Насчет конвенции мы как-то не учли. Ну, мы же не китобои, дела с ней не имели. Кеп сразу расстроился: «Выловил кита на свою голову». Но делать-то нечего, все равно к базе идти — у нее машины, у нее стрелы. Чем ближе к базе, тем больше вокруг нас собиралось норвежцев, французов, англичан, фарерцев. Штук восемьдесят судов за нами увязалось, все про свою селедку забыли, один китенок и беспокоит. А он — полеживает и посвистывает, не знает ни про какую конвенцию. Когда уже подходили к базе, наперез нам вышел норвежский крейсер и три вертолета висели в небе — наверно, фотографировали нас с воздуха.

С крейсера приказали нам:

- Немедленно выпустите кита в море.
- Только об этом и мечтаем. Да снять не можем.
- Как же он оказался на борту?
- Сами удивляемся!

Я помню это утро, когда мы пришвартовались. Штиль был полнейший, ветер едва шевелил флажки на мачтах; синее небо, синяя вода, солнце — как в июле в Крыму. И все море — в судах, всех флагов суда, всех цветов, а в небе еще висели вертолеты. С базы нам подали шкентель, и мы китенка рифовым узлом обвязали за хвост. Крейсер нам еще посоветовал мешковину подложить, чтоб не поранить ему шкуру. И стрела его потащила в небо.

Тут он проснулся, китенок, стал рваться, весь извивался в петле. А мы под ним быстренько отшвартовывались и отходили. Очищали море. Потом с базы отдали риф, и китенок наш сиганул в воду. Тут же вы-

нырнул, взметнул хвостом, всплеск нам устроил — выше клотика. И ушел — на глубину. И что тут такое сделалось — «ура» на всех пароходах, гудки, ракеты полетели в небо!

Этот день был как праздник, честно вам говорю. Он и сам был хороший — такой синий и солнечный. И китенок был хороший. И мы все тогда были людьми.

7

Фонарь мне светил в лицо. Я зажмурился, отвел его рукой. Может, и этот мне приснился — маленький, в дождевике, в островерхом капюшоне.

— Мертвый час! А кто вахту стоять будет?

Я по голосу узнал третьего.

— Буров у вас где спит?

— Зачем он тебе?

— «Зачем». Вопросыки задаешь. На руль!

Я протер глаза кулаком.

— Какой может быть руль? У нас хода нет.

— Ты что? Спишь? Или ушки болят?

Я прислушался — и вправду что-то переменялось. Мелко стучит брошенная дверь. Чей-то сапог от вибрации ползает по полу.

— Починил «дед» машину?

— Кашляет. Все равно не выгребают. Так где артельный?

— Зачем же его будить, если я не сплю?

— А он что — больной?

— Не все тебе равно? — Я встал на ноги.

— Список есть, понял? Дисциплинка должна быть. Тогда все в норме, таких бардаков не бывает. Ну, хочешь — иди.

В капе стало слышнее: машина стучит с переборами, как будто вот-вот смолкнет. Чуф, чуф, чшш... Чуф, чуф, чшш...

— Тоже мне работа! — сказал третий. — Смех! — Он вынырнул в темноту, потом вернулся. — Э, ты не спишь? Мне за тобой второй раз идти охоты мало.

— Иду.

— Так и пойдешь в телогрейке? А курточка где?

— Пропала.

— Ну и дурак. Я говорил: махнемся. У меня б не пропала.

Я пошел за ним. Спросонья на его дождевик ориентировался. Сам он был легонький, как мартышка, от волны увертывался лихо, подскакивал, как на пружинке. Мы добрались до кухтыльника, вскарабкались по сетке на крыло. Дверь меня толкнула в спину — я полрубки пролетел и повис на штурвале. Потом огляделся — здесь еще кеп был, Жора-штурман и Граков. В радиорубке сидел «маркони» с наушниками, бормотал в микрофон:

— База, я восемьсот пятнадцатый... Как слышите, база?..

Я взялся за шпаги и навалился на штурвал грудью, а ноги расставил пошире. И тогда уже доложил по форме:

— Матрос Шалай. Разрешите заступить?

— Заступил уже, — сказал кеп. — Почему не Буров? Заболел, что ли?

Жора-штурман вместо меня ответил:

— Знаю я, чем он болен. И чем это лечат, тоже знаю. Ну стой, раз вызвался.

Кеп встал у телеграфа, подвигал рукояткой.

— Руль право клади, — сказал мне. — Право на борт. Не стой лагом.

— Есть.— Я положил руля до отказа. Без хода он совсем легко перекладывался.— Право на борту!

Кеп хмыкнул:

— Не разучился.

— Удивительно,— сказал Граков.— Как они у тебя вообще не разучились на вахту ходить.

Кеп не ответил, вынул свисток из переговорной трубы, которая в машину, и дунул. Там, внизу, свистнуло. Но никто не подошел.

Кеп заткнул трубу.

— Вымерли они там, что ли?..

Дверь распахнулась, кто-то ввалился и встал у крайнего окна, расставив ноги. Я покосился — «дед» обтирал руки ветошью и смотрел в стекло, заляпанное снегом и пеной.

— Что скажешь? — спросил кеп.

«Дед» ответил, не повернув головы:

— Твое теперь слово.

— А ход где?

— Пожалуйста.

«Дед» взялся за трубу, свистнул в нее. Там подошли:

— Второй механик слушает.

«Дед» снова встал у окна.

— Алё! — сказали внизу.— Слушаю.

— Скажите на милость! — Кеп подошел к трубе.— Ну, давай там, подкинь оборотиков. Средним хоть можешь?

«Дед» сказал, не поворачиваясь:

— Средним я ему запретил. Малым может.

— Зачем чинили, спрашивается? Если б ты его не остановил тогда, мы бы уже с базой встретились. Скажешь, опять глупости говорю?

— Опять говоришь.

Кеп вздохнул.

— Ты хоть перед матросом меня не порочь.— Он сказал в трубу: — Малым давай назад.

Шпаги мне надавили на ладони. Качка переменялась, пароход приводился кормой к волне.

— За малый тоже тебе спасибо, Сергей Андреич,— сказал Граков.— Теперь хоть шлюпку можно вывести с-на ветра.

— Шлюпка-то одна теперь? — спросил «дед». — Так... А кто же в нее сядет? Граков, кого посадишь в нее?

— Не понимаю вопроса. Есть инструкция, кому в первую очередь.

— Положено — пассажиров.

Граков сказал, усмехаясь:

— Ну, пассажиров-то, собственно, я один. Могу уступить свою очередь.

— Очередь или шлюпку?

— Сергей Андреич, по-моему, ясней ясного: в первую очередь люди постарше. Ну, а помоложе используют другие плавсредства. Что же делать?

— Ничего,— сказал «дед». — Я к тому, что и молодым жить хочется.

Граков развел руками. Одной верней, другой-то он за петлю на окне держался.

— Ну, не будем предаваться унынию. Насколько я знаю, опыт говорит другое. Люди по несколько часов держались. Кстати, и твой собственный опыт, Сергей Андреич.

— Ну, мне-то легче было,— сказал «дед». — Мне все-таки немцы помогли, ты же знаешь.

— Бросьте вы,— кеп вмешался.— Нашли время счеты сводить.

— Какие счеты, Петр Николаич? Просто Сергею Андреичу угодно подозревать меня, так сказать, в личной трусости.

— А я не подозреваю,— сказал «дед».— Я это просто наблюдаю визуально.

Граков помолчал и сказал с грустью:

— Николаич, ты, прости меня, здесь хозяин, в рубке. Так что попрошу вмешаться. И, может быть, кое-кого удалить. Не обязательно меня. В данном случае мою власть можешь не учитывать. Одного из нас. Это уж на твой выбор.

— Да бросьте вы... Тут без вас голова пухнет!

— Нет уж, Николаич, решай.

Кеп засопел, заходил по рубке от двери до двери.

— Так что? — спросил Граков.

— А ну вас...— Кеп взялся за голову.— Ну, Сергей Андреич, ну будь ты помирнее, ей-богу.

— Так,— сказал Граков.— Одному из нас предложено быть помирнее. Следовательно, удалиться нужно другому. Именно мне. Спасибо, Николаич, добро.

Он пошел из рубки. Но дверью не хлопнул, как я ожидал. Наоборот, очень даже вежливо прикрыл.

«Дед» повернулся от окна.

— Николаич, можно ли так себя терять, как ты потерял? Зачем ты шлюпочную пробил, когда судно еще на плаву и его спасти нужно и на нем спастись?

— Что хочешь сказать? Я людям губитель?

— Себе прежде. Ну, и людям тоже. Ты не подумал, что тебя с ними захлестнуть может, в такую погоду. А ты подумал, что тебе выгоднее все судно потерять вместе с сетями, чем одни сети. Тогда бы тебя не судили — ты команду спасал. А так, поди, и засудят — за то, что выметал перед штормом. Не знаю, сам ты до этого додумался или кто посоветовал... Я твое положение понимаю. Но уж коли попал между двумя страхами, так хоть выбирай, который побольше! И уж его одного бойся.

Кеп походил молча по рубке, встал у меня за спиной.

— Так и будешь держать право на борту? Одерживай.

Я отпустил штурвал, и он сам раскрутился. Я не удержал его локтем, навалился грудью, едва поймал его за шпаги.

— Поберегись, рулевой,— сказал «дед».— При заднем ходе и руки поломать может... Оно, конечно, лучше бы носом пойти, как люди ходят, да сети жалко бросить.

— Насчет сетей,— сказал кеп,— дебатов не будем разводить.

Опять он заходил от двери к двери. Прямо как тигр по клетке. Нервировал он меня здорово.

В переговорной трубе свистнуло — из его каюты. Кеп вынул свисток, приложился ухом. Труба ему что-то вещала раскатисто, с дребезгом.

— Добро,— кеп заткнул трубу.— Напоминает — глубину смерти. Нужны мне его напоминания. Ну-к, смерть-ка там.

Третий зашел в штурманскую. Запищал эхолот.

— Тридцать пять. Даже меньше.

— Скоро вожак начнет задевать,— сказал кеп.— Может, он удержит?

— Такого еще в мировой практике не было,— сказал «дед».— Так мы, глядишь, и в новаторы выйдем.

Мы смотрели молча в черные окна. Колко звенел об них снег, потом его смывало пеной.

Вдруг запищал передатчик, и «маркони» быстренько забормотал:

— База, база, я восемьсот пятнадцатый, вас слушаю.

— Как себя чувствуете, восемьсот пятнадцатый? — спросила база.

Кеп кинулся в радиорубку, схватил микрофон.

— На вас надеемся. Куда вы там делись?

— С буксирами тут поговорили. Два буксира спасательных к вам идут из Северного моря. «Отчаянный» и «Молодой». Не исключено, что они раньше нас подойдут.

— Исключено, — сказал кеп. — Знаю я эти калоши, «Отчаянный» и «Молодой». Мы все же на вас надеемся.

— Идем полным ходом. Вы тоже там двигайтесь веселее. Как слышите?

— Слышим-то хорошо. Двигаться не можем.

— Что с машиной? Не удалось починить?

— Да починили. Только не выгребаем.

— Не понимаю.

— Чуть только тормозимся. Что тут не понимать.

— Дайте максимальные обороты. Как слышите?

— Нет у нас максимальных. Малым идем.

— Ясно, — сказала база. — Ясно.

— Тут еще сети, — сказал кеп. — Сети нас тащат.

Там помолчали.

— При чем тут сети? Они у вас за бортом?

— В том-то и дело. И поводцы «нулевые».

— Почему метали? Было же штормовое предупреждение?

Кеп вздохнул.

— Слышали предупреждение. Да не всегда же они сбываются...

Ну, рискнули. Пожадничали. Теперь-то что делать?

— Двигайтесь встречным курсом. Как слышите?

— А сети?

— Двигайтесь встречным курсом. Насчет сетей решайте.

Послышался треск, все в нем пропало, слов не различить. Кеп подождал и вышел в ходовую.

Но база опять к нам пробилась:

— ...сот пятнадцатый ...ая глубина под килем? Глубину сообщите.

«Маркони» ей ответил.

— Ясно, — сказала база. — Ясно. Да, с сетями надо решать. — И пропала.

— Вот и решай, — сказал кеп. — Сами-то и совета не дадут.

«Дед» к нему повернулся от окна:

— Не это надо тебе решать. И база не о сетях твоих думает. Сейчас у тебя под килем тридцать пять. Скоро двадцать будет. База туда не пойдет.

— На двадцать — пойдет.

— Не уверен. Учти еще волну.

Кеп встал у меня за спиной:

— Рыскает он у тебя. Точней на курсе.

— Есть.

Он отошел. В радиции у «маркони» завывало, попискивало, потом прорезалось:

— ...сот пятнадцатый... ак слышите? — и пропало, запищала чья-то морзянка. Кеп даже не успел добежать.

— Что там у тебя?

— Да этот же плачет, — сказал «маркони». — Шотландец.

— Опять? Вот уж не вовремя.

— Почему? Как раз время.

Я повернул голову, посмотрел на часы — у него над столом. Было без четверти три, большая стрелка пришла в красный сектор. Началась первая минута молчания.

8

— Ну, послушай, если охота, — сказал кеп. — Нам тоже поведай. Морзянка еле прослушивалась.

— Не удалось ему движок запустить, — сказал «маркони». — Сносит.

Кеп повернулся ко мне. Я думал — он опять придерется, и завертел штурвалом.

— Помнишь его? «Герл Пегги».

Я удивился — не забыл он, кто тогда на руле стоял. Я-то думал — он лиц наших не различает.

— Помню.

Я-то помнил, как он прошел справа, синенький и белоснежный, чистенький, как со стапеля, и обошел, как стоячих, и как вышел из камбуза повар, выплеснул ведро помоев — у нас перед носом.

— Грубиян, — сказал кеп. — Ну... ему тоже хреново. Какие его-то координаты сейчас?

«Маркони» сказал ему. Третий ушел в штурманскую, зашелестел картой.

— Ого! Совсем труба. Килем, наверно, чешет по грунту.

— Он уж небось и скалы видит, — сказал кеп.

— Пока не видит. Скоро увидит. — Третий вышел в ходовую, сказал «маркони»: — Спроси его, видит он Фареры?

— И не вздумай, — сказал кеп. — Не вступай с ним.

— Да я и не могу, — ответил «маркони». — Это надо шибко грамотным быть, английский знать. Я только на жаргоне.

— И на жаргоне не нужно. Да, хорош у нас радист, английского не знает.

— Вы мне подскажите.

— Ладно, — кеп вздохнул. — Слезай с этой волны, с шестисот. Базу поищи. Все равно мы ему не поможем.

— Сейчас... Еще две минуты.

Я опять посмотрел на часы — стрелка еще была в красном секторе. Пошла вторая минута молчания.

— Да что толку, — сказал кеп.

«Маркони» не ответил, заработал ключом.

— Что ты ему там передаешь? Я тебе сказал: не вступай с ним.

— Я не с ним. Я с берегашами. Может, они его так и не услышали. У нас-то помощней рация.

— Ну, валяй, черт с ним. Поможем, чем можем.

— Тише, — попросил «маркони».

Кто-то заговорил в эфире — прямо изумительный был голос, бархатный, рокочущий.

— Понимаешь что-нибудь? — спросил кеп.

— Так... С пятого на десятое. Он сейчас по-русски скажет.

Но по-русски уже не мужчина говорил, а женщина. С чуть заметным акцентом, только сильно картавила. Но слышно было, как будто она тут с нами стояла, в рубке:

— Всем, всем. Береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике и стоящим на приколе в портах континента и островов. Вертолетам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи —

русский и шотландец. Их несет волною и ветром на Фарерские скалы. Примите их координаты...

Третий вдруг сказал:

— Правильный бабец. Эмигрантка, наверно.

— Все б тебе про бабцов,— сказал Жора.— Нашел времечко.

— Это я так. Про себя.

— И держи при себе.

Женщина умолкла. Я опять посмотрел на часы. Пошла третья минута молчания.

— Что-то никто не откликается,— сказал кеп.

— А что откликаться? — спросил Жора.— У всех карты есть.

— Да,— сказал кеп.— И забрался же он... Где никого нету. Одни мы болтаемся.

Стрелка на часах вышла из красного сектора.

— Слезай,— сказал кеп.— Ищи базу.

«Маркони» опять нащупал базу, послышалось:

— Восемьсот пятнадцатый, как дела?..

Но тут же морзянка стала ее забивать. Зацокала, рассыпалась, как соловьиная трель.

— Во чудик,— сказал «маркони».— И сюда всунулся.

— Кто?

— Да он же. «Герл Пегги».

Кеп удивился:

— Как же он эту волну нашел? Скажи, какой шустрый!

— Жить хочется,— сказал Жора.— Будешь тут шустрым.

Слов за морзянкой нельзя было различить. Потом и база начала переговариваться с шотландцем — тоже ключом.

— Что они там ему? — спросил кеп.

— Да то же, что и нам. Просят идти навстречу.

Свистнуло в переговорной трубе — из кеповой каюты. Кеп приложился ухом.

— Нет пока связи,— сказал в трубу.— Тут еще этот забивает, любитель морских ванн. С базой ему удалось связаться. Ну, пусть поговорит...— Он заткнул трубу свистком.

«Дед» вдруг повернулся к нему:

— Ну что, Николаич? Самое время теперь обрезать.

— Ты все про одно. Заладил. Может, мы их еще и выручим, сети.

Что-то у меня как-то надежда появилась.

— С чего бы? Оттого, что другим похуже?..— «Дед» вдруг рассердился.— Не понимаю я! Который час он тебе «сосит», а у тебя все голова за сети болит!

Кеп встал посреди рубки:

— Кто из нас не в уме? Скажи мне, Бабилов.

— Да кто же, если не ты? Моряк мне нашелся!..

— Капитан этого судна,— сказал кеп торжественно,— если надо, всегда помогал. Но когда у него ход был! И корпус не дырявый! А сейчас меня никто не осудит.

— Николаич,— сказал «дед».— Ты же позора не оберешься. Если ты сети выручишь, а людей — оставишь. На всю жизнь позора. Зачем тебе такая жизнь?

Кеп вдруг заорал на него:

— Ну где у меня ход? Ты мне его дал?

— Ход у тебя есть. Спуститься нужно по волне. Тебя к нему ветром принесет.

— А потом что? Тем же ветром — да об скалу! В фиорды ж теперь не пробьешься.

— Николаич, об этом потом и думают. А сначала — спасают.

— Позора не оберешься! — опять заорал кеп. Он стащил шапку и стал перед «дедом», на голову ниже его. — Да у меня лысина во какая, видал? К ней уж ничего не пристанет!

— Что же ты кричишь? Я вижу плохо, но не глухой еще.

— Я не кричу!

— Кричишь. Ты себя не слышишь. А в рубке не кричат. А командуют.

Кеп спросил тихо:

— Что я, по-твоему, должен скомандовать? Что я скажу экипажу? Идем за компанию погибать?

«Дед» молча на него смотрел.

Кеп себя постучал по лысине. Потом надел шапку.

— А чего? — вдруг спросил третий. — Парус поставим и рванем! Надо — резко! Моряки мы или не моряки?

— Ты помолчи, — сказал кеп. — Если на то пошло, «поцелуй» на твоей вахте случился... Ты это помни.

— Где ж на моей?

— Помолчи, — сказал Жора.

Третий закутался в доху с носом и засопел.

— Семеро их, — сказал «маркони». — Роковое, говорят, число. Мотоботик, поди. С автомобильным движком.

Кеп подошел к радиорубке.

— Ты что там с ним перестукиваешься? А базу не ищешь.

— Он же с ней на одной волне работает.

— Ты тоже ему чего-то стучишь, я слышу.

— Уже нет.

— Позывные свои небось сообщил ему?

— А как же не назваться? — спросил «маркони». — Он бы мне и координаты не сообщил.

— Вот он теперь в журнальчике и запишет: восемьсот пятнадцатый от меня «SOS» принял. А не пришел. На кой ты с ним связался? Мог же ты его не услышать.

«Маркони» к нему повернулся вместе со стулом:

— Но мы же его слышали.

— Сами полные штаны нахлебали. Имеем право не принимать.

— Но мы же его приняли!

Кеп не ответил, отошел. В трубе опять свистнуло.

— Нету, нету связи, — сказал кеп в трубу. — Да и чего людям наедать. Делают, что могут... Да я не нервничаю. Это тут некоторые... Шотландцу вот хотят помогать... Я и говорю: ополоумели.

«Дед» вдруг шагнул к нему, отодвинул, сграбастал трубу обеими руками:

— Слушай-ка, Родионич. Это Бабилов с тобой... Не гнети человека. Я с тобой не собирался говорить, нам не о чем, но приходится. Не гнети ты его. Он себя потерял — с тех пор как ты на судне. Зачем ты из него дерьмо делаешь? Я тебя прошу, и все тебя просят...

Труба не дослушала, заверещала. «Дед» поморщился, взял у кеп свисток и заткнул ее. Труба тут же свистнула. Тогда «дед» вынул свисток и вместо него затолкал ветошь, которой он руки обтирал.

— Грубый ты, — сказал кеп. — Ты хоть кого-нибудь уважаешь?

Я вспомнил про компас — картушка у меня сильно залезла вправо — и завертел штурвалом.

— Ты что, матрос? — спросил кеп. — Ты лево не ходи. Так и вожак порвать недолго.

— Есть не порвать.

«Маркони» опять искал базу: «Я восемьсот пятнадцатый, как слышите?», а когда она откликнулась, и мы все замирали, и кеп кидался в радиорубку, вдруг снова влезал шотландец со своей морзянкой и щебетал, выстукивал. Три точки, три тире, три точки. Мне страшно, несет на скалы, глубина под килем... координаты... Я зову вас, а вы не откликаетесь!

Они, наверное, тысячу раз проходили под этими скалами, знали, что их ждет. И, наверное, все надежды уже потеряли. Тут ничего не поделаешь. И ангел не явится, и чайка не прилетит. Просто рука у ихнего «маркони» сама выстукивала: три точки, три тире, три точки.

Потом все смолкло. Но это не шотландец умолк, это наш «маркони» перешел на шестьсот метров, потому что была уже четверть четвертого и стрелка снова пришла в красный сектор.

Там он опять защебетал. Его слушали целую минуту. Потом заговорила береговая:

— Примите радио шотландского траулера. Всем, кто пытался нас спасти. Вы сделали все, что могли. Мы понимаем. Мы всем вам желаем счастья. Передайте приветы нашим близким.

И никто на это не откликнулся. Это правда, у всех были карты.

Кеп встал против окна, заложил руки за спину. По стеклам ляпало пеной, потом снегом и снова пеной.

Я сказал:

— Их там уже нету, сетей.

И почувствовал, как у меня задрожали ладони на шпагах. Все, кто был в рубке, уставились на меня.

Кеп спросил:

— Почему думаешь?

— Он жожаковый, — сказал Жора. — Ему видней.

Кеп смотрел на меня:

— Ты что, трос пощупал?

— Да.

— А чем ты его щупал? — спросил Жора. — Не топориком?

Я сказал:

— Да.

— То-то слышно было, — сказал Жора, — по капю звездануло.

Кеп снял шапку, вытер ею лицо. Он даже вспотеть успел в один миг.

— Почему же молчал?

«Дед» за меня ответил:

— Николаиц, он тоже страху подвержен.

— Ты знаешь, — спросил кеп, — что ты под суд пойдешь?

— Знаю.

— И что я с тобой вместе?

— Когда рубил — не знал.

«Дед» сказал:

— Он правду говорит.

— Ну что, вместе посидим. На одной скамеечке. Как думаешь, веселей нам вдвоем будет? — Кеп снова надел шапку. — Поверни пароход носом. Пойдем, как люди. Клади лево руля.

Я положил. «Дед» переключил телеграф на передний. Рубка накренилась почти отвесно — когда мы повернулись лагом, — потом выровнялись.

— Одержжи, — сказал кеп. — Вот так. Спасибо, рулевой. А теперь выйди к собачьим чертям из рубки. И чтоб я тебя больше никогда в ней не видел.

— Выйди, — сказал «дед».

Жора-штурман принял у меня штурвал.

— Разбуди там Фирстова.

Когда я выходил, кеп сказал «деду»:

— Ты еще про шотландца заикаешься. А мы и без сетей-то, оказывается, не выгребали...

Я шел напрямик, от волны уже не спасался. Даже подумалось: а пусть смоеет к чертям. Вот именно, к чертям собачьим. Меня еще с вахты не выгоняли.

В кубрике еле светился плафон. Карты валялись на полу. Не знаю, чем они там кончили, Шурка с Серегой, кто кого.

Я растолкал Серегу, он сказал: «Ага, сейчас иду» — и опять заснул. Я его стащил с верхней койки на стол. Он покачался, спросил с закрытыми глазами:

— Идем куда-нибудь?

— Полным ходом к базе.

Я сунул ему в зубы папиросу и зажег. Он затянулся и совсем очухался, стал одеваться. Я его выпроводил и полез к себе в койку.

— Сень,— вдруг спросил Митрохин,— что там на мостике говорят: потонем мы или нет?

Тут я немножко взбесился:

— А что на мостике, больше твоего знают? Свой «голубятник» не работает?

Он не обиделся. Сказал мне печально:

— А я, знаешь, письмо нашел в телогрейке. Свое, домой. Хотел на базе отдать и забыл.

— Ну, братана ты хоть встретил.

— Да. С ним-то я попрощался. А баба письма не получит.

— Ты спи давай. Хочешь — я свет вырублю?

— Не надо.

— Ты ж не заснешь со светом.

— Я и так не засну. А со светом все-таки легче.

Я лег в койку и вытянулся. Устал я, как ни разу в жизни.

— Слушай,— вдруг спросил, сам от себя не ждал.— А ты почему с открытыми глазами спишь? Ты это знаешь?

— Знаю. Это давно у меня. Я уже тонул раз. И так же вот свет погас. Потом даже в психическую попал.

— Ну, ведь тогда же все-таки спасся. Может, и теперь...

— Сколько ж веревочке виться, Сенья?

Он что-то начал рассказывать мне, про какие-то свои предчувствия, но я уж не слушал, дремал. И не мешало мне, что перекатывает в койке.

Сколько я проспал? Мне показалось — минуту. Так оно, верно, и было.

Я услышал — кто-то бежит, врывается в кап. И сапоги бацают по трапу, наши, полуболотные. Двадцать ступенек трапа — двадцать ударов мне в уши. И крик:

— Бичи! Подымайсь, есть работа на палубе! — Это Серега орал, как будто мертвых будил на кладбище. — Шотландец тонет! Шотландца идем спасать!

Глава пятая

ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ЧТОБЫ УЙТИ

1

Я лез по трапу и видел — оба прожектора врублены, но светят, что называется, один другому: заряд валил, какого я не видывал. Снизу его хоть смывало волной, а на мачте, на вантах нарастали бороды, как на соснах в тайге.

Сколько прошло, как Серега обратно побежал на руль, а в кубриках не шевельнулись. Один я вышел сдуру. Вдруг из снега вынырнула фигура — огромная, лица не видно под капюшоном. Надвинулась на меня, и я узнал «деда».

— Ты, Алексеич? — потащил меня вниз. — Почему ж не выходят? Работа есть на палубе.

На комингсе кто-то сидел. «Дед» об него споткнулся, выругался и посветил фонарем. Это Митрохин сидел, таращил глаза.

— Совсем хорошо. Еще один пробудился.

Но я-то знал, что он спит, хотя оделся и пересел сюда из койки. Я его взял под мышки и отсадил.

— Подымайсь!

Не шевельнулись.

— Да, — сказал «дед». — Так не выйдет.

Он перешагнул в середину кубрика, раскинул сапоги, роканы, телогрейки, стал отдергивать занавески.

— Сварщик! — «Дед» узнал Шурку, стал его трясти. — Замлел, сварщик? Ну, встанем, подыдемся...

Шурка замычал, но глаз не открыл. «Дед» его вытащил, пересадил на стол. Шуркино лицо запрокинулось — совсем неживое.

— Ты поддержи его, — сказал «дед». — Этот-то наш, в активе. Я за другого примусь.

Другой был Васька Буров. Лежал он такой успокоенный, руки на груди, бороденка выставилась в подволок. Хоть медяки ему клади на веки. «Дед» к нему присел на койку, взял за плечи и посадил.

— Вставай, артельный! Не спишь ведь.

— Ну, не сплю, — сказал Васька с закрытыми глазами.

— Людям надо помочь, такое положение. Я-то думал — артельный наш, главный бич, первым на палубу вышел, другим пример показал. А ты тут лежишь. В белой рубашоночке, хорошенький такой... Помирать, что ли, собрался?

— Тебе-то что?

— Да зачем же, это само к нам придет. А люди без нас погибнут, если ты не встанешь.

— Какой там еще шотландец! Никуда я не выйду.

— Выйдешь. Я не шутя говорю.

— «Дед», — я сказал, — ты только не бей его.

— Зачем? Он сам встанет.

Шуркина голова перевалилась ко мне на плечо. Он мычал и понемногу очухивался. А «дед» встряхнул Ваську, и Васька открыл глаза. Лицо у него сморщилось, вот-вот он заплачет.

— Сами-то уже пузыри пускаем.

— Но у нас-то хоть надежда есть. А у них — никакой. Ну, артельный! О чем ты думаешь, мне хоть скажи...

— Мало ли о чем... Чего ты с меня начал? Молодые есть. А я — старый.

— Сколько же тебе?

— Сорок два.

— Вот те здорово! Что ж про меня-то говорить? Совсем, значит, песочница? Нет, это у нас неинтересный разговор.

«Дед» его вытащил из койки. Васька встал на ноги и всхлипнул.

— Где его шапка? Ты, сварщик!

Шурка наклонился молча и поднял Васькину шапку.

— На! — сказал «дед». — Лысину прикрой, молодой будешь.

Васька, под нахлобученной шапкой, опять закрыл глаза и всхлипнул:

— Все равно же я опять лягу.

— Ложись, черт с тобой,— «дед» рассердился.— Смотреть на тебя, чуело!..

Васька наклонился за своей телогрейкой. «Дед» подошел к салагам:

— Ну, а как романтики наши? Сами встанут или помочь?

— Встали уже.— Димка с запухшими глазами покачался сидя и спустил ноги.— Алик, не спишь?

Алик молча полез из койки. «Дед» пошел в соседний кубрик. Там дверь была на крючке, он подергал, потом навалился плечом и вломился в темноту.

— Почему лежим, когда артельный встал?

— Иди ты...— бондарь ему ответил. И сказал, куда идти. В такое жуткое и далекое, что и не придумаешь.

«Дед» ему не дал закончить. Смачно ударил кулак по лицу, и рев раздался, дикое какое-то рычание, и чье-то тело шмякнулось. Там свалка началась, сапоги стучали, хрипящая ругань доносилась. Я вмиг озверел и кинулся за «дедом». До смерти испугался, что они там его забьют — ударят чем-нибудь по голове спросонья. Но «дед» вышел мне навстречу.

— Ступай на палубу. Ты у меня первым должен выйти.

Я пошел и оглянулся — «дед» вламывался в боцманскую каюту. Оттуда метнулся свет, а в луче вылетел дрефтер — босоногий, в исподнем, вслизился в переборку и завопил. Затем дрефтеровы сапоги вылетели и дрефтерова телогрейка, а после тем же порядком боцманское хозяйство полетело и напоследок — сам боцман.

— Встаем, чего драться-то?

Боцман держался за скулу и сплевывал. «Дед» вышел, толкнул его обратно в каюту и поднялся ко мне. Лицо у него было белое, страшное, на лбу выступили крупные капли. Он дышал хрипло и вдруг закрыл глаза, навалился на меня — тяжелый и вялый. Я хотел его посадить на трап. Но он отдышался.

— Ничего,— сказал,— подымутся, не могут не подняться. Повезло нам с этим шотландцем.

— Как ты? Стоять можешь? Плохо тебе?

— Стою... Проследить надо, чтоб все вышли.

Он опять спустился. Там шла уже мирная возня, хотя кто-то еще поругивался, отводил душу,— но поднимались, как на выметку.

В кап вылез дрефтер — с помятой рожей. Стоял, ежился, грел руки под мышками, а варежки зажал между колен.

— Все, дриф,— сказал я ему.— Труба твоему сизалю.

Он спросил равнодушно:

— Сети обрубил? И дурак. Такая рыба сидела. Ты буй-то хоть привязал, горящий?

— А что он их — удержит?

— Подобрали бы... Если живы будем.

— Где? На скалах?

Вылез в кап бондарь.

— Слыхал? — дрефтер его спросил.— Отличился наш Сеня-вожак-вый, порядок угробил. Всю команду без коньяка оставил.

Бондарь покосился на меня.

— От него только и жди вреда.— Но увидел мое растерзанное плечо и сказал, глядя в сторону: — Растирай, а то рука онемееет. Будешь ты нам помощничек!

Боцман тоже поднялся, покачался с ноги на ногу.

— Вот дьявол-то паршивый,— сказал.— нашел же время тонуть! Ну, чо стоим? Раз уж не спим, работать будем.

— Сейчас «дед» ЦУ¹ даст,— сказал дрефтер.

— А что нам «дед», сами не сладим? — Боцман приложил ладони ко рту: — Эй, на мостике! Питание на брашпиль!

Из рубки донеслось:

— Даем питание...

И сразу прожектора потускнели. Вот тебе и питание. Брашпиль еле тянул, двух якорей не потащил сразу, да и по одному едва-едва.

— Скисла машиненка,— сказал дрефтер.— Так только кота тащить. Ох, и надоел же мне этот пароход! — Взял багор с полатей, зацеплял и подтягивал якорную цепь за звенья, вроде бы помогал машине. Мучение было тут стоять, под зарядом и брызгами.

— Боцман! — позвал «дед». — Ты парус-то — помнишь, где у тебя?

Боцман заворчал:

— В форпике! Где ж ему быть?

«Дед» заснеженной глыбой пробрался к нам на полубак, нашарил форпиковый люк сапогом, зазвякал задрайкой.

— погоди ты! — боцман не вынес. — Ты в мое-то хозяйство не лазий. В форпик нахлебаем, так это нам в кубрике натечет.

Он сам его отдраил, а мы — кто присел на корточки, кто лег на палубу, чтоб хоть защитить немного форпик от носовой волны. Боцман там долго возился в темноте, чем-то гремел, звякал.

— Где ж он тут есть, мой хороший? Где ж я его сложил? Да посветите хоть, черти!

«Дед» просунул в люк руку с фонарем. Боцман сидел на каких-то канистрах, с парусом на коленях.

— Да он же у тебя!

— Ну! Так ты думаешь — я его ищу? Я фаловый угол ищу. Специально я его сложил, кверху дощечкой, а вот не нахожу. Нет, это шкотовый...

Дрифтер заорал:

— Да тащи! Тут разберемся!

— Разберешься ты. Вот, нашел! — Протиснул сложенную парусину в люк. — Руку-то не оборвите, я за фаловый держусь.

Он его не отпускал, ухитрился одной рукой задраить люк, а потом бежал за нами по палубе, спотыкался и все-таки держал. Парусина развернулась у нас, углы волочились по воде и набухали, тяжелели, дрефтер в них запутался и упал. К нам еще несколько кинулись навстречу, подхватили, поволокли к мачте. А боцман все держался за свой угол.

— Держу, держу, ребятки! Главное — фаловый не потерять.

Парусину свалили на трюмный брезент. Она уже почти вся распеленалась, разлезлась тяжелыми складками и покрывалась снегом, покуда он ее привязывал к грота-фалу.

Из рубки кричали:

— Боцман! Что там с парусом? Есть парус?

— Будет!

Он подпрыгнул и повис на фале, с ним еще двое повисли, и парусина — намокшая, тяжелая тряпища — дернулась, поползла вверх по мачте, а книзу спадала серыми складками, почти даже не гнушимися. А мы, времени не теряя, разносили нижнюю шкоторину по стреле, которая теперь стала гиком, и привязывали гика-шкот за утку на фальшборте. Те трое еще и еще подпрыгивали и перехватывали фал, передняя шкоторина ползла, вытягивалась вдоль мачты, и постепенно складки расправлялись, уже начали набиваться ветром, уже и гик начал дергаться, и наконец передняя шкоторина вытянулась вся, ударилась в оковку

¹ Ценные указания.

топенанта. И тут парусина ожила, первый хлопóк был — как будто кувалдой по бревну, потом заполоскала, мерзлый грота-шкот заскрежетал в оледеневших люверсах, и разом выперлось пузо — косой дугой, латы на нем затрещали, с них посыпались сосульки. Холод палил нам лица, сжигал брови и губы, но мы стояли, задравши головы, и что-то в эту минуту переменилось в нас самих: ведь это была уже не тряпка, а — парус, парус, белое крыло над черной погибелью; такой же он был, как триста лет назад, когда мы по свету бродили героями и не знали еще этих вонючих машин, которые и отказывают в неподходящую минуту. И даже поверилось, что раз мы это чудо сделали — еще, быть может, не все потеряно, мы еще выберемся и поживем, еще увидим берег.

«Дед» послыл палец — хотя зачем его было слюнить? — поднял кверху, сказал:

— Полный бакштаг левого галса!

Я увидел его лицо под капюшоном — все в морщинах и молодое. И еще он сказал:

— Боцман! Спасибо тебе за парус!

— Да кой-чего смыслим! — боцман ему ответил. — Не совсем по ж... деревянные.

— Молодец! Давай мне теперь четверых на откачку.

2

Помпа была там же, где мы ее и бросили — в узкости, под фальш-бортом, — только еще снегом засыпана и завалена брезентом — с брашпиля. Вон его куда занесло.

Вчетвером — Шурка еще, Алик и Васька Буров — мы эту дуру опять перевалили через комингс. Опустили шланг и тут лишь вспомнили, что он же не достает до воды.

— А хрен с ним, не достает! — сказал Шурка. — Сейчас придумаем, чтоб доставал. Вниз ее, сволочь, смайнаем. — Он уже лез по трапу и помпу рвал на себя.

— Нелогично, — сказал Алик. — Он тогда доверху не достанет. Что от носа до хвоста, что от хвоста до носа — тот же крокодил.

— Тащи, крокодил!

— Да чего ты хочешь? — я спросил.

— Чего, чего! На верстак поставим, все же повыше. А ты, салага, вниз не ходи, шланг будешь держать.

Стащили на верстак. Я на одном плече встал, Шурка на другом, а Васька внизу, в воде, нажимал то на мой рычаг, то на Шуркин. Шланг зашевелился, помпа пошла тяжело.

— Качаем, ребята! — Шурка обрадовался. — Ну, как там, салага, не достает?

— Прелестно! — Алик ответил сверху. — Только его держать не надо. Я его просто дверью прижал. А сам буду ведром помалу. — Спустил ведро на штертике, зачерпнул и потащил кверху.

Очень нам это понравилось. Хоть и расплескивалась половина. Алик смеялся:

— Малая механизация!

— Растет салага, — сказал Шурка. — Такой умный стал — прямо дельфин.

— Дельфины — интеллектуалы моря. Нам до них далеко!

— Ты качай, качай! Не откачаем — так будем близко.

— Скажи мне, Шура, почему же мы раньше до этого не додумались?

— До чего?

— Помпу на верстак.

— Не всё ж сразу. Ты качай!
 — А все-таки, Шура?
 — Уймись ты, салага. Там люди гибнут, а ты разговоры разговариваешь. Качай!

Салага, однако ж, не унимался.

— Бедные мои бичи,— сказал он,— вот сейчас вы мне нравитесь.

— Ну? — спросил Васька.— Чем же?

— Вы мне сильно нравитесь, бичи! Я прямо влюблен в вас.

Шурка спросил:

— Ты, часом, не рехнулся? А то скажи, сменят тебя.

— Не исключено. Все мы немножко рехнулись. Но я запомню эту минуту, бичи.

— Чем же хороша?

— И вы тоже запомните, пожалуйста. В ней есть момент истины!

— Чего? — Шурка даже качать бросил.

Славное было лицо у салаги, но и правда — как у малость свихнутого.

— Как вам объяснить, что такое «момент истины»? Ну, это... когда матадор хорошо убивает быка. Красиво, по всем правилам.

— И что ж тут хорошего? — спросил Васька.— Животную убить?

Алик призадумался:

— Да, это не совсем то... Но я остаюсь при своем мнении.

— Ничо, салага.— Шурка опять стал качать.— Мы тебя все равно любим. Но ты качай все-таки.

— Между прочим,— спросил Алик,— до каких пор я буду салага?

Мы опять бросили качать.

— Действительно,— сказал Шурка.— Оморячим его? Понимаешь, мы б тебя сейчас на штертике окунули, да ты и так мокрый. Считай — на берег ступишь, бич будешь промысловый по всей форме.

— Я это сделаю символически. С вашего разрешения.

— Как, как?

— Ну, вместо себя — окуну ведро.

— Во! — сказал Шурка.— Это самое лучшее. Качай, не салага! Качай!..

Мы закачали, как начисто свихнутые. Потом начали выдыхаться. Васька меня сменил на верстаке, а я стал в воду. Во всякой работе должен же быть где-то и отдых. Так он у нас был в воде.

Васька поплевал на руки и сказал:

— Семьдесят качков сделаю и помру.

Он и правда стал считать, да сбился. Потом Шурка стал в воду, а я полез на верстак. Целый век мы качали, все паром окутанные, и двигатель нам уши забивал стуком, и дыхание заходило в груди — такой воздух был в шахте. Странное появилось чувство — будто кто-то другой, не я, качал этой дурацкой помпой — вверх, вниз, вверх, вниз, — только б не упасть с верстака, когда он ходуном ходит под ногами и доски вот-вот разойдутся. Все это с кем-то другим происходило, а я со стороны наблюдал, когда же у него все внутри оборвется? Очень близко было к этому...

— Алексеич,— позвал «дед» сверху.— Поди ко мне.

По трапу нам смена спускалась — дрифтер с бондарем и Митрохин. «Дед» меня вытащил за руку и наклонился над шахтой:

— Шепилов! Ты там, что ли, мерцаешь?

«Мотыль» Юрочка выплыл из пара, как из облака.

— Давай-ка подкинь оборотиков.

— Сергей Андреич, опять перекалим движок.

— Ничего не поделаешь,— сказал «дед».— Теперь уж давай на износ.

«Дед» пошел наверх, на крыло рубки. Я за ним.

— Зачем звал, «дед»?

— К шотландцу подходим. Стыкнуться надо.

— Это как?

— Вот вместе и подумаем.

Всю дорогу — когда поднимали парус и когда тащили помпу и качали, — все это время я думал: как же мы с ними стыкнемся? На такой волне подойти — смерть. Ну, а на что мы еще шли? Вот уж действительно — все мы рехнулись.

Мы вышли на крыло. Иллюминатор в радиорубке светился. Я припал к нему — «маркони» сидел за столом, упершись локтями, в ладонях зажал голову с наушниками. Губы у него шевелились, как у припадочного. Кеп расхаживал мимо двери, заложив руки за спину. Вошел, что-то сказал «маркони». Старенький он стал, наш кеп, весь сторбился. Снял шапку и вытер лысину платком.

— Где ты там? — спросил «дед».

Он полез выше, на ростры. Там ветер с ног валил. И ни зги не видно: «Дед» светил фонарем — на полметра, не больше.

— Что ты ему сказал? — спросил я «деда».

— Кому?

— Кепу. Почему он вдруг повернул?

— Так, ничего особенного. Сказал: с тобой в «Арктике» за столик никто не сядет.

Смешно мне стало — чем можно человека напугать, чтоб он все другие страхи забыл.

— Ты не смейся над ним,— сказал «дед».— Он еще за твои подвиги ответит. Тебя-то легче выручить.. Где он тут его держит?

— Чего?

— Да линемет.

«Дед» стоял над боцманским ящиком, светил туда, шарил среди штертов, всяких там гачков, талрепов, чекилей.

— Вот он.— Вытащил линемет с самого дна.— Смотри-ка, и пиропатронов комплект. Ну, боцман!

— Леерное сообщение будем налаживать?

— Пожалуй. Только гильзы к чертям просытели, мнутя.

— Крышка была открыта?

— Была. Ох, найти бы, кто... Ладно. Все глупостей наделали. А я первый. Ну что — пальнем один, для смеха?

«Дед» заложил патрон, выставил линемет в корму и нажал на спуск. Только курок щелкнул.

— Осрамимся,— сказал «дед».— Осрамимся перед иностранцами.

— Может, подсушим?

— Это надолго. Это — не подмочить; там, поди, и пяти минут хватило.

— Больше. Он, знаешь, сколько стоял открытый? Как шлюпку вываливали.

Я теперь точно знал, кто ящик не закрыл. Димка, кто же еще? Когда сплескивал фалинь. Ну, черт с ним, все глупостей наделали.

— Придется руками,— сказал «дед».

— А добросим?

— Я — нет. Ты добросишь. Ты молодой, зоркий.

Мы вытащили бухту манильского троса, скойлали ее на две вольными шлагами, к середине я пиратским узлом привязал блок и бросательный конец — тоже из манилы, но тоненький, с грузиком.

— Отдохни,— сказал «дед».

Я сел прямо на палубу, спиной к ящику, а грузик держал в руке. Тут я опять вспомнил про свое плечо. На помпе я еще натрудил его, а как же бросать теперь: ведь оно у меня правое. Может, сказать «деду», тут ничего стыдного. И вдруг я услышал шотландца. Мы ему погудели, и вот он откликнулся — слабеньким гудком.

«Дед» отвел капюшон, приставил к уху ладонь. Значит, и он слышал, не померещилось мне.

— Ну, здарсьте,— сказал «дед». — Вот и мы.

Загудело откуда-то сбоку. Едва мы не проскочили.

— Парус! — закричал «дед». — Парус зарифили?

С палубы кто-то ответил:

— Убрали уже, сами не глухие.

«Дед» кинулся на верхний мостик, припал к трубе:

— Справа по курсу — судно. Питание на прожектора!

Он сам взялся за прожектор, направил его, и я увидел — сквозь брызги, сквозь заряд — зыбкую тень на волне.

— Видишь его, Николаич? — спросил «дед».

Пароход весь содрогнулся от реверса. Медленно-медленно мы подваливали к шотландцу.

Теперь уже ясно было видно — он к нам стоял кормой. Ох, если бы стоял! А то ведь взлетал выше нас, к небу, а после проваливался к чертям в преисподнюю.

— Ближе не можешь? — кричал «дед». — Ну-ну, Николаич, и за это спасибо.

Там в корме показались люди — в черных роканах с белой опушкой. Я еще отдыхал пока, с грузиком в руке, прислонясь плечом к ящику. А наши уже там высыпали, сгрудились по правому борту.

— Бичи, их-то, их-то как залило! Ну как перекосились!..

— На «Пегги!» — боцмана глас прорезался. — Концы ваши — где? Концами я, что ли, должен запастись? Салаги, синбабы, олухи царя небесного!..

«Дед» перегнулся через поручень:

— Потихе, Страшной! Здесь конец. Мы будем подавать.

— Это почему же — мы?

— Потому что они — бедствующее судно.

— А мы не бедствующее?

— Помолчи, Страшной!

— Я-то помолчу. Только почему всегда рус Ивану должно быть хуже?

— Это много ты хочешь знать, Страшной,— кричал «дед» весело. — Слишком даже!

Корма шотландца еще чуть приблизилась.

— Бросай, Алексеич!

Я пошел с грузиком к поручням. «Дед» мне поднес обе бухты к ногам, и я их пощупал сапогом для верности. «Дед» на меня направил прожектор, чтобы шотландцы меня увидели с бросательным, другим прожектором повел к ним на корму.

— Бросай, не медли!

Там их стояло трое. В середине — чуть повыше. Кто же из них поймает? Бросательный был почти весь у меня в руке. скойлан меленькими шлагами, а обе бухты под сапогом, я их еще раз пощупал. Животом прижался к поручням и кинул.

Бросательный с грузиком мелькнул в луче, как змейка, и упал к ним на поручни. Они засуетились там, захлопали рукавицами. И помешали

друг другу же. Или не разглядели как следует конца. Я почувствовал, как он ослаб у меня в руке.

Я вытянул его и снова скойлал себе в левую руку маленькими шлагами, а грузик взял в правую. Зато уж я точно теперь знал, сколько мне надо длины.

Из рубки уже орать начали:

— Что там с концом?

— Ты не слушай,— сказал мне «дед».— И не торопись.

Может быть, просто рука у меня поехала, из-за проклятого плеча. Он упал у них под самой кормой. Тут и багром не достанешь.

— Торопись! — сказал «дед».

Я теперь койлал его, сжав зубы, чтобы не дать себе заспешить. И кинул я хорошо. Размахнулся не спеша, а кинул рывком, с подхлестом, чтоб грузик завертелся в воздухе.

Он упал длинному на плечо, я это преотлично видел. А он захопал себя рукавицами по груди, как будто комаров бил... И пропал из луча. Корма у них взлетела, а мы стали проваливаться, и у меня сердце провалилось, когда почувствовал, как он опять ослаб у меня в руке.

— Сволочь ты косорукая! — я ему крикнул, долгому. Мне плакать хотелось, что он такой конец упустил.— Убить тебя мало!

— Что тебя так развезло? — «дед» на меня заорал.— Истерику закатил, как девушка в положении. Бросай!

— Сколько ж я буду бросать — раз они не ловят?

— Будешь бросать, пока не словят!

Я его опять вытянул, взял в правую, сколько нужно по весу. И ждал, когда мы сравняемся.

Грузик ему полетел в лицо. Это я очень даже прекрасно рассчитал. Он увидел, что грузик летит ему в рожу, и отпрянул, и грузик перелетел через поручень. Как словили, я уже не видел, корма у них снова пошла вверх и пропала. Но конец полетел у меня из руки, ожег ладонь.

— Есть! — заорал я «деду».— Работает кончик!

Обе бухты стали разматываться.

«Дед» кинулся ко мне, сграбастал одну в охапку и понес к поручням, швырнул вниз.

— Держи, Страшной! Это тебе — ходовой.— Потом вторую: — Это тебе — коренной. Плотик приготовили?

— Плотик? Это сейчас, это у нас бы-ыстренько!..

— Мать вашу! Сами вы синбабы. Нет чтобы дело сделать...

Я только следил, чтобы леер прошел по всем поручням без задева.

— Пошли,— сказал «дед».— Или ты сомлел?

— Немного.

— Все равно вниз иди, на ветру не стой. Мы еще жить собираемся!

Я сошел за ним на палубу. Кто-то там на полатах возился, скидывал поводцы с плотика, и боцман причитал, чтоб добром не раскидывались, аккуратно бы складывали в капе. Наконец стащили плотик, привязали к ходовому концу штертом, вывалили за борт. И плотик исчез из глаз, ребята лишь потихоньку подвирывали к себе коренной. Потихоньку — это так только говорится, с каждой волной его рвало из рук, и весь он обвис примерзшими варежками.

А я ничего не делал. Вот просто сел на трюм, держался за какую-то скобу и смотрел. И никто не орал на меня, что я сижу, ничего не делаю. Бондарь — и то не орал. Ну, я свое дело сделал. А теперь посижу, на других посмотрю.

Леера у них рвались из рук, возили их по палубе, били животами о фальшборт.

— Васька! — орал дрифтер. — Буров, ты где там сачкуешь? У тя брюхо-то моего толще, давай вперед, амортизируй!

Васька, конечно, сзади сачковал. Но вылез самоотверженно.

— Ох, бичи, что ж от моего брюха-то останется? Шибает!

— Стой там, ничего, амортизируй!..

Дрифтер с «дедом» над всеми высились. Похоже было, они-то и держали концы, остальные только «амортизировали».

Вдруг Васька закричал:

— Стой! Стой, бичи, дергают! Сигнал дают — плотик назад тащить. Вирай теперь ходовой!

Поташили. Кто-то спросил:

— Пустой идет?

— Вроде нет, потяжелее стал.

— Сидит в нем какая-то личность!

Боцман выскочил из этой оравы, сложил ладони у рта:

— Мостике! Прожектор — на плотик!

В рубке грохнула дверь, кто-то забалачил сапогами — к верхнему мостику. Луч побежал — по вспененной злой воде, по черным оврагам — и в секучих брызгах нашарил плотик. Как будто схватил его рукою — крохотный плотик, белый с красным... И человека в плотике.

3

Весь он был черный, только мех белел вокруг лица и на манжетах. Уже видно было, что руки у него без варежек и как он вцепился в петли и жмурился от прожектора.

— Полундра, ребята! — сказал «дед». — Человека не разбить. Натяни оба.

Плотик уже был под бортом и снова отошел. Выжидали волну. А несчастный шотландец болтался — то вверх, то вниз, — выпадал из луча, и снова его нашаривали.

— Дриф, — позвал «дед». — Давай-ка с тобой, они концы подержат.

Они вдвоем встали к фальшборту, перегнулись. Остальные назад отошли, уперлись ногами в палубу, спружинивали концы. «Дед» командовал:

— Левый потрави... Теперь правый помалу.

— Держу! — дрифтер взревел.

— Держи, не упускай! Вот и я держу...

Они рванули разом, и шотландец прямо взлетел над планширом. — Скользкие у них рокана! — сказал дрифтер. — Как маслом облитые.

«Дед» перехватил шотландца под мышки, рванул на себя и повалился с ним на палубу. Бичи кинулись поднимать.

— Куда! — заорал «дед». — Концы держать, сами встанем.

«Дед»-то поднялся, а шотландец так и остался сидеть под фальшбортом, только ноги поджал, чтоб не отдавили.

— Алексеич, — позвал «дед». — Сведи человека в салон. Вишь, он мослы не волочит.

Шотландец улыбнулся мне — как-то виновато, замученно. Лицо у него было как мел. Поднял руку — всю в крови, содранная кожа висела клочьями. Что-то сказал мне, я не понял. Несколько слов я знаю.

— Хелло! Плиз ин салон.

Он помотал головой: нет, не пойдет никуда. Волна его залила по пояс, он в ней пополоускал руку и показал мне — самое лучшее лечение. Ну что с ним сделаешь?

— Да пусть сидит, — сказал дрифтер.

Второй еще как-то благополучно прошел, а с третьим пришлось-таки поуродоваться. Он сам два раза прыгал на борт и срывался, пока его дрефтер не поймал за локоть. Так он его и кинул, за локоть, лицом в палубу. Мы с Аликом растормошили шотландца, подтащили к фальшборту, усадили с тем, первым, рядышком. Понемногу он очухался, стал помогать ребятам.

Последним тащили ихнего кеп. Он маленький был и цепкий, как обезьяна. И смелый. Как подвели плотик, он весь подобрался, выждал волну и прыгнул. Просто снайперский был прыжок — руками и животом на планшир. Он бы, пожалуй, и через планшир сам перелез, да Васька Буров ему помог нехстати — схватил сзади за штаны и перевалил головой книзу. Как-то не учли, что кеп.

Васька потом вспоминал:

— Не склеилась у меня на флоте карьера. Голова-то лысая, а до боцмана так и не дослужился. Но есть достижения, бичи: кеп за кормовой свес держал! Правда, не нашего, шотландского...

Кеп привел себя в божеский вид и подал знак рукою: все, мол, никого не осталось. Дрефтер вытащил нож — обрезать концы.

Кеп что-то сказал своим. Они встали, держась друг за друга, глядели на свою «Герл Пегги». Она уже отплывала от нас. Прожектор иногда ее ловил и снова упускал. Кеп расстегнул капюшон, откинул на спину. Голова у него была лысейшая, как шар. Как у нашего кеп. И все они тоже откинули капюшоны, постояли молча, крестились. Форменным образом.

— «Герл Пегги» карашо, да? — спросил дрефтер так жалостно.

Кеп-шотландец кивнул и снова перекрестился.

Потом пошел в салон. Сам, никто его не повел. Он наши СРТ знал, знал, поди, где что находится. Остальные шотландцы за ним. Самого первого, который на ногах едва держался, двое тащили под локти.

Я поглядел — «Герл Пегги» уже пропала из виду. Только гудок еще ревел прерывисто. Это они нарочно оставили, чтоб никто на нее в темноте не навалился. Как будто живая тварь жаловалась на свою погибель.

В салоне, конечно, все наши набились — стояли в дверях, жались по переборкам. Шотландцы сидели все в ряд, на одной лавке — с красными лицами, такими же, как у нас, только вот глаза были другие. И чем-то у всех одинаковые — хотя кто помоложе был, а кто постарше, а кеп так совсем пожилой, лет за полста наверняка. Я даже сказать вам не берусь, что у них было в глазах. Как у молочных телят, когда у них еще пленка голубая не сошла. Как будто они чего-то не знали и не хотели даже знать. Прожитой жизни не чувствовалось.

Кандей с «юношей» обносили их мисками с борщом. Они улыбались, кивали, но есть не спешили — показывали на своего раненого. Кто-то уже за третьим штурманом сбегал, и он из рубки приволок свою наволочку.

— Волосан ты, — сказал Васька Буров. — На кой ты всю наволочку тащил? Чем ты его лечить будешь, зеленкой? Так и принес бы в пузырьке, с этикеточкой, оно и красиво.

Раненый шотландец взял пузырек, разглядел этикетку и кивнул. Третий ему стал прижигать руку ваткой, а они все внимательно смотрели. Тот морщился, вскрикивал, но — как будто даже понарошку.

— Оу! Ау! Ой-ой-ой! — и улыбался. И все улыбались.

Третий ему кое-как намотал бинтов, и он, конечно, всем показал, какая прекрасная бинтовка, какая толстая, сенкью зэри мач.

Тогда они стали есть. Совсем как и мы, штормовали миски у груди. Только раненый не мог, его товарищ кормил из своей миски. А тот дурачился — набрасывался всей пастью на ложку, и нам подмигивал, и язы-

ком цокал — оу, вкуснотища какая, только мало ему достается, жадничает, мол, кореш, себе ложку полнее набирает.

Димка чего-то сказал ихнему кепу. Тот слушал его, наклонив голову, потом ответил — длинно-длинно. Димка уже с середины руками стал отмахиваться: не понял.

— Такой английский — первый раз слышу.

Шурка сообразил:

— «Маркони» надо позвать. Уж он-то с ихним «маркони» как-нито договорится.

Побежали за «маркони». А мы пока глядели на них и улыбались. Что еще прикажете делать?

«Маркони» пришел — уж заранее красный. А как его вытолкнули к шотландцам, он совсем вспотел, как мышь.

— Кто у них радист? — спросил. — Ху из «маркони»?

Радист у них этот маленький оказался, раненый.

— А! — сказал «маркони». — Так это ты мне, подлец, радиограммку отбил: «Иван, собирай комсомольское собрание»?!

Тот закивал радостно, попробовал даже отбить рукой на столе. И тут они оба затараторили. На таком английском, что Димка только плечами пожимал. У того какой-то там шотландский акцент, а у нашего вообще никакого акцента, он прямо так и молол, как пишется: «оур», «тима», «саве».

Кеп-шотландец что-то спросил у своего «маркони», тот «перевел» нашему.

— Чо он там? — спросил Шурка.

— Спрашивают, что у нас тут происходит. Он так понял, что мы сами терпим бедствие.

— Глупости, — сказал Шурка. — Ты ему ответь: мы этого терпеть не можем.

— А «SOS» тогда кто давал?

— Другой там какой-то «сосал», не из нашего даже отряда. А мы, значит, тренируемся в спасательных работах.

— Они что, дураки? — спросил «маркони». — Они ж воду видели в шахте.

— Ну, правильно, — сказал Шурка. — Налили через кингстон. Теперь откачиваем. Как же еще тренироваться?

— Все им знать обязательно? — спросил Васька. — И так они страху натерпелись.

Шотландцы слушали, даже есть перестали. «Маркони» им перевел, как мы просили. Они переглянулись между собою, и кеп что-то спросил, улыбаясь. Долго что-то говорил, а «маркони» ихний втолковывал нашему.

— Спрашивает, почему не взяли на буксир. Если все у нас так хорошо. Так вроде? Ну да могли бы, говорит, потренироваться в буксирной практике в штормовых условиях. Я вам говорю, врать не стоит, все понимают, черти.

Они и вправду все понимали. Это у них на лицах было написано.

— Скажи ему, — попросил Шурка, — у нас по программе воду откачивать. И леерное сообщение. А буксировка — это в следующее занятие.

«Маркони» им сказал. Кеп ихний послушал, покивал, потом встал, потянулся через стол и пожал ему руку.

— Как сказать? Ви — моряки!

«Маркони» совсем от смущения взмок.

— Да ну их к бесу. И в рубку мне пора.

Другие тоже вскочили, потянулись к нам. Мне этот пожал, длин-

ный, которому я конец бросал. Он, оказывается, совсем юный был парнишка, с пушком на губе — наверно, и не брился еще ни разу. Запомнил он меня все-таки, разглядел под прожектором — изображал теперь наглядно, как все было. Ихний «маркони» что-то втолковывал нашему, прикладывал руку к сердцу — извинялся, наверно, за ту радиogramмку.

— Да ерунда, — наш говорил.

Тот глазами засверкал:

— Не ерунда! Не ерунда!

Старпом явился — с приглашением от нашего кепы шотландскому: расположиться в его каюте. Сам он, к сожалению, прийти не может: занят на мостике. Шотландец поблагодарил и отказался.

— Я, — говорит, — очень уважаю вашего капитана и благодарю за оказанное спасение, но я знаю, какая у него тесная каюта. Кроме того, мне очень интересно пообщаться с экипажем.

И всех как будто током ударило, когда включилась трансляция, мы как-то съезжились и притихли. Шотландцы — тоже. Ну, для них-то уже никакой тайны не было.

Жора-штурман пробасил в динамике:

— «Маркони» — в рубку. «Маркони» — в рубку.

«Маркони» заизвинялся перед шотландцами, приложил руку к сердцу:

— Ай эм сори, джаб.

Шотландцы опять вскакивали, опять пожимали ему руку, улыбались, — все понятно, джаб — значит, джаб.

Я вышел за ним, спросил:

— С базой говорить?

— Определяться, наверно. По радиомаякам. Что ты, Сеня! Какая база нам теперь поможет? Мы уж, наверно, в миле от Фарер.

— Куда же теперь?

Он пошел вверх по трапу.

— Ох, Сеня, спроси чего полегче. Осталось нам только — на скалу выброситься. — И побежал.

Через наружную дверь ввалились боцман с Аликом — тащили нагрудники. Они их внесли в салон и сложили в угол, под простыней, которая вместо экрана. Как я понял, они их из шлюпки приволокли — для шотландцев.

Опять включилась трансляция, и Жора-штурман сказал:

— Команде — приготовиться! По местам стоять!

К чему приготовиться? И где теперь наши места? Никто ничего не спросил. Но все пошли из салона. Все, кроме шотландцев и кандея.

4

Рассвет еще не брезжил — хотя до него, наверно, рукой уже было подать, — и оба прожектора зажглись, осветили на мачту. Вокруг же была чернота, из нее сыпался снег, и брызги сверкали в луче.

Боцман кричал уже где-то под мачтой:

— Парус убирать!

Мы добежали, дохлюпали по воде. Парус трепыхался, хлопал, гикашкотом обжигало руки, а потом гик вырвался у нас и полетел от борта до борта. Кто-то поехал на нем, не успел бросить руки, и мы уже не гик, а его поймали за рокан, и тогда уже все схватились за гик и усмирили его. И парус обвис, пошел к мачте покорно, лег на трюмный брезент, как поваленная палатка.

Над палубой раскатилось из динамиком:

— Всем покинуть носовые кубрики! Боцману — проверить!

Но мы-то все были здесь, маячили друг перед другом, в кубриках никого не осталось, только шмотки наши. И все как раз и кинулись за ними. Каждому что-нибудь хотелось же взять.

Мне-то ничего не хотелось, раз курточка погибла. Чемоданчик — что в нем толку, пара сорочек да носки, я решил не морочиться. Я взял только нагрудник, надел сразу и завязал тесемки.

Шурка взял карты, затиснул под рокан. Чемоданчик он тоже не взял. Васька Буров потащил из-под койки ящик с мандаринами, да Шурка ему отсоветовал:

— Разобьются на палубе, а тут, может, и уцелеют, если не приложимся...

Мы выскочили, стали на трюме, каждый держался за что мог. И друг за друга. Проектора теперь светили вперед и упирались в черноту.

Из рубки кричали:

— Кто в носовых остался?

— Никого! — ответил Шурка. — Все вышли!

И в эту же буквально секунду Серега на нас налетел — бежал с руля.

— Я еще не вышел!

Вбежал в кап. Минута прошла, другая, а его все не было. Мы с Шуркой кинулись за ним.

И что же он там делал, в кубрике? А он, представьте, коллекцию свою отдирает с переборки — Валечек, Надечек, Зиначек, — да не отдирает, а откнопывает аккуратненько и прикладывает к пачечке. Только еще половину успел собрать.

— Серега, ты озверел?

Шурка на него напялил нагрудник, мы его схватили за рукава и потащили, и он всю пачку выронил на трапе. Стал вырываться, чтобы собрать, насилиу мы его вытолкали.

Про что мы еще забыли? Про кого?

— У рулевого нагрудник есть? — спросил Шурка у Сереги. — Тебя кто сменял?

— Кеп.

— Сам кеп?

Мы поглядели на стекла рубки: в слабеньком свете из нактоуза — кепово лицо над штурвалом. Черные ямы вместо глаз, подбородок светится. Рядом с ним Жора стоял и третий.

— А «дед»? — я спросил.

— В машине, у реверса.

— У него есть?

— Дурак ты, — сказал Васька Буров. — Помогут нам всем нагрудники!

Я опять кинулся в кубрик. И пока они добежали, схватил один лишней — с ваньки-ободовой койки — и выскочил.

...«Дед» стоял у реверса по колено в масляной черной воде, держал руку на рычаге. А глазами прилип к телеграфу. На верстаке качали помпой полуголый Юрочка и какой-то шотландец в черном рокане. Снизу их окутывало паром.

— «Дед», — я крикнул в шахту, — нагрудник возьми!

Не услышал он меня, наверно. Машина стучала — с большими сбоями, — и он, верно, к ней больше прислушивался.

— «Дед»!

Он ответил, не оборачиваясь:

— Ступай на палубу, Алексеич. Наплавался я с нагрудником.

Мне хотелось, чтоб он хоть посмотрел на меня в последний раз.

А «дед» все смотрел на шкалу телеграфа и держал руку на реверсе. Я снова его позвал, и он не обернулся.

Вдруг я увидел — в полутемном коридоре кто-то толкается в наружную дверь, звякает задрайкой.

— Куда? — я ему заорал. — Куда отдраиваешь? С этого ж борта кренит, мало мы в шахту нахлебали?

Он мычал что-то и толкался в дверь. Я подумал — не обезумел ли кто?..

— Смоет же тебя к такой матери! — Я подошел, рванул его за плечо.

Граков это был. В расстегнутом кителе, волосы спутаны... Он мне дышал тяжело в лицо, и я вдруг почуял: он же пьяный в усмерть. Я прямо обалдел — неужели ж напился? В такую минуту напился! Когда мы все валились с ног и опять вставали — спасти наши жизни и его драгоценную тоже...

— Ступайте в каюту! — я ему сказал. — Надо будет — придут за вами, не оставят.

— Плохо, матрос? — Глаза у него были мутны, лицо набрякло багрово.

— Да уж куда хуже.

— Гибнем? Скажи честно.

Я ему протянул нагрудник.

— Авось, — говорю, — выплывем.

— Кто это приказал?

— Что?

— Нагрудник... мне...

— Капитан.

— Врешь, матрос...

— Сказал бы я вам!

Я на него надел нагрудник и завязал тесемки.

— Зря все это, матрос...

Я подумал — действительно, зря. Ты-то ведь каким-то дуриком, а выплывешь, а вот «деда» никто не спасет, разве что Юрочка. Да пока он на свои бицепсы хоть фуфайку напялит, всю шахту зальет. Я бы остался здесь, но мое место — палуба. Может быть, там я понадоблюсь. Но я все-таки постараюсь. Я добегу. Вытащу «деда».

— Я довел Гракова до каюты, втолкнул в дверь.

— Матрос, так ты забежишь за мной? Ты обещал...

Я побежал на палубу, встал на трюме, рядом с Серегой и Шуркой. Палубу трясло — от машины, и зубы у меня стучали, нагрудник трясся и бил по животу. Снег и брызги хлестали в лицо, но глаза я не мог закрыть, не смел — потому что увидел камни. Мы все их увидели.

Прожектора их ощупывали во тьме. Волна прилиwała к ним, взлетала пенистыми фонтанами, и было видно, как шатаются эти камни — черные, осклизлые. Вдруг они ушли из виду, ушли вниз, полубак высоко задрался и пошел прямо на них, на скалу. Машина взревела, как будто пошла вразнос, и винт провернулся в воздухе, а потом ударился об воду. «Дед», наверное, дал реверс, потому что, когда мы снова увидели камни, они уже были подальше.

Я оглянулся — стекло в рубке опустили, кеп стоял у штурвала без шапки, в раздраенной телогрейке. Шпаги завертелись, он прислонился к штурвалу грудью и не мог его удержать. Жора и третий кинулись к нему на помощь.

Нос опять подался на камни. Я стоял как раз за мачтой и видел, как она шла в сторону, приводилась к середине между камнями. И разглядел черную щель фиорда — прямо против нас; волна на нее нака-

тивала косо и закручивалась по стене; от этого нас стало заносить и развернуло, и мачта прошла мимо. Двигатель снова зачастил, сотряс всю палубу и нас на ней, и мы опять отошли. Прожектора заметались — то в небо, то упирались в камни. Грунт под камнями был изрыт водоворотами, из воронок летел гравий, барабанил нам в скулу.

Мы опять развернулись — медленно-медленно — и снова стояли против черной щели, ни назад, ни вперед. Двигатель ревел и частил, когда обнажало винт, и вдруг нас рвануло, приподняло — все выше, выше — и понесло на гребне. Камни промелькнули с обеих сторон, а потом волна их накрыла с ревом. Я только успел подумать — пронесло, — и увидел скалу, черную, пропадающую в небе. По ней ручьями текло, и она была совсем рядом, да просто тут же, на палубе. Те, кто стоял у фальшборта, отпрянул к середине. А нос опять стало заносить, и скала пошла прямо на мачту, на нас, на наши головы...

Я зажмурился и встал на колени. И как-то я чувствовал — все тоже присели и скорчились. И у меня губы сами зашевелились — что-то я такое шептал? Молился я, что ли? Если ты только есть, спаси нас! Спаси, не ударь!

Над головой у меня затрещало, сверху упало что-то, скользнуло по руке, проволока какая-то — ох, это же антенна, «маркониева» антенна! — и что-то тяжкое, железное, упало на трюмный брезент рядом с нами, как будто верхушка мачты. Но еще ж не конец, не смерть! И я открыл глаза.

Грохотало уже позади, и двигатель урчал и покашливал в узкости. Прожектора шарили между нависшими стенами, отыскивали поворот. Море храпело за кормой, а мы прошли поворот, и теперь только хлюпало под скалами. Это от нас расходились волны — от носа и от винта, а шторм для нас — кончился.

Я встал на ноги, взялся за бакштаг. Колени у меня дрожали, нагрудник тянул книзу пудовой тяжестью. Я развязал тесемки и скинул его, взялся и другой рукой за бакштаг. Шурка тоже его скинул. И Сергея. И все.

Потом открылась бухта — стоячая вода, без морщинки. В маленьком поселке светились два или три огонька, и тишина была такая, что в ушах звенело.

Мы вышли на середину, и двигатель смолк. Прожектора сразу начали тускнеть, потом их кто-то вырубил совсем, и стало видно, что расцвет уже недалеко, уже посерели сопки, домишки в поселке, суденышки у короткого причала. На трюме валялся обломок мачты, и проволока вилась кольцами. Кто-то ее зачем-то сматывал.

Потом боцман ушел к брашпилю. Пошел молча, с собой никого не звал. Слышен был всплеск и как зазвякала цепь. В рубке опустили все стекла, кто-то высунулся, смотрел на поселок.

А пароход покачивался еще, по инерции. Сутки простоим — он успокоится.

Вот тут я и сплоховал. Никогда этого со мной не случалось, с первого дня, как я пришел на море. Едва я успел дойти и свеситься через планшир, «дед» подошел ко мне, весь дымящийся, в пару, подержал за плечо. Потом дал свой платок — вытереть рот — и кинул его в воду.

— Ничего, — сказал «дед». — Все, Алексеич, нормально. Морьяк, на стоячей воде тривишь.

До чего же мне было плохо. И стыдно же до чего — хотя никто как будто на меня не смотрел.

Стукнула дверь — шотландцы выходили на палубу в черных своих роканах-комбинезонах, по двое, по трое, обнявшись, как братья.

Люди как люди. И я ушел с палубы.

5

Почему-то меня не трогали. Я сквозь сон слышал — кого-то еще вызывали на откачку, кто-то возвращался, хлопал дверью, скидывал сапоги. Потом еще, помню, кричали: «Молодой» пришел!.. Примите кончики!..», и я никак сонячь не мог, какой там еще молодой... И стук помню машины, только не нашей, и где-то под бортом хлюпало, а потом все стихло, и я провалился в черноту.

А проснулся, когда совсем светло было в кубрике. Ну, совсем-то светло у нас не бывает — иллюминатор в подволоке крохотный, — но все можно было различить. Ребята лежали, все почти в телогрейках, поверх одеял. В ваньки-ободовой койке спал какой-то шотландец в рокане, лицом вниз, даже капюшон не откинул.

А я отчего проснулся? От холода, наверно. Или оттого, что где-то сопело, хлюпало, и я подумал: снова там нахлебали.

Я вышел — увидел бухту, молочно-голубую, всю залитую солнцем. Редкие-редкие неслись облака по голубому небу. Поселок уже проснулся, чернели человечки на снегу, и домишки были уже не серые, а ярко-красные, зеленые, желтенькие, и от причала отходили суденышки.

Вот что, оказывается, сопело — у нашего борта буксир стоял, «Молодой». От одного названия мне весело стало — только поглядеть на эту калошу, на трубу ее высоченную. Трюма у нас были открыты, валялись на палубе вынутые бочки, а с «Молодого» тянулись к нам толстые шланги — в оба трюма и в шахту, через дверь.

В трюме двое мужиков заделывали шов. Один в беседке висел, другой ходил по пайолам. Воды там уже осталось по щиколотку.

Я присел на комингс, закурил.

— Смотри-ка, — этот сказал, в беседке, — один живой обнаружился!

— Живой, — говорю. — Только не вашей милостью. Вы-то чего там в Северном оказались, где никто не тонул?

— Да кто ж вас знал, ребятки, что вы с курса уйдете? Мы-то поспели, а вас и во всем квадрате нету. И связи нету. Мы уж подумали: на дно ушли.

— Поспели вы! На нашу панихиду.

Тот, снизу, с пайол, сказал угрюмо:

— Да мы такие, знаешь, спасатели: как никто не тонет, так мы хороши.

— Ничего, — сказал в беседке, — зато долго жить будете, ребята.

— Да, — говорю. — Это нам не помешает.

Я курил, смотрел на их работу. Они уже закончили опалубку, теперь ляпали в нее цементом.

— Нас, — я спросил, — не позовете помогать?

— Что ты! — сказал этот, в беседке. — Мы вам теперь и пальчиком не дадим пошевелить. Спите, орлы боевые.

Что-то я еще у них хотел спросить?

— Курточку я тут потерял. Не находили?

— Которую? — спросил в беседке.

Я вздохнул.

— Да что ж рассказывать, если не нашли. Хорошая была. Душу грела.

— Да если б нашли — не значили, какая б ни была. — Что-то он вспомнил. Лицо сделалось такое мечтательное. — Слышь-ка, тут шотландец один рокан снимал. Такой свитерок у него под роканом. Мечта моей жизни. Ты похвали — может, подарит.

— Так он же мне подарит, не тебе.

— Все равно приятно. А я б с тобой на чего-нибудь обмахнулся.

— Да нет уж, просить не буду.

— Зря. Момент упускаешь.

Снизу, угрюмый, спросил:

— Как же ты ее потерял? Шов небось курточкой затыкали?

— Да вроде того.

Он покачал головой:

— Это бы вам, ребята, много курточек понадобилось. В трех местах текли. В трюма набирали, в машину и через ахтерпик.

— Это, значит, к механикам в кубрик с кормы текло?

— Ну!

— Скажи пожалуйста! А мы и не знали.

В беседке еще спросил:

— Ну, а этот-то, этот-то, Родионыч — ничо себя вел? Зверствовал небось, когда поволноваться пришлось?

— Ничего. Когда тонули, смиренный был.

— Смиренный! — сказал угрюмый. — Волки в паводок тоже смиренные бывают, зайчиков не трогают. А как ступят на бережок, так сразу про свои зубы-то вспоминают.

— Может, и так, — говорю. — Все же он урок получил.

— На таких, знаешь, уроки не действуют.

Я не спорил. Вот уж про кого мне меньше всего хотелось думать, так про этого Родионыча. И отчего-то я все никак не мог согреться. Хотя вроде на солнышке сидел. Ну, да какое уж тут солнышко! Этот, в беседке, и то заметил, что я зубами стучу.

— Ты, парень, прямо как в лихорадке. Ну, натерпелись вы! Сходи на камбуз, там плита топится.

— Кандей неужто встал?

— Ну!

Я уж хотел сходить, но тут к нам катер стал причаливать, с базы. Я от него принял концы.

— Вахтенный! — покричали мне с катера. — Позови-ка там Гракова.

Вот я уже и вахтенным заделался. Но звать не пришлось: Граков мне сам навстречу вышел из «голубятника» — побритый, китель на все пуговики, лицо только чуть помятое с перепоя. За ним вышел кеп — тоже в кителе, и штурмана — Жора и третий. Старпом их провожал — в меховой своей безрукавочке — до самого трапа.

И еще с ними боцман вышел — хмурый, с пятнышком зеленки на скуле, и чокнутый наш, Митрохин. Оба в пальтишках, в шапках. Эти-то зачем отчаливали, я так и не понял.

— Как с гостями-то? — старпом спрашивал у Гракова.

— Да уж не буди, пока спят. И своим дай выспаться. Вечером их сами на базу свезете. Только чтоб они как-нибудь отдельно, понял?

Третий помахал старпому с катера.

— Ты теперь-то хоть не шляпь, когда на буксире.

— Оправдывай доверие! — крикнул Жора.

Кеп ничего не сказал, только сплюнул в воду.

Катер отчалил. Меня Граков так и не заметил. Старпом ко мне повернулся сияющий:

— Слышь, вожакový? Может, все и обойдется. — Зашлепал к себе вприпрыжку.

Отчего же нет? — я подумал. Конечно, обойдется, дураков же мы до отчаянья любим. Такой же ты старпом, как я — заслуженный композитор. Поставь тебя на мостик — то курс через берег проложишь, то назад отработаешь не глядя, то даже шлюпку не различишь, какую

прежде вываливать. Еще глядишь — и в кепы выйдешь. Не дай мне, конечно, бог с таким кепом плавать. А другие, кто поспособнее, будут под тобою ходить — вон хотя бы Жора или даже третий. Не понять мне этого никогда.

И холодно мне было зверски. Не так чтобы от воздуха, день-то намечался не морозный, а как-то внутри холодно. Я пошел на камбуз.

А кандей, оказывается, пирог затеял. Поставил тесто, в кастрюльке крем сбивал — из масла и сахара.

— Для гостей? — я спросил.

— Зачем? Для вас. Ну, и для гостей тоже. Для меня-то вы все одинаковые.

Постепенно бичи повылезали в салон. Потом пришли шотландцы. И мы этот пирог умяли вместе, на радость кандею, с чаем. Жаль только, выпить было нечего, а то б совсем стали родные. Кандей все печалился:

— Раньше бы знать — наливочку сотворил бы из конфитюра. И рецепт у меня есть, и конфитюр есть, а вот времени не было — для заквасочки.

Но мы и без заквасочки пообщались. Каждый себе по шотландцу отхватил — и общались, не знаю уж на каком языке. Васька Буров — тот себя пальцем тыкал в грудь и говорил:

— Вот я — да? Я — Васька Буров. Такое у меня форнаме. А по должности так я на этом шипе главный бич, по-русски сказать: артельный. Теперь говори, ты кто? У тебя какое наме и форнаме? Джаб у тебя на шипе какой?

И, между прочим, он-то больше всех и выяснил про этих шотландцев.

— Бичи, — говорит, — тут, считайте, одно семейство плавает. Кеп у них — всеобщий папаша. Вон этот, долгий-то, которому Сеня-вожаковый конец бросал, так он — младший потрох. Вон те два рыжанчика — старшенький и средний. А те — зятя, у кепы еще две дочки имеются. Один у них только чужой — «маркони», они ему деньгами платят, а себе улов берут. А судно у них — не свое, владельцу еще пятьдесят процентов улова отдают как штык.

— Что ж они ему теперь-то отдадут? — спросил Шурка. Очень ему жалко было семейства.

— А ни шиша. Все ж застраховано. Они еще за свою «Пегушку» компенсацию получают. — «Пегушкой» он «Герл Пегги» называл. — И с фирмы еще штраф возьмут, которая им двигатель поставила дефектный.

Нам как-то легче стало, что не совсем они пропащие, наши шотландцы.

— А нам, бичи, знаете, сколько бы премии отвалили, если бы мы ихний пароход спасли? Пять тыщ фунтов, не меньше.

— Ладно, — сказал Серега. — Нашел, о чем спрашивать.

— А я разве спрашиваю? Сами говорят.

Потом они стали нас к себе в Шотландию приглашать, в гости. Изпод роканов вынули шариковые ручки и записали свои адресочки, а ручки нам подарили. Адресочки мы взяли, на всякий случай. Их тоже пригласили — кто во Мценск, кто в Вологду, кто в село Макарьево Пензенской области.

А дело там, на палубе, само делалось. Слесаря с «Молодого» и правда не дали нам пальцем пошевелить. Сами и парус убрали в форпик, и бочки убрали, и обломок мачты к месту приварили — это рей оказался, мачта только чуть погнулась. Даже антенну «марконию» натянули. «Дед» только сходил поглядеть и рукой махнул:

— Как-нибудь дошлепаем.

Потом мы опять спали. И мы и шотландцы. Проснулись только под вечер, когда «Молодой» нас потащил через фиорд. В Атлантике шторм уже послабел, я это по птицам видел — опять они усеяли скалы и гор- ланили, когда мы под ними проходили. В шторм они прячутся куда-то.

Когда вышли, солнце светило косо и океан темнел грозно, поблескивал невысокой волной. Но скалы уже припорошило снегом, и были они снова белые, с лиловыми извилинами, с оранжевыми верхушками, и даже не верилось, что мы-то их видели черными, и не так давно. В ми- ле примерно от фиорда мотались в прибое чьи-то обломки. От «Герл Пегги», наверно, или чьи-нибудь другие. Шотландцы наши помрач- нели и снова стали креститься.

База нас ожидала на горизонте — вся в огнях. На мачтах, на таке- лаже — огни и в десять рядов иллюминаторы. Целый город стоял посре- ди моря, а в воде его отражение. Когда подошли поближе, стало видно, как светится голубым светом вода вокруг ее днища, как будто ее под- свечивали из глубины. Весь борт усеян был людьми, вдоль всего план- шира торчали головы и на верхних палубах, в надстройках. Между мачт висел флажный сигнал по международному коду, снизу его подсвечи- вали прожектора: «Привет спасенным отважным морякам Шотлан- дии». Я на крейсере сигнальщиком служил, так я бичам и перевел. «Молодой» нас притер аккуратно к базе, матросы с него перескочили к нам и закрепили концы. Они же и сетку принесли от ухмана. Мы ни к чему не прикасались. Прямо как пассажиры.

Шотландцы стояли уже наготове. Мы вышли с ними попрощаться.

— По пятеро пускай цепляются! — крикнул ухман. — Вы уж им объясните, ребятки.

Кто-то с базы по-английски в мегафон прокричал. Наверное, то же самое.

— А ты штормтрап не мог подать? — спросил дрефтер. — Э, грамо- тей!

Ухман себя только рукавицами похлопал. Оплошал, мол, бывает.

Двое шотландцев посадили маленького, помогли ему ноги продеть в ячею. Он вцепился одной рукой, а другой, забинтованной, помахал нам на прощание. Вдруг они о чем-то перекинулись, и один соскочил, показал нам на сетку. Они нас приглашали с собой.

— Да нам-то чего там делать? — спросил Васька Буров.

— Э, чего делать! — сказал Шурка. — Ехать, и все.

Он первый вцепился в сетку и меня потянул за собой:

— Земеля, поехали, раз приглашают.

Пятым вскочил Васька. И сетка понеслась. Была не была!

Ухман кинулся к нам:

— А вы-то куда? Впереди гостей...

— Ай лав ю, мистер ухман! — Шурка ему сказал.

Маленький шотландец тоже чего-то подвкнул. Очень, наверно, тол- ковое. Нас и этот, с мегафоном, не стал задерживать. Ухман махнул варежкой.

Со второй сеткой поднялись из наших Серега с дрефтером и «мар- кони». Потом салаги и дрефтеров помощник Геша. А последними — с ихним кепом, представьте, — «Рыбкин» и «мотыль» Юрочка. И так мы всей капеллой и пошли по живому коридору. Тут, конечно, все высы- пали на шотландцев поглядеть — и комсоставские, и матросы, и дев- чата-тузлучницы, и прачки, и медики. Ну, и мы, конечно, пользовались успехом.

Мы сошли — по главному трапу — вниз куда-то, палубы на три, и тут вахтенный — в китеге с двумя шевронами — распахнул перед нами стеклянные двери и показал, куда идти — по длинному-длинному кори-

дору, по красным коврам, прямо к кают-компани. А там уже двери были настезь и стол накрыт для банкета — не соврать вам, персон на сто двадцать, — весь сверкающий, уставленный бутылками, графинчиками, тортами, еще черт-те какой закусью, утыканный флажками — нашими и шотландскими.

Тут-то мы и заробели. Шотландцы — во всем черном, лоснящемся — прошли, а мы поотстали, чтоб их пропустить. И вахтенный, тоже с двумя шевронами, нас-то и узрел.

— Что вы, ребята! Куда в таком виде? Вы б хоть почистились, прибрались...

Дрифтер чего-то ему проямлил, но очень неубедительно. Это он на палубе горластый, а тут заалел, как майская роза, и сник. Один «мотыль» Юрочка проскочил дуриком. Но он-то в курточке был и в ботиночках. Не такая курточка, как моя, но все же приличная. А мы-то все в телогреечках, кто даже в сапогах полуболотных, под ними хлюпало, а у меня еще и вата повылезла из плеча.

Мы встали тесной кучкой у переборки, смотрели на всю эту толкотню и уж как чувствовали себя, даже говорить не хочется. И уйти нельзя — как попрешь против толпы, во всем сыром?

— Бичи, — сказал «маркони». — Я так понимаю ситуацию. Теперь, если только девки нас не проведут, топать нам восвоися.

Это он верную мысль подал. Вахтенный все-таки моряк был, и очень даже галантный. И ведь почти у каждого они тут есть — то ли медичка какая-нибудь, то ли рыбообработчица.

Первым Васька Буров высмотрел.

— А вон, — говорит, — Ирочка идет.

Ирочка не шла, а прямо летела на шпильках, юбка черная кололом, блузка белая с кружевами, в ушах красненькие клипсы. Если только на руки поглядеть и на шею, видно было, что работает она на ветру, на палубе. Может быть, гузлук разливает по ящикам.

Ирочка нам понравилась.

— Надежная? — спросили мы Ваську.

— По квартире соседка! Ирочка, ты меня не узнаешь?

Ирочка взмахнула покрашенными ресницами.

— Васенька! Вот встреча неожиданная!..

Но тут она на Шурку посмотрела, и Васькиных надежд сильно поубавилось. На Шурку же нельзя не засмотреться. И она как прилипла к нему — все на свете забыла.

— Кстати, Василий. Очень я хотела бы с твоими товарищами познакомиться.

Шурка поглядел на Ваську, Васька — на Шурку. Все тут было ясно.

— Пошли. — Шурка взял Ирочку под локоть. — Там познакомимся.

Вахтенный поморщился, но пустил их.

Дальше все парами шли, чистый убыток. Наконец еще одна пава выплыла, одиночная. Под газовым шарфиком. Вся такая, что мы чуть не ослепли. На голове было наворочено — как только шея не подламывалась?

Дрифтер на нее нацелился.

— Это же — Юля-парикмахерша. Она же мне челочку подстригла. В прошлую экспедицию.

И что-то нам эта «прошлая экспедиция» сомнение заронила.

— Как жизнь, Юля? — он ее спросил. Таким палубным голосом. Юля даже вздрогнула. Посмотрела на него холодно — голубыми-голубыми.

— Это ты меня зовешь?

- Тебя, Юленька. Кого ж еще?
- Какая я тебе Юля? Я не Юля, а Верочка.
- Ах, Верочка!..
- Вот именно. Ты свою Юлю и окликай.

И прошла Верочка. Дрифтер себя хлопнул по лбу и уж начисто сник.

— Бичи,— сказал Васька,— потопали? В этом вопросе нам не светит.

— Всем по-разному,— сказал «маркони».— Я все же надеюсь.

Это он еще двоих углядел, которые из каюты вышли, от нас неподалеку.

— Минные аппараты — товсь! Уж если эти нас не затралят, двоих как минимум...

Бичи чуть вперед подались. Но я-то уже разглядел, кто это, и стал подальше, за их спинами. Одна — Лиля, неспетая песня моя, другая — Галя.

По походке я ее узнал, Лилю. Ну, и по цвету, конечно, зеленому, неизменному. А походка у нее была занятная — не прямая, а чуть синусоидой, какая-то неуверенная. Ах, как мне это нравилось когда-то — как она ко мне идет. Как будто не хочет и все-таки что-то тянет ее. И все же она красива была, это я должен сознаться. Ну, не такая, как Клавка, на которую таксишник засмотрится и в столб при этом врежетя. У ней — свое было, что и не всякий заметит. Но мне и не нужно, чтоб всякий.

Она вдруг улыбнулась, сразу как-то вспыхнуло у нее лицо, и пошла к нам с протянутой рукой.

— Мальчики! — Это она салаг узнала. — Ну, знаете... Теперь-то, надеюсь, вам для биографии достаточно?

— Подробности потом,— сказал Димка. — Сейчас, старуха, вся надежда на тебя. Проведи уж нас по старой памяти.

— Туда? Почему же нет? А он вас пустит, вахтенный?

— Что за вопросы, старуха. Чего хочет женщина, того хочет бог. Ну, и вахтенный, естественно.

— Ой, ну я так рада вас видеть!..

Она еще посмотрела на нас, скользнула взглядом по моему лицу — тут я не мог ошибиться — и не узнала меня. Ну, вообще-то она немножко близорукая. И немножко стеснялась — столько тут мужиков стояло.

Алик обернулся ко мне. Я помотал головой. Тоже тут все было ясно.

Вахтенный их с большой неохотой пропустил — двоих с одной дамой. Ей пришлось улыбнуться ему — так мило, смущенно, — и, конечно, она его убила.

А «маркони» провела Галя.

— Галочка,— он ей сказал,— память о вас не умирает в моем сердце.

— Большс на щеке,— сказала Галочка.

— Но тут-то заживет, а в сердце...

— Пошли, трепло несчастное.

«Маркони» к нам повернулся, развел руками:

— Желаю вам, бичи, всего того же самого.

— Валяй,— сказал дрифтер. А нам он сказал: — Потопали, нечего тут по переборочке жаться.

И правда нечего. Толкотня эта уже поредела слегка, и вполне мы могли отвалить. А больше всего мне этого хотелось. Знобило меня отчаянно. Самое милое сейчас — в койку забраться, все одеяла накинуть, какие есть.

Оттуда, из зала, вышла Клавка, бросила веселый взор на вахтенного, и он ей чуть поклонился, слегка заалел. Я уже рад был, что хоть за чужими спинами стою, не хотелось бы, чтоб она меня сейчас видела. А мне даже приятно было ее видеть — такую живую, раскрасневшуюся, нарядную, в синем платье с кружевом каким-то на груди или с воланом, я в этих штуках слабо разбираюсь, в ушах — сережки золотые покачивались. Даже в лице у ней, я заметил, что-то переменялось — оно как-то яснее стало; может быть, оттого, что она волосы зачесала назад, в узел, и лоб у нее весь открылся.

Клавка нас увидела и подошла.

— Бичи, вы не со «Скакуна»?

— Королева моя! — сказал дрифтер. Опять же палубным голосом. — Да мы же с эфтога самого парохода!

— Где ж этот рыженький, что с вами плавал, сердитый такой? Что-то я не вижу его. Он, часом, не утоп ли?

— Сердитых у нас много. А рыженьких — нету. Может, я его заменяю?

Клавка ему улыбнулась.

— Да нет, тебя мне слишком много... Ну, это я его «рыженьким» зову, а он светленький такой, шалавый. В курточке еще красивой ходил.

— Так это Сеня, что ли?

— Ну-ну, Сеня.

Дрифтер махнул своей лапищей, сказал мрачно:

— По волнам его курточка плавает.

Клавка взглянула испуганно — и меня как по сердцу резануло: так она быстро побелела, вскинула руки к груди.

— Да не сообщали же... Типун тебе на язык, проклятый!

Дрифтер уже не рад был, что так сказал.

— Погоди, груди-то не сминай, никто у нас не утоп. Сень, ты где? Ну-ка, выходи там. Выходи, когда баба требует.

Бичи меня вытолкнули вперед.

Клавка смотрела на меня и молчала. Клавкино лицо, такое ясное, опять порозовело, но отчего-то она вдруг поежилась и обняла себя за локти — как в тот раз, на палубе.

— А чего же вы тут стоите? — спросила. — Вахтенный, ты почему их здесь томишь? Они же со «Скакуна» ребята.

— Ну, Клавочка, — вахтенный малость подрастерялся, — это же на них не написано... Представители от команды должны быть, безусловно. Но не в таком же виде.

— А какой ты еще хотел — от героев моря? Да пропусти, я их в хорошем уголочке посажу, сама подам.

— Ну, Клавочка... На твою ответственность.

— На мою, конечно, на чью же еще. Ступайте, ребята, — она их подталкивала в плечи, — ступайте.

Бичи повалили в зал. Но меня он все-таки задержал, вахтенный.

— А вата-то, — говорит, — зачем? — Выдернул из меня клоч и показал ей. — Зашить нельзя? И был бы герой как герой.

— Да, это не годится. — Клавка кинула руку к груди, искала иголку, но не нашла, потащила меня за рукав. — Пойдем, зашью тебя, рыженький.

Навстречу нам уже какое-то начальство шло, с четырьмя шевронами. Граков прошел — опять меня не заметил, за ним кеп и штурмана. Третий всю Клавку обсосал глазами снизу доверху и покачал мне головой. Еще второй механик наш прошел и боцман с Митрохиным, все прикостюмленные. Вот, значит, наши представители...

Мы сошли вниз — еще на несколько палуб, пошли по такому же ко-

ридору, только с зеленым ковром. Клавка выпустила мой рукав и взяла за руку.

— Холодная, — она вдруг остановилась. — Слушай, ты, может, в душник хочешь? Я тебя сведу. Погреешься, пока зашью. Что-то ты у меня совсем холодный.

— Да хорошо бы.

— Ну, чего же лучше!

Из душа какое-то ржанье доносилось. Клавка постучала в дверь туфлей — ответа никакого, сплошное ржанье.

— Ну, да, — сказала Клавка, — жеребцы парятся, это надолго. Лучше я тебя в женский устрою, там-то сейчас никого.

— Да ну его, в женский...

— Пойдем! — опять она меня тащила. — Держись за Клавку, с Клавкой не пропадешь.

По дороге споткнулась, стала поправлять чулок. Я ее поддерживал за локоть.

— Ну, и когда ты меня держишь, — улыбнулась, — это тоже, представь себе, приятно.

В женском и правда никого не оказалось. Клавка — опять же туфлей — откинула дверь, толкнула меня.

— Мойся тут смело, никто не сунется. Успеешь еще, к самому интересному.

— Как я тебя потом найду?

— Я сама тебя найду. Телогрейку скидывай.

Сама мне ее расстегивала и морщилась. Потом стащила с плеч.

— Надоело — в соли ходить?

— Да уж надоело...

— Ну вот, как я хорошо-то придумала. Ну, я — живенько.

Клавка убежала с телогрейкой, и я тогда скинул с себя все, бросил шмотки в угол у двери. Там для них и было настоящее место. Кабинка была просторная, не то что наша на СРТ, и с зеркальцем. Я себя увидел — волосы слиплись от соленой воды, щеки запали, глаза как-то дико блестят. Тут поежишься! И куда еще такого пускать в приличную кают-компанию? Я встал под душ. Но пошла какая-то тепленькая, как я ни крутил, и я все не мог согреться. Или такой уж холод во мне сидел — в костях, наверное. Или там, где душа помещается. Я все зубами дробь выбивал и дрожал, как на морозе.

Кто-то ко мне постучался. Я и вспомнить не успел, задвинул я там щеколду или нет, как дверь откинулась. И Клавка сказала:

— Я не смотрю. Вот я тебе зашила. И полотенце тут возьмешь.

— Спасибо.

Я к ней стоял спиной. Клавка спросила:

— Что у тебя с плечом?

— Ничего.

— Вот именно — «ничего»! Оно же у тебя все синее. Просто черное. Господи, что там с вами было?

— Да все прошло. Вода вот еле теплая.

Клавка подошла, завернула рукав и попробовала воду. Потом выкрутила кран, постучала кулаком по смесителю. И там заклокотал пар. Пробку, наверно, прорвало — из ржавчины.

— Видишь, тут все с хитростью. Ну, теперь хорошо?

— Еще погорячей нельзя?

— Что ты! Я бы и минутки не вытерпела. Вон как ты намерзся! — Она помолчала и вдруг припала к моему плечу, к больной лопатке. Я ее волосы почувствовал и как чуть покалывает сережка. — Такой красивый, а плечо синее. Зачем же так жить глупо!

— Намокнешь,— я сказал.

— Намокну — высушусь. Дай я тебе разотру.

Но не потерла, а только гладила по плечу мокрой ладонью, и это-то, наверно, и нужно было, боль понемногу проходила. И холод тоже.

Она сказала:

— Ты дождись меня. Ладно?

— Куда ты?

— Ну, надо мне. Посидишь, отдохнешь... Запрись только. А то тебя еще кто-нибудь увидит.

Опять она куда-то умчалась. А я посидел на скамейке, пока меня снова не зазвонило. И я даже заплакал — от слабости, что ли. И опять стал под душ. Я решил стоять, пока она не придет. Целый век ее не было. И я вдруг увидел, что мне все равно без нее не уйти — она все мое барахло куда-то унесла.

Наконец она пришла.

— Хватит, миленький, ты уж багровый весь, сердцу же вредно.

— Куда унесла? — я спросил.

— В прачечную, в барабан кинула. Все тебе живенько и постирают и высушат, я попросила. Ты не спеши, там еще долго речи будут толкать. Халат мой пока накинешь.

— Тот самый? С тюльпанами?

— Тот самый. Какая разница? Девка ты, что ли?

Я попросил:

— Ты отвернись все-таки.

— Да уж отвернулась. В халатике ты мне совсем, совсем не интересен. Не то что в курточке. Правда она утонула?

— Да.

— Ну, приходи давай. Четвертая дверь у меня налево, по этой же стороне.

Коридор весь как вымер, и я до четвертой двери дошлепал спокойно. В каюте горел ночник на столике, и чуть из коридора пробивался свет — сквозь матовое стекло над дверью. Иллюминатор заплескивало волной, и она тоже светилась — голубым светом. Клавка стояла у столика спиной ко мне.

— С кем ты тут? — Я две койки увидел.

— Вот на эту садись. Валечка еще тут, прачка. Которая как раз тебе стирает. Как говорится, две свободные с отдельным входом.

— Две — это уже не с отдельным.

— На то, миленький, существуют вахты. Шучу, конечно. Ну, согрелся хоть?

— Как будто.

— Поешь теперь? Так мне тебя покормить хочется.

Клавка повернулась ко мне. На столике у нее поднос стоял, накрытый салфеткой.

— Спасибо. Да мне-то не хочется.

— Ну, попозже. Просто ты перенервничал. Ну, а что ты хочешь? Выпить — хочешь? Совсем захорошеешь.

— Это вот — да.

— Водочки тебе? Или розовенького?

— У тебя и то и то есть?

— Зачем же Клавка живет на свете?

— Как это ты всюду успела?

— Миленький, на флоте же надо бегом.

Я засмеялся. Я уже пьян был заранее.

— Налей розовенького.

Клавка быстро ввинтила штопор, бутылку зажала в коленях, чуть покривилась и выдернула пробку. Я смотрел, как она наливает в фужеры.

— Себе тоже полный.

— Конечно, полный. За то, что ты жив остался. Ну, дай я тебя поцелую.—Клавка ко мне нагнулась, голой рукой обняла за шею, поцеловала сильно и долго-долго. Даже задохнулась.—Ну, живи теперь. Меня хоть переживи.

Она на меня смотрела, прикусив губы. И я себя снова чувствовал молодым и крепким, жизнь ко мне вернулась. Я уже пьян был настоящему — и вином, и теплом, и Клавкой.

— Клавка, тебе идти надо?

— Конечно, надо. Но ты ж меня дождешься?

— Дождусь.

— Не умри, пожалуйста. Не умрешь?

Она подошла к двери — без туфель, в чулках,— задвинула замок.

— Клавка, тебя же там хватятся.

— Ну, хватятся. Разве это важно?

— Что же важно, Клавка?

Она мне не ответила. А важно было — как женщина повернула голову. Ничего важнее на свете не было. Как она повернула голову и вынула сережки, положила на столик; как вскинула руки и посыпались шпильки, а она на них и не взглянула, и весь узел распался у нее по плечам; как она смотрела на иллюминатор и улыбалась — наверное, что-то еще там видела, кроме голубой воды,— как завернула руку за спину, а другой наклонила ночник, и как быстро сбросила с себя все на пол и переступила. И как пошла ко мне в руки и прижалась — теперь уже вся, а не только губами.

6

— Понравилась я тебе? Скажи мне, ради бога!..

Она ко мне прильнула, вытянулась, положила голову мне на плечо.

— Ты же знаешь.

— Но услышать-то — как хочется! Сильно понравилась?

— Да.

— Ну вот,— она вздохнула.— Ты выпил, и Клавку еще получил, теперь тебе хорошо. Я знаю, как тебе хорошо. За это мне все простится.

Все хорошо было, только вот плечо у меня дрожало. Намахался я с этими треклятыми шотландцами, черт бы их драл.

— Болит все? Какая ж я дура, с этой стороны легла. Надо бы с той. Нехорошо я устроилась?

— Ничего, так лучше... Клавка, за что тебя прокляли?

— Кто, миленький?

— Родители. Ты говорила тогда.

— Ну вот. Зачем ты сейчас про это?

— Скажи.

Она помолчала.

— Да я такая шалава была, теперь вспомнить страшно... Ну, я уж помирилась с ними. Это ты потому спросил, что я сказала: «Мне все простится»? Что ты еще хочешь про меня спросить?

— Про себя хочу. Когда же я тебе понравился?

Она ответила удивленно:

— Сразу! Ты разве не понял, что сразу? Как я только тебя увидела. Ты там сидел в углу с бичами, с каким-то еще торгашиком, а я к тебе через всю залу шла и на тебя только и смотрела. Такой ты хороший сидел в курточке! Щедрый, и все тебе нишчем, лицо — такое светлое!

— Неправда, я злой был, как черт.

— Ну, ведь с пропащими сидел. Их же никто за людей не считает, Вовчика этого с Аскольдом. Все только и бегают они ко мне: то — «Клавка, покорми в долг», то — «Клавка, похмели, завтра в море идем, с аванса разочтемся». Про меня уже чего только не думают, а я их просто жалею. С ними-то будешь злой!.. А плохо, что ты меня не заметил. Я перед тобою и со скатерки чистой смела, и уж так, и так... А сказал бы ты мне тогда: «Поедем со мной, Клавка», тут же бы поехала, куда хочешь. Скинула б только передник.

Она смотрела на иллюминатор, улыбалась, глаза у нее блестели влажно. Я спросил:

— А дальше что было?

— Дальше-то?.. Может, не нужно?

— Теперь уж — все нужно.

— А дальше — ты меня перед этими пропащими позорил. Пригласил, за ушком поцеловал... Я вся намылилась, марафет навела, в большом порядке пришла к тебе девочка! А ты, оказывается, специалистку свою ждал, ни по рыбе, ни по мясу... ты уж прости. А потом еще на Абрам-мыс ездил. Видела я уже — и ту и другую, — да разве они меня лучше? Да никогда! И уж после того, как они тебе не отпустили, ни та, ни другая, ты ко мне являешься: «Клавочка, без тебя жить не могу!»

— Пьян же я был.

— Да уж хорош. Как собака. Я так и поняла: ты — это уже не ты. Мне даже как-то и не жалко было, когда они тебя били. Не убьют же, думаю, таких не убивают... Я уже потом спохватилась, как узнала от них, что ты в море ушел — из-за этих денег. Я-то думала — проспиться, придешь за ними, и мы при этом поговорим хоть по-человечески. Ведь мы ж не говорили! Так я ревела тогда. И себя проклинала. Тоже я хороша была!

— Себя-то за что?

— Ну... наверно, любил же ты эту... специалистку. Не все так просто было. Я тоже нехорошо про нее говорю. Любил, да?

— Теперь не знаю.

— Это ты так не говори. Это ты и про меня когда-нибудь скажешь: «Не помню, хорошо ли мне было с Клавкой».

Я ее обнял.

— Не скажешь ты этого, — она засмеялась. — Ни за что не скажешь!

Я ее обнял сильнее.

— Подожди. Ну, подожди же, никуда я не денусь. И устал же ты. Так сильно она меня обнимала — и уже не помнила про мое плечо, и себя не помнила. Как будто жизнью со мною делилась.

— Хорошие мы, — она сказала. — Хорошие друг для друга.

А потом:

— Ну, это ведь и не чудо, нам же не по шестнадцать. Нет, все-таки чудо.

И опять лежала — головой на моем плече, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом. И у меня самого голова кружилась. И так славно укачивало нас волною, когда она наплескивалась на стекло.

Кто-то к нам постучался тихонько. Вот уж действительно как с другой планеты.

— Ох... — Клавка замотала головой и выругалась сквозь зубы. —

Ну что поделаешь, открою.

— Ты что?

— Да это же Валечка. Твои постирушки принесла. Ну какой ты у меня еще мальчик! Думаешь, она без романов тут живет? Не-ет, Валечка у нас не такая!

Она приоткрыла дверь. Валечка оттуда спросила:

— Все хорошо? — И засмеялась.

Клавка ей ответила чуть хрипло:

— Лучше не бывает. Спасибо тебе, Валечка.

— Да уж если на банкет не пошли...

— Ох, какой уж тут банкет. Свой у нас банкет. Спасибо тебе большое.

Клавка уже не вернулась ко мне, стала одеваться, подобрала все с полу. Я спросил:

— Она тоже из-за меня не пошла?

— Ну что ты. Не все из-за тебя. Двое у ней тут встретились, в одном рейсе. Один бывший, другой теперешний. Передрались еще могут, лучше в красном уголке посидеть.

— Не растреплет?

— Кто, Валечка? — Клавка рассмеялась, взерошила мне волосы. — Миленький, успокойся. Уже про то, что я тут с тобою, вся плавбаза знает. От килия, как говорят, до клотика. Что нам после этого — Валечка!

Я тоже засмеялся.

— Выходит — поженились мы с тобой?

— Да уж поженились..

Я помолчал и сказал:

— Я не просто спрашиваю, Клавка.

— О чем ты?

— Какими же мы отсюда выйдем? Как я завтра без тебя буду?

— Ой, вот уж про чего не надо. Я тебя умоляю! Таким же и будешь, как сегодня утречком.

— Нет. Ни за что.

Клавка ко мне присела.

— Ну зачем это тебе в голову-то пришло? Вот взял и все испортил. Зачем, спрашивается? Ты подумай-ка — еще и не началось у нас ничего, а уж все было испохаблено. Бедные мы с тобой! И что нам такого хорошенького впереди светит? Ну, буду я тебе — моряцкая жена. Будешь ты уходить на три с половиной месяца! А я тебя — до трапа провожать, в платочек сморкаться. Или же в коечке, до Тювы. Потом, значит, верность соблюдать, вот так сидеть и соблюдать. Песенки для тебя заказывать по радио. «Сеня, ты меня слышишь? Сейчас для тебя исполняю «С матросом танцует матрос». В кадры звонить — как мой-то там, не упал еще «по собственному желанию»?.. Потом встречать тебя, толпиться там, а в кошелке уже маленькая лежит чекушечка, сразу в рот тебе сунуть, чтоб ты не закосил никуда бы, аванс бы не пропил. Приведу тебя пьяненького домой на кушеточку и полежим наконец-то рядышком. Так вот для этого-то счастья — все остальное было? Чем я тебе не угодила, что ты мне такой жизни пожелал!

Я сказал:

— Уехать можно куда-нибудь, другого чего поискать...

— Можно.. Да и про это, наверно, можно по-другому рассказать. И очень даже распрекрасно. Да ты ведь другим не родишься!

— Какой же я, Клавка?

— Все сказать? Не обидишься?

— Нет.

— Не такой ты, за кого выходят. Влюбиться в тебя можно, голову даже потерять. В одних твоих глазыньках зеленых утонешь... Но выйти за тебя — это же лучше на рельсы лечь. Или вот отсюда, из иллюмина-

тогда, вот так, в чем есть, выброситься. Ты знаешь, ты — кто? Одинокая душа! Один посреди поля. Вот руки у тебя хорошие.— Взяла мою руку, прижала к своей щеке.— А душа — ледышка. И ни в каком душеике не отогреть мне ее никогда. Страшно мне было, когда ты на меня кричал.

— Я не кричал.

— Уж лучше б кричал. Лучше бы даже побил. А ты так... по-змеиному, шепотом. Ты все на меня мог подумать. Но ты что — не видел, как я на тебя смотрела? Я же на палубе, на ветру стояла! Тут не подделаешься.

Это я просто видел сейчас, как она смотрела. А вспомнилось мне, как Алик нам кричал сверху: «Бичи, вы мне нравитесь, это момент истины!» Наверно, есть что-то, чего не подделаешь,— только ведь различить!.. И еще про шотландца, на которого я орал. А он, наверно, просто спал в корме. Страхом намучился, устал... Руки-то делали, что надо, а душа была — ледышка.

Я сказал:

— Может, потому все, что жизнь у меня такая... Колесом заверченная.

— А у меня она — другая? Тоже вертись. Но живем же мы еще для чего-нибудь, не только чтобы вертеться. Иной раз посмотришь...

— И звездочка качается...

— Какая звездочка?

— Клавка,— я сказал.— Я теперь без тебя не жилец!

— Не надо так. Я тебе же хорошего желаю. Я ведь сбегу от тебя, это у меня живенько. Второй раз такое лицо твое увидеть... как тогда, помнишь, когда я тебя спрашивала: «Рыженький, что ты против меня имеешь?» А ведь увижу, увижу! Что другое, а это я увижу. Наговорят тебе про меня — и увижу. И далеко мне придется от тебя бежать! От милого-то подальше бежишь, чем от немилуго.

— Клавка, зачем же все было?

— Что было? А ничего такого не было.— Уже она другая стала, когда накинула платье, далекая — вот с этим кружевом на груди. И самое-то лучшее уже прошло — когда она в первый раз ко мне припала, к плечу.— Ну, что ты спрашиваешь? Зачем любовь была? Да так... Пусто мне в последнее время. Ты в эту пустоту и залетел, такой непрощенный. А тут еще ты смерть пережил. Ну, прости. Наверно, не надо было...

Нет, я подумал, все было надо. Хотя бы затем, чтоб ты мне все рассказала. И впредь бы я не думал, что можно пройти мимо любого и коснуться его — хоть рукой, хоть словом — и совсем следа не оставить. Но почему же ты пришла, чтобы уйти? Сама же спрашивала: «Зачем так жить глупо?» Уходим мы, чтобы вернуться. Возвращаемся, чтобы уйти. А мне-то уже подумалось — я прибился к какой-то пристани, и она была, что называется, «обетованная». Где-то я такое слышал: «Земля обетованная». Не знаю, что это. Но, наверно, хорошая земля. Только и она от меня уходила.

Я это хотел ей сказать — и не успел. Потому что тут, в каюте, тоже был динамик. И по трансляции объявили: наших шотландских гостей приглашают на верхнюю палубу. Причалил норвежский крейсер, который отвезет их на родину.

— Их еще долго будут провожать,— сказала Клавка.— Обниматься, миловаться... Ты отдохни еще, все-таки я тебя покормлю. Вас-то пока не дергают.

— Это не задержится.

И точно, не задержалось. Ниже поименованных товарищей попро-

силы вернуться на свое судно — для несения буксирной вахты. Перечислили всех почти, кроме машинной команды.

— И тебя позвали?

— Разве не слышала?

Клавка ушла к столику, закинула руки, встряхнула всю копну волос. И снова рассыпала по спине. Потом стала собирать в узел.

— Я же не знаю твою фамилию. Знаю только, что Сеня.

Я сказал ей.

— Вот теперь буду знать. Надо тебе идти?

— Вахта все-таки. Хотя и буксирная.

— Жалко, я думала: мы хоть вместе доплывем. Я бы тебя где-нибудь устроила.

— Я бы и сам устроился. Только ни к чему.

Я теперь должен был встать и уйти. Но встать мне было — как на казнь, и куда я должен был идти от нее — я тоже не знал.

Все-таки я оделся. И все-таки еще одну глупость сделал. Спросил ее:

— Не встретимся больше совсем?

— Не знаю. Запуталась я. Уехать бы мне куда-нибудь!.. Ну, иди, пожалуйста. Иди, не терзай меня. Я даже не знаю, как я отсюда выйду. И хлопот мне еще прибавилось.

— Каких же хлопот, Клавка?

Она улыбнулась через силу:

— Маленький? Не знаешь, с чего дети начинаются?.. Ох, нельзя мне было сегодня!..

Никогда я не знал, что в таких случаях говорят. Я хотел подойти к ней. Она попросила:

— Не надо, не целуй меня. А то я совсем расклеюсь.

— Прощай тогда...

Когда я уходил, она отвернулась к столику, вдевала сережки.

Я дошел до главного трапа и остановился. Может быть, здесь она и спрашивала: «Что ты против меня имеешь?» Я встал в тени, за огнетушителем. Мне хотелось еще раз на нее посмотреть.

Клавка шла по коридору — медленно и как пьяная. Не как те пьяные, которых шатает. А как сильно пьяные, которые уже прямо идут. Шаркала каблуками по ковру. Остановилась, поправила волосы и улыбнулась сама себе. Но улыбка тоже вышла пьяная и жалкая какая-то.

От других — когда я уходил после этого — мне больше всего отдохнуть хотелось душой, весь я пустой делался. А ее — как будто с кожей от меня отвалили. Я даже позвать ее не смог, когда она мимо прошла, не заметила. Лучше мне было не смотреть на нее.

Я вышел на верхнюю палубу — там шумно было, светло и весь левый борт, где причалил крейсер, запружен людьми. Там все еще провожали шотландцев, никак не могли отпустить. Обнимались с ними, фотографировались при прожекторах.

Я туда не пошел. Мне хотелось с первой же сеткой спуститься, чтобы не увидеть Лилию, когда она выйдет провожать салаг. Слава богу, они где-то задержались, а первыми Шурка пришел и «маркони». Ухман нам подал сетку, и мы взлетели. «Маркони» Галка вышла проводить, она ему помахивала платочком и хохотала. Шурку провожала Ирочка, но как будто ей не до смеха было.

Мы летели, и «маркони» мне кричал:

— Сеня, ты с прибылью? Тебя поздравить можно?

— А ты как?

— Все так же, Сеня. Но говорит, с третьего захода еще надежней.

Принял нас «дед». Он в чьей-то телогрейке был внакидку и в шлепанцах на босу ногу. Понюхал нас и скривился.

— Портвишки накушались, славяне. Ай, как не стыдно! Хоть бы водяры...

Я смутился.

— «Дед», забыл про тебя.

— Ты-то забыл, а я нет,— Шурка из телогрейки достал поллитру «столичной». — Ну, не я, а просили передать в подарок.

— Кто ж это, интересно?

— Просили не говорить.

— Таинственно,— сказал «дед». — Еще тут два инкогнито мне по бутылке армянского смайнали на штертике. Между прочим, пока не начато.

Спустились еще Серега и Васька Буров. Васька на лету вспоминал про бутылку вермута итальянского — так она и осталась на столе распечатанная, а дотянуться руки не хватило.

— А попросить, чтоб передали, нельзя было? — спросил «дед».

— Да постеснялись. И так нас вахтенный пускать не хотел.

— И правильно он вас не пускал,— сказал «дед». — Куда вас таких шелудивых пускать? Да и вести себя не умеете. А ты-то чего полез, «маркони»? Оба мы с тобой в списочке состояли, оба отказались дружно, а ты — взял да полез.

«Маркони» себя почесал за ухом.

— Сам удивляюсь. Ну, все полезли — и я.

— Ох, бичи, когда же вы достоинство-то будете иметь? Ну, вот что. Насчет двух бутылок армянского не пропущено без внимания? Так вот, я вас, бичи, к себе приглашаю. Понимаете — при-гла-ша-ю. Но учтите — я вас тоже к себе шелудивыми не пушу.

«Дед» зашлепал к себе. Бичи тоже разбежались сразу. А я еще задержался — взглянуть на борт плавбазы: не может ли быть все-таки, чтоб Клавка вышла поглядеть на меня. Нет, так не было.

Вдруг я заметил — в тени, возле капа — одинокая фигура. Личико неприметное, капелюха на глазах.

— Обод, ты, что ли?

— Ну!

Он как-то нехотя ко мне подошел, такой нескладный, в пальто ниже колен.

— Ты почему не на базе?

— А чего там хорошего? Я с вами до порта поплыву. Пассажиром. Примете?

— Плыви. Мы теперь все тут пассажиры.

«Маркони» мне крикнул из рубки:

— Сень, ты не забыл — мы к «деду» приглашены. Галстук у тебя есть? А то могу свой дать, японский.

— Ну, если японский...

Шурка мне еще пуловер одолжил, так что я прилично выглядел. Васька Буров костюм своей вынул — не знаю уж, на кого там шили: в плечах тесно, зато через штанины по Ваське можно протащить. Серега ему посоветовал хоть галстука не надевать, а то он со своей бородежкой совсем будет чучело.

И отчего-то мы даже волновались слегка, хотя, спрашивается, чего мы там не видели в «дедовой» каютке? Пошли к нему — как на медкомиссию. «Дед» перед нами извинился, что вынужден принять нас без пиджака, костюм у него маслом заляпан, а в кителе — это как-то слишком официально. Мы набились тесно на диванчике и на «дедовой» койке. А за нами еще Ванька Обод увязался, тихий, как тень. Спросил робко:

— Меня-то примете? Я тоже не порожним пришел.— Вынул из пальто поллитру, завернутую в газетку.

— Входи, беглец несчастный,— сказал «дед».— Как, примем его? Приняли мы беглеца, только пальтишко предложили скинуть и шапку. «Дед» показал на столик:

— Прошу, славяне.

Но закуси было — тарелка с ветчиной и хлеб на газетке. Шурка вскочил:

— Сейчас пойду кандея раскулачу.

Возвратился с немалой добычей — в одной руке полведра компота, в другой, на локте, два круга колбасы, на пальцах кружки, под мышками — по буханке белого.

— Хоть шаром покати на камбузе. Все кореши-иностранцы подъели, а ужин кандей не варил, кум у него обнаружился на «Молодом». Васька Буров сказал:

— Вон как. В первый раз кандей с вахгы сбежал, а трагедия. Но простим кандею, бичи.

Простили мы кандею. «Дед» понюхал ведро и спросил:

— Из-под чего ведерко?

— Из-под угля,— сказал Шурка.— Да я помыл его.

— Ох, кашалоты,— «дед» засмеялся,— как вас только море терпит!

«Маркони» разлил по кружкам коньяк, первую протянул Ваньке Ободу. Ванька ее взял осторожно.

— Почему ж это мне сначала?

— А первый гост — за вернувшихся,— сказал «дед».— Пока что ты у нас вернулся, беглец. Мы еще нет.

Ванька пошмыгал носом, вздохнул:

— Я, ребята, не беглец. Я узел хотел развязать семейный.

— Топориком? — «Маркони» нам подмигнул.

— Да, если бы застал.— Ванька опять вздохнул.— Втемяшилось чего-то... А кто у меня есть, кроме нее? Развяжешь, а сам — сиротой вроде останешься.

— Не остался бы,— сказал «маркони»,— уже твоей Кларочке отбито, что ты возвращаешься. Кстати, полтинник с тебя за радиogramмку.

Ванька совсем расстроился. Поглядел в свою кружку и сказал глухо:

— Вы меня простите, ребята. Вы, можно сказать, герои, а я кто?

— Не кайся,— сказал Серега.— Такие же мы, как и ты.

«Дед» поднял кружку.

— Поплыли, славяне?

Мы «сплавали» и вернулись. Возвращение наше отметили колбасой и запили компотом, из тех же кружек.

«Маркони» стал рассказывать, как было на банкете, какую там Граков речь толкал и как он припомнил радиogramму шотландцев, где они благодарили всех, кто пытался их спасти, просили передать приветы близким. Все это он в вахтенном журнале утречком прочел и запомнил же слово в слово. И как все начали шуметь — зачем он это зачитывает, а он еще спрашивал: «Что же вы, дорогие гости, не надеялись на советских моряков? У нас ведь так — сам погибай, а товарища... ну, и зарубежного товарища тоже — выручай». И как ему кеп-шотландец отвечал, что он благодарит русских моряков и надеется, что ему никогда больше не придется посылать такие радиogramмы господину Гракову.

Я поглядел на «деда» — он морщился, как будто у него зуб болел. Однажды мы с ним говорили, и он тогда странную фразу сказал: «И жалко же мне этого жалкого человека». Я спросил: «Притерпелся

уже к нему за годы?» — «Ну... все-таки одного мы с ним возраста, чуть он меня постарше... Ведь ничего делать не умеет. Всю жизнь — ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра — под забором мослы сложит. Разве что пенсия...» Ах, «дед», я подумал теперь, неизвестно еще, кто из вас больше умеет!..

«Маркони», однако, и веселое вспомнил:

— Да, Страшной-то наш, Страшной как отличился!

— Потрави! — Васька оживился. — Потрави про боцмана.

— Ну, потеха! Он же к нам-то пересел, один Митрохин возле Родионыча остался. Тоже, между прочим, выступил, отметил кепа и действия всей команды. А боцман все накаляется: «Сейчас, говорит, я всю правду скажу». Я его подначиваю: «Умрешь ведь, не скажешь». — «Правильно, говорит, покуда еще рано, вот пропущу стопарь и — скажу». Пропустил. «Закусить, говорит, надо... Нет, еще один пропущу, уж очень страшно». Второй хлопает — тоже рано. Но уж не так страшно. А после третьего — «совсем, говорит, не страшно, только закусывать не буду». Полез выступать. «Что ж, говорит, все верно, сам погибай — товарища выручай, но мы-то и сами не надеялись, что вот за этим столом будем сидеть, у нас такой уверенности не было. А кое у кого, не буду указывать, столько ее было, что он уже заранее этот банкет начал, коньячок попил в каюте».

— Ай, Страшной! — «дед» усмехался. — Ну, по традиции, теперь надо за боцмана сплавать. Чтоб ему хоть в боцманах остаться.

— А еще он про тебя сказал. «Мы, говорит, видели Бабилова в шахте, мы его видели в рубке, на палубе видели, в кубриках... я сам от него фингал имею, хотя не в обиде. Но почему-то мы его здесь не видим...»

— Ну, это зря он, — сказал «дед». — Я-то сам не пошел.

Я поглядел опять на «деда» и подумал: как же хитер человек во зле! Списочек составил... Для кого списочек? Для тебя одного, «дед». Чтоб ты поглядел и отказался. Он-то тебя лучше знает, чем ты его.

— За боцмана! — «Дед» поднял кружку. — Поплыли, славяне.

Мы снова «сплавали» и вернулись. И приятно нам было узнать по возвращении, что впереди у нас еще богатые перспективы и мы еще долго не разойдемся.

А в это время слышались команды на отшвартовке, «Молодой» нас отводил от базы. Никто этого не замечал за травлей. А я сидел у окна, как раз против ее борта, и видел, как он отваливает, как иллюминаторов сначала был один ряд, потом два, потом четыре. Но вот когда я увидел, как нижние заплескивает волной, я чуть не застонал.

Я очнулся — «дед» про меня говорил:

— Загрустил что-то наш Алексеич.

«Маркони» подмигнул мне.

— Алексеич прибыль свою подсчитывает. Мне дриф сказал — там есть, к чему пришвартоваться.

— А может, что посерьезнее? — спросил «дед». — Тогда уж на этот счет травить не будем.

Я махнул рукой.

— Да травите, чего хотите.

Шурка быстренько разлил по кружкам.

— За вожакового сплаваем! За дорогого моего земелю. Пусть ему живется, пусть ему любитя.

А это, знаете, дорогого стоит, когда такой счастливчик вам пожелает.

— Поплыли, славяне!

И опять мы вернулись, чуть больше нагруженные, и Ванька Обод теперь рассказывал, как было на плавбазе, когда мы тонули, и как он

места себе не находил — примета же нехорошая, если кто списывается, вот он с этой приметой нам и удружил, — и как все бегали в машину, просили подкинуть оборотиков, хотя и так уже на предельных шли, и как — будто бы! — кеп плавбазы сказал в рубке вахтенному штурману, что, если даже и кончится благополучно, он все равно свой партбилет выложит, но Граков у него ответит.

— Это уже легенда, — сказал «дед». — Но — приятно и легенду послушать.

Тут постучали в окошко — дрифтер припал к стеклу, нос и губы расплющил, строил нам веселые глазки. Мы ему помахали, чтоб зашел. Но он не один ввалился — с боцманом, с салагами и уж не знаю с кем там еще, все в каютке не поместились, стояли в дверях, в коридорчике, и кружки пошли по рукам. И началось, конечно, все по новой — и разговоры и тосты...

...Я с ними сидел, выпивал, смеялся. И было мне опять хорошо. Да, пожалуй, что так мне и было.

7

Веселое течение — Гольфстрим!

Две тысячи миль от промысла до порта, но Гольфстрим подгоняет, и ветер еще в корму — не знаю уж, по какой такой милости, — и летим мы так до самого Кильдина, главная забота — свой залив не проскочить. И приходим на сутки раньше.

Ну, теперь-то нас «Молодой» тащил. Мы только на буксирный трос поплеывали, чтоб не рвался. Первые сутки еще базу видели перед собою: днем ее дымки, ночью — ее огни. Потом она ушла за горизонт.

И мы отсыпались, крутили фильмы. Те же самые, конечно. А на третье утро дорогой наш боцман Страшной вылез на палубу, поглядел на солнышко, на синюю водичку, на снежные лофотенские скалы — и так молвил:

— А задам-ка я вам, бичам, работу. Ишь рыла наели, как кухтыли. А судно прибирать кто за вас будет?

— Ты, боцман, сходи поспи, — Серега ему посоветовал. — Нас же по приходе в док поставят.

— До дока мы еще в порт должны прийти. А на чем? Срам, а не пароход.

Ну, мы, конечно, повякали, душу отвели, а потом, конечно, взяли шкрябки, стальные щетки, флейцы, начали прибирать пароход. Шкрябали от ржавчины борта, переборки, потом суричили, потом красили. А кто кубрики мыл содой, кто рубку вылизывал, кто гальюны драил. Салаги зачем-то на верхотуру напросились, на мачту, красили там «воронье гнездо» белилами и чернью, покрикивали зычными голосами:

— Алик, поддержи ведерко, я на клотик слезаю, надо его мумией покрасить.

— Держу, Дима. Все покрасим — от килиа и до клотика!

Дрифтер с помощничком свою сетевыборку выкрасили — такой зеленью, что поглядеть кисло. Третий из рубки смотрел зверем и плевался:

— Во, деревня! В шаровый полагается механизмы красить. Вкуса морского — ни на копейку.

А дрифтер, чтоб ему совсем угодить, и шпиль выкрасил зеленью.

Нам с Шуркой Чмыревым досталось камбуз снаружи прибирать. Милое дело. В корме хорошо, ветра не слышно. Переборка от солнца греется и от начальства заслоняет. Попозже и Васька Буров к нам перебрался — значит, и правда лучшего места не найдешь.

— Бичи, — говорит, — можно, я у вас тут честно посачкую?

— Сачкуй,— Шурка ему разрешил.— Флейц только в руку возьми. И-за полундрой следи.

— Что ты, я полундру за милую унюхаю!

И Васька во всю дорогу так и не взял флейца. Сидел, блаженствовал.

Кандей с «юношей» прибирали камбуз внутри и часто к нам выходили — посидеть на кнехте, потравить за жизнь.

— Я, бичи, обратно на завод пойду,— говорит Шурка.— Сварщик же я дипломированный,— такое дело на ветер бросать? А по морям шастать — ну его к бесу! Пусть вон салаги попрыгают, они еще этой романтики не нахлебались. Ты, кандей, со мной согласен?

Кандей Вася не только что согласен, а дальше эту тему развивает:

— Но я тебе скажу, Шура: море нам тоже кое-что дало. Меня возьми — судовые же повара такой экзамен проходят. Если ты своего дела не профессор, на судне ты не удержишься, не-ет! Кеп тебя в другой рейс не возьмет, ему тоже покушать хочется хорошо. Так что у меня шанс. В ресторан «Горка» пристроиться. Блат, конечно, нужен. Но в принципе?

Не знает Шурка, возьмут ли кандея в «Горку», но кивает, соглашается. Великое дело — погода, солнышко! А тут еще в порт идем.

— Кандей! А, кандей! — говорит Васька Буров.— А я про тебя сказочку сочинил. Божественную.

— Ну-к, потрави!

И Васька плетет невесть какую околесину. Но если прислушаться да расплести — забавная сказочка.

Вот так примерно. Закончатся когда-нибудь наши извилистые пути, и все мы придем туда — к господу, которого нету. Там уже будут сидеть космонавты, маршалы, писатели, большие ученые и заслуженные артисты,— им-то прямая путевка в рай. И однажды зайвится туда наш кандей Вася, приведут его на суд божий ангелы и архангелы. И спросит его господь, которого нету, спросит с металлом в голосе: «Кто ты и на что надеешься? Отзовись сию же минуту!» — «Повар я. По-рыбачки сказать — кандей. На милость твою надеюсь, господи. Больше-то мне на что надеяться?» — «Говори, чего натворил ты в жизни земной и морской?» — «Да что ж особенного, господи? Делал, что все делают. Ну, и грешен, конечно. Бабе изменил с ее же подругой, она из деревни погостить приезжала; жена дозналась — и в крик...» — «Это большой грех, кандей. Он тебе зачтется. Но главное — что ты делал?» — «Борща варил, с болгарскими перцами». — «Что ж тут за фокус — борща сварить? Это и баба сумеет, а ты все-таки штаны носил». — «А шторм же был, господи. Одиннадцать баллов ты нам послал!» — «Одиннадцать, говоришь? Тогда это не я — это сатана вам удружил. Я только до шести посылаю, а дальше он». — «Это верно, господи. Это я не подумавши сказал. При шести еще жить можно — и к базе швартануться, и на камбузе управиться». — «А при одиннадцати как?» — «А ты попробуй, господи. Если карданов подвес имеется, еще ничего, а если так, на плите, полкастриюли себе на брюхо прольешь». — «И как бичи — ценили твое искусство?» — «Не жаловались. За ушми пищало. Да как не ценить — другие кандеи при семи баллах сухим пайком выдают, им это и по инструкции разрешено, а я исключительно горячим довольствием, да еще каждый день хлеб выпекал. Но честно сказать тебе, господи, тогда им уже не до меня было. Гибли бичи. Совсем пузыри пускали». — «Постой! — скажет господь, которого нету.— Они, значит, смерти ждали? Им же, значит, о душе следовало подумать, приготовиться к суду моему. А ты им — борща! Как же это, кандей? Ты, значит, против меня?» — «Господи, где же мне против тебя! Но разве тебе охота с голодными бичами дело иметь? Ведь

они уже не о душе будут думать, а как бы насчет пожрать. В тюрьмах и то ведь перед расстрелом кормят». — «Действительно», — скажет господь, которого нету. «В том-то и дело, господи. Я человек маленький, но я дело знаю. Потонем мы там или выплывем, предстанем пред очи твои или еще подождем, в рай ты нас пошлешь, в золотую палату для симулянтов, или же сковородки заставишь лизать каленые — но я к тебе бичей голодными не пушу. Я их должен накормить сперва, и притом — горячим довольствием. При любом волнении и при любом ветре. А там — суди меня, как знаешь. Но я свою судовую обязанность исполнил». Призадумается тогда господь, которого нету. «Пожалуй, ты прав, кандей. Но у меня еще вопрос к тебе. Сам-то ты верил, что смерть пришла?» — «Какие уж там сомнения, господи! Ветер — на скалы, а машина застопорена и якоря не держат. О чем же я думал, когда на бичей смотрел, как они рубают?» — «И все-таки ты им борща сварил?» — «Истинно так, господи. Хорошего, с перцами. Это мое дело, и я делал на совесть». И скажет господь, которого нету: «Больше вопросов не имею. Подойди ко мне, сын мой, кандей Вася. Посмотри в мои рыжие глаза. Грешен ты, конечно. Да хрен с тобою, не станем мелочиться. В основном же ты — наш человек. И вот я тебе направление выписываю — в самый райский рай, в золотую палату для симулянтов!» И скажет он своим ангелам и архангелам: «Отведите бича под белые руки. И запишите себе там, в инструкции: нету на свете никакого геройства, но есть исполнение обязанности...»

Ну, а если серьезно говорить — я и с Шуркой согласен, и с кандеем, и с «юношей», который в совхоз наметился, гусей разводить, — конечно, не дело это — по морям шастать. Они меня тоже спрашивают:

— А ты, жожаковский, куда пойдешь?

— Не знаю — еще не решил. Пока в Орел съезжу, к мамане. А там присмотрюсь. Я все же на фрезеровщика когда-то учился.

Шурка обрадовался:

— Точно, земля! На пару в Орел рванем, наши же места. На одном заводе объежоримся и повело — вкалывать! Салаги, салаги пускай плавают.

Ну вот, мы каждый себе союзничка нашли и радуемся. И мне как-то и вспомнить лень, что я вчера только был у «маркони» и видел все их радиogramмы — Шуркину, кандееву, «юноши». Пишут в управление флота, просят продлить им соглашение еще на год. А я зачем к «маркони» ходил? С такой же самой радиogramмой. Потому что еще за день до этого вызывал нас по одному Жора-штурман, который списки составляет на новый рейс. Меня тоже позвал, спросил, глядя в сторону:

— Команду набирают на новый траулер типа «Океан». В Баренцево под тресочку, под свежее. На двадцать дней. Ты как? Пойдешь?

— Жора, — я напомнил, — мне же под суд идти.

— Ты озверел? Спишут нам эти сети. Это ты до сих пор не жил, страхом мучился? Спросил бы... Только статейку подберут, по какой списать.

— Граков постарался?

— Он.

— Спасибо ему. Хороший человек.

— Ты тоже ничего, — говорит Жора. — И как ты только по свободе ходишь? Ты же верный кандидат в тюрьму. Она же по тебе горькими слезами плачет! Ты хоть контролируй свои поступки.

— Стараюсь.

— Ни хрена ты не стараешься!

Я не в обиде на Жору, что он мне тогда посоветовал жожа порубить. Да он и не советовал, если помните. А намек еще нужно до дела

довести. И его тоже можно понять, Жору: кепа бы за эти сети и разжаловали и судили, а меня бы только судили, разжаловать же меня некуда. К тому же вон как все обошлось.

Я спросил у Жоры:

— А ты пойдешь?

— Да не решил еще. Отдохнуть хочется, после всех волнений.

Но себя он в список вторым поставил. А первым — «маркони». Потому что «маркони» все равно себя первым поставит, когда список будет передавать на порт.

Сам же «маркони» мне так сказал:

— Я тут учебничек подзубриваю, на шофера. В общем-то, невелика премудрость. Ну, правила тяжело запомнить, черт ногу сломит. Но у меня же в ГАИ корешок, выставлю ему банку, сделает мне правишки. Как думаешь?

А я думаю: кто же мы такие? Дети... Больше никто.

8

В порт пришли мы под утро.

«Молодой» нас долго тащил — мимо створных огней, мимо плавдоков, где звякало, визжало, шипела электросварка, мимо сопок, где ни один огонек еще не светился, мимо «Арктики», еще пустоглазой, а в середине гавани он к нам перешвартовался бортом и стал заталкивать в ковш.

Мы уже все стояли на палубе, в последний раз кандеем накормленные, одетые в береговое, только мне пришлось телогрейку у боцмана просить.

Я бы порассказал вам, как это обычно бывает — как траулер вползает в ковш и упирается в причал носом, а второй штурман стоит уже наготове с чемоданчиком и с ходу перепрыгивает на пирс и летит что духу есть в контору — за авансом. А мы пока разворачиваемся и швартуемся уже по-настоящему, крепим все концы — прижимные, продольные, шпринговые — и только лишь заканчиваем это дело, он уже чешет обратно на всех парах и кричит: «Есть!» И мы набиваемся в салон, дышим друг другу в затылки, а он распечатывает пачки на столе, ставит галочки в ведомости и — пожалте «сумму прописью», кто сколько заказывал: двести, триста. Потом уже грузчики-берегаши выгрузят нашу рыбу, и нам ее за весь рейс посчитают, и контора выдаст полный расчет. А женщины уже ждут нас толпою на пирсе, чтоб сразу же развести по домам — хватит, наплавались капеллой!

Но в этот раз все по-другому вышло. Ну, если уж повело наискось, так до последней швартовки. Мы посмотрели — и не узнали родного причала. Пусто, некому даже конец принять. Потом явился некто — дробненький, в капелюхе с ушами, как у легавой, — и мрачно нам сказал:

— Это чего это вы левым бортом швартуетесь? Вам диспетчер правым велел стать, радио не слышали? — И скинул нам гашу с тумбы.

— Милый человек, — кеп ему говорит, — у нас же хода нет, мы же с буксиром сутки будем в ковше разворачиваться.

— А мое дело маленькое. Сказано — правым. Хотите на рейде позагорать, так я вам это устрою, суток на двое.

Боцман взял да и накиннул ему гашу на плечи. Тот чего-то затыкал, но мы уже не слушали, перепрыгивали на пирс, на твердую землю.

Мы пошли по причалу — не спеша, разминая ноги, и так звонко снежок скрипел, никогда он на палубе так не скрипит. И вдруг увидели женщин — со всех ног они к нам бежали, с плачами, с охами:

— Васенька, Сереженька, Кеша, а нам-то восьмой причал сказали. А мы, дуры, там стоим, ждем. А чтоб ему, этому диспетчеру...

И пошло, поехали. Они, моряцкие жены, тоже умеют слова выбирать.

Ваське Бурову жена обоих дочек привела — платками замотанные, одни глазенки видны заспанные. Не посовестились она их в такую темень будить. Или сами напросились: не каждый же день папка из рейса приходит и не в каждом же рейсе он тонет. Васька даже прослезился, когда увидел своих пацанок. Расчмокал их в носы, лобики пощупал.

— Горяченькие чего-то.

— Ты что! — Жена кинулась отнимать. — Да где же «горяченькие», сдурел совсем. У кого еще такие здоровенькие!

Васька их сгреб под мышки себе, одну и другую, и так понес. Потом на плечи пересадил.

— Да отпусти ты их, старый дурак! — жена ему кричит. И плачет отчего-то. — Они ж уже взрослые, сами небось дойдут.

— Не отпущу! Так до дому и донесу. Какие они взрослые, ну какие взрослые, пускай подольше на папке поедят, махонькие...

Она и улыбалась, и слезы утирала платочком. Поворачивала к нам ко всем востренькое личико, виноватое какое-то, будто она оправдывалась за Ваську: «Видите, каково мне с ним».

Зато у Ваньки Обода жена оказалась — чуть не на голову его выше. И разодетая — в сапожках, в шубке из серого каракуля, в кубанке с алым верхом. А из-под кубанки глаз цыганский косит, кудри взбитые вьются, румянец пышет. Этакое богатство, конечно, без топорика не удержишь.

— Ах ты чучело мое! — ударила Ваньку по плечу. — Фокусы устраиваешь? Я тебя с плавбазой встречаю, а ты мне — сюрпризики, штучки-дрючки. — Затискала, затормошила его и сама же хохотала, как от щекотки.

Ванька совсем потерялся:

— Кларочка, ну мы ж не одни, ты б хоть познакомились раньше...

— А чего ж не познакомиться! — И всем нам руку стала совать, с кровавыми ногтями. — Клара Обод, очень приятно. Клара Обод, очень приятно.

Мне пожалала — я чуть не присел. До кепы даже добралась.

— Клара Обод, очень приятно! Неприятности — не огорчайтесь, все будет чудненько!

Кепова жена на нее поглядела испуганно. Клара ее успокоила:

— Ах, мы, женщины, дуры, столько переживаем, а они потом приплывают, такие мордастые, и ничегошеньки с ними не случается. Эх, ребятки, соколики, как мне вас видеть приятно! Денежки вам уже выписаны, в полтретьего валяйте получать.

Мы пошли дальше с женщинами, повернули от причалов к центральной проходной и понемногу растягивались, разбивались на пары.

Рядом со мною «маркониева» жена шла — не скажу, что подарок. Переваливалась, как утица, ноги — бутылки, а личико — ну то самое, о котором говорят: «На роже скандал», — такое надменное, губы сухие поджаты, глаза наполовину веками прикрыты, голыми какими-то, без ресниц, белые от злости. Даже и тут она удержаться не могла, нилила шепотом, но таким, что мы все слышали:

— Не понимаю, что у тебя общего — с этими серыми людьми! Пусть они лезут хоть к черту на рога. А ты специалист, радиооператор, с квалификацией. Ровню себе нашел!

— Ну, Раиска, ну, перестань, — он ей говорил, морщась, со страданием в голосе. — Ну, киска. Все ж благополучно...

— Да? А кто мне поправит мою нервную систему? Совершенно расшатанную. Твоими похождениями.

— Ну дома все скажешь.

— Дома я тебе еще не то скажу. Напозволялся там! Наверно, с такими же вульгарными нюхами, как эта? — Кларочке в спину вонзилась взглядом. Как у той шубка не задымилась? — А вспомнить, какая вчера была дата, ты, конечно, не мог?

— Какая? — «маркони» спросил с ужасом. — Елочки зеленые, выпало начисто!

— Ах, выпало! Чем у тебя голова занята, позволь узнать? Что ты два слова не мог отбить — в день рождения моей мамы! Которая, кстати, столько для тебя сделала. Мне все говорят, все говорят: «Твой Андрей — такая свинья, совершенно равнодушный человек!»

Муторно мне стало от ее голосочка. Тут действительно напозволяешься — хоть кусок жизни урвешь. Я вперед ушел, пока они не передрались.

К Сереге сразу трое явились — ну до чего ж одинаковые! Такие матрешки кругломорденькие — в бурочках все, в коротких пальтишках, волосы у всех красно-рыженькие, пышными начесами, платочки в горошек, как кровельки с высоким коньком. Удивительно, как он их различал.

— Ну, как ты там, Зиночка? — спрашивал тягучим голосом. — Как ты там, Аллочка, Кирочка?

Они только фыркали да хихикали. Не ссорились между собой, однако. Даже ухитрялись виснуть на нем по очереди.

От стенки пакгауза, из тени, вышла под фонарь фигурка. Постояла робко, шагнула к нам навстречу. Но близко постеснялась подойти, стояла, мучила ворот пальтишка.

— Моя дожидается, — Шурка узнал. — Ну, подойди, не съем.

Она к нему подошла на шаг и заплакала.

— Шурик...

— Ну, чо? Ну, не повезло нам.

— Что значит «не повезло»? Ты же умереть мог, Шурик.

— Мало ли что. Не умер же.

— А ты думаешь — я бы жива тогда осталась? Я бы тут же на себя руки...

Шурка ее взял за плечико, сказал нам:

— Вы, ребята, идите. Я ее успокою.

Так вышло, что с Шуркой мы попрощались с первым. Мы помахали Шурке и его жене:

— Встретимся в «Арктике»!

— Как закон, бичи. Мы к восьми будем.

Мы пошли дальше — по грязному снегу, между цехами коптильни и складами. Наперерез нам локомотивчик тащил платформы с обмерзшими бортами. Мы встали, чтоб его пропустить, опять сгрудились в толпу. Но вдруг он застопорил перед нами, сцепка загрохотала в конец состава. Из будки выглянул машинист — беловолосый, с шалыми глазами, кепочка прилипла к затылку. Коля его звали, известный нам человек. И нас он знал, некоторых.

— Чудно мне, — сказал Коля. — Серегу вижу со «Скакуна». Месяца не прошло, как я тебя провожал. Или чего случилось?

— А ты не знаешь?

— Не слышал. Проморгал новеллу. А в чем суть?

— Да так. Не повезло нам.

— Понятно, — сказал Коля. — Живы-то все?

— Все.

— А за груз, хоть за один-то, получите?

— За один и получим.

— Так чего ж вы огорчаетесь? Вы не огорчайтесь, ребята.

Мы сказали Коле:

— Ну, проезжай. Нас еще дома ждут.

Коля подумал, снял кепочку и снова ее надел.

— Не могу, ребята, перед вами. Порожние везу. Лучше-ка я назад сдам.

И вправду сдал. И мы перешагнули через рельсы. Где вы еще такое увидите, как не в порту?

Третьему нашему переживание досталось: его дама пришла встречать, та самая, что «за полторы сойдет», в пальто с лисой и в шляпе. Однако «морская наблюдательность» его не подвела, он свою «дорогую Александру» заранее высмотрел, как она прогуливается под фонарем, постукивает себя сумкой по коленям. Он поотстал слегка, спрятался за нашими спинами:

— Не прощаюсь. И вообще меня тут не было, ясно? — Забежал за угол, скрылся.

Она пригляделась к нам близоруко, спросила низким голосом:

— Простите, это экипаж восьмьсот пятнадцатого? Штурман Черпаков не с вами плывал?

— С нами, с нами, только что видели. Ах, нет, на судне задержался.

— Но он здоров по крайней мере?

— А чего с ним сделается?

Она кивнула:

— Спасибо. Мне этого достаточно. — И ушла вперед широким шагом.

Возле управления флота кеп от нас откололся с женой и Жораштурман. Им там акты нужно было оформлять — приходный и насчет сетей. Жора нам сказал:

— В полтретьего на судне. Адъё!

Мы напомнили:

— А к восьми в «Арктике». Вы тоже, товарищ капитан?

Кеп ответил — насупясь, но торжественно:

— Капитан вашего судна тоже уважает законы.

Чуть попозже, у портового кафе, Васька Буров откололся, кандей, дрейфтеров помощничек с Митрохиным — им к морвокзалу нужно было, через залив переплываться.

Еще сто шагов прошли, и еще наша когорта поредела: «маркони» и боцман в Нагорное ехали, им нужно было к южной проходной. С ними — один из механиков, Ванька Обод, Серега.

— Встретимся в «Арктике»!..

«Маркониева» жена сказала:

— Точно не обещаем. Как обстоятельства сложатся.

Кларочка на нее цыкнула:

— Ты моряцкая жена или злыдня? Уж так торопишься мужика под туфлю скорей затолкать, дай ему хоть вечер от тебя отдохнуть.

Та смолчала, губы сжала в полоску, лицо побелело от злости. «Маркони» развел руками, улыбнулся виновато:

— Приложу все усилия, бичи.

Потом салаги откололись. Они в общежитие Полярного надеялись устроиться. Я к ним подошел, спросил:

— Ну как? В Баренцево не идете с нами? Надоело?

— Мы еще подумаем, — сказал Дима. — Пока до свидания, шеф.

Я попросил Алика отойти на пару слов. Димка нас ждал, отвернувшись.

— Скорее всего нет, шеф,— сказал Алик.— Мы должны вернуться к своим кораблям.

— Правильно, конечно. Не ваше это все-таки дело.— Но мне совсем другое хотелось у него спросить.— Скажи, почему ты тогда остался? В тузик не сел?

— Как тебе объяснить? — Он смутился, смотрел себе под ноги.— Ты не поймешь, наверно. Ну... хотелось разделить с вами. Что бы там ни случилось. Даже любопытно было. И где-то я до конца не верил. Может быть, на минуту — когда свет погас.

— Что ж тут непонятного? Все как полагается.

— Ты его тоже не осуждай.— Он посмотрел мне в глаза твердо, хоть и покраснел.— А я — как мог его отпустить? Что, если б он решил-ся? И его бы там захлестнуло в плотике. Тут грех обоюдный, шеф. Еще неизвестно, кто кому должен прощать.

Я засмеялся.

— Что вы, ребята, бросьте. Какой грех? Все глупостей наделали, ваша не самая большая.

— Хорошо, если ты так думаешь.

— Уже одно, что вы в море с нами сходили...

— Да, для нас это многое значило. Ты не представляешь...

Я перебил его:

— В «Арктику» же вы придете? Ну вот там все и скажешь. Все послушают, не я один... Да! — я вспомнил.— Лилю увидишь сегодня?

— Передать ей, чтоб пришла?

— Мне все равно.— Я даже удивился, как легко я это сказал.— Захочет — придет. Но привет, конечно, передай. И еще — спасибо. Это уж как она поймет.— Я пожал ему руку, а Димке просто помахал.— Встретимся в «Арктике»!

Совсем уж маленькой кучкой мы прошли через центральную, поднялись наверх, к вокзалу. Здесь, на площади, от нас последние уезжали в Росту — «юноша», дрифтер и бондарь. Сонного таксишника растолкали, приспособили к делу.

— Не поминай лихом,— сказал я бондарю.— Я знаю, ты в Баренцево не идешь, так прощаемся?

Он руки моей не взял.

— Кто тебя еще поминать-то будет? Много чести, знаешь.— Тронул таксишника.— Езжай, родной.

Дальше мы пошли с «дедом». Он совсем близко от нашей общаги жил. Вот так мы с ним когда-то и познакомились: все разошлись, а мы вдвоем пошли пробиваться через метель, и вдруг разговорились, и он меня к себе затащил обедать. А за весь рейс не сказали друг с другом ни слова.

Я шел с «дедом», и он мне говорил:

— Беспокоит меня твое дальнейшее, Алексеич. Ты все же не бросай флот, зачем тебе жизнь переламывать надвое. Мы, может, самое трудное уже пережили, а теперь, глядишь, техники поднавалят, «океаны», «тропики», условия наладятся. А я-то — уж кончился, это точно. Кончился я в этом рейсе. Тридцать лет около машины провел, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился.

— Что ты, «дед»! Мы еще поплаваем вместе. Ты же меня делу обещал научить.

Он не отвечал, усмехался, а я вспоминал: «Приятно и легенду послушать».

У своего переулка он спросил, помявшись:

— Может, ко мне завалимся? Накормят нас, выпить поставят, и спать где найдемся. Чего тебе сразу — с парохода и в общагу?

Но я как вспомнил их комнатешку, диванчик, на который меня положат...

— А я не в общагу,— сказал я ему весело.— Есть еще куда завалиться.

— А! — Он улыбнулся мне.— Ну — в «Арктике»?

Мы пожали друг другу руки, и «дед» зашагал — тяжелый, в коротком своем полушубке, в мохнатой шапке, в сапогах. Еще раз обернулся ко мне, точно знал, что я жду этого, и помахал на прощанье. И я пошел один, сначала одной щекой к ветру, потом другой.

Навстречу мне два чудака шли. Один чего-то бубнил, размахивал длинными мослами, другой — трусил полегоньку, упрятав нос в воротник. Я пригляделся — знакомые силуэты. Кореши мои, Вовчик с Аскольдом. Я вышел к фонарю, сделал им ручкой.

— Приветствую вас, кореши. На промысел топаете?

Встали как вкопанные. Вроде бы дернулись друг от друга. Потом Аскольд заулыбался, губищи распустил.

— Сень, откудова, какими судьбами?

— Да все оттуда же — с моря, где вас никогда не видно.

— А мы тебя в апреле встретить готовились. Как это понять, Сеня? Неохота мне было им рассказывать.

— Поздноато вы сегодня, бичи. Разошлись уже все. Да и не повезло нам, много с нас не выдоишь.

Вовчик вздохнул:

— Мы б хоть посочувствовали.

Мне смешно стало. И никакой же злости я к ним не испытывал. Но и жалости тоже.

— Все те же вы, кореши,— сказал я им.— Все в тех же ушанках драных, в телогреечках. Не пошли вам впрок мои деньги.

Аскольд удивился:

— Какие деньги, Сеня?

— Да уж скажите по правде, дело прошлое... Сколько заначили? Кроме тех, что Клавдия отобрала.

Вовчик, друг мой, кореш верный, поскрипел мозгами и сознался:

— Сень, ну заначили... В такси еще. Ты ж не помнишь даже, как ты роскошно хрустичками кидался. Это ж кого хочешь соблазнит.

— Так... Ну а заначенные — неужели все пропили? Ох, дурни!

— Так, Сень,— сказал Вовчик,— ты ж знаешь, на нее же, проклятую, никаких не хватит.

— Дурни вы, дурни.

Аскольд меня подколоть решил:

— А ведь ты, Сеня, тоже вот в телогреечке. Где ж твоя курточка, подарочек наш?

— От вас,— говорю,— и подарочек не задержится.

Я пошел от них. Вовчик меня окликнул:

— Так, может, проводим курточку?

— Это мысль!

— Значит, приглашаешь?

— Пригласил бы я вас, кореши. Но вас же не было с нами. Мне очень жаль, но вас не было с нами.

Долго они маячили под фонарем.

В городе намело сугробов, и когда я шел, тут же мой след заметало поземкой. На Милицейской ветер гудел, как в трубе, телогрейку мою продувал насквозь. Но я все-таки постоял немного перед крылечком Полярного и с каким-то даже удивлением почувствовал — нет, ничего это для меня не значит. «Спасибо», и только. Неужели так быстро мы излечиваемся?

Перед дверью общаги тоже намело снега, мне его пришлось ботинками разгрести, чтобы вахтерша могла открыть. Та же самая вахтерша, что провожала меня.

— Узнаете, мамаша?

— Вернулся?

Я по глазам видел — нет, не узнала.

— Вернулся и долг принес. Тридцать копеек. Помните?

Вот теперь узнала.

— Что ж ты так скоро? Случилось чего?

— Да так, о чем говорить... Просто нам не повезло.

— Всем бы так не везло — руки-ноги целы. А долг тебе скостили. Новую ведомость завели.

— Да,— говорю,— жизнь не стоит на месте. Поселите меня, мамаша. Желательно у окошка.

— Где захочешь, там и ляжешь. У нас вон целая комната сегодня освободилась. Только приборочку сделаем — и поселяйся.

— А приходов сегодня не ожидается?

— В пять вечера какой-то причалит.

Я прикинул — раньше семи они здесь не будут, а в восемь я сам уйду в «Арктику»,— это значит, я целый день один буду в комнате. Можно запереться, лежать, курить.

— Спасибо, мамаша. Чемоданчик я пока у вас оставлю.

— Оставь, не пропадет.

— А там и пропадать нечему. Пойду погуляю. Очень я по городу соскучился. По нашим северным воротам, бастионам мира и труда.

Она поглядела на меня поверх очков:

— Что-то с вами там стряслось...

— Я же говорю: не повезло.

На вокзале буфет — с шести; я, случалось, туда захаживал перед утренними вахтами. Буфетчица вылезла сонная, повязанная серым платком, нацедила мне из титана два стакана кофе, чуть теплого — или мне так показалось с мороза,— и я его пил без хлеба, без ничего, просто чтоб отогнать сон и кое о чем подумать. Потому что мы вечером встретимся в «Арктике» и там, конечно, будем под банкой, и все опять пойдет своим чередом. А хорошо бы все-таки понять — для чего мы живем, зачем ходим в море. И про этих шотландцев — почему мы пошли их спасать, а себя не спасали? И о том, что будет со мной в дальнейшем, как говорил «дед»: может быть, я и пойду к нему на выучку или наберусь духу и в мореходку подам, «резким человеком» стану — в макене-то, с белым шарфиком! — или же мне все-таки переломить ее надвое, мою жизнь?

Я сидел у окошка — площадь перед вокзалом занесло сугробами, и ни души на ней не было, раскачивались на проводах фонари, черные тени шарахались по снегу. Потом из темной-темной улицы вынырнула «Волга» с шашечками, сделала круг и встала посередине: дальше было не проехать. Из такси — задом почему-то — вылезла баба в коричневой толстой шубе, в белом платке, в пимах, вытянула за собою чемодан. Таксишник выглянул и что-то ей сказал, улыбаясь, и что-то она ему ответила — тоже, наверно, веселое, а потом пошла к вокзалу, скосясь от чемодана набок, а он ей глядел вслед и усмехался. Раз она обернулась что-то крикнуть ему, и он ей помахал ладошкой.

Она шла к вокзалу, как раз против окошка, где я сидел, но меня не видела, улыбалась сама себе. Или тому, что ей сказал таксишник. А я вдруг почувствовал, как что-то у меня стучит в виске и дрожат ладони, в которых я держал стакан.

— Все время, замечаю, ты у меня на дороге, рыженький!

— Нет, это ты у меня на дороге.

Клавка повалилась на стул, расстегнула шубу, сдвинула платок на плечи. И тогда уж мне улыбнулась во все лицо. Уже она успела обмерзнуть и раскраснеться, пока шла к подъезду.

— Дай глотнуть тепленького, чего ты там пьешь.— Я ей протянул стакан, Клавка отпила и сморщилась.— Бог ты мой, он кофе пустое пьет. Как же так жить можно? Нюрка, ты куда же смотришь?

Буфетчица выглянула из-за витрины, пошлепала губами.

— А что?

— А ничего! Такой парень у тебя сидит, а тебе лень багажник отодрать со стула. Ты картиночку видела — «Человек мой дорогой»? Посмотри, в «Космосе» показывают. Баталов там играет. Так он мне еще дороже.

— Баталов?

— Да не Баталов! Баталов само собой... А вот этот злодей. Сидит у тебя сиротиночкой неприкаянной. Ты хоть поглядела бы на него, какой он. Чудо морское!

Нюрка на меня захлопала глазами.

— Ничего особенного.

— Глаза надо иметь! — сказала Клавка грозно.— И мозгов хоть полпорции. Конечно, «ничего особенного», когда он в телогрейке драной. А пришел бы он в своей курточке — ты б тут легла и не встала.— Клавка мне подмигнула.— Было у меня такое желание.

Нюрка опять ко мне пригляделась и не ответила.

— Что же ты, Нюрка, пива ему не поднесла?

— Да он не просил!

Клавка прямо зашлась смехом:

— Ну, Нюрка, ты мышей не ловишь! «Не просил!» Хороший мужик и не попросит, надо самой давать. Ну-ка, покорми его. Винегрету не вздумай предлагать, он у тебя позавчерашний, я отсюда вижу. Студень небось сама исполняла? Знаю, как ты его исполняешь.

Нюрка там заметалась.

— Балычка могу нарезать осетрового. Колбаски деликатесной.

— Вот балычка куда ни шло... Хочешь балычка? Хочет он, хочет, потолще ему нарежь. Потом сочтемся. Да шевелись, Нюрка, живенько, живенько, на флоте надо бегом!

— Я, слава богу, не на флоте.

— Ты-то нет. Да он у нас на флоте. Э, дай уж я сама!

Клавка сбросила шубу на стул, взяла у Нюрки поднос, собрала мои стаканы. Кофе она выплеснула в мойку, принесла «рижского» и тарелку с балыком и хлебом. Опять завернулась в свою шубу и смотрела на меня, подперев кулаком щеку.

— Ну, как ты жив без меня? Скучал хоть немного?

— Немного — да.

— И то — не зряшная на свете!

Я спросил:

— Куда едешь, Клавка?

— В Североникель, свекра хоронить. Ну, не хоронить, его уж там без меня похоронят, а на девятины еще успею.— Пнула ногой чемодан.— Сильно они на меня надеются, одних крабов семь банок везу.

— Погоди,— я спросил,— почему к свекру? У тебя муж есть?

Все лицо у нее вспыхнуло. Отвела глаза.

— Был. Да сплыл.

— Бросил он тебя?

— Да.

— Или ты его?

— Он меня.

Клавка насупилась, закусила губу. До чего же мне было все удивительно.

— Как же он мог тебя бросить?

— А что я — золотая? Так уж вышло. Лучше б, конечно, я его бросила. Тогда бы все ясно было. А так — черт знает... Обиделся и ушел. Ну, конечно, у него основания были.

— Вот, значит, в чем дело.

— Да уж проговорилась.

— Надеешься — вернется?

Клавка повела плечом, не ответила. Стала смотреть в окно.

— Где же он теперь?

— Я ж говорю: сплыл. В море кантуется, вторым механиком на СРТ. Ну, может, еще и вернется.. ненадолго. Ему про меня такого говорили — как ему совсем вернуться? Сам понимаешь.

— Это ты в море ходила — его тоже хотела увидеть?

Клавка еще сильней покраснела.

— Не надо про это. Да и не вернется он. Это ему снова надо в меня влюбиться. А я уже не та, понял, рыженький? Ты от меня уже одно воспоминание увидел.

Клавка улыбнулась — так что я увидел у нее два золотых зуба сбоку.

— Сколько же тебе?

— Двадцать шестой грянул.

— Да, старуха!

— Все-таки не восемнадцать.

Вот на чем ты нагрелась, я подумал, вот о чем рассказывала тогда, на «Федоре»: «А что нам такого хорошенького впереди светит?» Я его ни разу в глаза не видел, не знал о нем ничего, но вдруг такую злость к нему почувствовал. Какое ему до нас было дело — раз он ушел? За что такая почесть ему, что Клавка его ждет и мучается и у нас с нею ничего быть не может?

— Сколько же ты с ним прожила?

У нее дрогнули губы, и она ответила не сразу:

— Три года. Без семи экспедиций.

Я допил пиво и оставил бутылку.

— Ты когда вернешься, Клавка?

— А ты когда в море уйдешь?

— Неделю отгуляю. В следующую пятницу «Океан» отойдет.

— Я раньше субботы не вернусь.

Я подумал: это ты сейчас решила. Если б я воскресенье назвал, ты бы сказала: понедельник. Ну, так — значит, так. Говорить нам как будто было не о чем.

— Я те деньги, что мы говорили, тебе в общежитие снесла. Спросишь у тети Санечки, кладовщицы.

— Хорошо.

Так вот вышло — как будто я об них спрашивал, когда могу получить. Ну, ладно, значит, нас больше ничего и не связывало.

— Проводишь меня? — она попросила. — Раз уж я тебя встретила. Я взял чемодан.

— Нюрка, салют!

Мы вышли на геррасу. Здесь тоже намело снега, на каменных перилах выросли бугры. Клавка смела варежкой снег с перил, вспрыгнула

и села. Чемодан я ей поставил под ноги. Внизу под нами блестели рельсы, а дальше спуск начинался к Рыбному порту, и там виднелись в ключьях пара трубы и мачты и стоячие огни в черной воде — длинными разноцветными нитями.

Паровозишко, кое-где забросанный снегом, приволок вагоны-коротышки — как раз они остановились под нами. На крышах у них и на стеклах блестел иней. Клавка поглядела на эти вагоны и вздрогнула.

— Там топят хоть?

В вагонах зажегся матовый свет, проступили узоры на стеклах. Черт знает, топили там или нет. Человечков тридцать, с чемоданами, с мешками, потащились на посадку.

— Североникельский,— сказал я Клавке.— Тебе пора. Топят, конечно.

Больше мне нечего было ей сказать. Впрочем, осталось кое о чем спросить.

— Тогда все обошлось?

Клавка поняла.

— Ну вот, зачем тебе про это думать.— Отвернулась.— А может, от тебя бы и стоило заиметь?

— Что б ты с ним делала?

— Что с детьми делают? На ножки бы подняла... Чего смеешься? А вообще-то и правда туман у меня в голове. Ты меня не очень-то и слушай.— Она опять поглядела на вагоны и вздрогнула.— Ну, прощай. Запомнишь меня все-таки? Хоть у нас и недолго любовь была...

— А недолго и нужно.

Она мне посмотрела в глаза.

— Неужели так? Было что-то и хватит?

— Нет,— я помотал головой.— Ты не обижайся... Я, может, не так сказал. Сама ты не знаешь, сколько ты для меня успела сделать. В считанные эти часы. Да что там часы!.. Если б у каждого из нас было б хоть три минуты на дню — помолчать, послушать... Может, кто-нибудь просит, чтоб к нему подошли, подали бы ему, дураку, конец. Если не ты, к нему и ангел не явится, и чайка не прилетит. Разве это так много — всего три минуты! Но понемножку и делаешься человеком.

— Не знаю.— Она помолчала.— Я темная. С темных какой же спрос? Но к тебе-то самому ангел когда-нибудь явится? Или так и будешь один посреди поля?

— Почему же один, Клавка? Когда человек лишь подумает о других, не только о себе, он уже не один. Как бы ему там ни было сиротно, хоть в поле, хоть в море. Вот ты уедешь, не встретимся, а я о тебе буду думать. Какой же я «один»? А ты разве одна будешь в чертовом твоём Североникеле? Тоже ведь про меня вспомнишь И никуда мы от этого не денемся...

Клавка вздохнула и слезла с перил. Она опять смотрела на мерзлые вагоны, но уже не вздрагивала, смотрела спокойно. Вот и все, я подумал, теперь она хоть с ясной душой уедет. Я бы не хотел, чтоб ее что-то мучило. Чтоб она меня жалела. Пусть едет с легким сердцем, а не бежит от меня, как от чумного. Пусть вспомнит обо мне хорошо. И я ее так же вспомню. Я не забуду, как нам с нею было тепло. Хотя и недолго.

— Посмотри там,— сказала Клавка.— Таксист не уехал еще?

— Зачем он тебе?

— Поедем на нем. Ко мне в Росту.

— Это что еще, Клавка?

— Поедем, я сказала. Будем жить с тобой.

— Как же девятины? — все, что я догадался спросить.

— А ну их! — Клавка сняла варежку, провела пальцами по гла-

зам.— Там и без меня не заскучают. А тут ты все-таки — живой. Тебя кормить нужно, дело серьезное... Эх, сделаю еще одну глупость и затихну!

— Клавка, что же ты меня мучаешь?

— Сама вот мучаюсь... Может, нам и повезет с тобой. Может, не так скоро и кончится. Думаешь, мне тебя любить не хочется? Я ж не совсем пропащая.

— А если он вернется?

— Ты выгонишь его...

— А ты?

— Не знаю. Как вы решите с ним, так и будет. Хоть подеритесь из-за меня!

Мы с Клавкой сошли на площадь по мерзлым ступеням. Кругом была темень, рассвет еще и не брезжил. Мне казалось — он никогда не наступит, обошел он наши края. А таксишник еще стоял на площади, грел мотор. Ожидал пассажиров с «Полярной стрелы», она к восьми приходит.

Клавка пошла впереди по стежке, которую таксишники протоптали к буфету. Вдруг она обернулась ко мне, и я на нее налетел. Клавка прижалась ко мне холодной щекою.

— Что ты?

— А может, не надо? Так хорошо у нас было, осталось бы о чем вспомнить, а вдруг мы все испохабим?

— Не знаю.

— «Не знаю», «не знаю», все Клавка одна должна решать. А ты? Я тебя завлекала, завлекала, а теперь самой нехорошо... Закройся ты, бич несчастный! — Клавка роняла варешки, застегивала мне телогрейку на горле, а студёный ветер выжимал у нее слезы.— Все же я люблю тебя, рыженький! Как ты к этому относишься?

— Иди вперед,— я сказал.

Она кивнула.

— Вот правильно.— И пошла.

Я бы порассказал вам, как мы приехали и вошли с нею в ту комнату, где я почти ничего не помнил, откуда меня выволакивали битым, и как мы прожили первый наш день, и что было дальше,— но тут уже начинается совсем другая история.

Так что распрощаемся на набережной, где я в последний раз оглянулся — посмотреть на всю эту живопись. Клавдия стояла поодаль, ждала меня и тоже смотрела на порт. Потому что как раз в эту минуту мы услышали три прощальных гудка, и черный траулер вывалился из ковша, пошел к середине гавани. Он пересекал цветные нити, и ему отвечали гудками верфь, и диспетчерская, и несколько больших кораблей, где шла еще ночная работа.

Не знаю, куда уходили бичи, где там над ними закачаются звездочки. Я и прощался с ними и не прощался — через неделю и мы вот так же уйдем: стране ведь нужна рыба.

И куртки мне было не жалко совсем. Пускай она остается в Гольфстриме.



Л. АБДУЛЛИНА

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Десять месяцев невпазд
Все мерещится листопад.
Мне неможется, мне неможется.
Что с тобою? — друзья тревожатся.
Головами качают вслед.
Что со мною? Со мною снег.
Десять месяцев до весны,
Десять месяцев — белые сны.
Десять месяцев невпазд
Все мерещится листопад.
И подушка моя горяча,
И не надобно мне врача.
Есть лекарственные слова:
Что растет на земле трава,
Что на свете есть теплый дождь,
Что на свете есть листьев дрожь.
Вы простите мне эту малость,
Эту малость, мою усталость.
Десять месяцев невпазд
Все мерещится листопад.

* * *

Теперь я знаю, как это бывает,
Когда живой живому вынимает
Живую душу, подцепив крючком,
Как рыбку с золотистым плавничком.
Теперь я знаю, как это бывает,
Когда живой живого забывает,
Как будто убивает птицу влет
Живой живого выстрелом в живот.
Теперь я знаю, как это бывает,
Когда живая боль не заживает,
Когда живой — полуживой живет.
Но если б знать мне это наперед,
Что может так терзать живой живого,
Я б и тогда не проронила слова
Тебе в упрек.
До свадьбы заживет...

* * *

Говорят: беда лиха —
Я не верила.
Далеко ли до греха —
Я не мерила.

Высоко ли до небес —
Не заглядывала.
Дождик будет или снег —
Не загадывала.

Говорили: с милым рай —
Я не ведала.
Говорили: выбирай,
А я медлила.

Говорили: разлюби —
Я не спорила:
Вынуть сердце из груди —
Что мне стоило?



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

Когда писатель перестает называться «молодым»? Понять трудно. Лев Толстой написал «Детство», когда ему было двадцать три года, но в «молодых», как у нас теперь принято говорить, по-моему, никогда не ходил. А вот Василий Аксенов или Андрей Вознесенский, несмотря на свои тридцать семь лет, все еще «молодые». Автор этих строк лет до сорока пяти считался «молодым», потом перешел в «среднее поколение». А как перескочить в «старшее»? Что для этого надо? Начать писать мемуары? Взяться за «Историю моего современника» или за «Былое и думы»? (Кстати, начаты они были сорокалетним Герценом.) Ну, а если кишка тонка? Могу ответить точно. Я знаю. Надо начать писать воспоминания о своих встречах со знаменитыми людьми. Это говорит о солидности. Если ты к тому же приведешь в этих воспоминаниях несколько мест из переписки с читателем (не избранных, упаси бог!), то в глазах читателя станешь еще солиднее и смело можешь считать себя «старшим поколением».

По изложенным выше соображениям (мне до сих пор никак не удавалось стать солидным) я и осмеливаюсь предложить на суд читателя несколько зарисовок людей, на пути которых я повстречался.

ЛУНАЧАРСКИЙ

На фотографии, датированной 1914 годом, группа детей и взрослых. Это русская школа в Париже. Среди детей узнаю только своего старшего брата Колю в белой рубашечке с галстуком и широким поясом — он-то и учился в этой школе, — своего «друга» Тотошку и самого себя. Мне три года. Рядом со мной моя нянька — бретонка Сесиль. Среди взрослых — моя бабушка и мать в какой-то странной, закрывающей уши прическе тех лет. Мужчины все с бородками и в пенсне. Среди них, тоже с бородкой и в пенсне, в соломенной шляпе, именовавшейся тогда «канотье», — Анатолий Васильевич Луначарский. Его сын — это и есть мой друг Тотошка — тоже здесь, кругломордый пузырь-блондин на коленях у своей няньки.

Жили мы тогда в Париже в одном доме с Луначарским. Мать работала в больнице, превратившейся с началом войны в госпиталь.

Рядом с нашим домом был парк Монсури — он и сейчас есть, но тогда это была самая окраина Парижа, сразу за парком тянулись так называемые фортификации, какие-то допотопные земляные валы, где ежедневно занимались шагистикой наши любимцы-солдаты. Впрочем, мы тоже были их любимцами, и они ничуть не огорчались, когда мы набрасывались на них во время их «перекуров».

Мы — это Тотошка Луначарский, Бобос Кристи и я. «Нянькой» нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались — а дрались, говорят, мы с Тотошкой отчаянно, вцепляясь друг другу в волосы, — а Бобос нас разнимал, Анатолий Васильевич спокойно сидел на скамеечке и писал или правил свои статьи.

Из фотографий тех лет сохранилось еще несколько, и среди них одна — наша тройка и моя двоюродная сестра Лена. Я долго тихо ненавидел эту фотографию — мальчики как мальчики, в каких-то штанишках и фуфаячках, девочка как девочка, а я ни то ни се — бархатное платице (!) с кружевным воротничком и длинные золотые локоны до плеч. Тьфу! Противно было смотреть...

Как писал Анатолий Васильевич на скамеечке свои статьи — я не очень-то помню, нам интереснее было драться или кормить в пруду лебедей и уток, называвшихся у нас тогда «лэ га-га». Зато ярко до сих пор помню Луначарского в виде некоей помеси деда-мороза и черта на одной из детских елок. Он напялил на себя мамину меховую, козлиного меха, шубу, приделал какие-то рога и даже, по-моему, хвост и очень пугал и веселил нас.

Потом началась война. Солдаты с фортификаций исчезли, а в небе появились немецкие цеппелины. Как-то ночью мне его даже показали — я все клячил, чтоб мне показали, — но, кроме лучей прожекторов, я ничего не увидел. Но и этого было вполне достаточно.

Где-то в начале 1915 года мы через Англию и Швецию вернулись домой и осели в Киеве. Луначарские и Кристи покинули Францию чуть позже и ехали тоже морем, только южным путем, через Грецию, и обосновались в Москве.

Встретился я потом с Анатолием Васильевичем один только раз, через пятнадцать лет после парка в Монсури, в 1929 году. До этого заходил к нему, вернее к Тотошке, когда обоим нам было лет по четырнадцать — пятнадцать. Жили они тогда в Кремле, куда я попал в первый раз и где, снисходительно руководимый местным аборигеном Тотошкой, впервые увидел царь-колокол и царь-пушку. Папы в тот день дома не было. Мы с Тотошкой побежали в Третьяковку — я туда попал тоже в первый раз — и там, помню, долго, до слез хохотали над коненковскими старичками-лесовичками. Других воспоминаний о моем первом знакомстве с Третьяковкой у меня не сохранилось.

В 1929 году я поехал к Луначарскому по настоянию своих родителей. Дело в том, что в этом году я не попал в Художественный институт. Доброжелатели мои объясняли мой провал неподходящим, мол, социальным происхождением, я же твердо знал, что произошло это совсем по другой причине. Просто на экзамене надо было сделать портрет маслом, а я умел только рисовать, и один-единственный и первый в жизни урок живописи (за день до экзамена) вряд ли мог спасти положение. Нечто мерзко зеленое, беспомощно размазанное по холсту, должно было повергнуть в ужас приемную комиссию (что, по-видимому, и произошло), а передо мной навеки захлопнуть двери Художественного института.

И вот тут-то, очевидно, те же доброжелатели посоветовали моим родителям обратиться за помощью к бывшему нашему соседу по рю Роли, 11. Записка, в которой отмечались мои «недюжинные архитектурные способности», адресованная ректору института, сохранилась у меня до сих пор и сыграла, думаю, свою роль на следующий год, когда я держал экзамен уже не в Художественный, а в Строительный институт.

Записка эта и послужила поводом для моего визита к Анатолию Васильевичу. Надо было, воспользовавшись поездкой в Москву (я рабо-

тал тогда на постройке Киевского вокзала и имел бесплатный железнодорожный билет), зайти и поблагодарить свою бывшую «няньку» за помощь. Кстати, до этого Луначарский дважды (в 1924 и 1928 годах) давал моей бабушке рекомендации для поездки в Швейцарию к младшей своей дочери Вере, вышедшей там замуж и в России больше уже никогда не бывавшей. Помню, что в рекомендациях этих меня больше всего поразило, что в характеристике, данной Анатолием Васильевичем бабушке, сказано было, что она «лояльна» по отношению к советской власти. Лояльна? Ведь это значит только «терпимо», не больше... Заглянув в словарь и с радостью обнаружив, что в понятие это входит и «доброжелательность», я успокоился.

Итак, 25 декабря 1929 года я с трепетом душевным вошел в лифт большого шести- или семиэтажного дома в Денежном переулке, поднялся на самый верх и нажал кнопку в дверях с табличкой: «Председатель комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями Анатолий Васильевич Луначарский».

Отворила мне дверь горничная. Я отрекомендовался, и буквально через минуту в прихожей появился хозяин с салфеткой на шее.

— А, Виктор! — с ударением на «о», по-французски, приветливо и весело сказал он. — Очень рад! И очень кстати! Мы как раз обедаем...

Я приглашен был к столу с белоснежной скатертью и множеством тарелок и тарелочек, познакомлен с женой, хорошо известной мне по кинофильмам «Мисс Менд» и «Медвежья свадьба», Наталией Александровной Розенель, и накормлен вкуснейшим обедом. Потом, дома, меня, конечно, спрашивали, чем же кормили, но я ничего не запомнил, кроме обилия фарфора, разных ножицков и вилочек и того, что боялся больше всего, как бы не нарушить этикет и взять не то и не так, как надо.

Разговор за столом был оживленный, но касался в основном бабушки и мамы.

— Подумай, — смеясь, говорил жене Анатолий Васильевич, — ведь у этого молодого человека, когда я его пас в Монсури, были совершенно золотые локоны, как у маленького лорда Фаунтлероя.

Меня, хотя мне было уже восемнадцать лет, это сравнение явно покорило — меньше всего я хотел когда-либо и чем-либо походить на лорда, поэтому даже не без умысла пришел к бывшему наркому в какой-то застиранной бумазейной рубашке с поясом поверх, чем поверг в ужас моих родителей. «Неужели не мог попроще одеться? Взял бы у кого-нибудь белую рубашечку, пиджачок. На эту же смотреть стыдно...»

Потом говорили о моих планах на будущее — я твердо решил стать архитектором, — о том, что это очень интересная специальность и что вообще-то студентам этого профиля — слова Наталии Александровны — следовало бы знакомиться с Парфеноном и Римским форумом в натуре, а не только по альбомам.

— Доживем когда-нибудь и до этого, — то ли мягко, то ли горько улыбнулся одними глазами сквозь пенсне Луначарский, — а пока что надо в институт еще поступить. Не так ли, Виктор?

Я хорошо запомнил это «не так ли?» — скорее французский, чем русский оборот речи.

Я самоуверенно заявил, что поступлю обязательно, и, конечно же, ни словом не обмолвился о записке, той самой, из-за которой, собственно, и пришел сюда.

Обед кончился. Анатолий Васильевич повел меня в свой кабинет — очень небольшой, весь от пола до потолка в книгах. Малые размеры это-

го кабинета поразили меня так же, как и грандиозные размеры гостиной с большим, чуть ли не во всю стену, полукруглым окном и, что особенно мне понравилось, с внутренней лестницей, ведущей на какие-то хоры, тоже, как и кабинет, уставленные книгами. Нечто подобное я видел потом в Коктебеле, в доме Волошина. Если я когда-нибудь построю себе дачу или виллу, я обязательно тоже сделаю такую лестницу и хоры.

В кабинете мне были показаны кое-какие книги по искусству, от которых я обалдел, а потом Анатолий Васильевич подошел к полке, порылся в ней, вынул маленькую беленькую книжечку и вручил ее мне с дарственной надписью. Она у меня тоже сохранилась. Называется «Об антисемитизме».

Почему мне была подарена именно эта книжка, а не какая-нибудь другая, понять не могу до сих пор, но почти сорок лет спустя я невольно вспомнил несколько строк из нее.

Это было 29 сентября 1966 года, в день двадцатипятилетия первого расстрела в Бабьем Яру. Яра, как такового, уже не было и в помине: он был замыт и превратился просто в поросший бурьяном пустырь. И на этом пустыре в этот день собрались тысячи людей, чтоб почтить память расстрелянных здесь родителей, друзей или просто погибших. Люди плакали или сосредоточенно молчали, разбрасывали цветы просто так, по земле — никакого памятника на этом месте не было.

Что-то заставило меня обратиться к этим рыдающим людям, обратиться с кратким словом о том, что на этом месте, месте расстрела ста тысяч ни в чем не повинных людей, будет стоять памятник! Не может не быть поставлен именно здесь, где впервые за всю войну в таких невиданных доселе масштабах фашизм на практике осуществил свою «расовую» теорию. Потом это место понравилось, и они стали расстреливать всех подряд, не считаясь с национальностью.

Вспоминая об этом, я привел слова из книги Луначарского: «Антисемитизм — это самая выгодная маска, какую может надеть на себя контрреволюционер». С этих слов начинается книга. Вышла она в 1929 году, Гитлера еще не было, и Анатолий Васильевич не мог себе представить тогда, во что может вылиться это страшное явление. Четыре года спустя он увидел это собственными глазами, когда, назначенный послом в Испанию, проезжал через ставшую уже фашистской Германию. Но написать ему об этом не пришлось. Не доехав до Мадрида, он умер во Франции, в Ментоне, в 1933 году.

...Прощаясь уже в коридоре, он очень дружески, совсем не по-своному пожал мне руку и просил, когда я буду в Москве, не стесняться и заходить запросто — он и Наталия Александровна всегда рады будут меня видеть.

— Надеюсь, — сказал он, улыбаясь, — в следующий раз придет ко мне уже студент архитектурного вуза... Не так ли? — (Опять «не так ли?» — «N'est ce pas?») — И обязательно зайти к Тото. Он с мамой живет в Лебяжьем переулке. Запиши адрес.

Адрес я записал, но ни Анатолия Васильевича, ни Тотошку больше уже никогда не видел. Знаю только, что Тотошка стал писать — сначала вместе с матерью Анной Александровной под псевдонимом «братья Занзибер», потом под собственной фамилией. В войну был корреспондентом на Черноморском фронте. Пал смертью храбрых в беспримерном по дерзости и трудности новороссийском десанте в сентябре 1943 года.

В журнале «Москва» № 5 за 1967 год напечатан его очерк «На катерах-охотниках», записки из фронтового дневника и несколько писем матери, которую не только любил, он был с ней по-настоящему дружен. Там же в журнале его фотография 1940 года. Красивый длиннолицый

молодой человек, с умными, немного грустными глазами и маленькими усиками. Таким я его не знал. Тогда, в Третьяковке, грустного в нем ничего не было, а в детстве, когда мы таскали друг друга за волосы, и того меньше.

А в квартире Анатолия Васильевича (теперь там музей) мне пришлось побывать еще после войны, на этот раз в гостях у Наталии Александровны, с которой вторично познакомился через ее брата, в прошлом литературного секретаря Луначарского И. А. Саца.

И опять я сидел за тем же столом, даже на том же самом месте, и, проходя через гостиную с внутренней лестницей, невольно опять подумал о своей будущей даче или вилле. А надевая пальто в прихожей, вспомнил последнее рукопожатие Анатолия Васильевича, его смеющиеся сквозь пенсне без оправы глаза и последнее его: «Не так ли?»—«N'est ce pas?»

ЧУЖОЙ

Настоящая фамилия Ивана Платоновича Чужого была Кожич — ленинградцы хорошо помнят его брата Владимира Платоновича Кожича, режиссера театра имени Пушкина. Ивана Платоновича тоже — последние предвоенные годы он работал в театре Ленинского комсомола. Обоих уже нет в живых.

Я был учеником Ивана Платоновича. В тридцатые годы. А он моим учителем. И кумиром. Да и не только моим. Я не встречал до сих пор человека, который, столкнувшись с ним, не влюблялся бы в него — сразу же, с места и навсегда.

Свела меня с ним чистая случайность.

Шел 1933 год. К этому времени я успел уже кончить три курса архитектурного факультета Строительного института, позаниматься месяц стрельбой, шагистикой и пением строевых песен в лагере под Киевом и, загорелый, полный сил и энергии, вернулся к концу лета в родной Киев.

Занятия в институте еще не начались, и я ежедневно таскался на пляж, а по вечерам писал рассказы. Мы все тогда писали рассказы. Мои друзья — во всяком случае. Сначала читали их друг другу, потом этого оказалось мало, и те из нас, кто верил в свою литературную звезду, стали ходить в литературную студию при Союзе писателей. Руководил ею Дмитрий Эрихович Урин. Он был молод, ему не было еще и тридцати, но талантлив и уже известен — на полке в кабинете стояли его собственные книжки, а в Русской драме шла его пьеса. Кроме того, он был завлитом этого же театра. Вот он нас и учил.

Когда я возвратился из лагеря, его в Киеве не было: отдыхал. Как только вернулся, где-то уже осенью, мы — я, Леня Серпилин и Иончик Локштанов, мои ближайшие друзья по институту, — сразу же ринулись к нему с тетрадками новых произведений под мышками. Но чтения не состоялось: Дмитрий Эрихович торопился в театр.

— Что поделаешь, служащий. Зарплата...— И вдруг запнулся: — Слушайте, ребята! Хотите поступить в студию?

— Какую еще студию? Мы ведь уже...

— Да нет, не в литературную, в театральную.

— Зачем?

— Да просто так, из озорства. Я как раз иду принимать экзамены. Пошли?

Мы переглянулись.

— Ну? Решайте. Чтение наше сегодня все равно не состоится, в кино билеты уже не достанете, а шляться по Крещатику и стоять в очереди за пивом — просто бездарно.

Кто-то из нас удивился:

— А что же мы на этом экзамене делать будем?

— А что на экзаменах делают? Сдают. Или проваливаются. Не все ли равно? Изобразите что-нибудь, прочтите басню Крылова, пушкинского «Гусара» или из «Нулина» кусок — вот и все. И время убьете, и расставаться, ей-богу, не хочется, я же, бродяги, по вас соскучился.

Мы тоже соскучились. И тоже не хотелось расставаться. И мы пошли.

На третьем этаже театра в маленькой комнатке сидела комиссия. По коридору слонялись юнцы и девицы. Юнцы курили, девицы поминутно смотрелись в зеркальца.

Когда открывалась дверь, выпуская кого-то бледного или красного, в зависимости от характера и темперамента, мы видели сидящую за столом комиссию, о которой прошедшие экзамен отзывались по-разному: «Строгие, сволочи...», «Придираются», «Ты читаешь, а они перешептываются», «А один там в углу прикрыл рукой глаза и слушает, слушает...»

Этим одним был Иван Платонович. Когда я в свою очередь, стараясь быть как можно развязнее, в небрежной позе стал посреди комнаты перед рассевшимся у стола синклитом, первым в глаза мне бросился этот длинноногий, с небольшой красивой головой и серьезными, устремленными на меня глазами сорокалетний человек в коричневом костюме, сидевший в дальнем углу.

Хотя я ни одной минуты не собирался поступать в эту студию — зачем она мне, я уже выбрал профессию, — я все же порядком волновался. Стихов я никогда в жизни не читал, басни же просто презирал как любое нравоучение. Тем не менее в руках я сжимал томик Блока и прочел из него «Скифы». Потом басню, не помню уже какую. За басней последовал «эюд» — мне надо было изобразить базарного вора. Изобразил, как мог. Комиссия перешептывалась. (Я часто встречаю «ее», эту комиссию, теперь на киевских улицах или в парках — кто на пенсии, кто пишет мемуары, а кто еще и работает.) Иван Платонович сидел в углу и молча серьезно слушал, прикрыв глаза рукой: он не любил бьющего в глаза света. После этюда он встал, прошелся по комнате — одно плечо у него оказалось выше другого, — подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил:

— Кто ваш любимый писатель?

— Гамсун, — без запинки ответил я.

— И на сцене видали?

— Видал. «У врат царства». С Качаловым и Еланской.

Он, кашлянув, ничего больше не сказал и ушел в свой угол.

Кто-то из комиссии спросил:

— Вы поете?

— Да, — уверенно сказал я, хотя вокал отнюдь не был моей стихией.

— Тогда спойте что-нибудь. Без аккомпанемента можете?

— Могу! — И спел строевую песню «Наддніпряньський полк ударний...», мы ее ежедневно распевали в лагерях.

Комиссия улыбалась.

— А что-нибудь другое?

Другое — так другое. Я спел «Индийского гостя».

— Спасибо, — сказали мне, и я, несколько ошарашенный, вышел в коридор.

На следующий день в списках принятых я обнаружил свою фамилию. Локштанова и Серпилина тоже. Что читал Ленька — не помню (в противоположность мне он знал все — от Гумилева до Демьяна Бедного), читал хорошо, но этюдом комиссию несколько озадачил: он провел

его молча, сидя на стуле и не сделав ни одного движения. Дело в том, что ему предложили изобразить Ван-дер-Люббе, поджигателя рейхстага, а тот, как известно, на лейпцигском процессе не очень-то был болтлив.

Так или иначе, хорошо или плохо, но в студию нас приняли. Всех троих. И велено было прийти на следующий день в шесть часов вечера на первый вводный урок.

Этот вводный урок все и решил.

Провел его Иван Платонович. Несколько вступительных слов сказал Марсель Павлович Городисский — директор студии и в то же время практикующий адвокат. (Я недавно его встретил. Работает. Выступает в суде. И пишет записки.)

Иван Платонович говорил негромко, без всякого пафоса, сначала сидя за столом, потом встав и расхаживая перед нами на длинных своих ногах, сунув правую руку в карман. Из левого кармашка пиджака выглядывал кожаный плоский портсигарчик с двумя папиросами — у него был туберкулез, курить ему нельзя было, но две штуки на занятиях он всегда выкуривал.

К моменту вводной лекции нам уже было известно о нем все. Ему сорок четыре года. До революции — провинциальный актер, играл в Орле и у Соболевщикова-Самарина в Ростове-на-Дону. Успех. Но недолгий. Болезнь — туберкулез легких — на три года отрывает его от сцены. В 1916 году, поправившись, поступает в Художественный. Замечен Станиславским. Играет небольшие роли, а через два года получает роль Барона в «На дне». («Роль эту когда-то с виртуозным совершенством играл В. И. Качалов, и приходится признать, что И. П. Чужой целиком может выдержать экзамен сравнения» — «Театральная газета», 9 июня 1918 года.) Успех полный! На очереди главная роль О'Нейля из пьесы Бергера «Потоп» в постановке Е. Вахтангова. Но... С одного из очередных спектаклей «На дне» Ивана Платоновича увозят в тяжелом, почти смертельном состоянии в подмосковную больницу в Химках. После этого несколько лет лечения в санаториях Крыма и Кавказа.

Двадцатые годы — Киев. Театр студийных постановок. Режиссер-педагог. Кругом молодежь. Опять успех. О студийных спектаклях пишут в газетах. Хвалят. А. В. Луначарский, посмотрев «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, тоже похвалил. (А мхатовский спектакль критиковал — «беззлойный, а надо, чтоб кусался»¹.) Еще три спектакля — «Потоп», «Гибель «Надежды» Гейерманса, «Женитьба Бальзамина», — и, несмотря на популярность у зрителей, театр-студию в 1929 году закрывают: новые веяния в искусстве.

Сейчас Ивану Платоновичу предложено учить нас. И вот мы сидим перед ним на стульях, поставленных в ряд в нижнем фойе театра, двадцатилетние мальчики и девочки, и внимательно слушаем его. А он ходит перед нами и говорит.

Ничего, кроме мук и терзаний, он нам не обещает. Ничем не обольщает. Впереди труд. Нелегкий труд. И полная отдача себя. Никаких компромиссов. Или театр, или — уходи, пока не завяз. (А мы трое на четвертом курсе института, через два года диплом!) Одним словом — «идите домой и крепко подумайте»...

Ленька Серпилин «крепко подумал» и на вторые занятия не пошел. Мы с Иончиком пошли — и на вторые, на третьи, четвертые. И так четыре года. Утром институт, вечером студия.

От Ивана Платоновича сохранилось у меня не много — его фотография, сделанная мною и Иончиком, мой собственный шарж на него, два

¹ А. Луначарский. К возвращению старшего МХАТа. 1926.

письма, восемь открыток (последних дней войны) и крохотная записочка, которую я обнаружил еще до войны, но уже по окончании студии, на дверях своей квартиры: «Звонил, стучал — не открывают. Обнимаю. Чужой». Вот и все. Из вещественного, осязаемого. Из более хрупкого и дорогого — светлая память о нем, память о человеке, которому я бесконечно многим обязан, открывшему мне глаза на явления, мимо которых я спокойно раньше проходил, научившего меня по-настоящему понимать и любить искусство, и в первую очередь правду в нем. Я прошу прощения за эту несколько высокопарную фразу, но это действительно было так.

Учитель и ученик... Это и строгий, очкастый математик у черной доски с мелом в руках, а перед ним запутавшийся в дробях вихрастый паренек, это и Флобер, не выпускавший до поры до времени Мопассана на широкую дорогу, это и Христос со своими апостолами...

Кем были мы? Воском, глиной, пластилином. Из нас хорошо было лепить. Были мы иногда строптивы, упрямы, обидчивы (девочки частенько поплакивали), но пальцы у Ивана Платоновича, при всей его мягкости, были сильные, как у настоящего скульптора, и мял и вылепливал он из нас, что хотел. Причем делал это так тонко и умело, что нам казалось, будто мы сами к этому стремимся, а он, ну, он где-то там изредка подтолкнет.

Я не знаю, что испытывает глина или воск в руках скульптора, мы же в руках Ивана Платоновича — все! Всю гамму свойственных человеку чувств — от черного горя, когда хочется с моста вниз головой, до ощущения неземного блаженства, восторга, счастья, дальше которого некуда уже и идти.

По тому, как он сидит, или встает, или ходит, вынимает папиросу, закуривает, затягивается, мы уже знали, доволен он или нет, бросаться ли с моста или бродить счастливому, одному, вдвоем, а может быть, и с самим Иваном Платоновичем по ночному Киеву, под его могучими каштанами и липами.

Иван Платонович любил эти прогулки, неторопливые, бесцельные, когда говорили больше мы, чем он, — хотя он и не был молчуном, он не был и по-актерски болтлив, не рассказывал историй и анекдотов из театральской жизни, а о своем прошлом не вспоминал никогда, как будто его и не было. В театре, или, как принято у актеров говорить, на театре, это явление более чем редкое.

Часто, когда он уставал после репетиции, мы просто провожали его домой, на Бессарабку, где он жил в одной комнате со своим верным Санчо Пансой, другом детства и одноклассником (даже однопартийником) — чудесным, маленьким, приветливым Феофаном Кондратьевичем Епанчей. Иногда, когда он болел, мы заходили к нему и усаживались у его железной кровати, над которой на стенке висело громадное «Чужой» (кто-то в шутку вырезал это слово из афиши «Чужого ребенка»). Иногда, обыкновенно на какой-нибудь праздник — 1 Мая или чей-нибудь день рождения, — он заходил к «нам», точнее, к Нанине Праховой. У Праховых была прекрасная многокомнатная квартира, вся увешанная картинами в золотых тяжелых рамах, преимущественно Врубеля, с которым дружил Нанинин дед, знаменитый в свое время археолог, искусствовед, педагог и художественный критик Адриан Прахов, «открывший» миру Кирилловскую церковь в Киеве — уникальное сооружение XI века.

У Праховых мы «резвились», ставили какие-то шарады (многие специально к ним готовились, чтоб новой «находкой» поразить Ивана Платоновича), слушали рассказы Николая Андриановича, Нанининого отца, о Врубеле, Васнецове, Нестерове, которые часто бывали и даже жили

в этом доме: отец и мать Нанины тоже были художниками. Потом долго пили чай — да, только чай! — и где-то после двенадцати шли провожать Ивана Платоновича через весь город к его уже волнуемому, стоящему на балконе, уютному Феофану Кондратьевичу.

Но все это был, так сказать, отдых, внепрограммное общение с Иваном Платоновичем. Настоящее же «общение» — и вот тут-то счастье и горе — происходило на репетициях, в большом зале театральной столовой, из которой выносились столы и стулья.

Первый год мы играли этюды и ставили отрывки из Чехова. На втором курсе мне дьявольски повезло — дали Хлестакова, второй акт «Ревизора». Потом уже Иван Платонович рассказывал мне, почему он отказался дать мне эту роль, мечту моей жизни.

После первого курса (и четвертого архитектурного) институт послал нас на практику. Я с приятелем попал в Севастополь. Там мы, не переутомляясь, строили какие-то печи Трепке, в основном же купались и загорали на станции «Динамо» у Графской пристани и с утра до вечера мечтали о сытном обеде: год был нелегкий, тридцать четвертый. И вот в одном маленьком, беленьком, как и все в Севастополе, домике на Северной стороне (у родителей моего друга, с которым я вместе работал в Киеве на постройке вокзала) мы эту нашу мечту осуществили полностью. Мы съели и выпили все, что было на столе, а на столе было много кое-чего, и еще по карманам растыкали. Я надолго, на многие годы, запомнил это лукуллово пиршество.

Вернулись в Киев. Начались занятия в студии. На первом же уроке Иван Платонович предложил каждому из нас изобразить наиболее запомнившийся, наиболее интересный эпизод из проведенного нами лета. Я изобразил самого себя за столом у родителей моего друга.

— Вы ели, дорогой мой, — сказал мне Иван Платонович, — с таким аппетитом, так вкусно, с такой самозабвенностью, с такой отдачей всего себя самому процессу еды, пережевывания, запивания, выбора блюд, обсасывания косточек, ковыряния в зубах, что я сразу понял: речь может идти только о Гаргантюа или Хлестакове. Я выбрал Хлестакова.

Всю зиму я работал над Хлестаковым. А в институте по утрам корпел над проектом вокзала. За вокзал я получил четверку, за Хлестакова — пять!

Счастье, охватившее меня после успеха в роли Хлестакова, я могу сравнить только с радостью, которую испытал одиннадцать лет спустя, впервые взяв в руки восьмой и девятый номера «Знамени» за 1945 год с напечатанным там «Сталинградом».

Потом на третьем и четвертом курсах я играл матроса Селестена в мопассановском рассказе «В гавани», графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро», Добчинского (!), и Раскольникову, и, как диплом, Женьку Ксидиаса в «Интервенции» Л. Славина. За эти две последние роли меня хвалили — но все это было уже без Ивана Платоновича. Что-то у нас переменялось, Марсея Павловича заменили другим директором, мы приняли его в штyki (потом, правда, примирились и даже подружись), в репертуаре нашем появился «Платон Кречет» (тоже штyki, но никакого примирения), и в результате всех этих перемен Иван Платонович от нас ушел.

Мы — я и Иончик — от имени студии ездили к нему в Остер (там у него был маленький домик, там он и родился) умолять, чтоб не покидал нас. Он нас очень трогательно принял (сам тоже был тронут), угостил обедом, ходил с нами к речке, был тих, спокоен, как всегда обаятелен, но непреклонен. Нет, не вернется: мосты сожжены, корабли потоплены.

— Поеду осенью в Ленинград. К Володе.

— Но с вашими легкими Ленинград...

— Ничего не поделаешь. Другого выхода нет.

— Ну, а мы? — последний наш козырь. — Как же мы без вас?

Он мягко, грустно улыбался.

— Жданович Алексей Иванович — хороший человек. Прекрасно знает систему...

Система, система! А ну ее! Нам Иван Платонович был нужен, а не «система»...

Но он так и не вернулся. Уехал в Ленинград — не помню точно когда. В Ленинграде работал в театре Ленинского комсомола. Поставил «Женитьбу Бальзамина» (у нас в студии она тоже шла), пригласил туда немного погоды моего однокурсника Веньку Любомирского (я был задет: а почему не меня?), и больше я его никогда не видел.

В чем же было обаяние, всепокоряющая сила этого немолодого (для нас даже старого — сорок четыре года!), в общем-то, неустроенного, живущего в чужой (ну, не чужой — дружеской) комнате, не имевшего семьи (была, кажется, когда-то жена, но...), очень больного человека. Думаю, не ошибусь, если скажу: в любви к театру, к искусству. И в умении заставить других полюбить так же, как и он. Впрочем, «заставить» не то слово — под ним подразумевается насилие, а для Ивана Платоновича любой вид насилия, даже мягкого, бархатного, исподволь, был противопоказан.

Он был ярым врагом метода «показа», признавал только «рассказ», воевал против повторения и запоминания удавшихся интонаций, был мягок и в то же время требователен (иногда, чтоб расшевелить находящегося «не в форме» ученика, раздражал его, доводил до точки кипения: «Ну, а теперь вот пошло, пошло, продолжайте»), но никогда не сердился по-настоящему. Он ненавидел безвкусицу и штамп, презирал самовлюбленных актеров, будь они семи пядей во лбу, в искусстве был за правду (и не в искусстве тоже), к формальным поискам относился без особого восторга, но не отрицал их права на жизнь. Мейерхольда считал очень талантливым, но театра его не любил. (Кстати, мы были поражены, когда, попав на репетицию «Клопа», увидели, как Мейерхольд работает методом «показа»: он изображал, а такие актеры, как Боголюбов и Ильинский, пытались ему подражать, копировать.) МХАТ любил, но и критиковал. Чарли Чаплина называл величайшим актером и ходил с нами на «Новые времена».

Сейчас, когда я пишу эти записки, я пытаюсь вспомнить какие-нибудь «изречения» Ивана Платоновича. В книгах и монографиях о «великих» людях, после воспоминаний о них современников и друзей, бывает раздел «Мысли художника». Их обычно записывал секретарь. У Ивана Платоновича секретаря не было (разве что Феофан Кондратьевич), но главное — он не любил «изречений». Его «изречениями» были репетиции, и нам этого было вполне достаточно.

Я почему-то не помню, как мы провожали Ивана Платоновича и провожали ли вообще — возможно, это было легом и мы проходили практику. Но он уехал. А вместе с ним ушло от нас и внутреннее, может быть, юношеское, излишне восторженное, но некое озарение. У нас остались хорошие педагоги, и Женьку Ксидиаса я делал под руководством ныне покойного Бенедикта Наумовича Норда с большим увлечением, но это было уже не то...

Окончив студию, я «подвизался», пока не началась война, на сценах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону, колесил малость с «левым» театриком по клубным сценам Правобережья, в августе сорок первого был мобилизован, и на этом моя актерская карьера кончилась. И навсегда...

Летом 1943 года на Донце я был ранен. Попал в госпиталь в Баку. Там узнал об освобождении Остра и сразу же написал Ивану Платоновичу открытку: откуда-то я знал, что он оккупацию перенес в Остре. Ответ — длинное, невероятно обрадовавшее меня письмо — я получил уже на полевую почту, когда уже давно выписался из госпиталя и воевал в Польше. Пришло оно за неделю до моего второго ранения. Привожу это письмо:

«1.VI.44.

...Долго ничего от Вас не было, и я решил, что Вы выписались из бакинского госпиталя, не получив моей открытки и, следовательно, не зная, где я и есть ли я вообще. Очень жалко было, что оборвалась связь с Вами. Я часто думал о Вас, и Ваша открытка — первая весть с воли — показала, что мысли эти и беспокойства не были односторонними. В день освобождения Киева я послал открытку Зинаиде Николаевне, считая, что она придет раньше Вашего письма. Прошло много времени, и открытка была возвращена за ненахождением адресата. Это обеспокоило меня. В первых числах января с. г. в киевской газете от 31.XII.43 года была помещена темпераментная, понравившаяся мне статья «В новогоднюю ночь». Я удивлен был подписью под ней. Не могло быть такого совпадения. Тут и имя, и гвардии капитан, и Киев, в который Вас должно было потянуть в первую очередь. Я несколько успокоился и насчет Ваших родных, решив (здесь я судил по себе), что если б Вы своих не нашли, то были бы слишком подавлены и не стали бы писать для газеты. Прошло несколько лет с тех пор, когда мы были вместе. И чем больше лет нас разделяло, тем яснее и четче я видел, что Вы остались не только в памяти, но и в душе. Поэтому очень рад был и второму Вашему письму, большому, но только поднявшему пласты того, что хотелось бы узнать от Вас и что — рассказать Вам. Тут, конечно, нужна встреча, и ее ничто не заменит. Может быть, Вы помните, что, уезжая перед войной на юг, я надеялся увидеться с Вами и писал об этом. Поехал я в другое место и по другому пути, а добрался до Остра в первых числах июня 41 года. Когда в сентябре через Остер прошел фронт, я оказался в дачном доме с вылетевшими окнами, продырявленной крышей, с садом, изрытым окопами и щелями, без денег, без вещей, без дров и даже без картошки, о которой когда-то переводил из французской хрестоматии, что она во время Великой французской революции спасла французскую аристократию от голодной смерти и во все времена спасает от голода всех бедняков мира. Первые же вломившиеся на постой немцы забрали все, остававшееся из года в год в доме. Потянулись тяжелые дни, и я не пропал только благодаря Анне Всеволодовне, знающей немецкий и французский языки и приехавшей сюда в последнюю минуту. Что делали немцы — Вы знаете, я мог бы рассказать кое-какие детали и случаи со мной, но об этом можно говорить только в более спокойной обстановке.

В январе 42 г. умер от истощения Феофан Кондратьевич, я узнал об этом через месяц и то стороной, так как связи с Киевом не было. Вы представляете, как трудно было перенести эту утрату. Ведь мы с Ф. К. сели в 1-м классе гимназии на одну парту и с той поры не расставались до последних дней. Ни одного пятна не было на нашей дружбе, ни одной друг от друга тайны, ни одной измены.

О Владимире Платоновиче ничего не знаю. От жены его получил открытку, написанную в ночь с 22 на 23 июня 41 г., где говорилось, что город не спит, ждет налета. Больше ничего не знал, не слышал, не читал. Зимой почти все время лежал, спасаясь от холода, экономил энергию, а значит, и харчи. Летом, когда это позволяли обстоятельства, ловил

рыбу, подкармливавшую нас. День проходил настороже — не придут ли, не схватят ли,— по ночам же у нас немцы людей не брали, и кто прожил благополучно день, мог спокойно провести и ночь. Читал киевскую газету с муками и стенаниями, надеясь найти что-нибудь об СССР. Очень редко удавалось, отравив себя лошадиными порциями зловонного поила, найти строчку — две какой-нибудь брани или клеветы, из которой можно было бы сделать некоторые догадки и предположения о том, что делалось у Вас. Тут опять надо говорить, не уложишь всего в письме. Но вот пришло 21 сентября 43 года!

Двое суток немцы ходили по Остру и собирали уцелевших мужчин. К 4 часам 21 сентября обыски закончились. Я сел у окна и стал наблюдать за частями отступавшего немецкого арьергарда. Вдруг сзади голос: где мужчина? Пришедшие со стороны сада двое эсэсовцев уже входили на балкон по мою душу. Навстречу вышла А. В. «Где вы научились так хорошо говорить по-немецки?» — «В гимназии». — «А-а, в гимназии! Где мужчина, нам сказали, что здесь остался мужчина». — «Мужчина давно бы уехал, но он болен и везти его невозможно». — «Вы — фольксдойче?» — «Нет». — «А почему вы здесь остаетесь?» — «На моем попечении находится заболевший господин, он — артист, но сейчас играть не может». — «А сколько их у вас?» — «Кого?!» — «Больных мужчин». — «Один, только один. Во всем доме живут только двое — он и я. Это дача. Он приехал из Ленинграда и тут был застигнут войной». — «А-а, Петербург!» Полусонный немец слушал ее, глядя в одну точку, и жевал яблоко. Так продолжалось до тех пор, пока раздавшийся на соседней улице взрыв не вывел его из оцепенения. Тогда он махнул на А. В. рукой и поплелся в сторону взрыва, увлекая за собой товарища. Это были последние немцы, которых я видел.

Судя по первому периоду войны, я не верил, что освобождение придет так скоро. Немцы ведь оставили ура-блицкриг и говорили о семилетней войне.

По письмам, пришедшим от людей невоевавших и не живших под немцем, я видел, что они не поняли многого, не почувствовали и не подумали. От ленинградцев же, остававшихся там до конца 42 г., письма уже были совсем иные...

После двухгодичного нервного перенапряжения и сверхподъема после освобождения, сейчас у меня реакция, особенно чувствительная в мои годы и с моими хворями. Но надо, надо держаться до конца во что бы то ни стало. С надеждой на это, с надеждой на нашу встречу обнимаю Вас горячо и дружески.

Любящий Вас И. К.».

После было еще одно письмо и несколько открыток.

«Жизнь нелегкая, здоровье плохое, надо бы съездить в Киев, Ленинград, но как это осуществить... От 6-ти до 12-ти, слава богу, включают теперь электричество, появился в доме репродуктор, а в общем-то... Надо бы поговорить... Предположите, что Ваш приятель или знакомый говорит Вам: «Нет, сегодня не зайду к тебе, надо в этот чертов Остер за картошкой ехать...» Уж тогда непременно садитесь рядом с шофером и держите путь на ул. 8 Марта, 40...»

Последняя открытка, совсем уже грустная:

«27.II.45.

... С 20 января я лежу и вряд ли в ближайшее время смогу написать Вам. Однако прошу Вас время от времени посылать мне хоть небольшие цидулки. Последнее Ваше письмо очень интересно в том смысле

ле, что в нем есть ответы на некоторые вопросы, меня очень интересующие. Ведь все пережитое Вами так огромно, что довоенными очами Вы уже не можете смотреть на жизнь и особенно на тыловую жизнь сегодняшнего дня.

Обнимаю Вас, дорогой мой.

И. К.».

Больше я уже ничего от него не получил. Не дожив нескольких недель до Дня Победы, он умер 19 апреля 1945-го, на пятьдесят шестом году жизни.

Почти через двадцать лет — в 63-м году — я оказался в Остре. Пошел на улицу 8 Марта, 40,—там жили уже какие-то незнакомые люди,—сходил на кладбище, положил на какую-то безымянную могилу (старожилы сказали мне, что именно в этом «кутку», уголке, похоронили Ивана Платоновича) букетик цветов, посидел, повспоминал и ушел.

Фотография Ивана Платоновича (сделанная мною и Иончиком) стоит у меня на столе. Он красивый, грустный, задумчивый, голову подпер левой рукой — так сидел он на наших репетициях в те далекие счастливые времена, когда, как мне тогда казалось, всю свою жизнь я посвятил театру. Я изменил ему. Осудил ли бы меня за это Иван Платонович? Думаю, что нет. Театр требует полной отдачи себя. У меня это не получилось. И я ушел из театра. Вернее, после фронта не вернулся назад. Думаю, что театр не многое потерял, а я все же остался в выигрыше: мое юношеское увлечение театром свело меня с Иваном Платоновичем. А это большое счастье...

СТАНИСЛАВСКИЙ

Летом 1937 года я кончил театральную студию при Киевском театре русской драмы, и тут же большинству из нас предложено было остаться в труппе театра. Предложение было лестное, но не очень заманчивое. Театр, конечно, не плохой и артисты хорошие, ничего не скажешь, но есть же и МХАТ! И мы поехали во МХАТ. Держать экзамен. Человек пять или шесть — точно не помню. Провалились. Тогда ринулись в студию Станиславского. Опять провалились. Все, кроме одного — моего ближайшего друга Иончика Локштанова. Он один был принят, и мы ему до смерти завидовали, грешным делом объясняя все его ростом, телосложением и голосом — он пел и даже учился у известной Муравьевой.

Вернувшись в Киев, узнали, что все мы за «измену» театру из труппы исключены. Потом дано было понять, что, если подадим соответствующие заявления, будем возвращены назад. Все подали. Я отказался: был горд...

Чем же заняться? Возвращаться в архитектуру? Год тому назад я кончил Строительный институт. Не хочется. Хочется быть актером. И тут подвернулось нечто, именуемое «Железнодорожным передвижным театром». Так во всяком случае мне было объявлено, когда предложили в него поступить. До этого я пытался втиснуться в труппу к знаменитому Блюменталь-Тамарину, но там не получилось, и я принял предложение Железнодорожного передвижного театра.

Передвижным он был на самом деле, «железнодорожного» же в нем было только то, что передвигались мы по железной дороге, на самом же деле это был театр «на марках», в просторечье же — «левая халтура». В «труппе» было всего восемь человек. Руководил ею Александр Владимирович Роксанов — в прошлом артист петербургского фарса, а до этого еще профессиональный борец, изъездивший весь мир, от Петербурга

до Сан-Франциско. В маленькой его комнате на тихой Павловской улице висел на стенке большой его портрет — полуголый, руки с толстыми напряженными бицепсами за спиной, через грудь — лента с медалями за победы на «чэм-м-пионатах».

Теперь это был пожилой, совершенно седой человек, с продолговатым интеллигентным лицом, в пенсне, очень ленивый и очень хороший. Мы сразу полюбили друг друга. И сразу начали играть в очень любимую нам игру — оба делали вид, что играем в настоящем театре.

В репертуаре были пьесы с минимальным количеством действующих лиц и максимальной увлекательностью — «Стакан воды» Скриба, «За океаном» Гордина, «Тайна Нельской башни» Виктора Гюго, «Парижские нищие» не помню уже кого, «Очная ставка» Шейнина, еще что-то, еще что-то и — о ужас, я долго сопротивлялся, даже бунтовал! — «Анна Каренина», где я, первый любовник труппы, заливаясь краской, изображал Вронского.

С таким вот репертуаром, таская за собой жалкий свой «гардероб» и «реквизит», мы разезжали по местечкам и районным центрам Винницкой области, где у нашего администратора был какой-то блат, и несли в массы культуру. Честно отыграв спектакль, разгримировывались и делили выручку на четырнадцать «марок». Четырнадцать, а не восемь, потому что Роксанов получал три «марки» как актер и худрук, Буковский — две как актер и администратор, Коля Стефанов как актер и зав. постановочной частью, ну, и жена Александра Владимировича как актриса и жена.

Так колесили мы из Гайворона в Гайсин, из Гайсина в Немиров, из Немирова еще куда-нибудь целый год. И ялюбил свой театр, и маленькую нашу «труппу», сплошь состоявшую из симпатичных неудачников, и крохотные клубные сцены без кулис и с вечно засакивающим занавесом, и разношерстную публику, принимавшую нас всерьез и даже по несколько раз вызывавшую, и тесные, грязные местечковые гостиницы или школы, где часто спали просто на столах, и вокзальные рестораны (ох, какие в Гайвороне были свиные отбивные, не хуже, чем в киевском «Континентале»), — и плевал я на всех друзей и знакомых, которые не переставали недоуменно пожимать плечами: «Архитектор, высшее образование, из интеллигентной семьи, а вот, поди, по каким-то дырам паяничает за какие-то там «марки»... Мать хоть пожалел бы...» Но мать я не жалел, а она меня не осуждала — ему интересно, он любит своего Роксанова, ну и пусть играет, пусть разъезжает по всяким дырам».

А Александра Владимировича я действительнолюбил. Это был образованный, начитанный, много повидавший в своей жизни человек с неудавшейся, в общем, карьерой (в молодости, правда, был успех — и в цирке и на сцене), но — актер он был хороший и человек к тому же очень добрый.

На первый взгляд может показаться странным: как это молодой человек, «идейный», воспитанный на канонах системы Станиславского, к искусству относящийся со всей серьезностью, к тому же ученик всеми уважаемого, а молодежью боготворимого, утонченного Ивана Платоновича Чужого, да еще после успеха в студийном Хлестакове и Раскольникове — как это такой человек мог увлечься своей халтурой... Но это было так. Увлекся. И виновником был Роксанов.

Чужой и Роксанов в своих театральных взглядах были полярны. Иван Платонович, актер МХАТа, был ярым поборником системы Станиславского. Роксанов, актер фарса, «систему» более или менее презирал (тут между нами происходили ожесточеннейшие бои) и считал, что «учить актера плавать» надо не в плавательной школе, а просто стлавивая его с берега в воду.

— Вот вы, дорогой мой Витюша, поплавали три года в чистеньком, прозрачном бассейне с подогретой водичкой, это на определенном этапе очень хорошо и полезно, не спорю, но сейчас бассейна перед вами нет, а есть море с волнами и всякими там рифами и акулами. Хотите вы или нет, но я вас буду в это море сталкивать — в спину, неожиданно, с самого высокого утеса.

И сталкивал. И называлось это у нас «буря в стакане воды», так как эксперименты сии, одинаково нравившиеся и ему и мне, производились в основном во время представления скрибовского «Стакана воды». Болингброка он играл не меньше тысячи раз, пьесу, очень изящную, стремительную, с великолепным диалогом, знал назубок, поэтому мог позволить себе в ней кое-какие шалости. А шалости заключались в том, что он вдруг вводил в свой диалог собственный текст (но всегда в стиле и характере пьесы), а я, игравший Мэшема, должен был этот текст подхватывать, парировать удары — одним словом, начинался увлекательный, захватывающий «диаложный» теннис.

Сейчас я от театра далек — последний раз вышел на сцену в июле 1941 года, когда уже началась война, — но думаю, что обе эти системы — «бассейна» и «моря» — ничуть не противоречат одна другой, напротив, дополняют (вторая приучает к находчивости, быстроте реакции), и память о моих столь противоречивых учителях (обоих уже нет в живых) я храню как нечто самое Дорогое, теплое и близкое в моей актерской (да и не только актерской) жизни.

Но вот кончилось лето 1938 года, Винницкую область мы исколесили вдоль и поперек, перекинулись на Киевскую, более избалованную всякими там выездными спектаклями «настоящих» театров, сборы стали падать, настроение портиться, появился микроб деморализации, все чаще вспыхивали какие-то идиотские ссоры, а я к тому же получил письмо от Иончика Локштанова, в котором он писал, что «школа Станиславского — это действительно чудо, храм искусств» и тому подобное и что он «кровь из носу, а сведет меня со «стариком».

Произошел тяжелый разговор с Роксановым (мой уход ставил в тяжелое положение весь коллектив), но он понимал меня, слов возражения найти не мог и, грустно улыбнувшись, махнув рукой, сказал: «Бог с вами, поезжайте».

И я поехал — Иончик к тому времени уже все подготовил.

Дальше пойдут записи, сделанные мной по свежим следам. Чудом сохранился маленький пожелтевший блокнотик, в который я записал в тот же вечер, вернее ночь, все, что произошло в этот столь знаменательный для меня день.

Итак.

12 июня 1938.

В час дня нужно позвонить Станиславскому, чтоб узнать о часе приема.

С утра все готовится к этому звонку — глядятся брюки, выбираются и даже сгибаются носки, чистятся ботинки, полчаса завязывается галстук перед зеркалом. Иончик собирался идти в апашке, но оказывается, что Константин Сергеевич этого не любит, приходится надевать воротничок.

В без четверти час мы уже сидим на лавочке в саду заветного дома, поминутно поглядывая на часы.

Ровно в час Иончик снимает телефонную трубку и набирает номер — знаменитый, гантственный номер Станиславского, которого не знает ни один человек в студии, которого нет в телефонной книге и который не выдают в справочной. Этот номер К 1-52-27.

Я трепеща стою у дверей, чтоб никто не вошел и не помешал, и пожираю глазами Иончика. Вид у него почтительный, но серьезный. Подходя к телефону, он даже застегнул пиджак.

Он несколько раз просил меня, чтоб я не присутствовал во время его телефонного разговора со Станиславским, так как у него появится тогда подхалимское выражение лица, но я был неумолим и, к сожалению, разочарован — ему, по-видимому, удалось подавить в себе это чувство.

Разговор состоялся. Свидание назначено на сегодня, на 10 часов вечера.

Боже мой! До 10 часов вечера ждать, а сейчас час, совершенно не представляю, как я это выдержу, куда девать время. Чтоб не рассеиваться, я специально не пошел утром в театр на «Очную ставку», отдал билет Иончиковой матери, а тут, оказывается, просто с ума сойдешь от обилия времени.

Отправляемся в общежитие. Развешиваем брюки, рубашки и галстуки по стульям — Иончик идет играть в теннис, я укладываюсь на кровать. Около часу сплю. Потом просыпаюсь, начинаю читать бульварный роман «На берегах Гудзона» — единственное, что можно читать в такую минуту. Иончик уже спит.

Собираем и экономим силы. В голове бродят различные мысли.

Пожалуй, это самый ответственный день в моей театральной жизни, а может, и вообще жизни.

Около месяца тому назад Иончику удалось добиться разговора с Константином Сергеевичем, которому он прямо сказал обо мне (против моего желания, между прочим) и о моем желании заниматься в студии.

В телефонном разговоре Константин Сергеевич сказал Иончику, что если я буду в Москве, то он с удовольствием послушает меня. Это была блестящая победа. Добиться того, чтоб сам Станиславский меня слушал! Молодец Иончик, вот это настоящий друг, как сказал мне в своей напутственной телеграмме Иван Платонович.

Итак, 26 мая я выехал из Киева, фактически бросив на произвол судьбы роксановскую «халтуру», я даже не представлял, как они будут играть без меня.

По правде сказать, когда я ехал в Москву, мне не очень хотелось поступать в студию. Я боялся этого «храма», этой лучшей в мире студии, ее дисциплины, двухлетних репетиций, безапелляционного преклонения авторитету Станиславского. Умом я понимал, что нужно сделать все, чтоб в нее попасть, но сердце у меня к этому не лежало. Выражаясь высокопарно, я привык к свободному воздуху жизни и боялся школьной, правда золотой, клетки.

Ехал я в Москву с желанием встретиться со Станиславским, показаться ему, прочесть пьесу, но, повторяю, без всякого желания поступить в студию.

Итак, 27-го я был в Москве. Поселился с Иончиком в общежитии, и сразу с места в карьер мы приступили к работе. Шестнадцать дней мы работали — по три, иногда по четыре часа в день, — работали не за страх, а за совесть, как никогда в жизни не работали. Даже в театры не ходили, не до того было. С удовольствием работали, со вкусом.

И вот наконец сегодня решительный день — или пан или пропал, а если даже и пропал, то все-таки — свидание со Станиславским.

За эти дни я его уже дважды видал на студийных просмотрах. Высокий, худой, широкоплечий, старый (семьдесят пять лет), но прямой, с большим, хотя и маленьким по отношению ко всей фигуре лицом, с иронически улыбающимися глазами и страшно выразительными руками. Внешность величественная, нечто среднее между кормчим с суровым лицом и ученым с дрожащей походкой.

Отношение всех к нему, особенно педагогов, как к божеству. Когда он входит, все встают, он пожимает всем окружающим руки, садится. И все садятся. Смотрят собачьими глазами ему в рот, чихнет — так и кажется, что двадцать носовых платков у его носа окажутся.

В таких размышлениях добирается время до вечера. Облачаемся в парады, идем к Иониной маме обедать. Желают ни пуха ни пера. Обедаем, пьем чай, получаем новую порцию «ни пуха ни пера» и отправляемся на историческое свидание.

В трамвае происходит инцидент. Я повздорил с каким-то человеком. Завязалась ссора. Мы с Иончиком набросились на него и загнали дрожжого в угол. Трамвайное население обрушилось на нас. Чуть в милицию не попали. Чтоб мы тогда делали? Константин Сергеевич ждет, а мы в тюрьме... Кончилось, к счастью, благополучно. У Никитских слезли, приютились у ног Тимирязева и вооружились терпением.

До десяти еще час. Говорить уже трудно. Внутри что-то начинает сжиматься. Проходят два старых еврея, усиленно жестикулируя, — мы смеемся; они проходят — мы опять замыкаемся.

Боже, как медленно ползет стрелка. Пытаюсь читать газету — не выходит. Думать могу только о сегодняшнем дне, о завтрашнем страшно.

Без двадцати десять. Встаем и направляемся к Леонтьевскому. Встречаем по дороге приятеля. Желает успеха. Прощаемся. Идем.

Проходим мимо афишной доски. Загадываем, тыкая пальцем с закрытыми глазами в объявления. Выходит: «12 мая. 30 минут парной гонки». Что это значит? Решаем, что хорошо, и заходим во двор. Минут десять сидим, говорим не помню уже о чем. Без пяти десять заходим в дом, обращаемся к дяде Мише.

— Сейчас доложу.

Садимся на диван. Начинают руки потеть. Внешне абсолютное спокойствие, а сердце мечется в канкане.

Выходит дядя Миша:

— Они говорят по телефону.

Потом:

— Они одеваются. Сейчас позовут.

Лихорадочно докуриваю папиросу. Наконец женщина в белом, архистратиг Гавриил, говорит:

— Кто тут к Константину Сергеевичу? Они ждут.

В вестибюле, в котором мы сидим, с мраморными колоннами и бюстами Станиславского воцаряется тишина. Репетирующие «Гамлета» ребята на минуту застывают. С похолодевшими сердцами направляемся по коридору в кабинет Константина Сергеевича.

— Куда? Сюда?

— Да, пожалуйста, в эту дверь.

Робким движением толкаю массивную, в русском стиле дверь. Захожу в комнату. За мной Иончик.

Комната большая, приятная. Три ампирных окна на улицу. Шторы опущены. Мягкая тяжелая мебель в чехлах. Ковер. Шкафы перегораживают комнату пополам. На шкафах вазочки. Расписной потолок. Люстра со свечами. Обстановка хорошая, но чувствуется, что за ней мало следят.

В углу дивана, глубоко погрузившись в его мягкость, сидит длинноногий человек в ботах. Сквозь большие круглые стекла пенсне с тесемкой на нас смотрят маленькие, слегка иронические глаза. Лицо малоприветливое. Кланяемся, как учили в детстве, одной головой. Подходим, садимся в кресла. Молчание. Затем вопрос:

— Ну, рассказывайте...

Растерялся, не знаю, о чем рассказывать. Что-то мычу. Второй вопрос: «Это вы?» — смотрит на меня. «Да, я». Ни тени улыбки. Затем

спрашивает, что я делаю в Киеве. Я моментально успокаиваюсь и довольно связно рассказываю. Интересуется моим акцентом, работаю ли над его уничтожением, говорю, что да, хотя фактически этого нет.

Вступительный разговор окончен, приступаю к чтению. Первым читаю «Юргиса», рассказ, написанный мною самим, но выдаваемый за психологический перл какого-то никогда не существовавшего латышского или литовского писателя Скочиляса.

— Кого, кого? — наморщил брови Станиславский.

— Скочиляса. Антанаса Скочиляса, — не моргнув сказал я.

Станиславский закивал головой:

— Да, да, знаю...

Я внутренне улыбнулся.

Рассказ написан был в монологической форме, с объяснением слушателю, как и почему человек убил своего лучшего друга Юргиса. Прочел хорошо, лучше, пожалуй, чем на всех репетициях. Никакого волнения, внутренняя собранность, чувствую себя хорошо. Старик слушает внимательно, правда, один раз мне показалось, что он зевнул, не раскрывая рта.

Затем читаю Маяковского. Чуть-чуть заметная улыбка намечается на массивных губах Станиславского. Потом идет «дуэль Печорина с Грушницким», и на этом первое отделение оканчивается. Предлагает отдохнуть. Отказываемся. Расставляем мебель для «Ревизора». Иончик изображает Городничего, трактирного слугу и немножко Осипа. Играем сцену обеда и приход Городничего. Сыграли с подъемом.

После Хлестакова — отдых. Скромно присаживаемся, смотрим в пол. Несколько секунд молчания.

— А зачем вы в студию хотите поступать? — спрашивает Константин Сергеевич.

Немножко наигрываю наивность:

— Собственно говоря... по-моему, это достаточно ясно...

— А все-таки — зачем?

Сдержанно, без излишнего восторга, чтоб не вызвать подозрения, говорю, что считаю студию единственным в Союзе учебным заведением, где по-настоящему, а не формально хотят воспитать настоящих актеров, и пошел, пошел... Есть ли у меня еще какая-нибудь специальность? Говорю, что есть.

Отдых окончен. Приступаем к этюду. Это наш коронный номер. Психологический этюд с перспективой, рафинированными деталями и сильными вспышками страстей. Длится двадцать минут. Сыграли, остались довольны. Вообще показ прошел хорошо, пожалуй, как ни одна репетиция...

Наконец настает самая жуткая минута — оценка. Холодно-бесстрастно Станиславский начинает говорить.

Громадные музыкальные пальцы волосатых рук переплетены. На коленях скатерть, снятая нами со стола во время этюда. Сидит глубоко, колени высоко подняты.

Он говорит, что приблизительно к первому августа у них в студии будет выясняться вопрос о труппе для будущего театра. Будет пересмотрен весь состав студии, чтобы выяснить пригодность студистов, как актерскую, так и чисто человеческую, к работе в будущем коллективе. Повидимому, кое-кого придется привлечь со стороны. И вот в этом случае он будет иметь меня в виду.

Мне сразу становится скучно, и в течение нескольких минут я даже не слышу его слов.

Конечно, рассчитывать на то, что после первых трех слов моего чтения старик, рыдая, бросится ко мне на грудь со словами: «Наконец!

Семьдесят пять лет я ждал тебя, и вот ты пришел...» — было трудно, хотя где-то на самых задворках моей души теплилось нечто подобное. Но все-таки я этого не ожидал. По правде сказать, я думал, что меня все-таки примут, и в данную минуту был порядочно разочарован.

Когда я очухался, Станиславский разговоривал с Иончиком об этюдах, о студии; Иончик пространно ему отвечал. Я сидел молча; обо мне забыли. Вытирал платком пот. Нескольких зубов у старика не хватало, но остальные зубы были свои, а не вставные. Здоровый все-таки старик. Каждый день с 10 до 2 часов ночи работает над книгой.

Я пытаюсь вставить в разговор несколько умных фраз, чтоб продемонстрировать свою эрудицию, но должного впечатления это не произвело.

Наконец, вдоволь наговорившись об опере «Чио-Чио-Сан» (ее как раз тогда репетировали в студии), упадке театрального искусства, вреде формализма и тому подобном,— я задаю прямо вопрос: что он может сказать о моем показе.

Ах, о показе? Пожалуйста. Чтение мое ему больше понравилось, чем игра. (Вот неожиданность!) Много простоты, искренности, спокойствия, неторопливости, много действия (это хорошо!), хорошие взрывы. В отрывках же это не везде было. Маленькие «правдочки» (главным образом воображаемые предметы) не везде доведены до конца, поэтому не было импульса для рождения больших Правд. Поэтому Гоголь у вас не получился. Правда, Гоголь и Мольер, по его мнению, самые трудные авторы для сцены. Он очень долго мучился над «Мертвыми душами», пока ему не удалось добиться Гоголя. Нужно необычайно верить во все, что ты делаешь,— и тогда вы добьетесь того, чего хотите. Я не совсем понял, почему именно в Гоголе и Мольере нужно верить, а в остальных пьесах?..

Вот когда вы перенесете то, что у вас есть в чтении, да маленькие «правдочки» доведете до конца — вот тогда вы будете Хлестаковым.

То же самое относительно этюда. Несмотря на наличие очень хороших мест, целый этюд не получился, опять-таки из-за этих проклятых «правдочек».

Кроме того, предостерег меня: кое-где у меня начинает намечаться, правда только намечаться, дурной актерский штамп. Я этого, правда, в себе никогда не замечал, но если это так, это дурное предзнаменование: ведь я всего полгода в театре работаю.

На этом беседа кончилась. Пауза в разговоре показала нам, что пора уже уходить. Мы попрощались, взаимно поблагодарили друг друга и удалились.

Где-то на дворе играли кремлевские куранты. Медленно зашагали по Леонтьевскому.

На этом, в буквальном смысле слова, обрываются записи в блокноте. Тогда мы с Иончиком убеждали друг друга, что это победа, причем победа настоящая, иначе «старик» не сказал бы, что с «моим» Хлестаковым можно выступать на любой русской сцене (а он действительно сказал, и почему этого нет в записках — ума не приложу), что есть в нем, правда, в моем Хлестакове, нечто «михаил-чеховское» (подумай, с кем сравнил-то!), а нужно больше «гоголевского», и что он, Иончик, по глазам Константина Сергеевича видал, что я ему понравился, что он всех и всегда критикует, что, наконец, не понравился я ему, он не слушал бы все до конца, прервал бы на полуслове и сказал бы: «Спасибо! Больше не надо». А так как этого не произошло, то надо готовиться к осени, и победа, окончательная победа, будет за нами.

С такими мыслями, в общем-то, скорее грустными, чем веселыми, я вернулся в Киев, к своим Мэшемам и Вронским.

В студию я так и не попал. К осени Станиславского не было уже в живых (я оказался последним человеком в его жизни, которого он прослушивал), а на «мое» место приняли — «Совсем несправедливо!» — негодовал возмущенный Иончик — дочь знаменитого русского певца.

Театральная моя карьера так и не состоялась. И все же день 12 июня в моей жизни остался одним из самых значительных, незабываемых — великим днем.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

В Сталинграде не часто, но появлялись все же журналисты и писатели. Об одном из них, широкому читателю мало известном, я написал небольшой рассказ «Новичок». Но это был, так сказать, случай экстраординарный, обычно же «люди пера» появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии.

Василий Семенович Гроссман бывал не только в дивизиях, но и в полках, и на передовой.

Был он и в нашем полку. Когда точно — не помню, во всяком случае после начала нашего наступления, так как ко времени его посещения мы уже читали и «Глазами Чехова» и «Направление главного удара».

К нам он попал не только потому, что мы сидели вплотную к знаменитым «бакам» на Мамаевом кургане, самом «западном» участке сталинградского фронта, но еще и потому, что его племянник, киевлянин Беньяш, стройный, чернокурчавый, отчаянно веселый и весело отчаянный парень, любимец всего полка, был командиром нашего первого батальона. Но встретиться с ним Гроссману не удалось: Беньяш погиб еще до начала наступления, погиб по-глупому, то ли от шальной пули, то ли от случайного осколка в тот редкий час, когда на фронте была тишина.

Мне в день, вернее ночь, приезда Гроссмана не повезло: не удалось встретиться с ним, хотя очень хотелось, — газеты с его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр. Именно в эту ночь меня направиливеряющим на передовую, и когда я вернулся, его уже не было: ушел в соседний полк.

Встретился я с Василием Семеновичем уже после войны в тихом, еще не популярном, не всесоюзном Коктебеле, когда в Доме писателей жило не двести — триста человек, как теперь, а тридцать — сорок, не больше.

Сначала мы просто здоровались, как отдыхающие в одном доме, — всем своим угрюмо-молчаливым обликом он не располагал к близкому общению. Гулял один, купался на самом краю широкого и длинного, знаменитого своими сердоликами коктебельского пляжа. Был нелюдим и одинок. Я смотрел на него издали с уважением, но подойти не решался.

Но как-то ночью, когда весь Коктебель затиш и только отчаянно звенели цикады, я возвращался домой и на нижней веранде большого серого дома, где мы тогда жили, увидел тихо покуривающего в кожаном кресле человека.

Проходя мимо — я узнал в человеке Гроссмана, — я сказал что-то вроде «не спится?» или «покуриваем?». Он что-то ответил, то ли про звезды, то ли про цикад, и тут завязался вдруг разговор. Просидели мы так час, полтора. Ну, конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного разговора и началась дружба, если можно назвать так отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся не очень-то часто.

Но в то коктейбельское лето мы встречались ежедневно и говорили уже не только о Сталинграде и немецких концлагерях. Ничего угрюмого в Василии Семеновиче не оказалось, только глаза за увеличивающимися стеклами очков бывали часто грустными и задумчивыми. Но они умели и улыбаться, мягко и иронически. Он любил и понимал юмор — качество, без которого трудно и невесело жить.

Как-то кем-то затеяна была экскурсия в Судак на знаменитый завод шампанских вин «Новый свет». Там, мол, эвакуированные в свое время испанские дети, ставшие теперь взрослыми, делают шампанское по известному только им «секрету». Как и откуда они в свои пять—семь лет, когда их вывезли из Испании, умудрились узнать этот «секрет» — никому ведомо не было, тем не менее все мы сели в автобус и покатали в Судак.

Приехали. Завод как завод. Под землей подвалы. В подвалах бочки. В бочках шампанское. Насчет испанцев ничего сказать не могу, что-то не приметил. Насчет шампанского же... По дороге к подвалам, проходя мимо какой-то «забегаловки», Василий Семенович замедлил шаги и, слегка улыбнувшись глазами, сказал негромко:

— А что, если мы до этого самого шампанского...

До подвалов мы так и не дошли. Потом нам говорили, что там было очень интересно.

— Между прочим, шампанское — отнюдь не мой напиток, — признался Василий Семенович.

— И не мой, — согласился я, и мы заговорили о непревзойденных качествах польского самогона «бимбера».

Василий Семенович, как всякий застенчивый человек (а он был застенчив, то есть боялся казаться навязчивым, назойливым), после рюмочки несколько развязывался и не боялся уже «заговорить» собеседника — боязнь, кстати, более чем необоснованная.

Говорил он всегда негромко, не любил фраз и превосходных степеней, как ни странно, но не очень любил вспоминать прошлое — удел большинства людей, переваливших за пятьдесят и много повидавших на своем веку (только в первую ночь мы вспоминали о Сталинграде), — в вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Лютой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу познав силу критики и все ее последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал и продолжал верить в то, во что верил.

Я уже говорил, что встречались мы с ним не часто — после того лета отдохнуть вместе нам не пришлось, во время моих поездок в Москву встретимся раз, другой, не больше, поговорим по душам, и все. В Киев он не приезжал. Потом заболел, лег в больницу, и больше я его не видел.

Я часто задаю себе вопрос: что нас сблизило с Василием Семеновичем и что дает мне право называть его своим другом.

Как-то мы с ним заговорили о «писательстве» — кстати, ни он, ни я этой темой особенно не злоупотребляли. Но тут, заговорив о какой-то книге, написанной человеком бесталанным и изданной стотысячным тиражом, Василий Семенович сказал вдруг:

— Вот говорят: талант, талант... А что это такое? Кажется, Матисс сказал, что талант — это труд. Так ли это? Ведь то, что мы с вами только что прочли, — это безусловно «труд». Написать двадцать четыре печатных листа (а он написал, я это знаю; другой вопрос — как над ними мучился редактор), но это труд, на это все-таки надо время потратить. Потом сверять перепечатанное, читать верстку. О содержании не говорю, это другой вопрос, я говорю, так сказать, о внешней стороне,

о технике, о том, что дает возможность таким людям... Впрочем, простите, я, кажется, начинаю уже говорить банальности, пошлости...

— Давайте и поговорим о пошлости. Ведь этот тип, написавший книгу, и есть пошляк!

— Стопроцентный притом... От слова «пошлѳ». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами — пойдет, пойдет, пойдет... А он на этом набивает руку, становится профессионалом, ну и т. д.

Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, профессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащающейся потом техникой, знанием приемов, вкусов, требований?

Все это я сказал Василию Семеновичу и как пример привел высказывания одного очень хорошего человека и писателя, которого я тоже осмеливаюсь считать своим другом, несмотря на еще большую разницу в годах, чем с Василием Семеновичем.

Так вот, этот убеленный сединами и опытом человек, написавший много хороших книг, сказал мне как-то:

— А знаете, почему нам не скучно друг с другом? Не потому, что мы оба — вы мне, а я вам — можем поведать то, чего другой не знал или не видел. Нет, не поэтому. Просто — только никому не говорите о сказанном вам одним выдавшим виды стариком, — просто потому, что мы с вами в литературе не профессионалы, а любители. Да, да, хотя и живем как профессионалы, гонорарием интересуемся.

И мой собеседник заговорил о профессионализме. Это, может быть, и неплохо, даже нужно, возможно даже, он и сам хотел бы быть профессионалом... Хотя бывает и так, что писатель пишет, пишет каждый день, но все кровавым потом. Не чернилами, не карандашом, не кровью сердца, а именно кровавым потом!..

— Не могу я так, «ни дня без строчки» — не мой, не наш с вами девиз. Все сказанное, конечно, ересь, но что поделаешь: оба мы с вами еретики.

Василий Семенович рассмеялся, а я поспешил добавить, что разделяю точку зрения своего друга-еретика. Не отваживаюсь, мол, осуждать ни то, ни другое — ни «профессионализм», ни «дилетантизм», — просто второе мне, по-видимому, ближе. «Ни дня без строчки» — это, возможно, гимнастика, тренаж, если хотите, утренняя зарядка, но я все же за то, чтоб писать, когда хочется или когда, как кажется тебе, об этом нельзя не написать.

— Со вторым согласен, — сказал серьезно Василий Семенович, — а вот первое — «хочется»... — тут меня одолевает некое сомнение. А если «не хочется», а надо, нельзя не написать? Тут-то и приходит, очевидно, на выручку профессионализм или, если это слово вас отпугивает, потребность писать. Я — за потребность и за то, чтоб она была всегда.

— А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас потребность заплыть подальше в море, а не писать. Или забраться на Сьюрю-Кая. Может, я первоклассный альпинист и покрою когда-нибудь Эверест? Что такое профессия и нужно ли иметь обязательно одну? Мешала ли Чехову-писателю его другая профессия — врача? Или помогала? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным? А кем был Гарин — в первую очередь инженером-путейцем или писателем? А Бородин? Крупнейшим химиком или автором «Князя Игоря»?

— Я, между прочим, — перебил меня, понизив почему-то голос, Василий Семенович, — тоже вот химик по образованию. Правда, не слишком крупный. А вы архитектор и в театре, если не ошибаюсь, лицедействовали...

— Было такое. И не начнись война — строил бы сейчас дома или изображал бы негодяев на сцене — мне почему-то всегда они доставались. Но война помешала...

— А может, помогла?

— В чем? Стать сапером-профессионалом?

— Ай-ай-ай, не к лицу вам кокетничать.— Василий Семенович похлопал меня по плечу.— Кстати, нескромный вопрос, не люблю, когда мне его задают: вы над чем-нибудь работаете сейчас?

— Да, работаю.— Я корпел тогда над «Родным городом».

— Ну вот и работайте. А потом в море или на Эверест... И поменьше думайте о Бородине и Гарине.

На этой столь несвойственной Василию Семеновичу поучительной фразе и закончился наш запомнившийся мне разговор о «профессионализме», из которого я понял, что он определенно «за»...

И вот возник у меня теперь, когда Василия Семеновича уже нет в живых, вопрос: почему же нам с ним — повторяю слова «видавшего виды еретика» — не было скучно друг с другом при столь разном отношении к своей работе? Как ответил бы на это Василий Семенович — не знаю и никогда не узнаю. Я же со своей стороны могу сказать: мне с Василием Семеновичем было «не скучно» просто потому, что не может быть скучно с человеком, в котором покоряли прежде всего не только ум его и талант, не только умение работать и по собственному желанию вызывать «хотение», но и его невероятно серьезное отношение к труду, к литературе. И добавлю: такое же серьезное отношение к своему... ну, как бы это сказать... к своему, назовем, поведению в литературе, к каждому сказанному им слову. И в этом не было ни грана высокомерия, ни грана зазнайства — писать он считал своим долгом и долг этот выполнил до конца.

Когда я беру в руки карандаш и начинаю водить им по бумаге, я часто задаю себе вопрос: а как отнесся бы к этому месту Василий Семенович? И если, на мой взгляд, неодобрительно — вычеркиваю безжалостно.

* * *

Чтоб закончить о «профессионализме». Со дня нашей беседы прошло лет пятнадцать, если не больше. Много за это время переосмыслилось. И на «профессионализм» я смотрю чуть-чуть иначе. Он безусловно необходим, но, если можно так выразиться, не надо им увлекаться. К знаменитому «ни дня без строчки» я добавил бы: «Но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ — вещь опасная.

ПАУСТОВСКИЙ

Получилось так, что пути наши с Паустовским до определенного времени нигде и никогда не пересекались. В московской суете, для провинциала особенно утомительной и бестолковой, никак не выкраивалось время познакомиться (да и как это сделать, позвонить и, как говорят: «Здрасьте, я ваша тетья?»), а когда выкраивалось (ну вот, сегодня позвоню и скажу), оказывалось — он в Тарусе или Ялте. Когда же мы с матерью приезжали в Ялту (обычно в середине мая), выяснялось, что Константин Георгиевич всю зиму прожил в этой вот комнате и только неделю, как уехал. Не везло.

И вот в один прекрасный вечер затрезвонил по-междугородному телефон. Москва. Говорит Паустовский. Слегка балдею... Спрашивает, не собираюсь ли в Москву. Нет, а что? Да ничего, просто захотелось вдруг

позвонить и сказать, что, если буду в Москве, чтоб обязательно зашел к нему, Паустовскому. Надо ж в конце концов познакомиться.

Надо. Я взял билет и полетел в Москву. Знакомиться с Паустовским. Других дел у меня не было.

Я, как огня, боюсь искусственных знакомств. Мы с моим другом детства Яковом Михайловичем Светом любим вспоминать, как бездарно происходило наше знакомство. Его папа — интеллигент в пенсне, с бородкой — пришел как-то к нам. Дверь открыл ему я.

— Здесь живет доктор Некрасова?

— Да, но ее нет дома.

— А вы ее сын?

— Да.

— Тогда я, собственно, к вам.

— ?

— Мы недавно только приехали в Киев. Я с женой и наш сын Яся, ваш ровесник. Вам ведь пятнадцать?

— Пятнадцать.

— Ну вот и прекрасно. У Ясика пока еще нет здесь знакомых, и он очень скучает. Я обратился к швейцару Герасиму за советом, с кем из детей какой-нибудь интеллигентной семьи в этом доме я мог бы познакомиться своего Ясика. Герасим направил меня к вам.

Этого еще не доставало... Дитя из интеллигентной семьи...

Через несколько минут мы с Ясей — два «интеллигентных» мальчика в коротких еще штанишках — стояли на нашем балконе и вяло задавали друг другу вымученные вопросы. «Где вы учитесь? В какой группе? Нравится ли вам Киев? А в Крыму бывали, я как раз сейчас из Крыма... Плаваете ли вы?»

Оба мы друг другу не понравились. Беседа продолжалась не более пяти — семи минут. Больше он не приходил, и я о нем забыл, пока как-то недели через три он не прибежал ко мне за угольником (он куда-то провалился, весь дом обшарил...), и с этого-то угольника и началась наша дружба — не разлей водой. С ним-то мы издавали газету «Радио» 1979 года (уже не за горами!), воевали с англо-амами (англо-американской коалицией) в Аляске, находили неразложившиеся тела доисторического человека в раскопках киевского макарьевского спуска, писали детективные романы с продолжением, высаживались на Марс и, несмотря на посредничество папы и Герасима, дружим до сих пор.

Сидя в самолете и мысленно представляя себе свое появление у Паустовского, я невольно вспомнил свое знакомство с Ясей. «Над чем вы сейчас работаете, Константин Георгиевич? А вы? А почему вы не приезжаете в Киев, ведь Киев для вас... Да вот все собираюсь...»

Но этого не произошло. Произошло другое. Стол, вино, люди, много людей, тосты, литературные разговоры, сбивчивые споры. Константин Георгиевич, несколько ошарашенный, сидел на краю стола и, приветливо, утомленно улыбаясь всем, пил чай. Я, несколько выпив, громко и упрямо доказывал что-то кому-то из молодых, тоже подвыпившему и тоже громко и упрямо не соглашавшемуся. И так до часу ночи. Шум, гам и ни одного толкового слова друг другу. Так и произошло наше знакомство, захиревшее, не успев распуститься. «Будете в Москве, обязательно заходите... Вот тогда и поговорим... А вы к нам, в Киев... Конечно, конечно, теперь есть предлог...»

Но больше я к Паустовскому не заходил, и в Киев, несмотря на предлог, Константин Георгиевич тоже не приезжал.

«Угольником» оказалась Франция.

До поездки туда — было это в конце 1962 года — Паустовский пере-

нес инфаркт, и все мы несколько тревожились за него. Поехали с ним его жена с дочерью Галей.

Во Франции Паустовский был впервые, языка не знал, поэтому я, во Франции все же бывавший и по-французски немного говоривший, мог быть ему в чем-нибудь, где-нибудь полезен. В многолюдном, шумном Париже встречались, мы, правда, преимущественно на всяких «мероприятиях» или вечером, в номере, уже без задних ног. Сблизились, поговорили без суеты, тостов и гостей и, как мне кажется, полюбили мы друг друга (я во всяком случае) во время путешествия по Провансу.

По складу своего характера Константин Георгиевич был человеком, для которого места, связанные с чьим-нибудь близким ему именем, имели определенное значение. Поэтому ему очень хотелось побывать в Нормандии, в родных местах Флобера. Но мы, в частности я и Галя, упоенные, но еще не отравленные «ядом» Парижа, не хотели с ним расставаться и подговорили нашего шофера расписать в самых мрачных красках всю сложность и даже опасность езды зимой по обледеневшим нормандским дорогам. Коварный план удался: Нормандия была отставлена, Париж продолжен, а вместо севера мы поехали на юг — Авиньон, Арль, восточная часть Средиземноморья (рыбачьие поселки Сент-Мари-де-ла-Мер и Гро-дю-Руа). Насколько я понимаю, Константин Георгиевич огорчен этим маршрутом не был.

Несмотря на преклонный возраст и перенесенную болезнь, Паустовский был неутомим. Часами бродил среди тесно прижавшихся друг к другу средневековых домов «папского» Авиньона, карабкался по извилинам, в древних булыжниках, крутым подъемам «кардинальского» Вильнёв-лез-Авиньон, скользил, но не сдавался на мокрых ступеньках полуразрушенных крепостных башен. Все хотел видеть, ничего не пропускал и ни от кого не отставал. Никогда ничего не записывал, не фотографировал (фотографом обычно был я), не заглядывал в путеводитель — просто наслаждался. Красотой, древностью, тишиной. Как настоящий художник, он воспринимал красоту как красоту, ему дороже было непосредственное восприятие увиденного, чем знание того, кто, когда и по чьему велению построил этот замок или какой король и с кем изменял королеве на этой кровати с балдахином и вечными амурчиками.

Вдоволь находившись и насмотревшись, утомленные и переполненные увиденным, к тому же голодные, устраивались в какой-нибудь таверне из наименее шикарных.

И вот тут-то Константин Георгиевич и начинал рассказывать. Рассказывать он умел. И вспоминать тоже умел. А о чем вспоминать — хватало. О литературе как таковой; о том, как надо писать и как плохо, мол, пишут сейчас, в противоположность людям его положения и возраста, не говорил никогда. А вот о дореволюционном или первых дней революции Киеве или Москве — рассказывал с увлечением, с обилием очаровательных деталей, которые мне всегда очень дороги. Он хорошо помнил то, что и я еще немного захватил. Памятник Николаю I против университета, который я помню уже поверженным — импозантная фигура царя долго лежала у подножия пьедестала, и мы, мальчишки, до блеска отполировали его бока своими штанами. И бронзового Столыпина перед городской думой — «от благодарного Юго-Западного края», — перебазирувавшись с Крещатика на Кузнечную, прославленный министр долго еще, несколько лет, выглядывал из-за забора маленького домика с садом, где жили наши знакомые. Помнил гипсовую княгиню Ольгу, графа Бобринского в римской тоге, где высится сейчас памятник Щорсу, и многое-многое другое. Улицы все он называл по-старому, начала века. Столыпинскую улицу называл Мало-Владимирской (потом она стала Гершуни, Ладо Кецховели, теперь Чкалова), Большую Подваль-

ную — Ярославовым Валом (чудесное это название так и не вернулось после многократных переименований — Ворошилова, Полупанова, теперь Большая Подвальная).

В нынешнем, послевоенном Киеве с новым, переполненным «излишествами» Крещатику Паустовский не был. Многие его бы обрадовало: парки и сады буйно разрослись, позеленел, обретя бульвар, и сам Крещатик, стройными (заменившими старые, еще при Николае I посаженные и от старости потерявшие форму) пирамидальными тополями омолодился бывший Бибиковский бульвар, ныне Тараса Шевченко. Новые массивы, когда-то деревушки за пределами города, новые дома, мосты через Днепр, озаренные вечером таинственным светом, далеко видные из Заднепровья, сияющие золотыми куполами Лавра, Выдубецкий монастырь, Андреевская церковь... Но кое-что и огорчило бы. Не порадовала бы шестнадцатиэтажная громадина в самом центре города, против Оперного театра, задавившая собою всю Владимирскую улицу — центральную, красивую, зеленую, четырех-пятиэтажную, очень киевскую, чудом сохранившуюся после немцев. (Не знаю, как москвичей, но меня Новый Арбат, Калининский проспект просто пугает: он раздавил окрестные, уютные старомосковские переулочки, лавиной обрушился на Спасо-Словковский «Кружок», поленовский «Московский дворик», проглотил Собачью площадку; пугает и гостиница «Россия», ставшая теперь фоном Василию Блаженному вместо необозримого неба, особенно незабываемого в часы заката; пугает и новый «Националь» на улице Горького... Вот так же происходит и с Владимирской.) Но, в общем-то, Киев стал, конечно, лучше и красивее довоенного, хотя людей и машин стало слишком много, особенно летом, особенно на Крещатике. Но, приедь в Киев Константин Георгиевич, мы гуляли бы с ним не по Крещатику, и в Пассаже («Детский мир», толпы, очереди, лотки, «выбросили кофточки») мы заходили бы только, чтоб пройти ко мне на вечерний чай с самоваром, правда современным, электрическим.

Но самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видал он их, знаменитых и не знаменитых, за свою долгую жизнь великое множество и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно.

К слову сказать, я недавно познакомился и даже сдружился с одним очень молодым поэтом. Талантливым. И не только в поэзии. В силу семейных обстоятельств он в свои двадцать лет побывал и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Монголии, и в Средней Азии (где научился арабскому), и в Москве, теперь в Киеве. И обо всем — охоте на медведя, старообрядцах, золотоискателях, студенческой жизни в новосибирском Академгородке — рассказывает так увлекательно, что хочется все бросить, купить билет и двинуть куда-нибудь в Душанбе или на монгольскую границу. Кроме того, он перевел на русский Омара Хайяма. В бумагах одного из декабристов в Иркутске раскопал тексты неизвестного французского поэта XVI века Поля де Нека, не упоминаемого ни в одном из французских словарей. Раскопал и перевел. Превосходнейшие стихи (и перевод тоже). Ах, какой поэт, какой поэт! И ведь XVI век! И почему никто не знает? И вот как-то выяснилось почему. Да потому, что мой юный друг всю эту историю от начала до конца сочинил. И стихи сочинил. И то и другое — и стихи, и рассказ о них — было талантливо. И я простил ему его милую мистификацию.

Многие, звавшие Паустовского, вспоминают о нем как об интересном собеседнике — «до глубокой ночи сидели и слушали его рассказы...». По чести признаться, я таких собеседников, мастеров рассказа (обычно)

сработанного заранее), боюсь смертельно. Боюсь монологов, особенно в устах людей заслуженных, уважаемых, которых не перебеешь... Константин Георгиевич не был врагом монологов (кстати, не только своих, но и чужих), но не перебивал я его не только из уважения, а просто потому, что было интересно.

Меня огорчало другое, что иногда случалось. Начнет он, например, рассказывать, как всегда не торопясь, с милыми своими деталями:

— Как сейчас помню. Было это в Одессе. В тысяча девятьсот... девятьсот... девятьсот семнадцатом... нет, девятьсот восемнадцатом году, уже советская власть была... Сидим мы на Приморском бульваре, тогда его называли еще по-старому Николаевским, а потом он стал Фельдмана... Сидим у памятника Пушкину — я, Бабель, Катаев...

И тут вдруг (где-нибудь в Арле, в симпатичном ресторанчике, недалеко от римской арены) жена Паустовского, Татьяна Алексеевна, человек бесконечно и по-настоящему преданный и любящий Константина Георгиевича, но, очевидно, слышавшая эту историю не один раз (а я ни разу), к тому же основательно проголодавшаяся (мы с Константином Георгиевичем тоже), перебивает:

— Костя, Костя! Да подзови же ты ее, она там уже с каким-то красавчиком флиртует... Я тебе говорю, Костя...

«Костя» или я подзываем «ее» (флиртвала она не более сорока секунд), на столе появляется нечто дымящееся и сверхъестественно вкусное, но нить рассказа прервана, Константин Георгиевич никнет, и я так и не узнаю, чем занимались у памятника Пушкину Бабель, Паустовский и Катаев. В этих случаях я всегда очень ему сочувствовал: со мной часто случается такое же. Начнешь что-нибудь рассказывать «к слову», так сказать, тебя перебьют, а потом уже и не получается «к слову».

Но когда мы бывали вдвоем, я его не перебивал: мне было интереснее слушать, чем говорить.

И еще мне нравилось в Константине Георгиевиче какое-то его мальчишество.

— Давайте, давайте снимемся на фоне этих рогов,— говорил он в пустующем зимой тореадорском «трактирчике», от пола до потолка увешанном «рогами и копытами».

— Дайте Ольге Леонидовне ваш аппарат, и пускай она нас снимет.— И с детской радостью принимал позу под выдавшими виды и магдорские зады рогами.

В нем не было этой ложной скромности — «ах, пожалуйста, уберите эту штуку, ненавижу, когда меня снимают». Поэтому у меня сохранилось много фотографий Константина Георгиевича. И среди них особенно мне дорогая, где мы сидим с ним вдвоем на каком-то каменном парапете форта Сент-Андрэ, а за нашей спиной раскинулся древний Авиньон с папским дворцом и колючими колокольнями соборов.

В Марселе я малость повздорил с Татьяной Алексеевной (виноват был я), и весь обратный путь в Париж мы провели в молчании, очень всех нас тяготившем.

С тех пор прошли уже годы. О нелепой этой «ссоре» вскоре, конечно, забыли, и в последующие годы в Ялте наши «контакты» успешно развивались. Мучившая его астма и прочие хвори не позволяли ему гулять, но как приятно было заглянуть к нему, в его всегда заставленную цветами и фруктами комнатку, или посидеть в плетеных креслах на большой террасе, увитой виноградом.

В последнее лето, когда мы отдыхали вместе (в 1966 году), группа ленинградских киношников снимала фильм о Паустовском. Промелькнул там и я, в день его рождения, среди поздравлявших его друзей и поклонников. Фильма этого я не видал, зато однажды «услышал». Сидел

как-то на балконе и что-то писал. Тишина, солнце, вдали море, птички чирикают. В другом кресле под зонтиком мама читает французский роман. И вдруг тишину нарушает голос Паустовского. Громкий, очень даже громкий и невероятно назойливый, что совсем несвойственно было его манере разговора. Длилось это довольно долго, потом в беседу вступил кто-то другой, с голосом еще более противным. Я не выдержал и спустился вниз посмотреть, что там, в саду, происходит. Оказывается, это киношники пробовали свою фонограмму, примостившись на скамеечке в парке, а второй, особенно противный и мешавший мне работать голос оказался ни больше, ни меньше, как моим собственным, поздравляющим...

После того лета я больше Константина Георгиевича не видел. Как память остались книги, болгарская иконка, подаренная им маме ко дню ее рождения, и фотография — громадный букет роз, он и я на террасе в день его семидесятичетырехлетия — с трогательной надписью, заканчивающейся словами: «До встречи в Толедо. На корриде!!»

Но ни в Толедо, ни в другом каком-либо месте нам встретиться уже не пришлось.



И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

ВЕРТУШИНКА

Я очень люблю названия маленьких рек и речушек. Никто не помнит — кто и когда давал им ласковые имена. Маленькую нашу речушку, впадающую в большую многоводную реку, все называют Вертушинкой. Начало свое Вертушинка берет среди широкого, зеленого, покрытого цветами луга — там, где из земли бьет чистый прозрачный ключ.

Люди давным-давно устроили над ключом деревянный низкий сруб, на котором висел сделанный из бересты ковш-корец. Каждый мог подойти и напиться холодной ключевой воды, от которой ломило зубы. Заглянешь, бывало, в колодец и, как в зеркале, увидишь свое лицо, глубокое небо с плывущими белыми облаками, увидишь песчаное дно родника, пляшущие на дне легкие песчинки, разбежавшихся по воде длинноногих быстрых пауков-челночков.

Вытекающий из родника ручеек колышет высокую зеленую осоку, над которой летают, повисая в воздухе, легкие прозрачные стрекозы. Напьешься из родника холодной воды, пойдешь по течению ручья дальше и дальше. Наполняясь водою из попутных ключей, в глубокий лесной овраг вливается Вертушинка, вертится, бежит среди высоких крутых берегов. Если взглядеться хорошенько, многое можно увидеть.

Вот на упавшем листке осины неведомо куда путешествует желтобрюхий толстый шмель. Быстрое течение ручья несет мохнатого путешественника среди множества препятствий. С куста на куст перекинул над ручьем свою серебристую паутину охотник-паук.

Мелкая рыбешка резвится в холодной прозрачной воде неглубоких затонов. Вот по песчаному дну ручья ползет странное существо — ручейник, живущее в крошечном домике, слепленном из мелких песчинок. Паук-водолаз с серебристым пузырем воздуха на мохнатом своем брюшке спускается по подводному стеблю на дно ручья. Там, где течение затихает, по зеркальной поверхности воды на высоких тонких ножках быстро бегают паучки-челночки.

В открытых, глубоких, освещенных солнцем прозрачных колдобинах плавают небольшие красноперые голавли. Они греются в лучах солнца у поверхности воды. Стоит неосторожно пошевелиться — и пугливые голавлики быстро прячутся под берегом ручья. Между стеблями растений быстро плавают под водой черные жуки-плавунцы. С берега прыгнула, нырнула, загребая длинными задними лапами, и скрылась большеглазая зеленоватая лягушка.

По берегам Вертушинки густо разрослись ивовые и ольховые кусты. Весною и летом здесь гнездятся, всю ночь звонко поют соловьи. На лесистых склонах глубокого оврага живут выводки рябчиков, перелетают с сучка на сучок голубокрылые сойки, поют и трещат дрозды. Ночами

лесные звери подходят пить воду из Вертушинки. У берегов Вертушинки водятся проворные ночные зверьки норки. Человеку их трудно увидеть. Только зимою на пушистом белом снегу видны их парные легкие следочки.

Маленькая речка Вертушинка очень похожа на большую полноводную реку. В ней есть свои отмели и затоны, быстрые каменистые перекаты. Весною она широко разливается. Тогда в Вертушинку заходит из большой многоводной реки крупная рыба метать икру. Ранней весной здесь попадаются щуки, а под нависшими берегами, под корнями кустарников и деревьев прячутся скользкие налимы.

Летом множество цветов растет на берегах Вертушинки. Цветут незабудки. В глубоких затончиках плавают белые лилии и желтые кувшинки. Порхают над цветами бабочки, резвятся стрекозы. Над заросшим подводной травой затоном жужжат, перелетая с цветка на цветок розовой кашки, пчелы, садятся на кашку тяжелые шмели.

Выводки маленьких диких уток—чирков прячутся в густой зеленой осоке. В начале лета можно увидеть проворных, покрытых пухом молодых утят, ловко ныряющих у зарослей высокого камыша и рогоза. К Вертушинке подходят огромные живущие в лесу рогатые лоси. Здесь же резвятся по ночам зайцы, прыгают легкие белки. Зимой на снегу можно видеть много беличьих, лисьих и заячьих следов.

Когда-то я водил моего маленького внука Сашу на Вертушинку. Мы спускали на воду легкие бумажные и берестяные кораблики, и они уплывали от нас, как настоящие пароходы на большой многоводной реке.

Я очень люблю Вертушинку. Спрятавшись в густых кустах, долго сижу на ее берегу, слушаю пение птиц, тихое журчанье воды, наблюдаю скрытную жизнь. Маленькие речки и лесные ручьи мне милее широких и многоводных рек. Здесь раскрывается передо мною жизнь, которую трудно наблюдать и видеть на широкой многоводной реке. Эти маленькие ручьи и речушки, носящие ласковые, милые имена, питают водою самые глубоководные и широкие реки.

Весною и летом, осенью и зимою я часто ходил на Вертушинку, наблюдал жизнь птиц, живущих на ее берегах, любовался цветами. Здесь у Вертушинки жили выводки рябчиков, барабанили лесные барабанички—дятлы. В Вертушинке водились пузатые скользкие налимы и черные клещатые раки, прятавшиеся под берегом в глубоких печурах. Темными летними ночами, когда на полях зацвел лен, мы охотились на раков. Засучив порточки, босиком, с фонарем в руках, бродили по песчаному дну Вертушинки, руками ловили выползавших из печур раков. Зимой в глубоких местах ставили под лед верши, в которые попадались налимы.

Проходя на лыжах, я любовался узором заячьих и лисьих следов. Под глубокими сугробами снега бежит Вертушинка, но кое-где на каменистых мелких перекатах вырывается, быстро бежит по камешкам и снова скрывается под снегом прозрачная холодная вода.

Дальнее счастливое детство напоминает мне Вертушинка.



ИЗ СТИХОВ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ

МАКСУД ШЕЙХЗАДЕ

★

Памяти друга

Мы были очень молоды с тобой,
по жизни мчались — и не замечали,
что время с обнаженными мечами
шагает рядом

тою же тропой.

Мы шли, ступая легкою стопой,
в пыли, казалось, не оставив следа!
Мы не считали — зимы,

весны,

лета...

О, как мы были молоды с тобой!
Я вспоминаю прошлые года —
немало в пыль

мы обратили пыла! —

и думаю:

да вправду ль это было?

Мой бедный друг, да был ли ты когда?

Я выхожу в луной облитый сад.

Он пуст. Тебя под этим небом

нету.

Плоды айвы, как юные планеты,

и гроздь, как созвездия, висят.

Когда-то ты в саду работал этом.

Пять,

десять,

двадцать —

тыщу лет назад?..

Тебя здесь нет. И черной нет плиты,

отметившей печальную могилу.

Но сад стоит, что ты, взрастив, покинул,

и тянет к людям спелые плоды.

Тебя здесь нет.

И все же — это ты.

Маяк рижского порта

Над морем тяжело нависает тьма,
и дождь, как клейстер,
прилипает к коже.
А ветер пахнет йодом,
и туман
лежит на волнах,
на бинты похожий.
Громадой черной возникает порт,
к воде и небу
накрепко прижатый...
И вдруг
по тьме и сырости
в упор
снопом огня
стреляет в ночь прожектор.
И свет, как бритва, режет тьму.
И здесь
стихии власть кончается.
И рядом
редет тьма...
Такая вот и есть,
как этот свет, стремительная
Правда!

ХУСНИТДИН ШАРИПОВ

★

Горлинка поет

Ты слышишь — горлинка поет:
«Иу-гу-гу... Иу-гу-гу!»
А лето правит хоровод,
июнь резвится на лугу.
И птичий кормится народ
и на лету, и на скаку,
покуда горлинка поет:
«Иу-гу-гу! Иу-гу-гу!»
В листве кругом
от гнезд черно —
спешат навить,
скопить,
успеть...
А ей — не надо ничего:
получше б только
песню спеть!
Летит ли майский дождь с высот,
лежит ли солнце на снегу —
под крышей горлинка поет:
«Иу-гу-гу... Иу-гу-гу...»
Ловлю я сладкий голос тот
и слух насытить не могу.
Ты слышишь? Горлинка поет:
«Иу-гу-гу... Иу-гу-гу!»

АБДУЛЛА АРИПОВ

★

Слушая «муноджат»¹

Ах, скажи мне, о чем зарыдала
эти музыка
 в жадной тиши?
Этот плачущий голос рубаба —
что он хочет от бедной души?
Столько стонов столетья скопили,
столько горя под кровом земли...
Так на что ему слезы скупые,
безымянные слезы мои?
Так он ждет их, так просит упрямо,
точно где-то меж стонущих струн
неоплаканный призрак Хайяма
коченеет на вечном ветру.
Точно все, что душа отстрадала,
чем невзгоды встречала свои,
всю немую тоску Астрабада²
возвещает векам Навои...
Сколько муки! До крови, до боли
истерзал меня поздний закат.
Ах, оставь свои струны, довольнo,
не пронзай мою грудь, музыкант.
Если было и вправду так плохо,
как твердит этой музыки плач,
значит, мир нам — не люлька, а плаха
и природа —
 не мать, а палач.
Как рыдает напев! Как стремится
прозвучать
чей-то горестный век!
...Если музыка так им томится,
как же прожил его
 человек?

Золотая рыбка

Едва от рожденья — попала она
в тот грязный, заиленный хауз³
и крошки ловила, и илом со дна
играла,
 и в нем задыхалась.
И все, что на свете ей видеть пришлось,—
лишь хауз, да палые листья
разросшихся талов, да небо,
 насквозь
прошитое веткою лысой.

¹ «Муноджат» — старинная народная мелодия.

² Астрабад — место изгнания Навои.

³ Хауз — искусственный водоем для питьевой воды, род пруда.

Лишь хауз заброшенный с грязной водой,
с листвой полусгнившей
да илом...

И горько, что рыбке моей золотой
вот это —
и кажется миром.

ЭГАМ РАХИМ

★

Снова осень над крышами, осень.
Догоревшей урючины медь.
Скоро ветер швырнет ее оземь,
опустив свой невидимый меч.
Снова осень над крышами, осень...
Но печалиться нам не к лицу.
Мы ведь знаем — стираются оси,
коль вертеться дано колесу.
И на яркость прощальную эту
человек без опаски глядит,
возвративши с процентами лету
все, что взято весной
в кредит...
Солнце катится, сини не плавя,
мысли глубже,
дыханье полней,
и плывет негасимое пламя
над просторами рыжих полей!

ДЖУМАНИЯЗ ДЖАББАРОВ

★

Граница юности

Говорят, что граница у юности есть,
есть предел для беспечного смеха.
Ночь луны истекла — и заря, точно весть
света трезвого,
первого снега.
Где же эта граница, привал бытия?
Если б знать тот рубеж потаенный,
мы на нем не расстались бы, юность моя,—
мы б ушли
за черту окоема...

Перевел А. Наумов.



Б. МОЖАЕВ

★

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

Очерк

— **К**ак у вас голова насчет качки, крепкая? — спросил меня шофер Попков.

— А что? — Я подозрительно посмотрел на его суровое, цвета кедровой коры лицо.

— Так, на всякий случай.

Я пожал плечами — вроде нам не по морю плыть, а ехать по таежной дороге. Но шофер больше — ни слова. Он, видимо, сердился на то, что пришлось меня ждать, а тем временем ускользнул его начальник лесопункта Мазепа. Лови его теперь на заснеженных лесных времянках!

Ехать нам далеко — километров за сто, до Ачинского лесопункта, в предгорья большого перевала. Попков повезет туда сено на своем грузовике. Где-то ему еще надо нагрузиться — не то в Улове, не то в Баине.

— Уточним на месте, — сказал ему Мазепа. — Заедешь — найдешь меня.

Мне тоже нужен был этот самый Мазепа. В редакцию пришла телеграмма от рыбнадзора: «На Теплой протоке гибнет рыба... Мазепа уничтожает нерестилища. Помогите! Чуряков».

С аэродрома я завернул в райком, показал телеграмму секретарю.

— Могу только разделить ваше возмущение, — сказал он. — Мы их прорабатывали и штрафовали... Никакого толку. Попытайтесь через газету достать их.

Мазепа у газетчиков был на хорошем счету. И директор, видимо, понял, что будет очередная похвала. Поэтому он не стал задерживать своего начальника лесопункта. А когда увидел меня, только руками развел:

— Поздно прилетел самолет... Опоздали, дорогой мой. Мазепа-то уехал...

— Какая жалость!

— Ну, ничего — нагоните. Я задержал тут грузовик.

День выдался морозный, солнечный, с тем необыкновенно чистым и бодрим снежным духом, какой бывает только в начале зимы.

Дорога из Трухачева потянулась к сопкам, пропадая в частом буром мелколесье. Грузовик шел резово по накатанной снежной колее. Хотя еще и октябрь не кончился, но снегу в тайге навалило по колено. Ранняя зима выдалась здесь в шестьдесят четвертом году. Дубы стояли огненно-рыжими, не потерявшими ни единого листика; и даже голенастый маньчжурский орех топырил еще в зеленоватое холодное небо поредевшие, свернутые в трубку длинные листья. Клубились паром незастывшие бурные таежные протоки, а на обмелевших речных перекатах,

чотая обнаженными спинными плавниками, облираясь о коряги и камни, на брюхе ползла, пробиваясь вверх, рыба. Перест все еще продолжался.

Мой попутчик сидит за баранкой прямо, вытянув вперед подбородок, словно правфланговый в строю, по которому все должны равняться. И ватник на нем защитного цвета, и шапка серая армейская: будто он и впрямь только со службы. Но ему уже за сорок — баранку он крутит нехотя, как бы между прочим; и, глядя на его строго сведенные брови и немигающие глаза, можно подумать, что машину ведут не руки, а вот эти насупленные брови.

— Давно здесь работаете? — пытаюсь я завести беседу.

— С детства.

— И все шофером?

— Раньше плоты гонял по Бурлиту.

— Какие плоты?

— Леспромхозовские, какие же еще? Раньше в плотах сплавляли лес-то. А мой батя вроде за лощмана был. И меня держал при деле...

— Что ж вы ушли? Шофером выгодней?

Он как-то искоса смерил меня взглядом, криво усмехнулся:

— Ты что, нездешний?

— Да вроде бы...

— Чудак. Ныне одны кедры валят... А кедра и модем пльвет. За чем же ее в плоты вязать?

— Почему же вы одны кедры берете?

— Такой порядок, — ответил он просто.

— Но это же вредно для тайги...

— Само собой. Заламывается...

— Почему ж вы не протестуете?

— Чего?! — Он опять удивленно, искоса посмотрел на меня.

— Ну как «чего»? Тайга мертвой станет. Кедр уничтожат — зверь уйдет.

— Из одного места уйдет, в другое придет. Зверь он и есть зверь. Намедни вон старуху волки съели. Одны валенки остались... В Баин шла из Улова... К фелшеру. Да сбилась с дороги-то. Они ее и вылечили.

Дорога начинает показывать свои первые лесные капризы: вот она, вырвавшись из мелкого ельника, неожиданно ныряет в глубоченный ухаб. Ухаб настолько крут, что мне из кабины кажется он обрывом. Я невольно хватаюсь за скобу, но грузовик на мгновение будто застывает на откосе и плавно съезжает вниз. Я с удивлением смотрю на Попкова, но он по-прежнему невозмутимо суров. Машина встает на дыбы, с ревом вырывается из ухаба и облегченно мчится под откос. Вдруг — поворот, и перед нами темная полоска полыньи, клубящейся паром, а глаза шофера уже отыскали желтую ленту бревенчатого моста и гонят к нему машину. Короткая встряска — и снова грузовик летит по извилистой коварной дороге.

Вскоре я заметил, что все эти бесчисленные бревенчатые мосты имеют совершенно одинаковый характер: чуть только дотронутся до них колеса грузовика, как они начинают трястись, точно в лихорадке, и чем длиннее мост, тем он трясучее.

— А не провалимся? — спрашиваю я.

— Бывает, — невозмутимо отвечает Попков, подпрыгивая за рулем, гочно верховой в седле.

— А дальше лучше?

— Дальше хуже.

Грузовик размеренно ныряет в ухабы, словно плывет по волнам, и до меня доходит предупреждение шофера насчет качки.

- Ничего себе качка!
- Подходящая. Это у нас «шифером» зовется.
- Неужто нельзя выправить его?
- Почему ж нельзя? Можно. Прицепил нож к трактору, да и по-срезал бы ухабы.
- А что ж, тракторов нет?
- Есть. Леспромхоз — и без тракторов?
- Отчего ж не исправите дорогу?
- Чудак! Нож — это ж государственное имущество. Его просто не возьмешь. Порядок заведен!
- Какой же это порядок! — указываю я на ухабы.
- Ничего, проехать можно... Конечно, без привычки трудновато... Ежели голова слабая насчет качки. А привыкнешь — ничего. Зимой-то еще благодать.

Говорит об этом Попков вроде бы и с радостью, словно ему доставляет удовольствие ежедневно нырять по этим выбоинам.

На одном из крутых поворотов, посреди самой дороги, стоит ясень; в наезженном прогале намертво села машина, груженная какими-то бочками. Мы еле выбираемся из месива новой колеи, вылезаем из кабины, осматриваем место аварии. Машина карданом сидит на пне, рядом валяются рассыпанные передние рессоры.

— Крепко сел... — удовлетворенно замечает Попков. — Теперь без домкрата его и трактором не стащишь.

— Неужели трудно срубить этот пенек?

— А зачем? Проехать можно. В лесу пеньков много... Что ж теперь? Ты их и будешь все рубить?

— Так пень-то посреди дороги стоит!

— Возьми да объехай... Кто тебя на него толкает?

Мы усаживаемся в свою машину и едем дальше.

— Я вот тоже один раз на пенек сел, — сказал шофер. — Ночь, зима... Крутился я, крутился возле машины, взял, да и лег в кабинке. И вот слышу, будто во сне, трубы играют, а очнуться не могу никак. Потом вроде меня несут на носилках санитары, и пение кругом... А это, оказывается, проезжий шофер меня вытаскивал из кабинки и матерился. Чуть не замерз. Еле очухался...

Он ловко, орудуя правой рукой, достал папироску, зажег спичку и прикурил; левой рукой держал баранку и правил, не сбавляя скорости.

— Зимой у нас рай. Хоть плохая, да есть дорога. Вот с весны и такой не будет. Здесь только пеший да верховой и проберется.

— Сколько же лет здешнему леспромхозу?

— Да уж больше двадцати лет.

— И все без дороги?

— Лег пять назад начали было строить. Да вон видите просеку? Под дорогу делали.

Эту просеку я заметил раньше, она тянется от самого Трухачева.

— И далеко ее прорубили?

— Аж до Бурлита... Километров на двадцать пять, — отвечает Попков. — И кюветы под дорогу прорезали... Делов наделали тут, да все и бросили.

Проскочив одну из протоков, Попков свернул направо.

— Заедем в Улово, — сказал он. — Здесь недалеко. Мазепу надо разыскать, чтоб сена отпустил.

— Прямо гетман ваш начальник, — сказал я.

— Гетман у нас лесником работает.

— Прозвище. что ли?

— Может, и прозвище, может, фамилия. Кто его знает!

Вскоре в стороне от дороги показалась приземистая избушка; она была так сильно завалена снегом, что издали походила на сугроб.

— Это и есть Улово?

— Здесь конюшня,— ответил Попков.— А Улово чуть подальше — два барака... Там, за протокой.

Мы остановились напротив избушки. Попков посигналил; силпый, словно простуженный, гудок оборвался, как будто утонул в снегу.

— Дрыхнут, как медведи, чтоб им через порог не перелезть...— незлобиво выругался Попков, но и сам не стронулся с места, только поглядывал на избушку вроде бы с завистью.

Между тем остановились мы на самой границе леспромхозовских владений — там за широкой, скованной льдом протокой начинались приметы недавнего разгула пилы и топора. За частой щетиной невысокого прибрежного краснотала виднелись обломанные, похожие на черные костыли ясени, покосившиеся в разные стороны, со сшибленными верхушками лиственницы, корявые толстенные ильмы с белеющими ранами отодранных сучьев толщиной с доброе дерево.

— Что сделали с лесом!— не выдержал я.

— Одны кедры рубили. А кедра, я те скажу, что колокольня... Все деревья ей вот по сих пор,— Попков ребром ладони провел по ремню,— то есть по поясу... Кы-ык она шархнет наземь... Всем макушки пошибает.

Наконец из избушки вышел старик в нагольном полушубке, в малахае с одним ухом, торчащим в сторону, как вывернутое крыло у замороженного гусака; сначала он было двинулся к нам, но, видимо, передумав, остановился, достал кисет, стал закуривать.

Шофер опять посигналил.

— Чего орешь? — крикнул старик.

— Мазепа здесь?

— Утром был,— ответил тот.— На Баин подался.

— Догоним его? — спрашивал Попков, высунувшись из кабины.

— Пожалуй, не настигнете...

Грузовик разворачивался долго, словно норовистая лошадь, не желавшая пятиться задом. Колея была сдавлена наметенными сугробами, и грузовик осторожно тыкался в них тупым рылом, словно принюхивался. Наконец мы развернулись и покатали к Баину быстро в надежде настигнуть ускользнувшего от нас Мазепу.

Вскоре пошли бывшие поселки лесорубов: один, другой, третий... Скучно они выглядят! Покосившиеся заборы, пустые, с выбитыми окнами избы, почерневшие от времени бревенчатые амбары без крыш и дверей... Тишина и запустение. Да и кому нужны эти поселки? Лесорубы покинули их, ушли вместе с тракторами, пилами, подвижными электростанциями в более глухие и нетронутые таежные дебри, а здесь остались либо кородеры, либо охотники, либо рабочие тощих подсобных хозяйств, любители огородничества и «самостоятельной» жизни; в леспромхозе их зовут иронически «пенсионерами». А те, которые рубили эти избы, где-то в новых местах снова строят бараки, избы, так же наспех и так же вскоре бросят их, чтобы идти куда-то дальше на временное житье. Куда они идут? Куда торопятся? Зачем бросают столько добра в тайге? Здесь бы жить и жить да работать на славу еще десятки лет. Кругом стоят исполинские ильмы, лиственница, маньчжурский орех и, наконец, золото нашей тайги, ценнейшее дерево — яшень! Но сплавливать их нельзя — тонут. А вывозить нет дороги. И вот их заломали, захламили и бросили чахнуть да гнить...

* * *

Баин ничем особенным не отличается от других поселков. Те же маленькие, кособокие бревенчатые избы с неаккуратно обрезанными углами, те же длинные приземистые бараки, срубленные из толстых красных бревен, с окнами без наличников, с безобразно частыми переплетами. В Баине было побольше застекленных изб и бараков да чаще над тесовыми крышами кудлатились жидкие дымки. Здесь расположилось подсобное хозяйство оorsa, осели многие семьи далеко откочевавших лесорубов.

Мы остановились на конном дворе. Возле ворот две бабы навивали воз сена.

— Мазепа здесь? — спросил у них Попков.

— Кажется, на Мади уехал, — ответила ему женщина в ватнике и, сняв рукавицы, подула на руки.

— Тыфу, дьявол! — плюнул шофер и, повернувшись ко мне, сказал: — Посидите в сторожке, а я тут поразведаю.

Под сторожку была отведена половина пятистенной избы, во второй половине помещалась шорная. Я рванул дверь в сторожку — не поддается.

— Она примерзла! — кричит кто-то со двора. — Ногой ее долбани!

Я бью ногой в притвор, дверь с сухим треском распахивается. В сторожке никого не было. Посреди избы топилась плита, в углу стоял топчан, у окна — стол с табуреткой. Через минуту в сторожку вошла та самая женщина в ватнике, что отвечала Попкову.

— Окаянный мороз, — сказала она беззлобно, протягивая над плитой большие иссиня-красные руки. — Аж с пару сошлись.

— Вы что, конюхом работаете? — спросил я ее.

— Да где поставят, там и работаю. Заработки у нас ни к черту. Одно слово — подсобное хозяйство. — Она нагнулась и начала замечать щепки травяным веником.

— А на лесозаготовках зарабатывают?

— Там зарабатывают.

— Что ж вы там не работаете?

— Да куда мне с детьми скакать с места на место. У меня их двое. Я уж здесь привыкла.

— А что мужа-то нет?

— Нет мужика... — Она аккуратно собрала щепки, бросила их в печь. — Старший-то у меня семилетку кончил и в город подался на каменщика учиться. Вызов ему пришел оттуда. Уж так рад! Да и я раде-хонька.

В дверь вошел сухощавый мужик средних лет с таким выражением лица, как будто он знает что-то такое, отчего все могут ахнуть.

— Саня, — обратился он к женщине, — поди навивай! Мазепа приказал.

— Он здесь?

— Нет... Давеча верхом на Мади подался. А мне приказал распорядиться...

Женщина натянула тряпичные рукавицы и пошла во двор.

— Механизация механизацией, а все равно без лошади и в лесу ни шагу, — прищуриваясь, словно оценивая меня, хрипло заговорил вошедший. — Шорник в колхозе первый человек... А здесь...

— Вы, должен быть, шорником работаете? — спросил я его.

— Без расценок какая работа! Я тебе, положим, клещи переберу, но ты опиши все как есть. Или возьми потник — он у тебя сопредел, а ты с ним возись.

В сторожку вошел плечистый человек в новом полушубке.

— Вот это Евстафий Дмитрич, ветврач,— сказал шорник.

Мы поздоровались.

— Ты ему Расскажи насчет поросят,— попросил шорник ветврача.

Евстафий Дмитрич вдруг заговорил очень тихим, тонким не по комплекции голосом:

— Видите ли, орс тут бракованных поросят продает по дешевке. Вот рабочие и жалуются.

— На то, что дешево?

— Нет, на то, что поросята потом дохнут. Видите ли, для отчетности орсу выгодно проводить поросят проданными, пусть даже дешево. Это значит — помощь населению. А какая же это помощь — одна видимость. Я им запрешал, да не слушают меня.— Он говорил равнодушно, нехотя.

— А Мазепа знает?

— Мазепа все знает.

— Почему ж он не запретит?

— Невыгодно ему с орсом ругаться. Без мяса оставят... Рабочие и так уходят. А план выполнять нужно.

Вошел Попков, за ним высоченный мужчина в тулупе, с кнутом в руках. Это и был Гетман, здешний лесник. Он уже собрался ехать на Мади, вслед за Мазепой.

— Зачем вы за ним гонитесь? — спросил я лесника.

— Ему новые лесосеки дали... Не проверишь — он обязательно лишку прихватит. Да выберет, что получше.

— Возьмите меня... Мне он тоже нужен.

Гетман критически осмотрел мою куртку.

— В этой одежке до пупа только за девками бегать — полы в ногах не пугаются. А в санях да по тайге тулуп нужен.

— Тулупов у нас нет,— сказал ветврач.— Так что поезжайте с Попковым до Ачинского.

— За Баином перемело дорогу? — спросил Попков.

— Перемело. Но с утра машины пробили, проедешь,— успокоил его лесник.

— Вот опять же непорядок,— снова сердито заговорил шорник, поглядывая с неодобрением на меня.— Ведь каждый день за этим Баином машины вязнут. Переметает не больше километра... Что бы плетень там поставить?— Он смотрит на меня с такой укоризной, словно я-то и есть главный дорожный мастер.

Чтобы как-то оправдать себя в глазах шорника, я спросил Евстафия Дмитрича:

— А почему снегозадержатели там не поставят?

— Не знаю,— пожал плечами ветврач.— Оно дело-то пустяковое, да никто не распорядится... Видать, привыкли.

— Теперь дорога сносная,— возразил свое Попков.— Зачем понапрасну обижаться? Вот летом фасон другой...

— Это уж точно... Летом тяжельше.

— Сахару месяцами не было.

— А ныне и хлеб и сахар... Магазин вон торгует. Чего еще надо?

— Зачем обижаться? Теперь жить можно.

— Точно, точно,— повторяли со всех сторон, и даже шорник согласнo кивал головой.

* * *

Километровый участок дороги за Баином мы пробивали медленно метр за метром; машина дрожала от рева и напряжения, продвигаясь мелкими рывками по заметенной колее. И когда уже оставалось рукой подать до лесной опушки, грузовик затрясся, как в ознобе, и стал.

— Так... — Попков выключил зажигание и вылез из кабины.

С минуту он осматривал задние скаты, зачем-то бил каблуком по неподатливой, как дерево, резине и наконец изрек:

— В колесник сели... Это мы си-ичас.

Он полез в кабинку, сдвинул сиденье и выбросил оттуда грязную брезентовую куртку, топор, пилу и лопату.

— Дай покопаться? — попросил я.

— Сиди! — Он взял лопату, встал на одно колено и начал откидывать снег из-под задних колес. — Это еще ничего... Снег ноне неглубокий. Вот в марте сядешь — беда. Не докопаешься.

По словам Попкова получалось так, что я попал в самую счастливую пору его шоферской жизни.

— Значит, у вас теперь самая легкая пора?

— Чего? — Он перестал копать и глядел на меня с недоумением.

— Легкая пора, говорю, у тебя.

— Ага! И у тебя сейчас будет легкая пора, — подмигнул мне Попков. — Ну-ка, подай куртку! Та-ак... А теперь лезь под машину! Полезай, полезай! Во-от... Протаскивай рукава сквозь колесо... Та-ак! Ташши, ташши! Чего смотришь? Ну-к, дай сюда.

Он, сердито сопя, стал повязывать брезентовую куртку на заднее колесо. Рукава протянул между скатами и скрутил их жгутом. Потом залез в кабину, громко хлопнул дверцей. Заурчал, завизжал мотор, затряслась машина, и бешено закрутились задние колеса, поднимая снежную пыль. Ни с места...

Попков высунулся из кабинки:

— Эй, из конторы! Возьми топор и дуй в лес. Вагу сруби подлинше... Да еще чурбак! Вываживать машину будем. — А потом негромко матюгнулся вслед мне: — Легкая пора! Язвы тя...

Странно, меня ничуть не обидела ругань Попкова. Еще несколько минут назад я думал о скверной привычке человека довольствоваться малым.

Но это была привычка циркача, танцующего на канате. А что нам стоит? Перекувыркнуться? Пожалуйста! Все очень просто... Но не вздумай сказать ему, что работа его и в самом деле простая и легкая.

Пока я вырубал вагу и чурбак, пока нес их из лесу, обливаясь потом, возле грузовика уже крутился «газик», а мой шофер командовал, размахивая руками:

— Давай назад! Осади, говорят!! То-ой!.. Эй, из конторы! — крикнул он, увидев меня. — Ты что, в лес по грибы ходил, что ли ча? Давай сюда! Чего остановился? Обрубок клади под колесо... Та-ак! Да это ж нешто вага? Это ж бревнище! Хоть в венец укладывай... Эх, заставь богу молиться... медведя.

Он подошел к «газику», открыл правую дверцу.

— Как вас по имени-отчеству, извиняюсь?

— Иван Макарович, — раздалось из «газика».

Потом тяжело вылез хорошо одетый грузный мужчина. Я узнал директора леспромхоза Пинегина.

— Берись за верхушку, Макарыч! — подвел Попков директора к ваге. — И гни, дави ее! Из конторы! — обернулся он ко мне. — А ты поддерживай ногой чурбак и тоже на вагу ложись... Брюхом. Та-ак! — Попков залез в кабину и продолжал оттуда командовать. Он включил мотор. — Ну, взяли! Р-раз-два! Эй, поехала...

Мы подняли засевшее колесо, «газик» натянул трос, и грузовик медленно выполз на пробитую колею.

Попков собрал свой шанцевый инструмент, отвязал с колеса брезентовую куртку и спросил меня:

- Со мной поедешь или пересядешь к ним?
- А вы куда едете?— спросил я Ивана Макаровича.
- На Мади. Мазепу ищу.
- Значит, по пути! Подвезете?
- Пожалуйста.

Попков кивнул мне:

— Ну, бывай, помощник из конторы.

Так и не простил он мне «легкой поры».

Иван Макарович подал ему руку и сказал уже в «газике»:

— Орел... Сразу видно — мазеповской выучки.

Иван Макарович — человек приятный, обходительный, светлая улыбка постоянно на его лице. И одет он как-то весело, светло: белые валенки, серое пальто, серый каракуль...

— Наши хозяйственники рупь в карман кладут, десять на дорогу бросают.

— Мазеповская выучка?— сказал я.

— Ты Мазепу не трогай... Он уже в счет будущего года работает.

Мы подъехали к реке Бурлиту... Длинный бревенчатый мост, настланный по каким-то деревянным козелкам и по неокрепшему льду, местами переклестывала вода, вырывавшаяся из промоин и трещин. Река кипела. Ехать по такому шаткому основанию было рискованно. Иван Макарович вылез из машины, потрогал валенками бревна, вздохнул:

— Эх, Мазепа ты Мазепа! Атаман ты, и больше ничего... Видал, какая стихия? — спросил он меня, кивая на кипящую реку.— А они каждый день мотаются по ней. Башки окаянные! Одначе с волками жить — по-волчьи выть,— сказал он, влезая в «газик», и потом смиренно своему шоферу:— Давай, Петя! Плыви...

Но как только «газик» забарабанил по шаткому бревенчатому настилу, Пинегин приоткрыл дверцу:

— Ты на всякий случай тоже приоткрой дверь-то,— обернулся он ко мне.— Все успеем вынырнуть.— Он опасливо заглядывал в реку, вытягивая, как гусь, шею.— Да тут вроде и неглубоко, а, Петя?

— Местами по шейку,— тихо ответил Петя.

— Вот обормоты! Даже бортовых бревен не положили... Да куда ты на край-то лезешь? — крикнул Пинегин.

— Чуток занесло.

Петя, остроносенький белобрысый паренек в черной фуфайке, как скворец, сидел сгорбившись, крепко вцепившись в баранку, положив подбородок на руки, и пугливо тарасил глаза.

— Весной на этом месте растащило мост... «ЗИЛ» провалился,— сказал Петя.— Шофер вон там, у «Монаха», вылез.— Он кивнул в сторону высокого черного камня, одиноко торчащего из воды.

— Да, купель в эту пору так остудит, что штаны примерзнут,— сказал Пинегин.

«Газик» приостановился: сразу за мостом разлился широкий заберег с раскрошенным снегом и льдом.

— Прикройте двери,— сказал Петя.— С разгона пойдем. Не то сядем в этой квашне.

Я захлопнул дверцу.

— А здесь неглубоко? — Пинегин вопросительно посмотрел на шофера.

— По-моему, по дифер.

— Ну, давай... С разгона так с разгона...

Но дверцу Пинегин все-таки не прикрыл; и пока «газик» шумел колесами по воде, он напряженно поглядывал, как волны обмывали подножку. Наконец мы выскочили на прибрежный откос.

— Сколько героизма проявляется на одной только дороге! — сказал Пинегин, облегченно вздыхая и шумно хлопая дверцей. — Скромные, незаметные труженики... А чуть поскреби каждого — романтик! Мало мы говорим о них, мало пишем!.. Простите за любопытство, вы очерк о Мазепе думаете написать? — спросил он, обернувшись ко мне.

— Пожалуй, нет.

— А что же, если не секрет?

— Еще не знаю.

— Он стоит и очерка. Сам покоя не знает и другим не дает. — Пинегин торжественно умолк, чтобы дать почувствовать значительность сказанного.

— Такие кадры — наша опора, — сказал он через минуту. — Завтра в райкоме совещание передовиков. От Мазепы целая бригада будет. Вот так...

— Вы представляете, сколько стоит временный мост через Бурлит? — спросил я Пинегина. — Ну, хотя бы приблизительно...

— Зачем приблизительно? Я могу вам точно сказать — десять тысяч списывают на него ежегодно.

— Десять тысяч! За двадцать пять лет — двести пятьдесят тысяч... два с половиной миллиона рублей на старые деньги! — считал я вслух. — За эти деньги можно было четыре постоянных моста построить.

— Но вы не учитываете фактор времени, — снисходительно улыбнулся Пинегин. — Времянку за неделю наводят, а постоянный мост и за год не построишь.

— Да кто же за вами гонится?

— Время такое... Стране нужен лес сегодня, а не вообще...

— А завтра не понадобится?

Пинегин даже не взглянул на меня — то, что он говорил, казалось ему настолько очевидной истиной, что и доказывать не нужно:

— Мы должны торопиться... Обязаны!

— А если я не хочу торопиться?

Пинегин наконец обернулся и весело поглядел на меня:

— Жизнь заставит!

* * *

Мади встретила нас огромными штабелями бревен; они тянулись, как высоченная крепостная стена, вдоль по-над берегом промерзшей до дна речушки. Медно-красные в коре, желтовато-масленные на срезах, как располованные свежие дыни, они поражали своими размерами: крайнее кедровое бревно, у которого мы остановились, в поперечнике было под крышу «газика». Казалось, что эти громадные кедры валили под стать им великаны-люди, а потом играючи укладывали их, как кирпичики, в эти стены. Но люди были самые обыкновенные, даже большей частью малорослые, все, как один, в серых выгоревших ватниках, в кирзовых сапогах, — сидели они тут же, на бревнах, курили. Поодаль стоял черный, как ворон, длинноносый автокран. Неужели все эти горы они наворочали? Не верилось.

Откуда-то из лесу доносились глухие раскатистые удары: будто кто-то колотил там по мокрому белью огромным вальком.

Мы вылезли из «газика», поздоровались.

— Мазепа здесь? — спросил Пинегин.

— Был... Только что уехал в Ачинское.

— На чем?

— На хлебозовке...

— Ах ты, неладная! — Пинегин обернулся ко мне: — Может, догоним?

— Надо сходить на нерестилище.

— А что там?

— Посмотрим! Как пройти на Теплую протоку? — спросил я лесорубов.

От автокрана подошел черноглазый скуластый паренек, подал нам по очереди маленькую, но жесткую руку.

— Мастер, — представился он. — Между прочим, моя фамилия Максим Пассар.

— Хорошо работаете! — весело сказал Пинегин, кивая на бревна.

— Но как вы их вывозить отсюда станете? — спросил я.

— О, милай!.. Весна все сволокет, — ласково шурясь, отвечал маленький, но длиннорукий мужичок. — Вы не глядите, что эта речушка воробью по колена. А взыграет, вспузырится... так поперет, что верхом на лошади не утонишься...

— Нам нерестилище надо посмотреть... Теплую протоку, — сказал я Пассару.

— Туда в обход надо. Лесом нельзя — валка идет.

Из лесу прямо на нас, словно танк, подминая с треском молодняк, выпер черный стосильный трактор. Здесь, на раскрывочной площадке, он развернулся, утробно всхрапнул и умолк.

— Отчаливай! — крикнул тракторист.

Один раскрывщик бросился снимать чокер с огромного кедрового хлыста, приволоченного трактором.

— Вот это кедровина! Кубов на десять будет...

— Две нормы на рыло...

— Боров!

— Кит...

Поваленный кедр и в самом деле напоминал исполинскую тушу кита; и петля стального троса была внахлест закинута на суковатой развилине, как на хвостовом плавнике. За кедром тянулся глубокий черный след вспаханного им, перемешанного с землей снега... Широченная борозда! Кора его была вся обита, ободрана о корневища. «А сколько он поломал, выдырал с корнем, похоронил молодняка на своем пути!» — подумалось мне.

— Пойдемте через лес, — сказал я Пинегину. — Валку посмотрим...

— Но туда нельзя...

— Пассар нас поведет... Как, Максим, проведете?

— Если не боитесь, конечно, можно такое дело...

Я смотрел на Пинегина. Он откашлялся, вынул платок, долго утирался. Наконец сказал своему шоферу:

— Подожди меня здесь, Петя.

Мы пошли по черной борозде, проложенной кедром; она завилыла, пересекаясь с такими же глубокими бороздами, извиваясь вокруг уцелевших раскоряченных ильмов да стройных стального воронения ясеней.

— Э-ге-гей! — кричали нам вслед. — Смотрите поверху, не то рябчик долбанет.

— Это что еще за рябчик? — спросил я Пассара.

— Сучки у нас так называются.

Кедровые сучья, перемешанные с валежником, с покалеченным, искореженным молодняком, повсюду высились в завалах — не перелезть... Сверху, с заломанных, обезображенных деревьев тоже свешивались кедровые сучья — комлями вниз, тяжело покачиваясь, готовые в любую минуту сорваться и ринуться вниз.

— Идите только за мной... В сторону ни шагу, — сказал Пассар.

Мы вытянулись гуськом, шли молча след в след, словно по сторо-

чам было минное поле. Глухие ухающие удары, доносившиеся с лесосеки, перемежались теперь с раскатистым треском, напоминавшим пулеметные очереди. Потом стал долетать до нас высокий, комариный голос пилы, и чем ближе мы подходили, тем надсаднее, ниже и злее становился этот звон.

Наконец Пассар поднял руку, остановился.

От неожиданности мы почти столкнулись.

Перед нами метрах в ста качнулся и стал валиться высокий кедр; сначала он вроде бы застыл в наклонном положении, и казалось, что он еще выпрямится и его тупая, словно подстриженная вершина снова поплывет в оголенном проеме... Но, помедлив какое-то мгновение, тяжелыми косматыми лапами погрозил он, опрокидываясь, небу и быстро пошел к земле, со свистом рассекая воздух, по-медвежьи, с треском подминая долговязый орешник, и с пушечным грохотом ударился наконец оземь. Гулким стоном отозвалась земля, и долго, как смертный прах, парило в воздухе облако снежной пыли. И в наступившей тишине было жутко смотреть на этого поверженного, недвижимого, точно труп, лесного великана, на мотающиеся, обломанные, как костыльжки, ветви орешника да трескуна, на пустой, как прорубь, небесный проем, который еще мгновение назад закрывала кудлатая голова кедра.

— А теперь бегом, бегом! Чего, понимаешь, стали? — Пассар пропускает нас вперед. — Бегом! Прямо к кедру...

Я бегу впереди и чувствую, как у меня колотится, словно от испуга, сердце. «С чего бы это?» — удивляюсь я.

Возле высокого пня, похожего на лобное место, стоял вальщик в оранжевой каске с брезентовым, спадающим на плечи покрывалом. На пне лежала бензопила — совсем игрушечной казалась она на этом поперечнике размером с хороший круглый стол.

— Как же вы ухитрились повалить эдакую махину? — спросил я вальщика.

— Минут сорок провозился... С подпилком брал ее, с обоих концов... Натанцевался.

Вальщик — немолодой, густая темная борода на щеках заметно себребрилась, но был он плотный, коренастый и, видимо, немалой силы. Однако я заметил, что пальцы у него дрожали; когда он скручивал сигарку, крупинки махры полетели на землю.

— Не владеют пальцы, — как-то извинительно улыбнулся он, перехватив мой взгляд. — Как повалишь кедр — руки и ноги трясутся. Ничего не поделаешь.

— Отчего? От усталости?

— Да нет... Вроде оторопь берет. Испуг не испуг, но сердце бьется и что-то такое подкатывает под самый дых! Пятнадцать лет уж как валяю, а все еще оторопь берет.

— Это наш лучший вальщик Молокоедов, — сказал Пассар, подходя с Пинегиным.

— Замечательно у вас получается. Прямо — салют!.. Как пушечный залп... — Пинегин похлопал вальщика по спине. — Вот они, покорители тайги!

Вальщик смущенно улыбался и жадно затягивался дымом.

— А зачем ее покорять, тайгу-то? — спросил я Пинегина.

— Как зачем? Человек — хозяин своей земли.

— И это по-хозяйски? — Я указал на заломанные деревья.

— Ну, это пустяки... Зарастут, новые вырастут.

— Как можно говорить такие слова? Кто в тайге живет, знает — такое дело не зарастет. Гнить будет, болеть будет... Короед появится.

Тайга пропадет! Гиблое место называется это! — неожиданно вспыллил Пассар.

— А кто виноват? Ты ж и виноват, милый... А на меня шумишь.— Пинегин засмеялся.

— Я не виноват...— Пассар отвернулся.— Пойдемте на Теплую протоку...

Мы опять растянулись гуськом и шли за Пассаром. Ухающие, раскатыстые удары теперь раздавались где-то справа, но все казалось, что вот-вот перед нами повалится очередной кедр.

— Зачем же вы одни кедры рубите? — спросил я Пассара.

— Еще ель немножко берем. Больше ничего нельзя, лиственные породы тонут. Сплавливать нельзя... Дороги нет.

— Стройте дорогу.

— Не могу... Мое дело — рубить лес.

— Но ведь кедр не восстанавливается при такой рубке?

— Конечно...

— По закону запрещена такая рубка! — кричу я ему в спину.

— У нас есть разрешение, — отвечает Пассар, не оборачиваясь.— Грест давал...

— Но послушайте, это же преступление! — Я оборачиваюсь к Пинегину, и мы останавливаемся лицом в лицо.

Он чуть ниже меня и поэтому смотрит исподлобья своими бесцветными навывкате глазами.

— Не кричите! Кто нам дает план? Вы что, не знаете?! Нужен лес не завтра, а сегодня.

— А завтра что, лес не понадобится?

— Ну и что?! Завтраками кормить будем государство? Мол, подождите там, наверху... Вот построим дорогу, тогда и лес будет. Так, что ли? — повышает голос и Пинегин.

— Не умеете рубить по-человечески — не лезьте!

— Чего спорите! — крикнул Пассар.— Протока подошла.

Мы не заметили, как он отошел на значительное расстояние.

— Идите! — Пинегин кивнул в сторону Пассара и все так же смотрел исподлобья.

Мне не хотелось подставлять ему спину и топать впереди, как под конвоем.

— Ступайте вы! — сказал я.

Но и Пинегин заупряился. Мы стояли друг перед другом, как ба-раны. Его круглое лицо как-то вытянулось — отвисли щеки, и на переносице проявилась красная сетка частых прожилок. Передо мной был другой человек — упрямый, злой и старый.

Наконец он свернул в сторону и пошел чуть сбоку. До самой протоки мы шли медленно, молча, не глядя друг на друга. Я — чуть впереди, и мне слышно было, как трещал валежник да тяжело дышал Пинегин.

— Вот она и есть, Теплая протока, — сказал Пассар.— Зимой и летом не замерзает.

Мы остановились на обрывистом берегу. Неширокая порожистая протока была завалена кругляком и коряжником. Оседавшие на галечных перекатах заломы из выворотней, бурелома да почерневших коряжин обвалило за лето свежими бревнами; теперь они сплошь перекораживали течение. Перед заломами вода кишела рыбой; сильная, она тараном шла на бревна, билась хвостами о галечные отмели, выпрыгивала из воды, сверкая радужным полукружьем, старалась перемахнуть через высоченные заломы, плюхалась снова в воду и опять шла на приступ.

Выбившись из сил, в кровоподтеках и ссадинах, она отходила к берегу и здесь торопливо разбивала хвостом один из продолговатых бугорков, выбрасывала оттуда уже политую молоками икру своих предшественников, выметывала сама икру в эту ямку и, не успев как следует зарыть ее, тут же умирала. Вода — красная от икры; отмель усеяна сдохшей рыбой.

Закатное солнце тяжело плавало над лесными вершинами.

Мы долго молчали и смотрели на это рыбье побоище. Затихли отдаленные глухие раскаты — видать, вальщики закончили работу. Ветра не было — ничто не шелохнется. И только редко и жирно каркали вороны, они лениво перелетывали над протокой, садились на прибрежные кедры и сердито кричали на нас.

— Хоть бы вы растащили эти заломы,— сказал я Пассару.

— Нам некогда... Людей нет. И очень бесполезно. Сплавщики много раз взрывали заломы. Все равно затягивает. Вода села к осени. Вот беда!

— Значит, вода виновата? А вы — молодцы!

— Зачем молодцы?! Конечное дело — наши бревна в заламах лежат.

— И опять сплавлять будете... Сваленный лес на Теплую трелюете?

— Куда же еще? — сказал Пассар.

Я посмотрел на Пинегина.

— А что бы вы стали делать на месте Мазепы? — спросил он с вызовом.

— Во-первых, не поехал бы на совещание передовиков...

— Смелый шаг, ничего не скажешь,— усмехнулся Пинегин.— Кстати, нам пора ехать в Ачинское. Не то ночь застанет.

— Счастливого пути.

— А вы остаетесь?

— Да.

Пинегин обернулся к Пассару.

— Пошли! — И уже на ходу громко заговорил:— Оказывается, не умеем мы лес рубить, не умеем... Теперь журналисты будут руководить лесорубами.

Пассар крикнул мне:

— Идите по следу! Как раз в бараки... Понял?

— Ладно, ладно!

До самых сумерек ходил я по берегам протоки и думал о рыбе. Странная. Живет, вырастает в океане. Но настанет время метать икру — уходит в далекие таежные речушки, на родину. Только здесь, в своем родном нерестилище, может она выметать икру, народить детей. Каким непостижимым чутьем находит она эту единственную из бесчисленного множества протоков, затерявшуюся в глухой тайге, за тысячи километров от моря-океана? Какие приметы расставлены там, в морских и речных волнах, что она не сбивается в пути? Что это за мудрый и строгий закон, который гонит ее в далекую таежную речушку, чтобы народить детей и помереть самой? Да, помереть во имя жизни детей... Эти малыши, вылупившиеся из икринок, зарытых в песчаное дно, в голодную и холодную апрельскую пору будут поедать тела разложившихся родителей, чтобы, подкрепившись, выйти в дальнее плавание — в море-океан. Жить и жить!..

Но из этих икринок, торопливо брошенных в воду, ничего не вылупится; унесет их равнодушная вода в большую реку, и будут они долго носиться в волнах, пока не потеряют цвета и запаха и не упадут вместе с песчинками в береговую отмель.

* * *

В бараки пришел я вечером. Поселок Мади — такой же, как и многие другие виданные мной за долгие разъезды по амурским да сибирским тайгам: три приземистых барака — в одном столовая и лавка, в двух других живут лесорубы. Один барак — мужское общежитие, другой — смешанное: женщины и семейные. Еще, кроме этих бараков, стояла маленькая избенка, покрытая корьем, — в ней складывались пилы, бочки с горючкой, тросы, запчасти к тракторам и всякий тряпичный хлам.

Пассара нашел я в столовой, он сидел при керосиновой лампе и пил густой, как деготь, чай. В помещении было жарко натоплено. Максим расстегнул ватник, лицо его разопрело до красноты, от головы густо валил пар, как от самовара. Из раздаточного окна выглянул щуплый смуглый человечек в белом колпаке, с выпуклыми блестящими глазами.

— Ты озябла? — спросил он, улыбаясь, и подал мне кружку такого же черного дымящегося чая. — Бери, кушай!

— Дай ему поесть, — сказал Пассар.

— Картошка хочешь? Икра хочешь? — спрашивал меня повар.

— Давайте что есть. — Я сел рядом с Пассаром.

— Попков тебя вез, да? — спросил Пассар.

— Попков.

— Застрял он возле моста. Я трактор послал.

Распаренный, без шапки, с торчачими черными волосами, Пассар не казался таким уж юным, как давеча. К тому же на висках заметно пробивались одиночные иголки седины.

— Сколько же вам лет? — спросил я его.

— Тридцать семь.

— Что вы говорите! А я вам дал не более двадцати пяти.

— Я капли водки не истреблял, — сказал Пассар.

Повар поставил на стол икру и картошку.

— Своя готовим. Кушай.

Икра раскатывалась по зернышкам с пружинящей, точно вулканизированной кожей.

— Тоже намай? — спросил я Пассара, когда повар ушел.

— Его узбек.

— Крепко сердился на вас Пинегин, — сказал Пассар, закуривая. — Везде, говорит, суется...

— Он что, сват или брат Мазепе?

— Почему?

— Горой за него стоит... покрывает.

— Мазепа план хорошо выполняет...

— Послушайте, Максим, вы же таежный человек... Выросли здесь. Неужели не жалко вам леса?

— Я уж привыкал.

— Рыба погибнет...

— Конечно... Нанаи так говорят: рыба есть и жизнь есть, рыбы нет и жизни нет.

Мы долго молчим, курим...

— Сначала я так говорил Мазепе: давай рубить все подряд... до рогу строить, дома строить. Плюнем на директора. План свой составим... А он мне сказал: «Дурак! Нас прогонят — других возьмут». — Максим смеется, крутит головой, потом внезапно замолкает и с грустью смотрит в темный угол. — Рабочие бегут, понимаешь. Живем, как в стойбище, — через год поселки бросаем. Мужчины и женщины в одном бараке... Давайте, говорю, хоть столами отгородим — женатых в один ряд, холостых

в другой. Тогда одна женщина встает и говорит: «А мне куда ложиться? Днем я холостая, а ночью женатая».

— А что же Мазепа? — спросил я.

— Ну что Мазепа? Я говорю — давай поставим еще один барак. А он: «Зачем? На будущий год и эти бросим...» Тоже правильно. Ачинское — большой поселок. Дома двухквартирные... Школа есть, больница, клуб... Тротуары дощатые, понимаешь. Все равно через год бросим. Кедровые вырубил.

— Сколько же вы кубометров берете с гектара?

— Сорок кубометров берем, а двести пятьдесят бросаем...

— Богато живете...

— Пора спать! — бесперемежно сказал Пассар. — Только вам придется идти в женский барак. В мужском мест нет. Ларда вас проводит. Аделов! — крикнул он повара. — Корреспондента проводи в барак! Койку там приготовили. Спокойной ночи. — Пассар подал свою маленькую сухую руку и вышел.

Меня удивила простота нравов, которая царилла в женском бараке. Койки стояли двумя рядами парно, вплотную друг к другу. На койках спали по соседству женщины и семейные пары. В дальнем углу, слабо освещенные висячей лампой, сидели в обнимку влюбленные.

Длинный дощатый стол загородил весь проход; одним торцом он упирался в кирпичную облупленную печь, вторым подходил к самым дверям. Над плитой с веревки свешивались портянки; от них перечеркивали весь потолок и стены широкие ломаные полосы теней. Пахло приторно-сладковатым духом преющего тряпья, распаренной резины и жженого волоса.

Указав мне на свободную крайнюю койку, Аделов прошел в дощатый чулан, отгороженный в ближнем углу. Оттуда высунулась маленькая смуглая ручка в цветастом рукаве и быстро задернула такую же цветастую штору. Потом в чулане часто, горячо и непонятно забубнили. На меня никто не обратил внимания. Я разделся, прилег на койку.

За столом сидели несколько человек, занятых кто чем. Крайняя к двери пожилая женщина в зеленой шерстяной кофте и белом в горошинку платочке вязала и часто нашептывала; напротив нее девушка в синей рябенькой кофточке и черных шароварах считала на маленьких счетах и потом что-то заносила в табличку; за ней сидели два парня, покрытых черными тенями от портянок, зато девушка между ними была ярко освещена — белокожая, с обветренным красным лицом, она часто прыскала от шепота ухажеров и закрывала лицо ладонями.

Из дальнего угла влюбленных раздался затяжной вздох, потом высокий довольный смешок.

— Что же вы при людях-то обжимаетесь, или не терпится? — спросила, отрываясь от вязки, пожилая женщина.

— А то вы ночью не слышите, что делается, — недовольно огрызнулась девица из угла.

— Да тебе все едино — что ночью, что днем, — беззлобно возразила женщина в зеленой кофте.

— Завидуешь? — В углу послышался сдавленный смех.

— Дура! — Женщина снова принялась за вязку.

Я приподнялся, пытаюсь разглядеть тех, в дальнем углу: парень опрокинулся на подушку, девушка сидела рядом — лицо не разглядеть, только спутанные черные волосы да широкие дюжие плечи, обтянутые синей футболкой, которым и добрый мужик позавидовал бы.

— Новички, должно быть? — спросил я пожилую женщину.

— Она только что приехала откуда-то с целины. А он из наших «старичков», уже третий год доживает. Вот и соскучился, бедный...

— А чего мне скучать? Житуха нормальная... По сто восемьдесят зарабатываю в месяц,— донеслось из угла.

— Вы что ж, пожениться решили? — спросил я.

В углу засмеялись. Прыснула и белобрысая девушка за столом.

— Она его лет на десять старше,— сказала девушка с таблицей в руках.

— Возраст не помеха,— донеслось из угла. И снова хохот.

— Весело живете! — сказал я.

— Это еще хорошо — в бараке живем,— сказала пожилая женщина.— Тепло. Зима пришла — времянку проложили, по ней и ездим. А вот всю осень жили возле делян в будках. В каждой будке восемь человек. Повернуться негде — комары, холод, грязь... Ездили туда на волокушах. Двадцать пять верст — два дня едешь. А потом работаешь по двенадцать часов, чтоб наверстать упущенное в дороге.

И сразу разговор становится общим.

— А дорога-то не оплачивается...

— Газет не читаем.

— Взносы не платим по полгода.

— Рябчики нас заклевали...

— У нас одно дерево повалят, у десяти других сучки пообламывают. Вот они и висят. Сунешься за хлыстом — он тебя сверху и долбанет.

— Вальку Парилова, шофера, стукнул рябчик. Долго валялся, дело прошлое,— не вытерпел и влюбленный.

— А Белова лесина зажала... К пихте его притиснула. Чокеровщики шли, чокера собирали. Вдруг слышат — что такое? Вроде коза блеет. Подошли — а это Белов. Он уже голос потерял.

— Бывает, дело прошлое.

В барак ввалился высокий парень в свитере, без шапки, лохматый, как медведь, и заголосил:

Обниму свою милую женушку
И усну на груди у нея...

— Ты что, Чечиль, с ума спятил? Орать в такую пору? — сердито сказала девушка с таблицей в руках.

Между тем на койках никто даже не шевельнулся. А Чечиль, покачиваясь, подошел к столу и плюхнулся на скамью рядом с рябенькой кофточкой:

— Эх, Любушка-голубушка! Я тебя на ангарскую сосну не променяю. Звали — не поехал. И никуда от тебя не поеду. Да брось ты эту стиральную доску! — Он потянулся за таблицей.

— Не мешай шахматку заполнять! Ну! Кому говорят? — Люба вырвала у него таблицу.

— Ты вот как, да? А может, я с тобой поговорить пришел последний и решительный, а?

— Вон садись к Сереге на койку. Он там уговаривает одну. А мне не мешай.

— Десятник у нас серьезный,— сказал один из ухажеров, выныривая из-под портяночной тени.

— Ты, Чечиль, смотри не толкни ее. Не то она мне вместо плюса минус поставит.

— А на черта тебе плюсы! Ты и так гребешь по две сотни!

— Как на черта? А вон Ларда ящик водки привез... Иль ты хочешь один все выпить?

— Я даю только тому, кто озябла,— высунулся из чулана Аделов.

— Брысь! — цыкнул на него Чечиль.

И Ларда мгновенно скрылся.

— Давеча прошу у него пол-литру — не дает. На обогрев, говорю. Человека спасти еду, говорю. — Чечиль бьет себя в грудь. — Не дает, ханжа насредине!

— В самом деле, тебя же посылали Попкова выручать? — спрашивает Люба Чечилья.

— Ну? — Тот любезно осклабился. — Еще что?

— Вытянул?

— Вон, на дворе стоит его сено.

— Зачем ты его припер сюда?

— Он сам приехал.

— Так ему же в Ачинское надо.

— А я почем знаю... Он в кабинке уснул...

— Где ж вы нализались?

— Водку из орска везли да засели. Мы их вытянули и литровку дубанули...

— А где Попков?

— Да, говорю, в кабинке! Спит...

— Он же замерзнет, чертяка! — Люба бросает шахматку, встает. — А ну-ка, марш во двор! Вся застолица... Пошли, пошли! Надо вытащить Попкова.

Две девушки и три парня, накинув ватники, вышли из барака.

— Господи, господа, вот шалопутные! Ни днем, ни ночью угомону не знают, — сказала женщина в зеленой кофте, снова берясь за свою вязку.

— Откуда они приехали? — спросил я.

— Кто откуда... Всё бором-сорбором. Слетятся, года не проживут — и бежать. Я уже вот тоже в третьем месте по вербовке доживаю. Сорвалась, дуреха, на старости лет. Помирать уж пора, а я все ищу, где лучше. Народ ноне проходной стал... Не держится на месте... Кругом одно озорство.

Этот неприветливый, веселого нрава люд пришел сюда, в таежные дебри, из дальних далей, чтобы в рабочей сутолоке добыть свои нелегкие рубли и опять податься на новые места в поисках хорошей работы, большого заработка, жилья... По-всякому это называется. Но суть одна — человек стремится туда, где лучше...

Я спал тревожным сном. Мне все снилось, что я иду по тайге и куда ни сунусь — везде высоченные завалы. Я карабкаюсь на завал, хватаюсь за какие-то ветви, сучья... И вдруг — завал уже не завал, а сопка; на вершине стоит огромный Пинегин и размахивает кедром: «Ты куда лезешь? Забыл, что времена не те? А! Хочешь, я те напомню? Кедром-то как долбану сейчас...» Он ударил кедром по сопке, и земля подо мной зашаталась.

Я очнулся. Возле меня стоял Пассар и тряс койку:

— Вставайте, Попков в Ачинское едет.

* * *

Наскоро одевшись, я проглотил кружку черного чая, отдающего жженой коркой, и вышел. На улице было совсем светло. Сухой морозный воздух ударил в голову до опьянения. Я тяжело и отрывисто дышал, как загнанная лошадь.

— Садитесь, что ли ча! — Попков открыл дверцу кабинки.

Мотор у него уже ревел, слегка подрагивал капот, и зудела какая-то железяка на дне кабинки.

— Здравствуйте! Вот не ожидал встретиться здесь,— сказал я, влезая в кабинку.

Попков только повел бровями. Выражение лица у него было такое, что казалось — вот-вот он зарычит и замотает головой.

— Может, прикажешь своему кашевару? — высунувшись из кабинки, упрашивал Попков Пассара. — Мне только полстакана. Дайте муть осадить.

— Ты что, понимаешь? Думаешь такое дело? За рулем сидишь. А кого задавишь! Я отвечай, да? — Пассар стоял на крыльце, из-за его спины выглядывал Аделов.

— Да кого я в тайге шибу? Медведя, что ли?

— Порядок везде одинаковый. — Пассар был неумолим.

— Я водку даю только тому, кто озябла,— сказал узбек.

— А я что, на печке буду сидеть? — рыкнул Попков.

— Поезжай, понимаешь... Зачем без толку говорить? — Пассар даже отвернулся.

— У-у, басурманы... — проворчал Попков. — Одно слово — азиаты...

Погнал он быстро, очевидно, решив всю свою обиду выместить на грузовике. Меня бросало по кабине, как горошину в бочке. Я упирался ногами и спиной во все, что было неподатливым, вцепился обеими руками в скобу, и все-таки меня поминутно срывало, и я бился обо все углы либо головой, либо плечами, либо коленками. Дребезжали стекла, подпрыгивал капот, и над нашими головами, шурша о кабинку, мотался огромный стог сена. Мы оседали то на одну, то на другую сторону, но, не сбавляя скорости, летели вперед, каким-то чудом не опрокидываясь.

Только мы успели выехать на главную Ачинскую дорогу, как на встречу нам из-за ельника вывернулась карета «скорой помощи».

— Больных везут. Придется уступить дорогу.

— Это наш автобус... Приспособили,— сказал Попков. — Видать, участковое начальство едет.

Карета, не доезжая до нас, попятилась задом с дороги прямо в снег. Мы проехали мимо, шаркнув сеном по кабине «скорой помощи». Из кареты посыпались на снег пассажиры, все в полушубках и чесанках. Сразу видно — не на работу едут. Мы вышли навстречу. Оказалось, что ехал на совещание начальник лесопункта Мазепа с бригадой передовиков. Я незнаком был с Мазепой и удивился при встрече с ним. Он был мал и невзрачен, сухопарый, с желтым морщинистым лицом, с печальными, умными и усталыми глазами.

— Архип Осипович. — Он мне подал большую костистую руку.

Я назвал в свою очередь.

— Мне Пинегин рассказывал о вас. — Мазепа повернулся к Попкову. — Что ж ты, труженик, дороги путаешь, как слепая лошадь? Мы ночью тебя ищем, а ты в бараке дрыхнешь.

— Хвостовик у меня занесло малость,— пробурчал Попков.

— Чтобы не заносило еще раз, за вчерашний день зарплату с тебя удержим.

Мазепа кивнул на стоявшего рядом с ним сутулого, в черной сборчатке рыбного инспектора Чурякова, большеногого, с унылым, каким-то сонным лицом.

— Мне эта рыба мамка руки связала. Вот поеду в леспромхоз, там развяжут.

Видя мое недоумение, он пояснил:

— Запретил мне трелевать лес к Теплой протоке.

— Правильно сделал! — сказал я.

Мазепа ничуть не смутился.

— Это ж нерестовая протока, пойми ты. Нельзя по ней сплавлять,— нехотя пояснил инспектор.

— Лыко и мочало — начинай сначала,— вздохнул Мазепа.— А если других проток нет — что делать? Трелевать к Бурлиту за пять верст? Трактора не выдержат. И лес будет золотым.

— Стройте дорогу,— ответил равнодушно инспектор, и видно было, что подобные разговоры между ними ведутся не впервой.

— Дорогу за год не построишь?

— Будто вы здесь год работаете,— усмехнулся Чуряков.

— Вы же губите лес! Губите рыбу! Люди страдают...— сказал я.— Неужели вам это непонятно?

— Я уже на такое посмотрелся, дорогой мой, что глаза слепнут.— Мазепа потер виски и устало посмотрел на меня.— Мне за последние пять лет удвоили план, а техника все та же. Работаем на полный износ... А вы — строй дорогу... С кем? На что?

— Денег не отпускают на дорогу, что ли?

— Когда отпускают, когда нет. Это не наше дело. Дороги — дело высокого начальства.

— Оно кому плохо без дороги-то, а кому и подходяще,— протискиваясь боком, подмигивая мне, говорил молодой рыжий технорук с белесыми бровями, с вислым хрящеватым носом.— Была бы дорога — небось перевели бы леспромхоз из райцентра к нам в тайгу... А может быть, и трест сюда бы загнали... Кому в глухомани жить хочется? Теперь каждый начальник едет из леспромхоза на лесопункт — ему и суточные платят. А тогда — прощай командировочные.— Он многозначительно улыбается и чем-то напоминает мне шорника.

— Ну, что мы топчемся на дороге? Поехали! — сказал Мазепа и, посмотрев на меня, спросил: — С нами поедете? Или в Ачинское?

Я промолчал.

— Поезжайте к нам.— Мазепа истолковал по-своему мое молчание.— Люди у нас хорошие... Есть такие, что уже и за будущий год отработали.

Мы разошлись по машинам. Раздался пронзительный свисток «скорой помощи», и желтая карета заныряла по ухабам.

Тайга пошла гуще. Размеренные ухабы, словно застывшие морские валы, потянулись далее на десятки километров. Дорога так запетляла вокруг рябоватых ильмов, полосатых светлых ясеней и пегих, как в заплатах, кедров, что казалось, решила оплести их. Повороты следовали один за другим, и шофер беспрестанно крутил баранку.

А дорога все петляет, все вьется, и нет, кажется, конца ни этим ухабам, ни этой монотонной, размеренной качке.

И я перестаю замечать головокружительные повороты, обрывистые глубокие ухабы, почти отвесные спуски... И мною понемногу овладевает состояние уверенного спокойствия. «Дорога как дорога... Чего ж особенного? Дорогу, конечно, приведут в порядок...»

И только шофер по-прежнему остервенело крутит баранку, и сурово сведены его брови.



ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

★

НОВЫЙ ГОД У ДУНАЯ

Камень старинный, башни, мосты, ограды.
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.
Колокола воскресные в поднебесьи.

Под куполами, золотом, синевою
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит, сверкая.
День новогодний — боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом — что он, кого он прячет?
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!
Дай, чтоб скорее птицы в лесах запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..
К старости, что ли,— стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое..
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?



Д. САМОЙЛОВ

★

ПРЕДМЕСТЬЕ

Там наконец, как пуля из ствола,
Поезд метро вылетает из-под земли.
И вся округа наклонна.

Там дивная церковь,
Оранжевая с белым,
Слегка накренясь, как в танце на льду,
Медленно откатывается вбок.

Там, в поредевших рощах,
Белые дома —
Макеты рационального воображения.
Но земля не занята городом.

Там воздух листвен.
Там иволга садится на балкон.

Там балконные двери —
Летки человеческого пчельника.
Вечером светятся окна
Пузырьками искусственных сотов.

Там ветер намывает флаг,
И свежее полотнище, пахнущее арбузом,
Хлобыщет небо.



А. ЦЕЙТЛИН,
профессор

★

ЛЕНИН И БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ

В № 1 «Нового мира» за 1967 год был опубликован фрагмент из капитального пока еще не изданного труда известного литературоведа, ныне покойного Александра Григорьевича Цейтлина — о стиле Ленина-публициста. Ниже мы предлагаем вниманию читателей еще один фрагмент из того же труда, посвященный В. И. Ленину — редактору большевистских публицистов.

Молодые литературные силы, прибывавшие за границу для поддержки кровного дела большинства русских работников, требуют себе приложения.

В. И. Ленин. Письмо к товарищам. (1904 г.)

В своей борьбе с многочисленными врагами рабочего класса, с фразерствующей публицистикой крепостников, либералов и соглашателей Ленин не был однок: его окружала крепко спаянная группа публицистов старой большевистской гвардии.

Конец 1903 и начало 1904 года — пора формирования большевизма — были трудной порой. Борьба с меньшевиками внутри партии принимает исключительно острые формы. «Тяжелый кризис партийной жизни все затягивается, ему не видно конца, — писал в своем обращении «К партии» Владимир Ильич. — Смута растет, создавая все новые и новые конфликты, положительная работа партии по всей линии стеснена ею до крайности... А между тем исторический момент предъявляет к партии такие громадные требования, как никогда раньше. Революционное возбуждение рабочего класса возрастает, усиливается брожение и в других слоях общества, война и кризис, голод и безработица со стихийной неизбежностью подрывают корни самодержавия. Позорный конец позорной войны не так уже далек; а он неминуемо удесятерит революционное возбуждение, неминуемо столкнет рабочий класс лицом к лицу с его врагами и потребует от социал-демократии колоссальной работы, страшного напряжения сил...»¹.

В этой исключительно сложной и трудной обстановке Ленин бросает всю свою энергию на формирование партии большевиков, на всемерное укрепление ее кадров. «У нас рождается партия! — говорим мы, видя пробуждающиеся к активному вмешательству комитеты, видя рост политической сознательности передовых рабочих. У нас рождается партия, у нас множатся молодые силы, способные и оживить и заменить дряхлеющие литературные коллеги...»².

Создать свою собственную издательскую базу, свои собственные газеты и журналы — вот что ставит в порядок дня Ленин. В августе 1904 года большевистское издательство начинает свою работу, в ноябре появляется брошюра В. В. Воровского «Совет против партии», а в самом начале января 1905 года выходит наконец в свет первый номер большевистской газеты «Вперед».

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 13.

² Там же, стр. 11.

В эти месяцы Ленин сгруппировывает вокруг себя литературный актив большевиков, в который вошли все «...выдвинувшиеся до сих пор литераторы большинства»¹. Сотрудничающий в «Искре» с 1902 года В. В. Воровский после второго съезда партии примыкает к большевикам. В феврале 1904 года в Женеву приезжает из якутской ссылки М. С. Ольминский, в конце 1904 года в Женеве появляется и А. В. Луначарский. Молодые публицисты партии один за другим включаются в литературную борьбу под неослабным руководством первого литератора большевиков — Ленина.

В немногочисленную, но спаянную и деятельную группу большевистских публицистов входили «Орловский» (В. В. Воровский), «Галерка» (М. С. Ольминский), «Воинов» (А. В. Луначарский), Г. М. Кржижановский, В. А. Карпинский, П. А. Красиков, Г. Д. Лейтейзен, И. И. Скворцов-Степанов, позднее А. М. Коллонтай. Все они были чрезвычайно многим обязаны Ленину. Он объединил их в энергичную фалангу, оружием слова отстаивающую интересы революционного пролетариата. Ленинская плеяда публицистов возглавила литературные силы в виднейших органах большевиков — «Вперед», «Пролетарий». «Звезда», «Правда» — и руководила ими. Множество ответственных заданий, ставившихся историей перед большевистской публицистикой, выполнял этот литературный отряд партии под идейным и организационным водительством В. И. Ленина.

* * *

Как же практически осуществлялось это водительство? Как Владимир Ильич воспитывал кадры большевистских партийных писателей?

Материал, который послужил основой для ответа на этот вопрос, достаточно обилен и разнообразен. Это прежде всего те рукописи сотрудников «Пролетария» и «Вперед», которые хранят на себе явные следы участия Владимира Ильича и которые в довольно большом количестве были изданы в Ленинских сборниках.

«...Все эти планы, тезисы... — писал Г. И. Крамольников, — нужно было сохранять... во-первых, потому что надо было иметь не только готовые результаты совместной работы с товарищами, но и все ступени работы, потому что вся история приучила нас, большевиков, что вчерашний учитель может стать сегодняшним только товарищем, завтра союзником, послезавтра — противником, как случилось это с Плехановым. Слишком свежи были отходы и измены ряда бывших соратников. Так отстала почти вся группа «Освобождение труда», а затем почти вся редакция «Искры», пришлось пережить измену почти всего ЦК, за исключением двух-трех членов ЦК, как Ленгник, Сокол (Эссен), Землячка, которые остались верны Ильичу. Таким образом пришлось учиться к тому, чтобы иметь следы работы на всех ступенях ее. Но главное, почему сохранились «леса» для статей, заключалось в следующем. Отдельная мысль в плане, когда всматриваешься в нее, иногда играет лишь служебную роль в данной статье, а в следующей статье она превращается в самостоятельную, даже в центральную идею. Ильич ее разворачивает по-новому. Кроме того, иногда мы, изучая тот или иной план, рассматривая, для какой статьи послужили материалом эти заметки, эти записки, находили, что ядро плана реализовано, нашло воплощение в статье Ильича, а остальные части не вошли, не использованы в статье. Но стоит полностью прочитать тот номер газеты, в котором помещена статья Ленина, а иногда еще следующий номер газеты, и видишь, что основное ядро использовано Ильичем, а остальные части рассосались по статьям соредакторов Ленина: Луначарского, Воровского, Ольминского. Так что эти планы... не только планы статей, не только планы политических кампаний, но и лаборатория ленинской мысли, да и кроме того еще и лаборатория работы редакции «Вперед» и редакции «Пролетария»².

Очень многое раскрывают и письма Владимира Ильича к товарищам по публицистической работе. Письма эти содержат подчас чрезвычайно внимательную оценку той или иной статьи, намечают путь к ее перестройке. Именно поэтому они и представляют первостепенный интерес. Наконец, чрезвычайно ценны и дошедшие до нас

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 105.

² «Правдист», 1931, № 7.

свидетельства мемуаристов (Г. И. Крамольникова, П. Н. Лепешинского, А. В. Луначарского и особенно Н. К. Крупской). Они помогают воссоздать обстановку, в которой протекала работа Владимира Ильича с молодыми литературными силами большевистской партии.

* * *

В своей статье «Ленин — редактор и организатор партийной печати» Н. К. Крупская сообщила чрезвычайно интересные сведения о методах работы Владимира Ильича с сотрудниками большевистской прессы, о постоянной помощи, которую он оказывал своим товарищам по работе. «Необходимо, скажем, осветить какую-нибудь новую тему. Писать никто не выражает желания. Тогда Ильич с тем, кто, по его мнению, наиболее подходит для того, чтобы написать на данную тему, заводит разговор и начинает его обрабатывать. Не предлагает сразу писать на эту тему, а начинает с ним разговаривать о затрагиваемых в теме вопросах, будить интерес к ним, настраивать его определенным образом, слушает, что тот скажет. Иногда дальше этого дело не идет, и Ильич берется за другого кого-нибудь, начинает с ним говорить, и, когда видит, что «клюет», он начинает детальнее обсуждать вопрос, по ответам, по репликам видит, как человек будет трактовать тему, высказывает ему тогда подробно свое мнение, подробнее развивает свою точку зрения. А потом предлагает: «напишите-ка на эту тему, у вас хорошо выйдет». И человек берется, увлеченный подходом Ильича, и часто просто излагает его мнение. Есть во «Вперед», в «Пролетарии» целый ряд не подписанных никем статей. И вот идет спор, кто написал эту статью: Ильич или кто другой. Одни говорят: «Конечно, Владимир Ильич, это его выражение!» Другие говорят: «Да нет же, это явно писал такой-то!» И вот спорят. Конечно, вспомнить сейчас, кто писал ту или иную статью, трудно: не только бывшие редакторы это забыли, но и сами авторы часто перебыли, их это статьи или нет. Но что с полной ясностью вырисовывается здесь — это то, что независимо от того, кто писал эти статьи, видно, что они написаны если не самим Владимиром Ильичем, то при его участии в выборе, в трактовке темы. Влияние Владимира Ильича на авторов имело место и в стенах редакции и вне их, тут сказывалось влияние всей его революционной деятельности, выступлений его на собраниях, влияние его статей и пр.»¹.

В другой своей работе Надежда Константиновна писала: «В «Искре» есть ряд неподписанных статей. Теперь иногда идут длительные споры: кто эти статьи написал. Как будто бы в этих статьях есть выражения Владимира Ильича, его мысли, а как будто бы и не он писал. Секрет же заключается в том, что прежде, чем автору была поручена статья, Владимир Ильич очень длительно по поводу нее сговаривался с автором и поэтому статья выходила как бы коллективной: писал-то автор, а проработывали материал, обсуждали его вместе»².

Примерно то же сообщает и П. Н. Лепешинский: «Когда ему (Ленину.— А. Ц.) приходилось исправлять статьи других авторов, его редакторское перо прогуливалось всегда по тем местам рукописи, которые останавливали его внимание не стилистическими недостатками, а своими дефектами по содержанию: страдали неточностью, невыпукло оттеняли то, чему Ильич придавал особое значение, и т. д. Если... с точки зрения содержания статей сотрудника все обстояло благополучно, то Ильич давал вполне одобрительный отзыв о них, хвалил автора и даже в такой мере проникался к нему доверием, что охотно шел на то, чтобы его надежный товарищ по редакции заканчивал иногда его (Ильича) какую-нибудь статью, равно как и сам с удовольствием дописывал в том или ином случае статью, начатую другим членом редакции. Так, например, в период издания газет «Вперед» и «Пролетария» очень часто к первой половине статьи М. С. Ольминского или В. В. Воровского приделывался «хвост» пером Ильича или, наоборот, статья Ильича завершалась другим редактором газеты»³.

П. Н. Лепешинский здесь не вполне прав: «стилистические недостатки» постоянно привлекали к себе внимание Ленина — мы увидим ниже, с какой заботой он относил-

¹ Н. К. Крупская. О Ленине. Политиздат, 1960, стр. 165—166.

² «Правдист», 1931, №№ 5—6.

³ «Журналист», 1925, № 2.

ся, например, к словарю своих товарищей по работе, к уногребляемым ими образам. Но в характеристике методов работы Ленина с его сотрудниками Лепешинский прав, и это его свидетельство еще раз говорит о том, что работа в большевистских газетах и журналах начала века была подлинно коллективной.

Разносторонняя помощь Ленина товарищам по большевистской печати особенно отчетливо выявляется в дошедших до нас рукописях статей М. С. Ольминского. Бывший народоволец, только что отбывший якутскую ссылку, Ольминский быстро стал одним из видных публицистов большевистской партии. Под псевдонимом «Галерка» он деятельно сотрудничал в газете «Вперед»; редактируя в числе прочих этот орган, работал в «Пролетарии» в 1905—1906, а в 1911—1914 годах был членом редакции «Звезды», «Правды» и «Просвещения». Статьи Ольминского «Наши недоразумения», «Недоразумения рассеялись», «Орган без партии и партия без органа», «Долой бонапартизм», «На новый путь» и «Здоровые мысли в гнилой оболочке» были напечатаны в Женеве летом и осенью 1904 года, и Владимир Ильич сочувственно цитировал их, например, в своем письме Сибирскому комитету партии¹.

Просматривая рукописные материалы газеты «Вперед», нетрудно установить теснейшую связь обоих партийных публицистов. Владимир Ильич заканчивает, например, примечание от редакции «Вперед» к резолюции группы петербургских металлстов, придавая началу этого примечания, набросанному Ольминским, гораздо большую политическую фактичность и определенность². Ольминскому же принадлежат некоторые части ленинских статей — например, несколько строчек, вписанных им в конец первого абзаца статьи Владимира Ильича «Трепов хозяйничает»³. Но все это в конце концов мелочи. Участие Ленина в работах Ольминского было гораздо более значительным и направляющим, чем приписка к его статьям уточняющих абзацев.

В феврале 1905 года М. С. Ольминский прочел в Женеве реферат на тему «Новизна оппортунизма». Опубликованные в пятом Ленинском сборнике материалы («План реферата Василия Васильевича — М. С. Ольминского», стр. 86—89) с неоспоримостью свидетельствуют о том, что напечатанная вскоре статья Ольминского на ту же тему представляет собою развитие третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и отчасти восьмого и десятого пунктов этого плана. Но этого мало, Ленин не только помог Ольминскому написать план статьи или доклада, он оказывал ему деятельную помощь и при переработке уже написанных Ольминским статей. Чрезвычайно интересны развернутые замечания Владимира Ильича на статью М. С. Ольминского «Задачи дня». В них он предлагает: «переделать», устранив из статьи очень вредный «оттеночек», «вставить фразу», выкинуть упреки ЦК и ЦО, обязательно вставить примечание, переделать место «чтобы не извратили меньшевики!!!», добавить ряд положений и т. д. «По-моему, статья требует еще более полной переделки»⁴, — пишет Ленин, ознакомься с замечаниями на нее В. В. Воровского. Следующие за этим указания со всей яркостью демонстрируют большевистскую требовательность Ленина-редактора:

«Тема не выдержана и основная мысль теряется. Одно из двух: либо тема — вздор Аксельрода и новоискровцев — тогда заглавие и построение должны быть иные. Либо — «нечто о листках», «местное издательство» (и такое заглавие определило бы центр тяжести статьи). Задача дня — вносит неверную ноту в изложение темы.

с. 3 — (стр. 3 сверху) — процитировать **Дана** из протоколов собрания 2.IX. Иначе подумают, что это **автор** говорит!!!

с. 3 — «игра в статистику» — выкинуть, иначе посмеются. Сам же занимается тем, что назвал игрой.

с. 4 — насчет «заголовков» и т. д. — прав Шварц.

с. 4 — (4 стр. снизу) — «ошибочный взгляд», по-моему, удалить.

¹ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 394.

² См. Ленинский сборник XXVI, стр. 428.

³ Там же, стр. 148—149.

⁴ Ленинский сборник XVI, стр. 268

4—5. Обязательно радикально переделать. Признать «увлечение борьбой с экономизмом» нам, теперь, в такой форме значит прямо сечь самих себя.

Это даст тысячу козырей противнику, несколько не разъясняя вопроса.

Вместо этого (Шварц архи-прав) необходимо построить рассуждение так

— — слабо внимание к будничным интересам

— давно уже это отмечали с.-д.-ты, не занимавшиеся пошлым выдумыванием разногласий

— — цитаты из № 43 (и разбор Троцкого!) и № 47 (разжевать) Искры. Это все — старая Искра.

— — из этих примеров вывести, что фразы об игнорировании большевиками профессиональной борьбы (цитаты из Троцкого, Аксельрода, Мартова, Рабочего — есть выдумка и сплетня (Мартов в № 77 о «кругах большинства»).

с. 5 — о куцости тоже непременно выбросить. Это архи-нетактично в теперешний момент.

Вместо этого, из предыдущих справок подвести, что вот, де, мы (= старая Искра) всегда стояли за полноту классового содержания работы.

с. 5—6 оставить по-моему, но видоизменить в духе перемены всего хода рассуждения.

с. 8 — добавить из Что делать, стр. 115—116 и особенно 86. Если говорить об отношении экономической и политической борьбы, то наше старое отношение надо разжевать, ибо это — больной вопрос, который нельзя теперь только задевать.

с. 8 (в конце) развить подробнее о пустоте Искры. Связать с разрывом с комитетами.

Наметь: сличите, де, новую и старую Искру!

с. 9 — Аксельрода Вы неверно толкуете. У него не то «только»!! (другое «только»). Принесите оригинал и поспорим!

Нельзя давать врагам оружие, неверно толкуя их!

с. 9 — бузина и дядя — вот это хорошо, для финала.

с. 10 — «увлечения маленькие Искры» выкинуть. Это неверно. Это не увлечения, а необходимые повторения рабочедельских фраз. Надо доказать эту необходимость»¹.

О чем говорит приведенный отзыв? О величайшей требовательности Ленина-редактора. Мы видим, что его замечания касаются самых различных сторон статьи «Галочки» — способов ее доказательства («Это даст тысячу козырей противнику, несколько не разъясняя вопроса»), полемики («это архи-нетактично в теперешний момент»), композиции целого («Тема не выдержана и основная мысль теряется»), оборотов («бузина и дядя — вот это хорошо для финала») и т. д. Ленин забрасывает Ольминского множеством указаний, каждое из которых основано на чрезвычайно остром понимании обстановки, условий борьбы и стоящих перед большевистской публицистикой задач. Критика Ленина развернута, дифференцирована и целеустремленна.

Ту же тщательную редактуру мы видим и на черновиках статей В. В. Воровского. В № 3 журнала «Пролетарская революция» за 1924 год П. Н. Лепешинский со слов М. С. Ольминского указал, что «набросанные сразу Воровским в редакции «Вперед» или «Пролетария» статьи были так хороши, что Владимир Ильич почти не подвергал их исправлениям». Но уже в двенадцатой книжке журнала за тот же год (стр. 834) Михаил Семенович, заметив ошибку своей памяти, писал: «На самом деле Владимир Ильич и исправлял их, и приписывал начало или конец». Дошедшая до нас часть архива этих большевистских органов дает обильный материал для суждений об объеме и характере редакторской правки статей Воровского, к которой прибегал Владимир Ильич.

Возьмем, например, правку Ленина в статье Воровского «Мир и реакция» (слева текст Воровского в первоначальном варианте, справа — тот же текст после поправок, внесенных в него Владимиром Ильичем).

¹ Ленинский сборник XVI, стр. 268—269.

Мир заключен. После ряда поражений, небывалых в истории, царскому правительству удалось при помощи Америки добиться сравнительных выгодных условий мира. Правда, этот мирный договор не вычеркнет из действительности военного разгрома царского могущества, правда, Россия выступает как страна побежденная, — однако дипломатия употребила все усилия, чтобы пощадить самолюбие российского самодержца и позор мира далеко не соответствует позору поражения.

Мир заключен. После ряда поражений небывалых в истории, царскому правительству удалось, при помощи европейской и американской буржуазии, добиться ценою гяжелых уступок остановки победоносного натиска Японии. Вопреки всем дипломатическим уловкам и уверткам царское правительство на деле признало себя побежденным. Россия [впервые] теряет часть своей территории. Позорный конец позорной войны на долгие годы оставит свои следы. Но европейский и американский капитал соединились, чтобы не позволить Японии добить самодержавия, ибо быстрый крах его грозит революционным пожаром в Европе, восстаниями пролетариата против буржуазии¹.

Легко заметить, что Ленин переносит центр тяжести с «победы» царского правительства при заключении мира на «уступки», которые оно выпуждено было сделать. Вычеркнув все упоминания о стараниях дипломатии пощадить «самолюбие российского самодержавия», Ленин своей правкой подчеркивает главнейшее: «позорный конец позорной войны на долгие годы оставит свои следы». Владимир Ильич уточняет формулы Воровского, заменяя «помощь Америки» «европейской и американской помощью буржуазии». Он в сжатой форме дает характеристику разногласий не только между буржуазией Запада и русским самодержавием, но и между западной буржуазией и Японией. Незначительная на первый взгляд правка совершенно меняет это место статьи.

Образец уточнения мысли — и сделанное Лениным исправление в статье Воровского «Профессиональное движение и социал-демократия».

У Воровского: «Но эта организация в классе» не является чем-то произвольным, оторванным от жизни; нет, социал-демократия здесь, как и во всей своей деятельности, может лишь приспособляться к стихийному историческому процессу...»

Ленин заменяет слова «приспособляться к историческому процессу» словами «руководит стихийным историческим процессом...»².

Особенно интересны те материалы «Ленинских сборников», которые касаются редакторской работы Ленина над статьями А. В. Луначарского.

Владимир Ильич чрезвычайно высоко ценил публицистический дар Луначарского. Об этом свидетельствует, например, Н. К. Крупская, нарисовавшая необычайно колоритную картину их бесед.

«Умение оформлять — искусство. И Владимир Ильич особенно ценил тех членов редакции и сотрудников, которые обладали талантом оформления. Это не только вопрос стиля и языка, но вся манера развития и освещения вопроса. С этой стороны Владимир Ильич особенно ценил Анатолия Васильевича Луначарского, не раз говорил об этом. Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную мысль, подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее оформить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается, неужели это его мысль, такая простая и часто неуклюжая, вылилась в такую неожиданно изящную, увлекательную форму. Мне приходилось несколько раз присутствовать при разговорах Владимира Ильича с Анатолием Васильевичем и наблюдать, как они заряжали друг друга»³.

Письма Ленина к Луначарскому полны этих попыток «зарядить» последнее новыи, актуальными темами. В своем письме к А. В. Луначарскому от 15—19 августа 1905 года Ленин говорит о двух очередных темах для статей в «Пролетарий» — о популярном очерке истории раскола с меньшевиками и о живой, резкой, тонкой и подробной

¹ Ленинский сборник XVI, стр. 272—273.

² Там же, стр. 342.

³ Н. К. Крупская. Будем учиться работать у Ленина, М. 1933, стр. 109.

характеристике черносотенников — новоискровцев. «За первую тему я, может быть, возьмусь, но не сейчас, не скоро; некогда (а там, пожалуй, опоздает совсем!).

За вторую я бы не взялся и думаю, что могли бы сделать это **только** Вы... Подумайте об этом и черкните»¹.

И Владимир Ильич заваливает Луначарского различными поручениями: «Брошюру о массовой политической стачке следует дать,— это Вам не трудно будет.

Следовало бы Вам непременно продолжить и популярные брошюры, выбрать какую-нибудь из тем позлободневнее... Хорошо бы об организации рабочих»². «Я теперь,— читаем далее,— засяду за ответ Плеханову. («Социал-демократ» № 2). Его надо разделить вовсю, ибо у него тоже тьма гнусностей и жалкие аргументы. Надеюсь, это мне удастся.

Затем у меня бродит в голове план популярной брошюры: «Рабочий класс и революция» — характеристика демократических и социалистических задач, затем выводы о восстании и временном революционном правительстве и т. д. Думается, такая брошюра необходима»³.

В письме, написанном в конце августа 1905 года, Ленин советует Луначарскому: «А за 3 революции беритесь поскорее вплотную. Эту тему надо **обстоятельно**, хорошо разработать. Я уверен, что она могла бы у Вас выйти (следует детальный план трех задач предлагаемой статьи.— А. Ц.)... Право, богатая тема и боевая против пошляков «Искры». Беритесь, пожалуйста, скорее, и поработайте над ней побольше. Крайне важно дать содержательную популярную вещь на эту тему»⁴.

Вот еще одно из писем Ленина к Луначарскому — от 11 октября 1905 года. «Дорогой Ан. Вас! Статья Ваша берет чрезвычайно интересную тему, крайне своевременную. Недавно «Leipziger Volkszeitung» в передовой высмеивала земцев за их сентябрьский съезд, что они «играют в конституцию», корчат из себя **уже** парламентариев etc., etc. Ошибка Парвуса и Мартова необходимо требует разбора с **этой** стороны. Но у Вас не вышло разбора. По-моему, надо переделать статью в одном из двух направлений: либо перенести центр тяжести на наших «играющих в парламентаризм» новоискровцев, показать подробно условное, временное значение парламентаризма, пошлость «парламентских иллюзий» в эпоху революционной борьбы и т. д., разъяснив это с азав (для россиян зело полезно!) и привлеки Гильфердинга лишь для иллюстрации, совсем слегка. Либо взять Гильфердинга за основу и тогда меньше придется переделывать статью, дав ей другое заглавие, но обрисовав яснее самую постановку вопроса Гильфердингом. Конечно, может быть Вы найдете и другой план переделки, но, пожалуйста, непременно возьмитесь за нее сразу»⁵. И, чтобы облегчить Луначарскому работу над статьей, Ленин посвящает всю дальнейшую часть своего письма развитию своих взглядов на вопрос, говоря в заключение: «Вот эти мысли (я их излагаю, конечно, крайне обще и неточно), у Вас намеченные, надо развить, разжевать, в рот положить»⁶.

Та же неизменная требовательность, та же неустанная заботливость о том, чтобы статьи «Вперед» и «Искры» были возможно более содержательными, проявляется и в указаниях, сделанных Владимиром Ильичем другим авторам этих большевистских органов. Крайне любопытна, например, правка статьи В. А. Карпинского «Крестьянский съезд» с сокращениями и изменениями стилистического порядка.

К более позднему времени относится правка Лениным брошюры А. М. Коллонтай. Это было в первую зиму империалистической войны. Занявшая интернационалистскую позицию, Коллонтай в ту пору жила в Швеции, где выполняла ряд организационных поручений Ленина. Однако поручения эти не ограничивались организационной сферой. Коллонтай была, например, автором брошюры «Кому нужна война», написанной ею в 1915 году и изданной в Швейцарии по решению Центрального Комитета пар-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 58.

² Там же

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 62—63.

⁵ Там же, стр. 85—86.

⁶ Там же, стр. 87.

тии большевиков. Ленину пришлось немало поработать над этой книжечкой. «Брошюра Коллонтай,— писал он А. Г. Шляпникову,— хороша по замыслу. Но тема архитрудная; написать с такой степенью популярности архитрудно. По-моему, требуются исправления. Я ей уже написал об этом, прося ее согласия на исправления. Если она даст его, я имею уже готовый проект исправлений, и дело тогда двинется быстро»¹.

Почти все замечания и поправки Ленина Коллонтай приняла и внесла в текст брошюры. К ним полезно приглядеться внимательнее, потому что здесь мы будем иметь дело с особой сферой редакторской работы Ленина над популярной брошюрой, которую нужно было написать, не вульгаризируя во имя популярности заключенного в ней сложного политического содержания.

«...Одурачили,— пишет Коллонтай,— русских солдат, когда уверяли, что за «землею» пошли в Галицию...». Ленин дополняет это место брошюры строками: «Газеты капиталистов в миллионах своих изданий распространяли ложь о войне, правительства ввели военную цензуру и не позволяли печатать ни слова правды, лучших друзей рабочего класса бросили в тюрьмы. Народ одурачили как одурачили русских солдат» и т. д. «Обман солдат» тем самым — предстает частью «повсеместно царящей в капиталистических странах лжи»².

«А сколько уже,— пишет Коллонтай,— в мире калек развелось: слепых, глухих, изувеченных». Ленин вводит в последнюю часть этой фразы еще два эпитета, характеризующих страдания калек: «безруких, безногих, слепых, глухих, изувеченных»³. Во фразе «Зато «герой» — говорят те, кто затеял европейскую войну, кто повел народ на народ» Ленин переводит мысль Коллонтай из национального в классовый план, добавляя: «рабочего одной страны на брата рабочего другой».

У Коллонтай читаем: «Каждая держава только и думает о том, как бы покорить себе (мирной или торговой конкуренцией или с оружием в руках)...— колонии и рынки других стран». Ленин заменяет слова в скобках более точной и заостренной фразой «(посредством ли дипломатического обмана и всевозможных подкупов правительства и капиталистов в слабых и зависимых странах или с оружием в руках...)»⁴. Ленин вводит также в текст брошюры рассуждения и образы, усиливающие и заостряющие ее аргументацию. Таковы, например, две его большие вставки в раздел «Отечество в опасности». «А правительство слушается воя капиталистов»,— пишет Коллонтай. «Не может не слушаться,— добавляет Ленин.— Правительство само состоит из капиталистов и помещиков, правительство им служит, их барыши и грабеж охраняет»⁵.

«Капиталисты,— пишет Коллонтай,— помещики, банкиры, сидят в своих кабинетах, сигары покуривают и ждут исхода войны». Ленин выбрасывает малохарактерную подробность насчет сигар, заменяя ее гораздо более существенной: «Капиталисты, помещики, банкиры сидят в своих кабинетах, кладут в карман тройные барыши с поставок на армию и ждут исхода войны»⁶.

Особенность ленинской правки брошюры Коллонтай состоит в том, что, отчеканивая мысль, изложение, Ленин одновременно чеканит стиль брошюры. Расширяя политический фон, набросанный Коллонтай довольно сухо, он одновременно усиливает, введением новых эпитетов, выразительность характеристик. А как заботится Ленин о композиционной простоте брошюры, чтобы сделать ее доступной широкому читателю! Именно этими соображениями вызвана, например, его рекомендация автору «выкинуть все примечание, кроме первой фразы его, которую вставить в текст после слова: «капитализм»⁷.

Прямодушный и откровенный в своей редакторской работе, Владимир Ильич, однако, смягчал оценку статей, принадлежащих молодым, еще не искушенным в публицистике авторам. «Дорогой товарищ! — пишет он в июне 1913 года В. М. Каспарову.—

¹ Ленинский сборник XVII, стр. 324.

² Там же, стр. 326.

³ Там же, стр. 324.

⁴ Там же, стр. 329.

⁵ Там же, стр. 330.

⁶ Там же, стр. 330.

⁷ Там же, стр. 329.

Получил и прочел Вашу статью. Тема, по-моему, взята хорошо и разработана верно, — но недостаточно литературно отделана. ЕСТЬ много чересчур — как бы это сказать? — «агитации», не подходящей к статье по **теоретическому** вопросу. Либо Вам самим, по-моему, следует переделать, либо мы попробуем¹. Мягкость этого отзыва очевидна.

Мягкость в таких вопросах вообще характерна для Ленина «Владимир Ильич, — пишет Н. К. Крупская, — подходил к авторам, которые работали в «Искре»... очень тактично. Случалось, напишет автор плохую статью; Владимир Ильич не говорит прямо, что эта статья никуда не годится, а очень мягко укажет автору: «А не думаете ли вы, что к этому вопросу надо подойти с такой точки зрения? А не кажется ли вам, что эту часть надо было бы расширить?» и т. д. и т. д. Владимир Ильич не только критиковал, но и показывал, как надо сделать. После указания он давал автору самому переделать. И часто автор в корне, до неузнаваемости перерабатывал статью. Владимир Ильич второй раз прочитывал ее и уже ограничивался лишь беглыми замечаниями. Владимир Ильич старался не зафиксировать, не углубить разногласия с автором, а переубедить его, доказать неправильность его положений.

Иногда бывало и так. Намечает Владимир Ильич, что тот или другой автор будет писать такую-то статью. Но он не сразу предлагает писать, а сначала начинает с товарищем говорить на эту тему и подробно обсуждать ее. Автор горячо говорит, Владимир Ильич развивает тему, освещает ее со всех сторон. Ведут они, кажется, простой разговор. А после этого Владимир Ильич вдруг спрашивает: «Может быть вы на эту тему напишете?» И потом товарищ пишет и пишет иногда даже словами Владимира Ильича².

И в другой своей статье Надежда Константиновна рассказывает об отношении Владимира Ильича к партийным публицистам «Опытным политическим деятелям предъявляется определенный ультиматум — принципиальная выдержанность³. К молодым, начинающим писателям отношение другое — внимательное, заботливое, целый ряд указаний, как исправлять ошибки. Если Владимир Ильич видел, что молодой, начинающий автор по неопытности, по увлечению делает даже принципиальные ошибки, но способен учиться, Владимир Ильич не жалел никакого времени, чтобы ему помочь. Он не раз, а два и три раза был готов переправлять статью этого автора, пока она не примет надлежащий вид. При правке статьи Владимир Ильич старался не стереть индивидуальности автора. Еще чаще бывало, что Владимир Ильич растолковывал, всегда очень осторожно, часто намеками, самому автору, какие поправки надо внести в статью.

Интересно в этом отношении письмо Владимира Ильича к Борису Книповичу. Был это совсем молодой парень, но очень много и усердно занимавшийся. Он составил книжку «К вопросу о дифференциации крестьянского хозяйства». В книжке были неудачные ссылки на П. Маслова (меньшевика, много писавшего по аграрному вопросу; с Масловым у Владимира Ильича было много споров), было несколько неправильных подходов. Владимир Ильич пишет Борису длинное письмо, которое пропадает; тогда Владимир Ильич повторяет его еще раз. Письмо начинается словами: «Дорогой коллега!». Начинает с похвалы: «С большим удовольствием прочитал я Вашу книгу и очень рад был видеть, что Вы взялись за большую серьезную работу. На такой работе проверить, углубить и закрепить марксистские убеждения, наверное, вполне удастся». Осторожно очень, но что говорится: надо учиться как можно основательнее марксизму. И далее: «За рядами цифр не упускаются ли иногда из виду типы, общественно-экономические типы хозяйств (крепкий хозяин-буржуа; средний хозяйчик; полупролетарий; пролетарий)?» Замечание делается в вопросительной форме. И так как автор не мог не понять серьезности упрека, Владимир Ильич сейчас же старается объяснить истинные ошибки. «Опасность эта очень велика в силу свойств статистического материала. «Ряды цифр» увлекают. Я бы советовал автору учитывать эту опасность: наши «катедеры» безусловно душат таким образом живое, марксистское, содержание дан-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 197.

² «Правдист», 1932, №№ 5—6.

³ Однако и по отношению к этим опытным литераторам Ленин всегда проявлял, как отмечала и Н. К. Крупская, максимум такта, давая им всегда глубоко принципиальные и конкретные указания. — А. Ц.

ных. (Борис в университете работал в семинаре под руководством Туган-Барановского.— Н. К.) Топят классовую борьбу в рядах и рядах цифр. У автора этого нет, но в большой работе, предпринимаемой им, учесть эту опасность, эту «линию» катедеров, либералов и народников следует сугубо. Учесть и **обрезать** ее, конечно». И затем о Маслове: «Наконец, как-то вроде Deus ex machina (с бухты-барахты.— Н. К.) явился Маслов. Cur? Quomodo? Quibus auxiliis? ¹ Ведь от марксизма его теория очень далека. Верно народники назвали его «критиком» (= оппортунистом). И опять вопросительная форма и путь к оправданию автора: «Доверился ли ему автор более случайно, может быть?» И заключение: «Таковы мси мысли при чтении интересной и серьезной книги. Жму руку и желаю успеха в работе».

Так растил Ильич молодых авторов. Вся эта громадная редакторская работа Ильича — устная, в большинстве случаев нигде не зафиксирована. А она очень велика...

Ко мне Владимир Ильич применял те же педагогические приемы. Когда я писала в ссылке свою первую брошюру «Женщина-работница», Владимир Ильич давал всяческие советы. За границу Владимир Ильич уехал раньше меня, прихватив туда и рукопись «Женщина-работница». Потом писал в письме химией из Мюнхена, что редакция «Искры» решила издать брошюру нелегально, и сообщил отзыв Веры Ивановны Засулич. Вере Ивановне брошюра очень понравилась, некоторые места, по ее мнению, надо было написать иначе, но сказала, что брошюра «написана обеими лапами». Давая мне советы, Владимир Ильич и со мной говорил, как с другими начинающими авторами: «Не кажется ли тебе, что это место лучше было бы сказать так?» Узнав, что я пишу по какому-нибудь вопросу, Владимир Ильич часто находил для меня какой-нибудь интересный материал — вырезку из иностранной газеты, статистическую таблицу и пр. Впрочем, в прежние времена, до 1917 г., я писала очень мало. В «Правду» не решилась, например, послать ни одной статьи².

Еще большую степень заботливости Ленин проявлял в отношении к тем — немногочисленным в дооктябрьские годы — рабочим, которые писали в большевистские газеты и журналы. «Давайте пошире возможность рабочим писать в нашу газету, писать обо всем решительно, писать как можно больше о будничной своей жизни, интересах и работе — без этого материала грош будет цена социал-демократическому органу...»³.

Здесь мы снова должны указать на ценнейшее свидетельство Н. К. Крупской, писавшей: «Но особенно придавал Владимир Ильич значение привлечению авторов-рабочих. Прежде чем уезжать за границу, он договаривается с Бабушкиным (рабочим металлистом из-за Невской заставы), что тот будет посылать в «Искру» корреспонденции, будет вербовать рабочих — корреспондентов и авторов. Я, живя в ссылке в Уфе, тоже вербовала рабочих для писания в «Искру». То же делали и другие агенты «Искры»⁴. «Рабочие корреспонденции Владимир Ильич читал с особенным вниманием. Я помню в 1904 году пришла одна корреспонденция из Одессы, от рабочих каменоломни. Была она написана очень нескладно, какими-то рыжими чернилами. Но в ней было очень много горячего чувства, она очень хорошо выражала настроение рабочих. И я помню, как Владимир Ильич несколько раз перечитывал эту корреспонденцию. Лежит она на столе. Он прочтет. Потом ходит, ходит, потом подойдет и еще раз прочтает. Когда он подготовил ее к печати, подправил ее, то не сделал ни одного исправления, изменяющего хоть в малейшей мере настроение, которое было заключено в этой корреспонденции. У нас иногда редактор так подправляет рабочую корреспонденцию, что самое существенное из нее выбрасывается. Бережному, внимательному отношению к рабочим корреспондентам нам надо учиться у Ленина»⁵.

«Но Владимир Ильич, — указывает Н. К. Крупская, — хотел получать не только корреспонденции от рабочих, ему хотелось, чтобы рабочие писали в «Искру» и статьи. По поручению Владимира Ильича я писала Бабушкину... (приглашение написать опровержение против «возмутительных статей» народнического журнала «Русское бо-

¹ Почему? Каким образом? Какими средствами? (лат.).

² Н. К. Крупская. О Ленине. Политиздат. М. 1960, стр. 167—168.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 107.

⁴ Н. К. Крупская. О Ленине, стр. 168.

⁵ «Правдист», 1931, №№ 5—6, стр. 437.

гатство». — А. Ц.). «Прочтите эти статьи... и напишите по этому поводу статью или заметку (я написала в письме «заметку», Владимир Ильич, просматривая его, вставил *«статью»* или заметку». — Н. К.), постарайтесь собрать как можно больше фактических данных. Очень важно было бы поместить в «Искре» (Владимир Ильич вставил «или «Заре», ему хотелось, чтобы в толстом научном журнале появилась статья рабочего. — Н. К.) или «Заре» опровержение этого вздора со стороны **рабочего** (слово *«рабочего»* Ильич подчеркнул три раза. — Н. К.)...» Это опровержение было написано Бабушкиным, вылилось в целую брошюру»¹. «Помню, как радовался Владимир Ильич каждой рабочей корреспонденции... Рабочие корреспонденции читались и перечитывались. Обычно они писались на том своеобразном языке, которым говорил тогда передовой слой рабочих. В их языке была масса новых слов и терминов, но употреблялись они часто со своеобразными оттенками, часто неправильными, в неправильных сочетаниях. Надо было править эти рабочие корреспонденции. Владимир Ильич очень забистливо относился к этому делу. Он очень заботился, чтобы сохранен был дух, стиль, своеобразие корреспонденций, чтобы они не обезличивались, не обинтеллигивались чересчур, сохраняли свое лицо»².

Свидетельства Надежды Константиновны — ближайшего соратника и помощника Владимира Ильича — убедительно говорят о том, какой разносторонностью и широтой отличались требования Ленина-редактора.

Прежде всего и больше всего он уделял внимание верности анализа и политической четкости формулировок. Именно в этом «уточняющем» плане развертывалась в основном его правка статей, речей и брошюр А. М. Коллонтай, М. С. Ольминского и В. В. Воровского. Характерным образцом этого рода правки может служить уточнение одного из важнейших мест статьи Луначарского «Банкротство полицейского режима». «Мы, — писал он, — отвергнем, как утопию, как бессознательную провокацию, всякую попытку навязать пролетариату невыполнимую при настоящих социально-экономических условиях задачу немедленного осуществления максимальной программы». Ленин оставляет в неприкосновенности весь этот текст, но прибавляет «т. е. немедленного создания социалистического строя; мы будем неустанно разъяснять рабочему, что только самостоятельная классовая организация городских и сельских пролетариев есть надежный залог освобождения труда от гнета капитала...»³. Правка Ленина характерна, она свидетельствует о его стремлении дать исчерпывающе полную и точную при всей своей сжатости характеристику полигической действительности.

Иногда, впрочем, Ленин предъявлял к автору требования, идущие по линии привлечения новых фактов. Так, перечеркнув в рукописи статьи Н. Чужака (Н. Ф. Насимовича) «Что делается в войсках», Ленин пишет на ней: «Выкинуть об Одессе, сославшись на корреспонденции. Добавить о Курске (сожжение офицера) и Херсоне (бунт в дисциплинарном батальоне)»⁴. В этом указании замечательна конкретность, намечающая автору весь путь необходимой переработки.

Но, правя содержание, Ленин обращает внимание и на форму редактируемых им рукописей. Он заботится, например, о сжатости и целеустремленности статей.

Не меньшее внимание уделял Ленин и их композиционной стройности. Он высоко ценил умение выделить основную, ведущую тему, развернуть ее так, чтобы исчезла всякая возможность кривотолков. «По-моему, все Ваши мысли можно и должно излагать всегда так, чтобы критика направлялась не на ортодоксию, не на немцев вообще, а на оппортунизм, — писал он А. В. Луначарскому, — тогда вас нельзя будет перетолковать вкривь. Тогда ясен будет вывод...»⁵

Статьи, не удовлетворяющие требованиям композиционной четкости, Ленин критикует со всей решительностью. «Последние две трети статьи Каменева совсем плохи

¹ Н. К. Крупская. О Ленине, стр. 170—171.

² Там же, стр. 169.

³ Ленинский сборник XXVI, стр. 336.

⁴ Там же, стр. 343.

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 115

и едва ли поддаются переделке. Я выправил первую треть... но дальше не в состоянии выправить, ибо вижу, что дело тут идет не о правке, а о переделке заново. Свою мысль... Каменев... выражает донельзя сбивчиво, запутано, с тысячами лишних завитков. По-моему, в таком виде пускать нельзя. Либо убедите автора переделать заново последние две трети,— и тогда мы «выправим» статью,— либо попробуйте сами написать почти заново последние две трети. Прилагаю (стр. 1—3, чернилами) примерный план переделки»¹.

В своих редакторских замечаниях и правке, касающихся композиции статей, Владимир Ильич обращает особенное внимание на четкость и ударность их финальной, концовочной части. Он выбрасывает, например, всю длинную, растянувшуюся на семнадцать строк, концовку статьи Н. Панекука «На пороге решительных событий» («Пролетарий», октябрь 1905 года) и заменяет ее своей собственной, состоящей всего из двух коротких фраз. А вообще из трехсот пятидесяти строк рукописи Панекука Ленин вычеркнул сто пятьдесят².

* * *

Помимо композиционной правки, Ленин часто прибегает к правке стилистической. В упоминавшейся уже статье В. Северцева «Земский собор и наша тактика» он правит синтаксис и вместо выражения «удар показался так ужасен» пишет «удар показался столь ужасным»³. Для его требований к синтаксису характерно, например, изменение концовки в статье Ольминского «Отзвуки петербургских событий за границей». В тексте Ольминского было:

«Пусть все страдания, все горе, вся ненависть, которые накопились в ваших сердцах за столетия эксплуатации, дадут наконец волю последним пределам вашего гнева!»

Ленина, по-видимому, не удовлетворила натянутость последних семи слов, и он заменяет концовку Ольминского следующей:

«Дайте волю гневу и ненависти, которые накопились в ваших сердцах за столетия эксплуатации, страданий и горя!»⁴.

Уничтожение эпитета «все» и троекратное употребление синонимических друг другу слов — «эксплуатации», «страдания» и «горя» бесспорно сделали концовку более динамичной и выразительной.

Стель же внимательно и придирчиво правит Ленин словарь.

В своих замечаниях на статью неизвестного автора он пишет: «1) «пара лег» — (читаем мы в его письме неизвестному автору.— А. Ц.) — не по-русски — 2) «клемят безумием» не по-русски.— 3) длинные фразы с повторением (чтобы сказать то-то, чтобы постоянно и непрерывно связывать, чтобы и т. д.) необходимо переделать в короткие.— 4) Слог весь, по-моему, надо переделать в более популярный — для сего переписать все заново»⁵.

Высоко цена в публицистике образность, Ленин неоднократно обращался к тому или иному публицисту с просьбой использовать эти возможности. Особенно часты в этом плане обращения к Луначарскому. Это, конечно, объяснялось высокой оценкой, которую Владимир Ильич давал его литературному таланту.

«Литературно-критический очерк на тему: скажем, «Лубочная литература». И тут уже разобрать, в нескольких главах на целую брошюру, с цитатами и с разъяснением всю эту пошлость Старовера, Мартова и др. в их полемике с «Пролетарием», а также переписыв в «Большевистстве или меньшевистстве» и т. д. Пригвоздите их за их мизерный **стособ** войны. Сделайте из них тип. Нарисуйте их портрет во весь рост по цитатам из них же. Я уверен, это у Вас вышло бы, только капельку собирать цитат»⁶. В другом письме он спрашивал Луначарского: «Читаете ли «Товарищ»? Как нравится он те-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 188—189.

² См. Ленинский сборник XXVI, стр. 347.

³ Ленинский сборник XXVI, стр. 337.

⁴ Там же, стр. 129.

⁵ Ленинский сборник XXVI, стр. 301.

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 63.

перь? Не тряхнуть ли Вам стариной, посмеяться над ними в стихах? Пишите, пожалуйста»¹.

Совет написать стихи свидетельствует о том, что Ленин знал об этой способности Луначарского и стремился придать его писаньям наиболее интересную для Луначарского форму.

Но, заботясь об образной стороне изложения, Ленин никогда не переоценивал ее. О его трезвом деловом отношении к этому лучше всего свидетельствует характерная поправка в статье «Банкротство полицейского режима». Луначарский пишет о пролетариате, как о «светлом богатыре», который построит «на развалинах... либерально-буржуазного строя» «храм общечеловеческого счастья». Ленин заменяет три последних выпяченных слова более простыми — «нового социалистического здания». Правда, в этой же статье Ленин ввел образ любимой им игры: «...Они играют в политические шахматы, стараясь перехитрить друг друга. Но рабочий хватит кулаком по шахматной доске так, что вся дипломатия полетит к черту»². Луначарского, очевидно, не удовлетворили слова, набранные здесь в разрядку, он их зачеркнул, но натолкнулся на редакторское сопротивление Владимира Ильича, восстановившего столь любимый им и такой уместный в данной статье образ шахматной игры.

Говоря о Ленине-редакторе, о Ленине-воспитателе партийных литераторов, невозможно не сказать об «обратном влиянии», которое оказывали некоторые из его учеников на выходявшие из-под ленинского пера тексты. Мы имеем здесь в виду прежде всего правку статей Ленина М. С. Ольминским. В основе ее неизменно лежала одна чрезвычайно характерная и неожиданная тенденция.

Стилевые особенности Ленина и Ольминского совпадали далеко не всегда, и это особенно обнаружилось в их отношении к «резкостям». Как известно, Ленин-полемист широко обращался к «крепким выражениям». В них находила адекватное выражение резкость его политических оценок. Иначе смотрел на это Ольминский: он считал, по-видимому, что резкость должна быть тем не менее выражена в относительно деликатной форме, и, как член редакционной коллегии журнала «Пролетарий» и газеты «Вперед», неизменно смягчал ленинский текст, устраняя из него крепкие выражения. Сохранившиеся архивы этих большевистских органов дают возможность познакомиться с немалым числом случаев, когда редакторские тенденции Ольминского сталкивались с авторскими тенденциями Владимира Ильича.

В статье Ленина «Сердитое бессилие» Ольминский делает систематические смягчения. Ленин пишет: «В № 104 «Искры» помещена бешеная заметка по поводу нашего фельетона». Ольминский эпитет «бешеная» выбрасывает. Ленин пишет: «до какого невменяемого состояния довело «Искру» бешенство по поводу этого заявления, видно из букета выражений в духе незабвенного бундовского «поганья». Ольминский выбирает эпитет «невменяемого», слово «букета» заменяет «их», а вместо «бешенства» пишет «раздражение». Ленин пишет, обращаясь к новоискровцам: «несмотря на всю силу вашей брани», Ольминский заменяет: «несмотря на энергию ваших выражений». У Ленина читаем: «Наши оппоненты цепляются... за формальные прерогативы», после правки Ольминского оказывается «наши оппоненты держатся...» Слова Ленина по адресу Плеханова «усердствовал (даже не по разуму) в руготне против большинства» исправлены на «больше чем достаточно обрушивался на большевиков». Слово «бешено» исправлено на «отчаянно», которое затем вычеркнуто и в печати опущено. Ольминский выкидывает из статьи Ленина слова «скороспелым», «жалкими», слово «невещество» им исправляется на «незнание», «досужих наушников» заменяется «односторонними рассказами»³.

Такой же смягчающей редакторской правке подверг М. С. Ольминский и статью Ленина «Изобличенный Совет» («Вперед», апрель 1905 года). Он исключил в ней такие, казавшиеся ему слишком резкими выражения, как «путем обмана», «самым бес-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 116.

² Ленинский сборник XXVI, стр. 336.

³ Ленинский сборник XVI, стр. 123—127.

совестным образом», «герсев» (заменено «деятелей»), «лживыми» (заменено «неверными»), «ложно» (заменено «остаётся под большим знаком вопроса»), «трех женевских джентльменов» (заменено «группу женевцев») и т. д. Наконец, в статье Ленина «Социал-демократия и временное революционное правительство» Ольминского смутило словечко «задней», которое было им немедленно заменено более «приличной» перифразой: вместо «философическим рассмотрением «задней» русского пролетариата» он пишет: «философическим оправданием политической отсталости»¹. В рукописи статьи Ленина «В хвосте у монархической буржуазии или во главе революционного пролетариата и крестьянства?» читаем: «...новая «Искра» давно уже вызвала среди самых широких кругов социал-демократии вполне заслуженное презрение к ней». М. С. Ольминский заменил слова «заслуженное презрение к ней» словами «определённое отношение к себе»².

Чем вызывалась эта правка? Едва ли можно объяснить ее одними только тактическими соображениями: дело заключалось в большей сдержанности Ольминского по сравнению с Лениным, в меньшей его страстности. Нет нужды говорить о том, что правка Ольминского не имела под собою никаких принципиальных несогласий с автором. Но резкость Ленина была неотъемлемой и органической частью его публицистического стиля, и выправлять ее значило обеднять этот стиль, снижать его, обесцвечивать одну из его характерных особенностей. Отношение же самого Владимира Ильича к Ольминскому-публицисту и политику вполне характеризует его письмо к А. В. Луначарскому. «Милые ребята, но ни к дьяволу негодные политики,— писал Ленин.— Нет у них цепкости, нег духа борьбы, ловкости, быстроты. Вас. Вас. крайне типичен в этом отношении: милейшая личность, преданнейший работник, честнейший человек, он, я боюсь, никогда не способен стать **политиком**. Добер он уж очень,— даже не верится, что «Галеркины» брошюры писаны им»³.

Помощь, которую оказывал Ленин своим товарищам по работе в большевистской печати, была широка и разностороння. Фрагменты Ленинских сборников вместе с отрывками его писем и свидетельствами мемуаристов говорят о глубине и значительности этой воспитательной и организационной работы.

На произведения большевистских публицистов оказали самое глубокое воздействие важнейшие стороны ленинского стиля — конкретность, историзм и воинствующая диалектика его манеры доказательства, непримиримая ленинская полемичность, сжатость и целеустремленность композиционной фактуры, насыщенность и популярность словарных средств, синтаксическая концентрированность ленинских статей, образность его языка, наконец, его эмоциональная насыщенность. Конечно, нельзя целиком выводить их стиль из ленинского: его сформировала та же практика партийной борьбы, которая создала и ленинскую публицистику. Конечно, нельзя игнорировать факт отличия их друг от друга. И все же стилевое влияние ленинской публицистики на стиль его товарищей по работе не может подлежать никакому сомнению.

Изучение наследия этих партийных литераторов в значительной мере поможет нам и в деле изучения публицистического стиля самого Ленина.

«Мы,— писал Ленин в 1917 году о большевиках,— имеем в своем распоряжении **только слово**»⁴. И в самом деле, у большевиков тогда еще не было власти. Но слово, которое они обращали к многомиллионным массам, мобилизовало рабочих и крестьян на решительный бой с буржуазно-монархическим режимом. Слово обеспечило им победу потому, что оно было частью большевистского дела. Постигая искусство ленинского публицистического слова, мы еще глубже и полнее осознаем историческое величие сделанного Лениным. Великое дело освобождения трудящихся, которому он отдал жизнь, питает каждое слово ленинской публицистики, придает ей величайшую действенность, необычайную выразительность.

¹ Ленинский сборник XXVI, стр. 177.

² Там же, стр. 195.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 53.

⁴ Там же, т. 32, стр. 255.

В МИРЕ НАУКИ

Д. ЛИХАЧЕВ

Член-корреспондент АН СССР



БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ

(Заметки и размышления)

Прочтя название этой статьи, читатель непременно подумает: «Модная тема! Не довольно ли с нас футурологи, предсказаний и предвещаний, облеченных в научную форму? Творчество нельзя предвидеть, нельзя предсказать появление того или иного гениального художественного произведения или научного открытия».

Относительно моды можно сказать следующее: моду, если она разумна, можно приветствовать. Разумная мода — одно из немногих, хотя и скромных, свидетельств единства человеческого рода, его вкусов и настроений. И за это одно ей многое можно простить... Даже ее нескромность! В науке мода может способствовать коллективному сосредоточению внимания на определенных темах и подходах к темам. Нельзя отворачиваться от решения каких-то вопросов только потому, что они «модны».

А относительно возможности предсказаний в творческой области заметим следующее. Конечно, предвидеть появление гениального литературного произведения невозможно. Но предвидеть гениальное научное открытие в какой-то мере можно. Научные открытия делаются на известном уровне знаний и техники. Не случайны поэтому появления сходных открытий и изобретений одновременно в разных странах, у разных ученых. В области же литературы нельзя предвидеть появления художественного произведения на определенную тему, но можно предвидеть направление развития литературы, ее «уровень».

И еще одно, на что бы хотелось обратить внимание тех, кто возражает и сомневается.

Значение переживаемого нами этапа литературного развития, нашей современной литературы не может быть понято на коротком участке истории литературы, вне широкой историко-литературной перспективы. Закончился период великой литературы XIX века. Начался и уже более пятидесяти лет продолжается новый период литературы, в котором таятся, развиваются, уже видны не менее значительные возможности. Наш современный период может быть в полной мере оценен на фоне тысячелетнего развития русской литературы. Это итог развития не только одного века, но многих веков. С другой стороны, в нашей современной литературе заложены основы будущего. Попытки заглянуть в будущее имеют значение не только для раскрытия будущего, но и для того, чтобы осознать настоящее — кроющиеся в нем возможности, отделить творческие силы от нетворческих. Настоящее и современное — это не неподвижность, а движение вперед. Надо проверять это движение и помогать ему. Мы не свидетели — мы участники, при этом все — не только писатели, но и читатели; не только те, кто пишет о настоящем, но и те, кто занимается прошлым, при этом самым отдаленным.

Будущее — это то, на чем может быть проверена история. И это не менее важно!

Нам нужно знать, в каком направлении идет развитие литературы. Это насущная необходимость, а не пустое любопытство. Современная наука дает возможности в пред-

видении будущего целого ряда областей. Мы становимся все более и более сознательными в нашем движении вперед, в нашем развитии и в нашей оценке современности относительно прошлого и относительно возможного будущего.

* * *

Остановимся еще на одном. В названии этой статьи стоит «будущее литературы». «Будущее литературы» — это не совсем то, что «литература будущего». Будущее литературы — это тенденции ее развития, пути, идущие из прошлого через настоящее вперед в столетия и тысячелетия. Литература же будущего — это та литература, которая будет существовать через сто и тысячу лет. Это ее состояние в будущем.

Может быть, я несколько преувеличил и обострил различия между этими понятиями, но пусть эти различия останутся в этой статье. Они нужны.

Продолжим наш диалог со скептиком-читателем. Читатель, перейдя во фронтальную атаку, может спросить: почему автор этой статьи, специалист по древней русской литературе, решает судить о будущем литературы? Отвечу сразу же — именно потому, что он специалист по древней, а не по новой литературе! Ведь труднее всего предвидеть то, что совершится в ближайшем будущем. Легче разглядеть общие тенденции развития, протягивающиеся в далекое будущее. А для того, чтобы протянуть очень длинную мысленную линию в будущее, нужно иметь ей достаточно длинный же противовес в прошлом — линию столь же протяженную в прошедших столетиях. Если протянуть мысленные линии из прошлого в настоящее, то некоторые из этих линий окажутся столь устойчивыми по своему направлению, что их можно будет продолжить и в будущее. О ближайшем будущем специалисту по древней русской литературе судить труднее, чем специалисту по современной литературе, но о будущем отдаленном, может быть, и легче...

Однако задача этой статьи состоит не в том, чтобы нарисовать движение литературы в будущее, и тем более не в том, чтобы создать картину литературы будущего, а в том, чтобы наметить те способы, которыми можно проследить за литературой, уходящей в будущее. Я уверен, что и в литературоведении возможна та «предсказуемость» явлений, которая существует в целом ряде других наук.

И с этой точки зрения снова вернемся к вопросу о предсказуемости отдаленного будущего и непредсказуемости ближайшего. Дело в том, что, обращаясь к ближайшему будущему, мы должны видеть его в крупных масштабах и иметь дело в первую очередь с индивидуальными явлениями — с отдельными «деревьями» литературы. Обращаясь же к далекому будущему, мы имеем дело с явлениями типичными, распространенными, массовыми, с общими контурами, в которые сливаются индивидуальные явления литературы, с «ландшафтом литературы» и ее «растительными ассоциациями». Ближайшее будущее — это в первую очередь новые писатели и новые произведения, то есть явления сугубо индивидуальные. В появлении же индивидуальных явлений всегда существует большая доля неопределенности. При этом стоит обратить внимание и на следующее: чем выше произведение, тем оно необыкновеннее и удивительнее. Не без основания Н. К. Гудзий говорил в частных беседах о литературе как о чуде и протестовал против попыток создания историй литературы, в которых не было бы имен, а были бы одни «закономерности». Для Н. К. Гудзия самым важным в литературе были ее отдельные представители, и здесь нет «законов». Однако в отдаленном будущем в отличие от ближайшего мы имеем дело со статистикой больших чисел. Мы не различаем в отдаленном будущем индивидуальных явлений, а только новые гечения, новые направления, общие линии развития литературы. Там, вдалеке, яснее выступают явления массовые. И в этом случае неопределенности уже меньше.

Читатель выдвигает следующее возражение, и оно самое серьезное. Литературное развитие социально обусловлено. Поэтому можно предвидеть литературное развитие только в тех пределах, в каких это допускает наше предвидение социального развития. Однако надо учесть при этом, что между социальной действительностью и порождаемой ею литературой существуют очень сложные взаимоотношения, есть, в частности, множество промежуточных явлений в виде истории культуры, общественной мысли, перекрестных влияний, идущих от других видов искусства, и т. д.

При определении будущего характера и путей развития духовной культуры необходимо считаться с таким количеством различных сложнейших факторов, определяющих их детерминированность, что учесть их все и заранее рассчитать их воздействие на литературу очень трудно. Строя только на этом основании гипотетическую картину будущего развития литературы, мы должны опираться на гипотетическую же картину обуславливающего развитие духовной культуры исторического процесса, а эта картина в свою очередь должна основываться на ряде гипотез и предположений. Гипотезы, когда они сами составляют надстройку над гипотезами,— карточные домики.

Поэтому если искать будущее литературы, исходя исключительно из факта социальной детерминированности историко-литературного процесса, и если пытаться выявить черты будущего литературы, основываясь только на гипотезах об изменении исторической обстановки и накоплении литературного и духовного опыта в целом, то такая задача трудна до неосуществимости. Степень «предсказуемости» в этих условиях будет равняться нулю.

Однако читатель может с основанием спросить: разве любая попытка проникновения в будущее не будет все равно гипотезой и разве можно при этом избежать, чтобы эта гипотеза не строилась на других гипотезах? Что же касается до гипотез о будущем человеческого общества, то они в целом основываются на закономерностях развития общественных отношений, которые, в общем, изучены лучше, чем законы развития литературы. Да, это все так! И речь у меня идет не о том, чтобы игнорировать гипотезы о развитии человеческого общества в будущем, а о том, чтобы не основываться только на этих гипотезах.

Поясняю — к чему я стремлюсь. Если основывать гипотезу на гипотезах, даже самых основательных, это понижает степень вероятности создаваемой картины. Однако если проверить гипотезу другой, независимой от первой, гипотезой, то это повышает степень вероятности сделанных предположений. Особенно если обе гипотезы основываются на эмпирическом материале наблюдений. Итак, не строить гипотезу на гипотезе, а проверять одну гипотезу с помощью другой, независимой.

В качестве рабочего приема я предлагаю следующее — попытаться зондировать будущее с помощью конкретных наблюдений над ходом развития литературы, а затем проверять и объяснять сделанные наблюдения на установленных закономерностях развития общества и на существующих «предсказаниях» его будущего.

Мы можем строить наши предположения о будущем литературы на наблюдениях над направлениями развития литературы на достаточно длительных участках историко-литературного процесса. Сделанные предположения необходимо проверить и объяснить закономерностями развития общества.

Конечно, пределы журнальной статьи разрешают ограничиться только некоторой конкретизацией предлагаемого нами рабочего приема.

* * *

Наблюдая направление развития литературы за несколько сот лет в условиях резких социальных изменений, можно предположить, что это направление сохранится и в последующем — по крайней мере на некоторое время. Думать, что это направление завтра же оборвется — значило бы отрицать закономерность и неслучайность литературного развития.

Будет ли направление в развитии литературы столь же последовательным, что и до настоящего времени, сказать, конечно, невозможно, но... когда движешься с помощью некоего «безрельсового транспорта» достаточно долго и в одном и том же направлении, можно с известной долей вероятности предположить, что это движение и дальше сохранит свое направление на некоторое время.

В самом деле, если пассажира везут в поезде в неизвестной ему стране и к неизвестной ему цели, он с трудом «предскажет», в каком направлении будет он двигаться дальше: направление рельсовых путей может произвольно меняться по утратившим свой первоначальный смысл соображениям давних строителей дороги. Но литература — «безрельсовый транспорт», ибо никто еще не построил ей рельсы на сто и тысячу лет вперед. И вот если пассажира везут в автомобиле в стране с достаточно развитой системой дорог — ему легче определить общее направление своего путешествия хотя бы

в пределах шкалы компаса. Совсем просто сделать это в самолете, если, впрочем, на пути нет неожиданных метеорологических препятствий.

Мы не знаем — куда влечет нас литературное развитие. Мы привыкли к литературе как к удобному местопребыванию. Но литература не «местопребывание». Литературное развитие стремится нас вперед в более или менее постоянном направлении, и нам надо знать — куда.

Кроме наблюдений за направлениями в развитии отдельных литературных явлений, для составления цельной картины будущего мы должны были бы иметь данные и о средних скоростях, с которыми двигаются вперед эти отдельные явления. Ибо для стыковки в пространстве будущего этих отдельных явлений в цельную картину будущей литературы знать, как встретятся между собой развивающиеся явления, крайне важно. Однако данных о скоростях развития отдельных явлений у нас еще нет. Вот почему мы можем сделать пока лишь наблюдения над направлениями, но не можем на их основании создать цельную картину будущего.

Следовательно, единственное, о чем мы можем судить, — линии и направления в развитии.

Как известно, двух точек в пространстве достаточно, чтобы определить направление проходящей через них прямой линии. Сделаем предположение, что литература развивается по прямой. Тогда для заключения о будущем той или иной линии литературного развития было бы достаточно найти и определить особенности однородных по своей природе явлений в двух точках развития литературы (допустим в XV и в XIX веках), найти происшедшие изменения и предположить, что эти изменения будут углубляться и расширяться. Однако литературные явления вряд ли развиваются по прямым. Следовательно, надо найти на всем протяжении большее количество «точек» и посмотреть, не описывают ли проведенные через них линии траектории более или менее определенного характера и не позволяют ли они вывести себя вперед — за пределы настоящего.

Заранее скажем, что в литературном развитии есть линии, уходящие в будущее, и есть линии, траектории которых не могут быть определены точно. А так как картину литературы можно восстановить, принимая во внимание всю совокупность отдельных составляющих ее линий, то предсказать, какой будет литература через тысячу лет, невозможно. Однако можно предугадать направление некоторых линий ее развития. Эти выводимые в будущее линии не всегда являются главными. Так, например, легче всего дело обстоит с вопросами литературной техники, труднее — с вопросами ее содержания. Вот почему опять-таки легче судить о будущем литературы, чем о литературе будущего... Но это будущее литературы рисуется все же очень неполно ввиду ограниченности рабочих приемов проникновения в него, которые заставляют нас отключиться от самого главного источника света — от факта социальной детерминированности литературы — и линии развития принимать просто как некие данности. Таким образом, мы приступаем к нашей задаче, ясно осознавая ограниченность ее возможностей и ее недостатки. Перед нами рабочий прием — не более.

Не заставит ли мой «рабочий прием» подумать читателя, что литература имеет спонтанное, имманентное развитие? Если ее можно отключить от действительности в порядке изучения, то, может быть, она и в самом деле от нее отключена? Нет, эта мысль не должна явиться у читателя. Наблюдая движение облаков, мы можем, скажем, заметить, что они в данный момент движутся с севера на юг и что, по-видимому, в предстоящий час их пройдет в этом направлении известное количество. Но ведь это не значит, что облака движутся сами, без ветра.

* * *

Итак, наблюдения над прошлым в сопоставлении с настоящим, чтобы выяснить возможность продолжения изменений в будущем.

А. Начнем с наиболее сложного вопроса — вопроса о сменах стилей и литературных течений¹. Свои общие взгляды на этот вопрос я изложил в статье «Барокко и его

¹ В данной статье я предпочитаю говорить о «течениях», а не о «направлениях», чтобы не смешивать понятия литературного «направления» и направленности литературного развития.

русский вариант XVII века»¹. Сейчас я бы не хотел повторять ее общие выводы, хотя та концепция, которой я придерживаюсь, имеет непосредственное отношение к вопросу о будущем литературы. Остановлюсь только на одной стороне смен литературных течений. Дело в том, что литературные течения сменяют друг друга не беспорядочно и произвольно, а в определенной направленности. Эту направленность на коротких промежутках времени XVIII — первой половины XIX века ясно видели такие литературоведы с сильным историческим сознанием, как Тынников и Гуковский. Но если взять более длительные промежутки времени, скажем от XI до конца XIX века, то направленность в развитии литературных стилей и течений окажется ощутимой еще более ясно и сможет быть выведена в будущее за пределы «земного тяготения» прошлого и современности.

Одна из линий в этой направленности смен стилей и течений состоит в постепенном снижении прямолинейной условности искусства.

Раннесредневековое искусство по всей Европе, не исключая и Восточной, чрезвычайно условно. Эта условность имеет прямолинейный характер: для понимания раннесредневекового искусства нужны словари символов, аллегорий, философских и богословских понятий. Из символов и понятий писатель строит картину, в которой только во вторичном плане могут быть заметны черты правдоподобного изображения действительности. Так, например, русский писатель XII века Кирилл Туровский из символов воскресения Христова строит картину весеннего воскресения природы, и эта картина является одним из первых в русской литературе изображений пейзажа.

Замечательный историк средневекового искусства Эмиль Маль смог построить цельную характеристику искусства XII века, исходя из энциклопедического собрания символов Винченца из Бовэ — философа и богослова XII века.

В эпоху развитого, «готического» средневековья в искусство вторгается сильная струя эмоциональности, разрушающая и перестраивающая условность искусства предшествующего периода.

Ренессанс — новый этап в снижении условности искусства. Каждое из последующих стиливых направлений и течений снижает условность искусства и литературы в их числе.

Постепенное падение условности искусства может быть прослежено на разных участках искусств. Здесь может быть отмечено падение условности вымысла. Вымысел, вначале очень ограниченный дозволенным и недозволенным, становится «игрой без правил», за исключением одного — требования правдоподобности, которая снижает степень условности вымысла больше, чем все «правила» предшествующего периода.

Литературный язык — церковнославянский, латинский, арабский, персидский, санскрит, вэнь-ян и прочие — постепенно уступает место литературным языкам, развивающимся на основе национальных и обретающим новую приподнятость над языком быденным, которая постепенно в свою очередь исчезает.

Шаг за шагом исчезают в искусстве «запретные» темы — темы, не разрешавшиеся «литературным этикетом». Область литературных тем постепенно расширяется и сливается с действительностью. Количество тем в искусстве, сперва очень ограниченное, стремится сравняться с количеством сторон и аспектов самой действительности.

Резко снижается в искусстве количество «матриц», облегчающих создание новых произведений. Снижается роль литературного этикета, расширяются и облегчаются самые правила.

«Окаменелые» эпитеты, метафоры, образы, устойчивые формулы и мотивы постепенно «оживают». Так, например, прослеживая движение одного эпитета в фольклоре или средневековой литературе, можно говорить о постепенном «окаменении» эпитетов (термин и понятие А. Н. Веселовского), но, прослеживая движение эпитетов в целом как известной категории литературных средств, следует говорить о том, что эпитет постепенно выходит из своего окаменения, оживает, становится гибким, изменчивым, авторы в ненасытимой погоне за меткостью эпитетов изобретают все новые и новые, точнее прежних отображающие действительность.

¹ «Русская литература», № 2, 1969.

Падение условности может быть отмечено по всем литературным путям и дорогам. Метафора, которая в средние века и в фольклоре была по преимуществу метафорой-символом, в более позднее время становится метафорой по сходству. Сравнения, которые искали подобий в области «извечных» свойств и качеств объектов сравнения, все больше ищут внешних, непосредственно ощутимых сходств.

Искусство все определеннее стремится создавать и л л ю з и ю действительности — зримую и слышимую картину изображаемого.

Происходит постепенное сближение средств изображения и изображаемого. Коротко это явление объяснить очень трудно. Это явление сложное. С некоторым упрощением мы можем сказать, однако, что оно заключается в том, что вместо того, чтобы пользоваться готовым набором условных средств изображения, автор стремится воспользоваться новыми, беря их из самой действительности или «приближая» их прямо и переносно к действительности. Эта черта — стремление средства изображения приблизить к предмету изображения в стиле реализма — хорошо показана в исследовании В. В. Виноградова «О языке художественной литературы» (М. 1959).

Еще большее уменьшение условности искусства могло бы быть продемонстрировано на изображении человека. Для древней русской литературы я это отчасти стремился показать в своей книге «Человек в литературе древней Руси» (М.—Л. 1958), но процесс этот идет и в последующей литературе. Он идет не только от стиля к стилю, от одного литературного течения к другому, но и внутри литературных течений — особенно в недрах реализма.

Б. Возьмем другую линию литературного развития. От начала развития литературы и до современности протягивается линия возрастания личностного начала в литературе. Это также тема для большой монографии. Развитие личностного начала, «раскрепощение личности», в древней русской литературе идет по многим путям. Это даже не одна линия, а множество линий, множество нитей, свивающихся в прочнейшие канаты, крепящие единство историко-литературного процесса.

Прежде всего несколько слов об индивидуальном авторском стиле. В древней литературе он выражен очень слабо. Различия стилей в древней русской литературе главным образом жанровые. Каждый жанр требовал своего стиля: летопись — своего, торжественная проповедь — своего. Своих особых стилей требовала учительная проповедь, житие проложное, житие минейное и т. д. Один и тот же автор, обращаясь то к одному, то к другому жанру, менял стиль своих сочинений, подчиняясь «этикету жанра». Мономах пишет свое «Поучение» в одном стиле, но, переходя к летописи своих «путей» (походов) и охот, решительно меняет не только стиль, но и язык: от церковнославянского литературного языка он переходит к русскому литературному языку. Иной стиль у него в письме к Олегу Святославичу и в заключительной молитве (если только она действительно ему принадлежит).

Индивидуальность авторского стиля резко возрастает в XIV и XV веках. В дальнейшем, в XVI веке, она достаточно определенно выражена в писаниях Грозного. В XVII веке мы уже в полной мере можем говорить о появлении развитого авторского стиля в произведениях Аввакума. И все же в XVIII веке индивидуальный стиль писателей-классицистов менее ярко представлен, чем индивидуальный стиль романтиков в начале XIX века. Еще в большей мере индивидуальный стиль проявляется в реализме.

Такое же развитие личностного начала сказывается в изменении представлений об авторской собственности. Произведения древней русской литературы компилятивны и не всегда имеют имя автора. Иногда имя автора подменяется именем составителя, редактора, переписчика на совершенно равных основаниях. А иногда, и далеко не редко, произведение надписывается именем авторитетного лица, чьи взгляды оно только могло бы выражать: из уважения к этому авторитетному лицу... Так было, например, со многими древнерусскими поучениями, надписывавшимися именем Иоанна Златоуста.

Чувство авторской собственности с трудом пробивается до XVII века и только в XVII веке получает первую более или менее прочную основу. Однако и в классицизме, в журналистике XVIII века оно совсем иное, чем в XIX веке. Это хорошо известно специалистам по XVIII веку. Недостаточность чувства авторской собственности, как

и неразвитость индивидуального стиля в классицизме были в свое время показаны Г. А. Гуковским.

В разговоре со мной К. В. Чистов предложил следующую схему развития представлений об авторской собственности. Сперва это собственность только на рукописи. Затем к этому прибавляется собственность на литературное произведение (появляется автор). В XIX веке к этому присоединяется чувство собственности на литературные сюжеты. И наконец, создается представление о собственности на те или иные вновь вводимые изобразительные средства (появляются понятия вроде следующих: «ахматовская строка», «ахматовская интонация», «есенинский образ» и т. п.). Следовательно, представление о собственности усложняется. Собственностью могут становиться не только материальные, но и чисто духовные ценности.

С развитием личностного начала в литературе согласуется и появление в ней писателей-профессионалов. Первые черты профессионализма мы находим в России в XV веке (они заметны, например, у Пахомия Серба), но впервые профессиональный писатель, живущий за счет своих литературных заработков, появляется только в XVII веке (например, Симеон Полоцкий, Карион Истомирин и многие другие). Развитие литературного профессионализма продолжается и в XVIII и в XIX веках.

Характерно, что развитие личностного начала в писательском творчестве находит себе поддержку в развитии личностного начала у литературного героя. До XVII века литературный герой действует и мыслит как представитель своей социальной группы. Князь не порывает с этикетом своей среды, этикетом поведения и этикетом высказываний. То же самое — монахи, епископы, купцы. И только в XVII веке литературные герои начинают действовать по-своему, в зависимости от своего характера. Вместе с эмансипацией человеческой личности возрастает и ценность человеческой личности в литературе самой по себе, независимо от ее официального положения в обществе. Это также достаточно определенно выступает в русской литературе XVII века, особенно в литературе городского посада, в «Повести о Горе и Злочастии», в «Житии» Аввакума. Это возрастание ценности человеческой личности, даже «падшей», греховной, погрязшей в пьянстве, разврате, азартных играх, продолжается и за пределами XVII века. Идея ценности человека самого по себе составляет одну из основных идейных линий русской литературы нового времени.

Развитие личностного начала в литературе согласуется с развитием личностного начала самой литературы. Если мы обратим внимание на то, что личностное начало из всех литературных течений сильнее всего представлено в реализме, то мы должны будем заметить и то, что линия литературного развития в области индивидуального начала совпадает с линией литературного развития в области смен литературных направлений, в области снижения удельного веса условности в литературном творчестве, и это поможет нам вынести обе линии вперед — за пределы современности.

В. Третья линия в литературном развитии заключается в постепенном изменении в нем сектора свободы и сектора необходимости. Соотношение этих двух секторов в литературном творчестве неустойчиво. Оно различно в различные периоды.

В самом деле, литературное творчество сочетает в себе необходимость и свободу. Необходимость — это закономерности историко-литературного развития, это традиционные формы, в которых это развитие совершается, — формы, определяемые литературным этикетом и выражающиеся в традиционных идеях, «окаменевших эпитетах», «бродячих сюжетах», традиционных темах, мотивах, образах и т. д. Свобода же в литературном творчестве — это предоставляемые литературой возможности творческого выбора среди этих традиционных средств, тем и идей и возможности создания новых.

Свобода литературного творчества развивается с увеличением творческих потенций писательской личности по мере возрастания личностного начала в литературе.

Если сравнить в этом отношении средневековую литературу с новой и проследить в этом отношении весь путь изменений, то в историко-литературном процессе ясно выступит нарастание степеней свободы.

Начнем со средневековой литературы. Новые произведения в средневековой литературе синтезируются в соответствии с жанровыми нормами, с традицией, с литературным этикетом (представлениями о том, что полагается и что не полагается в лите-

ратуре литературным «приличием»). Имея в виду весь опыт средневековой китайской литературы, Б. Рифтин в статье «Метод в средневековой литературе Востока»¹ пишет: «Средневековый писатель подобен шахматисту, который, зная исход партии знаменитых мастеров, должен сам разыграть ее вновь на доске...» Жанры, традиционные формы и «правила» литературного этикета выполняют в литературе роль неких матриц, облегчающих появление новых произведений. Создаваемый этими матрицами консерватизм литературного творчества увеличивает в средние века «генетическую деятельность» литературы, но одновременно уменьшает выбор нового, сужает рамки творчества. Поэтому в средневековой литературе количество рождений новых произведений преобладает над способностью создавать новое и высокое качество.

В самом деле, в средневековой литературе поразительно высока «рождаемость». Новые произведения легко создаются на основе старых, и эти новые произведения как бы не отделены полностью от старых, находятся с ними в некотором симбиозе. В средние века создаются многочисленные «неповорогливые» компилятивные произведения — произведения-«монстры», в которых соединяются несколько других произведений, с несколькими началами и несколькими завершениями, произведения разнородные по стилю, принадлежащие нескольким авторам. Б. Рифтин в той же статье отмечает: «...средневековый автор больше делает свое произведение, чем творит его, как современный художник». Он же подчеркивает роль имитации в средневековых литературах и литературного этикета.

В русской литературе количество «степеней свободы» быстро увеличивается уже в XVII веке благодаря умножению жанров, переносу новых литературных форм через переводную литературу, расширению социальной почвы литературы, вторжению в литературу фольклора через нового демократического писателя и читателя и т. д.

Однако начало необходимости еще очень велико даже в литературе XVIII века из-за жесткой системы поэтического искусства, наличия в классицизме различных правил, «единств», регламентаций, различных уровней литературного языка («учение о трех стилях»), недостаточности развития индивидуального начала и т. д.

Значительное расширение начала свободы дает романтизм, бунтовщически повзвращавший со многими правилами классицизма.

Степени свободы резко возрастают в реализме. Отмечу такие явления, как развитие индивидуальных стилей, сближение литературного языка с формами быденной и деловой речи, вторжение в область запретных для литературы тем, снижение роли трафаретных форм, возрастание поисков нового во всех сферах литературного творчества, стремление воздействовать на читателя непривычными ассоциациями и различными «остранениями»².

Очень важен и еще один момент. Сектор необходимости особенно велик в литературах отстающих, там, где необходимо догонять другие литературы. В следовании за чужим опытом, за чужими образцами и достижениями есть та же необходимость, что и в средневековых литературах, пользующихся своими собственными шаблонами и матрицами. Необходимость возрастает на «догонах». При прокладывании же новых путей естественно возрастает сектор свободы, увеличивается возможность творческого выбора. Это увеличение сектора свободы в передовых литературах — одновременно и следствие передового положения литературы, и условие ее движения вперед³.

Было бы наивно думать, что необходимость прямолинейно отступает перед свободой и что процесс этот приведет к полной свободе литературного творчества от всевозможных форм традиционности. Отдельные формы традиционности возникают вновь, частично захватывая уступленные позиции.

¹ Б. Р и ф т и н. Метод в средневековой литературе Востока.— «Вопросы литературы», № 6, 1969, стр. 93. К этому же сравнению с шахматной игрой любил прибегать М. К. Азатовский в своих лекциях по фольклору. Фольклор еще более традиционен, чем средневековая литература.

² Отмечу, что явление «остранения» (то есть изображения странным, необычным того или иного явления) присуще не литературе как таковой во все времена и у всех народов, а характерно по преимуществу для реализма.

³ Эта мысль подсказана мне известным советским экономистом В. В. Новожиловым.

Вместе с тем свобода и необходимость не исключают друг друга. Они не могут существовать друг без друга. Свобода есть преодоление необходимости, вернее ее постоянное преодоление, а необходимость есть сужение и ограничение свободы, вернее постоянное ограничивание возможностей свободы. Поэтому процесс постепенного нарастания степеней свободы не может быть бесконечным и не может привести к «абсолютной» свободе. Свобода не может существовать в условиях ничем не ограниченного выбора, ибо отсутствие границ выбора есть отсутствие самого выбора, следовательно, и отсутствие свободы. Наличие же выбора не только предопределяет собой свободу, но в известной мере и ограничивает ее. Между свободой и необходимостью существует диалектическое единство, и одно не может существовать без другого.

Для каждого периода существует свое оптимальное соотношение сектора свободы и сектора необходимости.

Тем не менее процесс нарастания сектора свободы и постепенное ограничение сектора необходимости в историко-литературном процессе — несомненный факт. Как же в таком случае следует понимать процесс нарастания свободы? Дело в том, что в литературе меняются и самые формы необходимости. Они становятся все более и более сложными, глубокими и «глубинными». Так, например, если в средние века одним из проявлений традиционности в литературном развитии была связанность этого развития графарежными, шаблонными формами, то в новое время шаблон уступает место более сложной традиционности — традиционности осознанного и сознательного освоения всего литературного прошлого. Слепая традиционность литературных форм уступает место осознанному эстетическим представлениям, диктующим поиски новых форм с учетом всего многовекового опыта литературы. Необходимость, будучи осознанной, пронизывается свободой.

Постепенное качественное изменение сектора свободы заметно даже в таком определяющем литературное развитие явлении, как социальная обусловленность литературы. Это очень крупный вопрос, который подлежит внимательному исследованию. Укажу только на следующее: зависимость идейной позиции писателя от его социального положения гораздо более отчетлива и прямолинейна в средневековой литературе, чем в новое время. Характерно, что «вульгарный социологизм» в истолковании литературных явлений совершенно исчез в трактовке русской литературы XIX века, но он не исчез в истолкованиях литературных памятников средневековья и его писателей историками. Поиски прямолинейных вульгарно-социологических истолкований творчества Даниила Заточника, Максима Грека, Вассиана Патрикеева, Пересветова и других не случайно продолжают существовать в исторической науке. Неправильность и ошибочность такого рода «метода» в подходе к средневековой литературе менее очевидна, чем в подходе к литературе нового времени.

Социальная детерминированность литературы отнюдь не уменьшается — она становится только все более и более сложной и опосредствованной. В качестве аналогии укажу: прогресс в области развития живых организмов одной из своих сторон имеет усложнение организмов, достижения ими все более и более целесообразной и развитой организованности.

Г. Еще одно наблюдение. Оно касается самого важного в развитии литературы — ее гуманистического начала. Вся мировая история представляет собой развитие и углубление начал гуманизма — «человечности»¹. То же и в литературе.

Но характерно, что и гуманизм развивается не прямолинейно. Мы можем заметить и здесь, как и в развитии художественности, пульсации живого организма. Гуманизм развивается, пульсируя. Сейчас я объясню, в чем дело.

Развитие гуманизма проходит как бы некоторые стадии. По пути открытия ценности человеческой личности, вернее ее ценностей, мировое искусство движется от открытия ценности целого класса, целого слоя общества — к определению ценности отдельной личности самой по себе.

Ценности господствующего слоя или класса (в классовом обществе, живописуемом в стиле «монументального историзма») сперва начинают противопоставляться не

¹ Ср.: Н. К о н р а д. Запад и Восток. М. 1966, стр. 505—512.

ценность отдельной человеческой личности, а ценность эксплуатируемого большинства, ценность не признанного в искусстве класса. И этот класс или слой общества предстает сперва как единое целое. С течением времени в этом развитии ценность отдельного представителя этого «непризнаваемого» класса начинает теряться, и тогда происходит открытие ценности человеческой личности самой по себе, которая не есть, однако, человек вообще, как кажется в эту эпоху, а тоже представитель своего класса. От класса к личности, к отдельному представителю этого класса, от представителя класса к возведению в абсолют именно этого слоя населения, новый сдвиг в сторону «непризнанного» класса и новое обращение к человеку — такова пульсация развития гуманизма. Это не замкнутый круг, а именно развитие: новое и новое обращение к человеку с раскрытием новых и новых гуманистических ценностей. Гуманизм развивается как ряд последовательных обращений к человеку, которые все время являются новыми, ибо общественное развитие раскрывает для искусства в человеке все новые и новые стороны.

Развитие гуманистического начала в литературе тесно связано с расширением в ней сектора свободы, снижением степени условности искусства и, разумеется, развитием личностного начала. Следовательно, и эта линия в развитии литературы поддерживается вышенамеченными другими. Все линии в развитии литературы соединены между собой.

Развитие гуманистического начала литературы идет рука об руку с увеличением общественной роли литературы.

Если в средние века литература по преимуществу обслуживала отдельные институты общества, была в той или иной мере «официальна» и только в какой-то менее значительной степени отражала общегуманистические тенденции, то в новое время все сильнее и интенсивнее призывы литературы к отрешению от узколичных или узкогрупповых интересов во имя интересов более широких, широкого круга людей, всего общества в целом.

Показать это в небольшой статье невозможно: слишком обильны, многосторонни и разнообразны представляемые здесь историей литературы факты и слишком интенсивно они связаны со всеми особенностями историко-литературного развития.

Д. Есть еще одна линия в развитии литературы, которая требует особенно внимательного к себе отношения и которую в этой статье я могу только предложить для изучения. Это линия расширения мирового опыта литературы. Национальные литературы никогда не развивались в одиночку и в изоляции от других литератур. Никогда не была изолированной и русская литература. Она родилась из внутренних потребностей, но при участии произведений, перенесенных к нам непосредственно из Болгарии и из Византии через Болгарию. Она с самого начала была связана с литературами западнославянскими, с литературой Сербии. Но все-таки опыт, который имела русская литература, был опытом ограниченных географических границ. Это была литература, тесно связанная с определенным районом Европы. Европейские связи русской литературы расширяются в XV, XVI и XVII веках. В сферу используемого литературного опыта вводится Кавказ, Украина, Белоруссия, Польша и Чехия. В XVIII веке в круг литературного опыта вводится вся Европа: Германия, Франция, Англия, Италия. Идет и расширение хронологических границ: в русские литературные традиции входит античность. В XIX веке новый пересмотр и новое расширение хронологических и географических границ. И наконец, наше время с его всемирно-историческим литературным опытом. Для использования всех традиций и всего опыта сейчас фактически нет границ — ни национальных, ни временных. Мы не только имеем возможность учесть художественные ценности африканских или азиатских народов, но и глубже, с помощью литературоведения, проникнуть в ценности собственного прошлого или прошлого других стран, в ценности, создаваемые литературами народов СССР.

Соседство литератур делает возможным ускоренное развитие отдельных литератур и преодоление ограниченностей национальных литератур. Эти возможности еще не реализуются, но они все больше и больше расширяют степени свободы литературы, возможности ее творческого выбора. И не будет ничего удивительного в том, что эти возможности смогут быть вскоре реализованы.

Теряются ли в этом расширении истории мировой литературы ее национальные особенности? И что такое эти национальные особенности? Вопрос этот очень сложный. Во всяком случае отмечу, что представление о том, что национальные особенности, вначале очень сильные, с течением веков прямолинейно стираются, неверны. Древняя русская литература накапливала национальные особенности. Этот процесс достиг своего апогея в XVII веке — в пору образования русской нации. Затем процесс шел неровно. Какие-то стороны литературы теряют национальные особенности с расширением литературного горизонта. Это в первую очередь познавательная сторона литературы. Но в чисто художественном отношении литература не терит своих национальных особенностей. Она углубляет их и усложняет. В будущем национальная ограниченность литератур должна исчезнуть, национальные же ценности — оплодотворить опыт литератур всех стран. Национальное своеобразие каждой литературы, имевшее ценность только для этой национальной литературы, должно стать ценностью мирового порядка, стать опытом всех литератур, войти в мировые исторические традиции.

Исчезновение наций и освобождение национальных ценностей от их национальной ограниченности — социально детерминировано. Эти ценности должны войти в социалистическое начало жизни и стать достоянием всех. Об этом писал Ленин. Он писал, что «социализм целиком интернационализирует» национальную культуру, беря «из каждой национальной культуры исключительно ее последовательно демократические и социалистические элементы»¹.

* * *

Выше я отметил всего лишь пять линий развития, охватывающих литературу на большом протяжении времени. Эти линии — только проба. Это лазерные лучи, с помощью которых мы пытаемся зондировать будущее. Но этих линий может быть гораздо больше. При этом я сознательно ограничиваюсь только тысячелетним историческим опытом русской литературы. Русская литература только часть мировой, но и она позволяет зондировать общее будущее всех литератур на основании извлеченных из нее наблюдений над «линиями». Направления, вскрытые в развитии других национальных литератур, дадут специалистам возможность проделать то же на своем материале. Для того, чтобы рассматривать процесс развития литературы в ее всемирном масштабе, необходимо проверить намеченные мною линии на литературах всего мира и на литературном развитии всех литератур найти новые стержни, чтобы зондировать будущее.

При этом я хочу указать еще на то, что общие линии в развитии литератур могут быть открыты на разных уровнях: они могут быть очень общими и значительными и очень частными и, казалось бы, малосущественными. Для примера укажу на еще одну вероятную линию развития, требующую своего внимательного изучения.

Я собираюсь написать исследование, которое пока условно называю так: «Литературное произведение как процесс».

Суть моей мысли заключается в следующем. Любое литературное произведение не представляет собой законченного и застывшего в своей законченности «материализованного» факта. Оно является совокупностью различных процессов — системой, в которой постоянно происходят разнообразные упорядоченные изменения. Две группы главных процессов могут быть отмечены в произведении: изменение внешней формы произведения, его текста, и изменение его восприятия читателями в зависимости от изменения окружающей действительности (процессы устаревания или актуализации его содержания и пр.). И вот любопытное историко-литературное явление. В средние века неустойчива по преимуществу внешняя форма произведения. Произведение не имеет законченного текста, не имеет определенных границ и т. д. Из текста одного произведения рождается другое, текст все время приобретает новые редакции, изменяется. Новое произведение вбирает в свой текст различные более ранние произведения на ту же тему. Средневековое произведение, подобно простейшим организмам, не знает смерти. Однако содержание произведения стремится к тому, чтобы касаться «вечных» тем или рассматривать временные, преходящие, исторические явления с позиций вечности.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 318.

Авторы средневековых произведений стремятся повторять уже известные читателям темы и сохранять устоявшееся отношение читателя к тем или иным персонажам. Если к какому-либо историческому персонажу утвердилось отношение как к злодею, то он будет из произведения в произведение именно злодеем — вечно гореть в «адском» огне читательской ненависти. Средневековый писатель и средневековый читатель не терпят изменения своего отношения к персонажам, темам, идеям.

В новое время может быть отмечено обратное явление. Внешняя форма произведения стремится к законченной и «вечной форме». Хотя, конечно, не может освободиться от того несомненного и обостренно воспринимаемого современным читателем факта, что оно является результатом процесса, результатом некоей творческой истории, связано с тем или иным определенным периодом литературы, определенным автором и определенным этапом творчества последнего. Современные текстологи, усиленно настаивающие в своих исследованиях на необходимости соблюдать последнюю авторскую волю относительно произведения нового времени (к средневековым произведениям их требования, разумеется, не могут относиться), отлично отражают это стремление нового времени утвердить «вечность» и неизменяемость внешней формы литературного произведения. В этом отношении они выражают тенденции нашего времени.

В противоположность этому отношению к внешней форме литературного произведения, к канонизации его текста и к «последней авторской воле» отношение к содержанию характеризуется в новое время текучестью, изменчивостью, стремлением связать старое произведение с новыми явлениями меняющейся действительности. «Слово о полку Игореве» в восприятии XIX и XX веков, Шекспир, прочитанный нашим современником, новая трактовка образа Чацкого, различные новые ассоциации, создаваемые произведениями Салтыкова-Щедрина, Кафки и других в связи с изменениями самой действительности — все это факты, типичные для нового времени. «Вечность» старых произведений в новое время состоит в «вечной» изменчивости их содержания и «вечной» общественной актуальности для нового читателя. Восприятие произведения оказывается процессом. Таким образом, от текучего текста с «вечным» содержанием к «вечному» тексту с текучим содержанием — такова еще одна из линий литературного развития. Само собой разумеется, что слово «вечное» мы берем в кавычки не случайно. И в «вечном» содержании средневекового произведения, и в «вечном» тексте произведения нового времени может быть отмечено движение, только более медленное и искусственно затормаживаемое. В целом процесс развития содержания более важен, чем «замораживание» формы. Произведение становится все более динамичным и вместе с тем его общественное значение все более усиливается.

Нетрудно видеть, что и эта линия развития литературы может быть связана с остальными линиями: с развитием личностного начала в литературе, развитием в ней «сектора свободы» и особенно с уже упомянутым ростом ее общественного значения.

Итак, линии могут выдвигаться в изобилии. Их надо замечать и изучать. Они позволяют понимать прошлое, проникать в будущее и осознать настоящее. Остановимся в их выявлении на этом.

* * *

Выше мы молчаливо предполагали, что развитие литературы совершается более или менее ровно, без существенных замедлений, ускорений, возвращений назад или временных изменений направления. Сейчас уместно поставить вопрос: насколько существенно все эти явления и насколько определяют они столбовую дорожку развития литературы? Меняется ли от них общее направление развития литературы?

Прежде всего о замедлениях и «герерывах». Русская литература знает два таких замедления. Но оба эти замедления разной природы. Первое такое «замедление», открытие которого принадлежит Я. С. Лурье, произошло в XVI веке — под влиянием борьбы с ересями в первой половине XVI века и попыток правительства Грозного направить в середине XVI века развитие литературы по пути больших «обобщающих» литературных предприятий. Во второй половине XVI века развитию литературы препятствовал обычный политический террор. В результате, как отмечает Я. С. Лурье, в литературе резко уменьшилось число собственно литературных произведений. Я лично думаю, что это замедление имело и более широкие последствия, затрудив появление

в России такой необходимой стадии в развитии духовной культуры, как Ренессанс. Наверстывать это замедление пришлось в XVII веке русскому барокко. Последнему пришлось принять на себя многие функции Ренессанса, переменить свой характер.

Направление в развитии литературы, в общем, не изменилось; литература только лишалась ярких писательских индивидуальностей. Их было меньше, чем могло бы быть при нормальном развитии Ренессанса и барокко. Аввакум? Но он один. «Повесть о Горе и Злочастии»? Но мы даже не знаем ее автора.

Второе замедление произошло при Петре. Эпоха Петра лишена крупной литературы, как и гениальных зодчих и живописцев. Это перерыв в развитии литературы, но, несомненно, более короткий, чем в XVI веке. И природа его другая. Эпоху Грозного и эпоху Петра нельзя отождествлять по своему характеру, как это иногда делалось. Эпоха Грозного — эпоха искусственно оборванного развития литературы. Эпоха Петра — творческая эпоха. Замедление в развитии литературы произошло потому, что силы нации были поглощены государственным строительством, развитием науки, техники. Эта эпоха была остановкой перед прыжком. После прыжка литература продолжала развиваться, и при этом ускоренными темпами. Изменилось ли при этом направление? Многим так и казалось. Казалось, что литература резко изменила свой характер. Да, так получилось, потому что сравнивались и выяснялись не направления, а литературы в целом как некие застылости: древняя литература сравнивалась в своем типе с литературой нового времени. В лучшем случае сравнивались два века — век XVII и век XVIII. Но при этом литература бралась как таковая. Это две совсем разные литературы. Впрочем, не совсем. Между ними гораздо больше общего, чем кажется. Если же мы рассмотрим не литературы двух эпох как некие единства, а возьмем только те направления, по которым двигалась русская литература в XVII веке, и сравним с направлениями, по которым двигалась литература в XVIII веке, то результат будет совершенно противоположный: и в XVII веке, и в XVIII веке, русская литература движется в одних и тех же направлениях. Направления не изменились. Линии развития, типичные для XVII века, продолжались и в XVIII веке.

В развитии литературы бывают не только перерывы или замедления, но и скачки, вернее перескакивания через определенные фазы в развитии литературы. Об этих скачках и «перескоках» напомнил нам Г. Д. Гачев в своей книге «Ускоренное развитие литературы». Дело, конечно, не только в том, что та или иная из литератур может ускоренно проходить некоторые фазы в «нормальном» развитии литературы, например — ускоренно пройти фазу классицизма или романтизма, а в том, что она вообще может быть лишена классицизма, а развиться непосредственно от средневековья к романтизму или прямо к реализму. Перед нами не «ускоренное» развитие через некоторые стадии, а скачок через них.

Но почему это бывает? С одной стороны, скачок вызывается общественным развитием, которое тоже совершает этот скачок (под влиянием чего и как — сейчас мы не можем входить в рассмотрение этих вопросов), а с другой стороны, скачок этот возможен потому, что литература местная и национальная развиваются не изолированно, а используют опыт других литератур. В своем скачке от средневековья к литературному развитию нового времени болгарская литература использовала опыт иностранных литератур, в первую очередь русской. А это возможно потому, что развитие литератур, как и общественное развитие в целом, имеет в разных странах одно общее направление. Иными словами, и в случае скачка мы наблюдаем, что общее направление литературного развития не меняется. Оно только убыстряется, как бы отрывается от своей почвы, но поддерживается общим, мировым развитием литературы. Не безинтересно в связи с этим отметить, что «скачки» и «убыстрения» происходят по преимуществу не в передовых литературах, а в литературах, менее «самостоятельных» в своем развитии. Сейчас мы их наблюдаем в развитии литератур африканских, южноамериканских, азиатских. «Скачки» и «убыстрения» появляются там, где есть необходимость догонять и где имеется возможность использовать опыт других литератур. Литературы передовые, которые не могут использовать чужой опыт, развиваются без «ускорений» и скачков.

Кроме перерывов и скачков, в литературном развитии имеет место и известная цикличность, спиральность в развитии, при которой возможны временные отступле-

ния и возвращения назад, хотя и на более высоком уровне. О цикличности в сменах великих стилей и литературных направлений я писал в отдельной статье¹. Имеются и «антидвижения», противодвижения, поиски особых боковых задач. Процесс развития сопровождается при этом временными потерями. Однако сейчас меня интересуют не временные перерывы, скачки, цикличность и антидвижения, а общее, генеральное движение литературы, идущее поверх всех направлений, не факты литературного развития в пределах тех или иных общественных формаций, а только общие линии литературного развития, связывающие и пронизывающие все сменяющие друг друга формации, не отдельные потери, которые неизбежны при движении вперед, а лишь общие изменения.

Мы протянули некоторые линии из прошлого к настоящему. Все они не обнаруживают тенденций к исчезновению или замедлению в своем развитии. Ни одна из линий еще не исчерпала себя. И они, несомненно, продлятся в будущее, уйдут в будущее, будут участвовать в его построении. Но как? К чему приведет развитие отдельных линий в их совокупности?

Читатель уже заметил, вероятно, что слово «линии» имеет у меня в статье значение термина, необходимого для исследования будущего общественных явлений. Может быть линия в развитии метафоры, и может быть линия в развитии гуманизма литературы. Линии различны и очень разноценны, но каждая все же дает нам возможность в той или иной мере зондировать будущее.

И в самом деле, в будущем мы можем предполагать продолжение линий, тянущихся из прошлого к современности. И чем устойчивее и длительнее протягиваются эти линии, тем вероятнее их глубокое проникновение в будущее. Пока это единственное, с помощью чего с большей или меньшей долей вероятности мы нащупываем будущее.

Но будущее, конечно, складывается не из одних линий, и цельной картины будущего создать поэтому невозможно. И все же следует сделать некоторые предположения. Эти предположения будут касаться не только «линий» и направлений, но и тех проблем, которые возникнут в будущем при продолжении тех и других.

И вот теперь самый важный вопрос: нет ли в движении литературы процесса энтропии, опасности «тепловой смерти» литературы? Мы говорили о снижении условности в литературе, о слиянии языка литературы и языка быденного, о том, что средства изображения приближаются к изображаемому, о возрастании «сектора свободы» и т. д. Все это свидетельствует, казалось бы, о том, что литература готова слиться с действительностью. Литература факта, литература документа, литература без резко очерченных жанров, литература без «матриц»? Не наступит ли в литературе такой период, когда за литературу станут выдавать расшифровки магнитофонных записей или даже самые записи без расшифровки? Ведь уже и сейчас многие книги начинают писаться так, словно их авторы записывают поток своего сознания или свою вечернюю болтовню за стаканом чая, не заботясь причесать, сократить или привести в порядок свои растрепанные мысли, упразднить в них разрывы ассоциативных связей. «Хэппенинг», перенесенный в литературу...

Я, однако, совершенно уверен: поветрие расторможенного стиля пройдет, а опасности «тепловой смерти» литературы не существует.

Свяжем этот вопрос с вопросом о прогрессе в литературе. В искусствоведении, а отчасти и литературоведении время от времени поднимался вопрос о том, существует ли прогресс в эстетической деятельности человека.

Да, он существует. Более того, его невозможно не видеть всякому, кто изучает не только индивидуальные явления и разрозненные памятники, а процессы на более или менее длительных участках истории литературы.

Литература представляет собой совокупность большого числа начал, обеспечивающих ее функционирование, выполнение ею общественных и общественно-эстетических функций. В целом во все века литература представляет собой высокоупорядоченную структуру. Тем не менее структура литературы меняется, совершенствуется. Повышается степень организованности литературы. Внешние рамки, стягивавшие и

¹ «Барокко и его русский вариант XVII века». «Русская литература», № 2, 1969.

формировавшие литературу, сменяются все большей ее внутренней организованностью. Литература совершает свой путь от менее сложной организованности к более сложной. Происходит рост внутренней упорядоченности литературы. Уровень организованности литературы возрастает.

Порядок во всякой литературе создается сознательной идейно-эстетической деятельностью авторов и «бессознательным» консерватизмом традиционных форм и идей. Оба эти сектора колеблются в своих взаимоотношениях. Постепенно сектор «сознания» занимает все больше места, отвоевывая его у сектора «бессознательного».

Если в средние века литература во многом подчиняется внешним и жестким правилам, отливается в матрицах, сдерживается в границах художественности внешними ограничениями, то в новое время она по преимуществу упорядочивается с помощью более высоких начал.

Приведу примеры.

Литературный язык отделяется в средние века от быденного главным образом тем, что это особый язык: латинский, церковнославянский, арабский и т. д. Эстетические свои функции литературный язык приобретает не только благодаря своей внутренней организованности, эстетическому совершенству, но и просто потому, что он условно отъединен от языка быденного. Это попросту другой язык. Его внешняя отграниченность от языка повседневности уже сама по себе знак, сигнал для возбуждения эстетических эмоций. И чем больше в литературном языке развивается его внутренняя эстетическая упорядоченность, тем интенсивнее отмирает необходимость внешнего отграничения языка литературы от языка бытового. Процесс сближения церковнославянского языка литературы с быденным языком начался уже в древней русской литературе. Он происходил урывками, на отдельных участках и сталкивался с постоянным контрастованием языка церковнославянского. Дифференциация противостояла процессу интеграции. Тем не менее процесс сближения продолжал совершаться и привел к отмиранию языка литературы как языка особого. В новое время литературный язык все время принимает на вооружение диалектизмы, вульгаризмы, арготизмы, различные языковые образования быденного языка. И все-таки язык-литературного произведения не стал языком быденной речи. Внешние границы литературного языка пали, но все большее значение приобретают границы внутренние, эстетические. Вульгаризм проникает в литературный язык, но не в той его функции, которая ему свойственна в обычной вульгарной речи. Он проникает в прямую речь действующих лиц или в речь рассказчика эстетически целеустремленно — для их характеристики, для создания образа действующего лица или образа рассказчика, повествователя, для создания новых, неожиданных ассоциаций и т. д.

Следовательно, внешняя отграниченность литературного языка от быденного замещается внутренними, художественными свойствами, выделяющими литературный язык. И конечно, последние «прочнее».

То же самое можно видеть на примере жанров. Жанровые разграничения играют огромную роль в средневековых литературах — русской, западноевропейской или китайской — все равно. Жанры в средневековых литературах имеют внешние признаки. Принадлежность произведения к определенному жанру помечается иногда даже в заглавии. Жанры различаются по их практическому употреблению, по внелитературным признакам. Одни жанры употребляются в определенные моменты церковных богослужений, другие — в не менее определенных обстоятельствах монастырского быта, третьи предназначаются для историко-юридических справок и т. д. Постепенно внелитературные признаки жанров заменяются литературными. Никто не скажет — в чем состоит в новое время различие в практическом, утилитарном употреблении поэмы и романа. Его нет. Но процесс идет дальше, жанровые признаки начинают теряться и в литературной сфере. Остается и возрастает одно — эстетическая отграниченность художественного произведения от нехудожественного. Это особенно заметно для тех, кто хорошо знаком со средневековой литературой, где литературные жанры выполняют естественнонаучные, богослужебные, богословские, юридические, исторические и другие функции. Только в новое время появляется система жанров, основанная на литературных принципах. А дальше — каждое произведение — это новый жанр. Жанр обуславливается мате-

риалом произведения,— форма вырастает из содержания. Жанровая система как нечто жесткое, внешне накладываемое на произведение, как элемент необходимости постепенно перестает существовать. Следовательно, и в области жанров внешние границы сменяются внутренними.

Что такое метафора-символ, столь типичная, как мы уже указывали, для средневековых литератур? Это традиционная метафора, содержание которой определяется существующими богословскими и природоведческими представлениями. Внешняя зависимость метафоры от этих представлений здесь вне сомнений. Эта «мировоззренческая» метафора постепенно сменяется метафорой, в которой определяющий момент состоит в сходстве с чем-либо, в попытке усилить представимость того явления, к которому прилагается метафора. И в области метафоры, следовательно, происходит тот же процесс смены внешней обусловленности литературы внутренней организованностью ее.

Внешняя традиционность сменяется традиционностью эстетических представлений и традиционностью идейной. Вместо матриц и литературного этикета в литературе начинает господствовать свободный учет всего многовекового опыта литературы. Растет историческое сознание, растет понимание художественных достижений прошлого, не стесняющего и не ограничивающего степеней свободы, а расширяющего ее, умножающего возможности творческого выбора.

В самом деле, в чем различие между литературными матрицами и литературным опытом? Матрица упрощает, облегчает, но и ограничивает творчество нового. Писателю средневековья довольно просто создать новое произведение, отливая его по существующим шаблонам, однако в его произведении ограничена возможность создания нового. Новое в средние века — это по большей части только новая комбинация шаблонов. Писатель нового времени в большей мере руководствуется своими эстетическими представлениями, которые выросли на многовековом опыте предшествующей литературы и которые в этом смысле тоже традиционны, но традиция эта лишена той внешней жесткости, которая существует, скажем, в литературном этикете средневековья. Свобода выбора здесь расширена, но выбор не отменен, а только обогащен. Автор нового времени вместо того, чтобы выбирать среди шаблонов своего времени, имеет перед собой весь многовековой опыт предшествующей литературы, который он использует не как наборщик использует шрифтовой материал в наборной кассе, а как скульптор, мнущий и формирующий глину.

Формы традиционности становятся в литературе более совершенными и постепенно теряют свою «жесткость». Шаблон уступает место более высокой устойчивости в области эстетических представлений. Сама традиционность при этом не исчезает — она становится лишь менее заметной, но переходит при этом в более значительную область общих эстетических представлений и в область общего накопления опыта всего мирового развития литературы. Поэтому само «воспроизведение» литературы становится более сложным и затрудненным. Внешний консерватизм сменяется более сложной традиционностью внутренних организующих литературу форм и представлений.

Постепенно уменьшается роль даже такой сравнительно сложной формы внешней организации литературы, как литературные направления. Великие стили, охватывавшие все области человеческого духа, сменяются более узкими направлениями в литературе и искусстве, затем направлениями, организующими только литературу или даже только какую-то ее часть (например, поэзию). При этом темпы смен стилей и направлений все более убыстряются — выразительный знак их приближающегося конца. Однако на смену великим стилям и направлениям приходят индивидуальные стили, роль которых все увеличивается по мере роста в литературе личностного начала. В реализме индивидуальные стили приобретают такое значение, что необходимость в смене реализма другими стилями и направлениями уменьшается до минимума. Потребности в новом удовлетворяются в реализме в пределах самого реализма — новыми индивидуальными стилями.

Итак, энтропии нет и не может быть. Внешняя организованность литературы сменяется по всем линиям ее более высокой внутренней организованностью.

О прогрессе в искусстве нельзя судить по отдельным гениям. Художественные достижения мы обычно оцениваем исторически — в пределах возможностей, открываемых

перед гениями их эпохой. А это сравнивает всех гениев всех эпох. Поэтому по гениям трудно судить о прогрессе в искусстве, и может создаться впечатление, что прогресса нет. Но прогресс в искусстве несомненен, если мы будем изучать возможности, открываемые перед искусством эпохой. Эти возможности все возрастают, и они вместе с тем предъявляют к творчеству все большие требования.

Но вернемся к вопросу об индивидуальных стилях. Вопрос этот очень важен.

Развитие индивидуальных стилей наряду с огромными возможностями, которые оно открывает, связано с большой опасностью — появлением «псевдостилей», искусственно придуманных стиливых образований. Преодоление заключается только в том, чтобы вовремя опознавать одаренность писателя и отличать подлинный и ценный индивидуальный стиль, связанный со значительной личностью, от искусственных и надуманных приемов. Это опознавание лежит только в том, чтобы одновременно со значением личности писателя росла личная культура читателя, способного понимать литературу и отделять пшеницу от плевел.

В истории литературы одновременно с увеличением роли личности писателя в литературе появилась критика и литературоведение. Критика и литературоведение в истории русской культуры возникли одновременно с расцветом в ней индивидуального творчества. Роль критики и литературоведения в истории литературы очень велика, позволяя с большей легкостью, чем раньше, отделять индивидуальность от шаблона, талант от бездарности и совершенствовать индивидуальность.

Критика — это зеркало литературы, формирующей свое лицо. Без великой русской критики XIX века не могло бы быть и великой русской литературы. Это недостаточно осознается.

Поэтому будущее литературы, которое неизбежно связано с дальнейшим развитием индивидуального начала, потребует всестороннего развития критики. Псевдоличности, псевдостили, псевдохудожественность явятся главной опасностью литературы в тот период, когда внешняя консервативность литературных форм, облегчавшая самовоспроизведение литературы в прошлом, окончательно сменится более сложной воспроизводящей традиционностью — традиционностью общей эстетической культуры.

Возрастающая роль критики будет заключаться, как можно думать, не в росте ее чисто внешнего авторитета, а в возрастании роли внутреннего авторитета. Роль критики будет сведена на нет и дискредитирована, если критика просто будет претендовать на роль гувернантки и, указывая пальцем, гвердить: это хорошо, а это плохо. Критика должна формировать эстетические представления читателей, исходя из которых читатель сам будет видеть достоинства и недостатки произведения. Литературоведение будет обогащать художественный опыт писателей и народа, раскрывая эстетические ценности прошлого и настоящего, расширяя культурный горизонт и обогащая современность. Литературоведение — это обогатительная фабрика литературы.

Задача моей статьи, однако, не в том, чтобы раскрыть значение критики и литературоведения.

В своих попытках проникнуть в будущее с помощью линий развития, тянущихся из прошлого, я ставлю на этом точку.

О будущем литературы можно было бы судить с гораздо большей уверенностью, если бы в нашем литературоведении появлялось больше работ, которые рассматривали бы развитие того или иного явления на протяжении многих веков. Между тем у нас в литературоведении очень мало «сквозных» тем, — тем, охватывающих одно явление за несколько веков, на многих писателях и по возможности на многих литературах. Приходится пожалеть, что у нас слишком мало литературоведов-энциклопедистов, литературоведов, выходящих за пределы своих излюбленных тем.

Русская литература, как и литература всего мира, должна интенсивно изучаться на всем ее протяжении. Надо всегда иметь перед глазами тысячелетнюю перспективу русской литературы. Это важно для понимания современности и для проникновения в будущее. Завтрашний день продолжит не только сегодняшний, но и вчерашний, и те дни, что были давно. По достоинству оценить современность можно только на фоне веков. Наша современная литература заслуживает своей оценки не в узких пределах XX века, а в перспективе всемирно-исторического развития литературы.

Поскольку самопроизводство литературы будет более сложным, «генетические матрицы» более тонкими, чем в эпохи господства внешнего консерватизма, чрезвычайно облегчавшего количественную сторону умножения литературы, надо думать, что подлинных галантов, которые будут надолго оставаться в истории литературы, будет не больше, а меньше и они будут более высокими. Вхождение в литературный процесс будет более трудным, и оно будет давать все больший творческий эффект.

Замечу, что количественный рост литературы (ее произведений и их авторов) всегда сопровождался временным ростом количества матриц в литературе и ее соответственным качественным понижением.

* * *

Определив линии развития, мы видим, что они не случайны, что они устойчивы, связаны с общими законами развития «живых» организмов и развитием общества. Это и дает нам право вывести отдельные линии развития литературы за пределы современности в будущее. Это-то и позволяет нам проверить степень «вероятности» их продолжения в будущем.

В самом деле, все пять или шесть намеченных нами линий теснейшим образом связаны между собой. Ни одна из линий не является поэтому случайной, а так как общественное развитие обладает «памятью», то есть совершается с учетом прошлого опыта и исходя из этого опыта, то можно думать, что линии эти, прослеживаемые на достаточно больших промежутках времени, не прервутся в ближайшем будущем. Поэтому есть все основания продолжить устойчивые линии развития на будущее. Вместе с тем мы можем заметить, что прогресс литературы совпадает по своим тенденциям с прогрессом в развитии общества вообще. Для развития общества характерно его постепенное усложнение, увеличение степеней свободы, развитие индивидуального начала, сочетание саморегулировки отдельных частей с усложнением центрального «управления».

Будущее рисуется марксистской мысли в категориях его экономической и социальной свободы. Увеличение степеней свободы дается и отменой эксплуатации человека человеком, и сокращением рабочего дня, и заменой оплаты за свою деятельность оплатой по потребности.

Будущее рисуется марксистской мысли также как увеличение и усложнение степени организованности, сочетающей в себе внутреннюю саморегулировку с гибким управлением, предоставляющим свободу отдельным компонентам общества и хозяйства.

* * *

И все-таки мне хочется сказать следующее: наряду с меняющимися категориями в литературе есть и категории мало меняющиеся или остающиеся неизменными. В частности, уже в средневековой русской литературе есть элементы, предопределяющие собой ее будущее развитие. В гуманизме средневековом есть элементы, которые разовьются в великой русской литературе XIX века.

Без них не могло бы быть преемственности в литературе.

И не может быть сомнения по крайней мере в одном: наше прошлое и наше настоящее останутся в литературе самого отдаленного будущего.

* * *

В заключение мне хочется снова напомнить читателю: тема моей статьи — будущее литературы как предмет изучения, не более. Я только предлагаю тему и те рабочие приемы, которыми бы эта тема могла изучаться. Если моя статья вызовет возражения и несогласия — это не страшно. Будем искать.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АВЕТИК ИСААКЯН

★

ОВАНЕС ТУМАНЯН

(К столетию со дня рождения)

В духовной истории любого народа всегда есть писатель, который, в совершенстве воплотив в себе предшествующий исторический и художественный опыт народа, определяет пути дальнейшего развития отечественной литературы. В немецкой литературе такой поэт — Гёте. В русской — Пушкин. В армянской — Ованес Туманян.

К великому поэту армянского народа никак нельзя отнести парадокс о том, что классик тот, кого хвалят, не читая. Нельзя, ибо творения Туманяна — на устах у всего народа. С самого раннего детства и до глубокой старости армянин окружен произведениями Туманяна — от детских стихов, сказок и легенд до стихотворений, песен, рассказов и поэм, знаменитых поэм, таких, как «Ануш», «Давид Сасунский», «Взятие крепости Тмук» и другие. Звучат оперы на сюжеты поэта, идут фильмы по его мотивам, пишутся картины, навешиваются его книгами. Туманян, как никакой другой поэт, не только выражает армянский национальный характер, но и влияет на него, участвует в формировании этого характера.

Ованес Туманян (1869—1923) родился в одном из живописнейших уголков Армении — в Лори, и на всем его творчестве лежит отпечаток преданий, самого склада мышления жителей этого края. Однако, по верному замечанию выдающегося армянского писателя Дереника Демирчяна, «Туманян своим Лори сумел выразить весь армянский народ». Фольклор не только одного Лори, но почти всей Армении, исторические хроники и великая армянская поэзия средних веков — вот источники его творчества и — в еще большей степени — вся многовековая и многострадальная история родного народа, весь его жизненный опыт и мирозозерцание, свойственное ему мужественное сопротивление всем тяготам судьбы.

С. Маршак писал об армянском поэте: «Армения — страна прекрасной поэзии и замечательных поэтов. Но, пожалуй, ни одному из певцов конца XIX и первых десятилетий XX века так не подходит звание народного поэта, как Ованесу Туманяну. У него есть все, чем богат народ: тонкое чувство природы, глубокая мудрость, а главное — великая любовь к жизни и к человеку. И народ платит Туманяну искренней, не ослабевающей с годами любовью».

Художественное наследие Туманяна невелико, оно может уместиться в одном — правда, довольно объемистом — томе, но оно, это наследие, содержит в себе целый мир, который живет, дышит, движется. Мы слышим немолчный рокот этого мира — звуки радости и печали, клики ликования и скорбные стенания.

Туманян жил и творил во времена, которые отнюдь не благоприятствовали формированию поэта олимпийского склада, каким он виделся, например, Брюсову. Ему выпало на долю пережить огромные потрясения национального, общероссийского и международного масштаба — революцию 1905 года, первую мировую войну, страшную резню 1915 года в Турецкой Армении. В эти трудные времена поэт был всегда со своим народом, служил ему своей гражданской поэзией.

Ованес Туманян верил, что вывести армянский народ на свободную дорогу может только единение с демократической Россией. «Этого требуют интересы и спасение как всех нас, так и каждой отдельной личности», — говорил он в дни февральской революции. Когда в 1920 году с помощью революционной России в Армении была установлена советская власть, Туманян писал: «Армянский народ, всеми покинутый и отчаявшийся, снова обращает свои взоры к России. И она пришла, новая Россия. Новая Россия открывает новую эру в истории человечества».

Ниже печатаются не переведившиеся на русский язык воспоминания А. Исаакяна об Ованесе Туманяне.

Л. Ахвердян.

В 1892 году, в бытность мою слушателем духовной семинарии, один из друзей прислал мне несколько экземпляров первой книги О. Туманяна, чтобы я распространил их среди своих товарищей.

Осенью того же года, будучи в Тифлисе, я отправился к Туманяну — передать деньги за книги и, воспользовавшись случаем, познакомиться с ним.

Туманян состоял в какой-то должности при «Кавказском армянском издательском товариществе». Что это была за должность, сейчас не припомню, но он постоянно находился в канцелярии товарищества. Я представился. Он принял меня приветливо. Спросил, какое впечатление произвела на молодых учеников семинарии его книга.

В сравнении со стихами поэта И. Иоаннисяна, преподававшего тогда у нас, книгу Туманяна мы нашли слабой, но дыхание таланта в ней ощущалось.

— Нам полюбили народный дух вашей поэзии, — ответил я и, чтобы подтвердить, что это действительно так, прочел несколько вещей в народном стиле, которые выучил наизусть.

Туманян радостно улыбнулся и подарил мне вторую книгу своих стихов, которая тогда только что вышла.

После первой встречи у меня сложилось о Туманяне очень приятное впечатление. Обхождение его было прямое и дружеское. Лицо словно бы озарял какой-то внутренний свет. Великолепная шевелюра, глубокие, полные мысли глаза... С лица его не сходила улыбка. Поэту было тогда не больше двадцати четырех лет, он был молод, полон жизни.

В следующую нашу встречу я прочел наизусть несколько стихотворений из новой книги.

— Ну и ну! — воскликнул он. — Какая же у вас хорошая память! Я вот ни одной строфы не помню из того, что написал.

Во время одной из последующих встреч я, набравшись смелости, признался, что тоже пишу стихи.

— Я это почувствовал, — сказал он. — Захватите как-нибудь с собой, я посмотрю.

Я отобрал десять — пятнадцать стихотворений и вручил ему. День проходил за днем, я все ждал, когда же он выскажется, но Туманян молчал. Я решил, что стихи мои ему не по душе, и не стал допытываться.

У Туманяна я познакомился с Газаросом

Агаяном, который наезжал в город из родного села, где он тогда жил.

В толстом пальто, в валенках, в калошах, он прямо из деревни ввалился к Ованесу. Они крепко обнялись и расцеловались, чрезвычайно довольные. Туманян и Агаян очень походили друг на друга: оба были вырезаны из одного дерева, из одного исконно армянского материала. Я почувствовал большую внутреннюю близость между ними, а в последующие годы убедился, что они были самыми близкими друг другу людьми. Ованес называл Агаяна «Братец-лев», а тот Ованеса — «Сынок-львенок»; потом оба со смехом говорили: «Ну, кому же под силу нас одолеть?»

В начале зимы 1895 года Ованес появился в Александрополе. Остановился в гостинице. Я упросил его перебраться к нам домой. В Александрополе Туманян пробыл с неделю. Он приехал из Тифлиса через Ахалцих и Ахалкалаки и направлялся в Ереван и Эчмиадзин. Туманян совершал эти поездки с какой-то миссией. Армянская общественность была потрясена тогда ужасающими известиями о резне в Турецкой Армении и леденящими душу рассказами очевидцев, которым удалось спастись. Каждый сознательный армянин тяжело переживал судьбу западных армян. Поездка Ованеса, несомненно, была связана с делами, относящимися к создававшемуся положению. С тех пор прошло более полувека, и я не помню точно, какова была роль Ованеса в этих делах, но он постоянно встречался с представителями интеллигенции и общественности города, интересовался судьбами беженцев и целые тетради заполнял их рассказами.

У меня хранится дорогая память тех дней — листок бумаги, на котором Туманян записал стихотворение «Две черные тучи», только что им написанное.

В суровые зимние холода мы проводили Ованеса в Ереван.

Весной 1896 года я был в Тифлисе. В те дни я только что познакомился с Дереником Демирчяном, который учился тогда в школе Нерсисян. Как-то вечером я повел его к Туманяну. Ованес уже читал его стихи, напечатанные в журнале «Мурч», и отзывался о них с похвалой. Поговорили на литературные темы, потом Ованес прочел только что заверченный им перевод «Мцы-

ри», который мы одобрили, сделав одно-два замечания.

Дереник ушел, а я заночевал у Ованеса. Время было невеселое. Армянофобская политика царизма приобрела особенно злостный характер, правительство закрыло армянские школы, закрывались армянские газеты, библиотеки и другие культурные учреждения. Тюрьмы были переполнены узниками из сочувствующих освободительной борьбе западных армян. Были арестованы Г. Агаян, А. Ширванзаде.

А в Турции армянский народ захлебывался в крови. Царское правительство заняло в армянском вопросе определенно враждебную армянам позицию. Императорский посол в Стамбуле Нелидов поощрял резню, организованную султаном Абдул-Гамидом. Нам было известно варварское желание министра иностранных дел Лобанова-Ростовского видеть «Армению без армян».

Действительность была ужасающе мрачна, и помощи не было ниоткуда.

Была уже поздняя ночь, когда мы стали укладываться. Ованес с лампой в руках стоял перед моей кроватью.

— Не убивайся так, дружище, в конце концов все будет хорошо. Армянский народ видел дни потяжелее этих. Не отчаивайся, пройдет и это.

Оптимизм вообще был преобладающим свойством души Ованеса, он никогда не впал надолго в безысходное отчаяние. Он верил в судьбу армянского народа и видел в будущем светлые горизонты.

Эта вера передалась мне, на душе стало легче, и я смог уснуть.

В начале 1898 года по распоряжению царской жандармерии я был выслан на год в Одессу. По пути в ссылку сделал остановку в Тифлисе и сразу же пошел к Ованесу. Так уж было заведено, что, бывая в Тифлисе, я обязательно навещал его почти ежедневно.

Вечером собралось много гостей, и разошлись они уже поздней ночью. Когда мы остались одни, Ованес прочел свою поэму «К беспредельности». Она была написана давно, а теперь он ее переделал, хотя и не окончательно. Ованес говорил, что поэма написана на реальном материале и факты в ней подлинны. Вещь эта произвела на меня чрезвычайное впечатление. Я пережил беспокойную ночь: воображение было раст-

ревожено и мне снились кошмары. Утром я пересказал их Ованесу.

— Это хороший признак,— заметил он.— Значит, поэма производит впечатление. Но эта поэма не соответствует духу моей поэзии. Для меня она — падчерница и по материалу и по стилю. Но пусть себе существует, пусть знают, что я кое-что могу и вне фольклора.

Это объяснение позабавило меня своей простодушной наивностью.

В 1899 году, уже возвращаясь из ссылки, я опять пробыл несколько дней в Тифлисе и, конечно, побывал у Туманяна. Ованеса я нашел удрученным, глубоко опечаленным. Он вернулся из села Дсех, куда ездил хоронить отца.

— Любимого отца хоронил. Есть ли горе большее, чем это — хоронить любимого человека! — с глубокой скорбью сказал он.

Ованес очень любил отца и всегда говорил о нем с восхищением. Даже годы спустя, когда речь заходила об отце, глаза его наполнялись слезами.

Я остался ночевать у Ованеса, и он до поздней ночи рассказывал о доброте, благородстве, о высоких душевных качествах своего покойного отца.

Ованес был человек радушный и общительный и словно притягивал к себе людей. Сам он больше всего на свете ценил добрую беседу. В какое время к нему ни зайдешь — бросит дела и, улыбаясь, заведет беседу.

Г. Агаян, Д. Демирчян, я и другие наши товарищи регулярно раз или два раза в неделю собирались у него. Его дом стал местом наших постоянных встреч. Ужинали, пили чай, разговаривали. Зимой сидели у пылающего камина, обменивались шутками, вели бесконечные беседы и споры.

Первое слово принадлежало Г. Агаяну, которого мы называли Патриархом, патриархом литературы. Все мы уважали и любили его и всегда прислушивались к его мнению и замечаниям. На этих вечерах, уступая нашим усиленным просьбам, Агаян пел рыцарственные песни любимого им Кёр-оглы в своем собственном переводе. Он вставал во весь свой изрядный рост, размахивал могучими руками и басом пел о Кёр-оглы.

Мы читали свои новые вещи, обсуждали их, обменивались мнениями. Говорили о но-

востях в армянской, русской и зарубежной литературе, делились впечатлениями.

О чем только не вели мы бесед! Говорили об общественных и политических явлениях, говорили об истории наций, о жизни народов, об искусстве, о философии, о литературе; особенно о литературе. Читали произведения классиков, и западных и восточных, читали и новых авторов. У каждого из нас был свой любимый писатель, что в сумме охватывало, в конечном итоге, почти всех гениев мировой литературы. Читали фольклорные произведения и восхищались бесхитростной доподлинностью созданий народа — русскими былинами, сербским эпосом, нашим Давидом Сасунским и многим другим. Нашим всеобщим кумиром был Саят-Нова. Мы возвели его в ранг гения, поклонялись ему, пели на всех наших пирушках его песни, почти уже позабытые. Мы бесспорно можем гордиться тем, что воскресили этого поэта, распространили молву о нем и создали популярность ему и его песням.

В первый период наших встреч как-то само по себе, то ли в шутку, то ли всерьез, родилось желание дать наименование нашему литературному кружку, нашим собраниям. Ованес сказал, что литературный кружок братьев Гонкуров (его членами были Эмиль Золя, Альфонс Доде, Тургенев, Гюисманс), который собирался в мансарде дома Гонкуров, так и называли «Мансарда». Кто-то — не помню уж кто — предложил по сходству ситуации название «Вернатун» («Горница»). Мы сразу одобрили его, найдя очень точным и уместным, ибо квартира Туманяна в это время была на четвертом этаже. Итак, мы окрестили место наших собраний «Вернатун».

Это название так и пристало к нам навсегда и получило права гражданства. В обществе нас прозвали «вернатунцы».

В «Вернатун» время от времени приходили в гости писатели, искусствоведы, историки, лингвисты, любители литературы. Бывали П. Прошян, Мурацан, В. Папазян, Комитас, художники Г. Башинджагян, П. Терлемезян и многие другие.

Незабываемо прекрасные часы провели мы в «Вернатуне», глубоко осмысленные, содержательные, вдохновенные.

«Вернатун» просуществовал лет семь-восемь. В 1906—1907 годах кружок прекратил свое существование, так как судьба разбросала его членов в разные края.

Помню некоторые высказывания Ованеса о литературе во время бесед в «Вернатуне».

— Помогать бездарным людям писать — бесполезный труд. Свои рога олень должен отрастить сам.

— Ни один критик не в силах ухудшить мое хорошее стихотворение или улучшить плохое.

— Не рифма и слог создают стихи, а сердце и чувство.

— Литература не имеет родины, но каждая страна имеет свою родную литературу.

В сентябре 1901 года Ованес приехал из Абастумана, где он лечился, в Александрополь. По пути он остановился в Ахалкалаки, посетил озеро Парвана, известная легенда о котором давно его интересовала. Здесь он слышал и легенду о крепости Тмук. Ованес не смог осмотреть крепость, но со склонов горы Абул рассматривал в бинокль эту твердыню, башни которой туманно вырисовывались вдали.

Туманян восторженно, пылко говорил о Парване и Тмуке, о легендах, и в его воображении мало-помалу уже складывались эти дивные поэмы¹.

Помню, как он читал первый вариант пролога к «Взятию крепости Тмук». Я пришел от него в восторг.

В Александрополе Ованес сказал мне, едва мы обнялись:

— Я ведь еще не был в Ани². Очень бы хотелось осмотреть его. Устрой мне это непременно, прошу тебя.

— С удовольствием! Нет ничего легче.

И два дня спустя мы вместе с поэтом Ованесом Костяняном, моим двоюродным братом, пустились в путь-дорогу. Остановку сделали в нашем доме в селе Казарапат, чтобы передохнуть и повидаться с моей матерью.

Ованес сразу же принялся расспрашивать нашего мельника и крестьян, знавших много сказок и народных песен, о «Тысячеголосом соловье» — известна ли им эта сказка. Спрашивал и о других фольклорных сюжетах. Он часами беседовал с крестьянами и записывал услышанное в тетрадь.

¹ На основе легенд об озере Парвана и крепости Тмук Туманян создал пользующиеся широкой известностью поэмы «Парвана» и «Взятие крепости Тмук». (Здесь и далее примечания переводчика.)

² Ани — столица средневековой Армении (ныне на территории Турции), отличалась великолепной архитектурой.

Всего два дня провели мы у нас дома. Ованес был охвачен нетерпением, ему хотелось поскорее увидеть Ани.

От нашего села до Ани от силы километров двадцать пять.

По пути мы посетили замечательный монастырь Горомоса, портик которого поистине достоин восхищения. Костанян сфотографировал нас стоящими у склепа царя Ашота Милостивого.

Мы приближались к великолепным стенам и башням Ани. Ованес был взволнован. Он ничего не говорил, только все ускорял и ускорял шаги, не отрывая взгляда от крепостных стен.

— И чего это ты так торопишься? — окликнул я его. — Царя Смбата еще не известили о твоём прибытии.

Ованес обернулся, хмуро посмотрел на меня и широкими шагами устремился вперед.

Он думал написать драму из жизни Ани, героем которой должен был стать царь Ованан Смбат Багратуни, «правитель многоумный и грозный», которому молва приписывала славу мудреца.

На это я и намекнул, вызвав неудовольствие Ованеса.

Наконец мы подошли к главным воротам...

Ованес остановился и буквально застыл как вкопанный. Долго смотрел молча.

Уже стемнело, когда мы добрались до жилища настоятеля монастыря, которое служило также и гостиницей для посетителей. Вдруг раздался страшный крик и одновременно прогремел ружейный выстрел. Пуля пролетела перед самыми нашими лицами; сделай мы еще один шаг — как знать, какая была бы наша судьба.

Выяснилось, что настоятеля нет, а слуга, вообразив, что пришельцы — разбойники, с перепугу вздумал обороняться таким неуместным образом.

— Послушай-ка, — сказал Ованес слуге, увидев берданку, — ты что же это, собирался уложить одной пулей сразу трех поэтов?

— Удачно отделались, видно, не подошел еще ваш срок, — ответил слуга с полнейшим равнодушием.

С раннего утра мы пошли бродить среди знаменитых развалин. Ованес внимательно и восхищенно разглядывал каждый обломок, отмеченный печатью искусства. Молча, погруженный в раздумья, бродил он, увле-

ченный внутренней беседой с прошлым, останавливался перед изумительными творениями зодчества, напряженно всматривался в колонны, арки и барельефы, потом закрывал глаза и вслушивался, словно слышал музыку, необычную, неземную.

Величавая и прекрасная архитектура Ани произвела огромное впечатление на Ованеса. Когда мы уходили и были уже вне крепостных стен, Ованес в последний раз взглянул на Ани и сказал:

— Какой же должен быть человек бессмысленной тварью, чтобы поднять руку на такое чудо! Неужели вся эта красота погибнет, не оставив следа в искусстве армянского народа и других народов? Какой степени развития достигло бы наше искусство, если бы турецко-татарские племена не разорили наш народ!

1903—1905 годы были тяжелыми для армянского народа. Армянофобская политика царизма продолжалась с еще большим ожесточением. Наместник Кавказа князь Голицын, дойдя в своей ненависти к армянам до иступления, измышлял все новые беды для армянского народа.

Не удовлетворившись закрытием армянских школ и культурных учреждений, царь и его реакционное чиновничество прибегли к насильственному отчуждению имущества армянской церкви — имущества, которые армянский народ уже столько веков хранил в Эчмиадзине для нужд церкви и национального просвещения.

Грабители национального достояния повсеместно были встречены народом с оружием в руках. С обеих сторон пролилась кровь. «Армянский народ бунтует, желая отделиться от России, хочет основать свое государство, от Киликии до Ростова и Нахичевани», — надрывались крупные и мелкие голицыны и провокационная пресса, дабы оправдать жестокие акции властей. Тюрмы были переполнены тысячами армян; более того, власти приложили руку к поистине дьявольскому делу — натравили друг на друга армян и тюрков. Начались кровавые армяно-тюркские столкновения... Ованес был всецело поглощен тем, чтобы любой ценой положить конец этой бессмысленной братоубийственной расправе, которая лишь продлевала существование царской тирании. Именно в те дни он во главе группы вооруженных армянских крестьян ездил в Лори, в соседние тюркские селения и заключал

мирные соглашения, благодаря которым в этих краях сохранился мир.

В те годы я нередко встречался с Ованесом в Тифлисе, Александрополе, Ереване, Эчмиадзине.

Летом 1906 года, в июне месяце, я отправился в село Дсех в гости к Ованесу Туманяну. Он со всей семьей жил тогда в Дсехе в старом дедовском доме, над которым сделал деревянную надстройку.

В большой семье Ованеса верховодила его мать. Почтенная старушка, как княжеский скипетр, держала в руках половник и отдавала приказания всем, от мала до велика. От зари до позднего вечера над домом Ованеса вился дымок, весь день горел огонь в тинарах¹ и очагах, варилась в котлах еда.

Я в Лори. На родине Сако, Саро, Ануш². С Ованесом, под его кровлей. Что может быть сладостнее этих часов! Мы бродили с Ованесом по Дсеху и окрестностям. Дсех — село древнее, кругом следы старины. Мы побывали на кладбище, посетили могилу отца Ованеса. Глаза моего друга наполнились слезами... Восемь лет прошло со смерти отца, но сыновнее горе не утихло. Ованес снова и снова рассказывает мне о своем чудесном отце.

— Благородный был человек, добрый, с любящим сердцем, с поэтической душой. Все, что есть во мне хорошего, — от отца, — говорил он.

Мы отправились осмотреть великолепный монастырь святого Григория, прекрасное творение нашей средневековой архитектуры.

Осмотрели и озеро, которое жители Дсеха со свойственной лорийцам страстью к гиперболам именуют морем. Поднимаемся вверх по склону горы, туда, где начинаются леса Марца.

Все это свидетели детства и детских игр Ованеса.

Со всех сторон вонзаются в небеса горные вершины, на склонах их, покрытых лесами, растут на высоких утесах громадные деревья, еще выше гнездятся орлы. Из ущелий поднимается дымок — это кочевья пастухов, там живут исполнины, подобные туманяновскому Сако.

¹ Вырытое в земле и обмазанное глиной углубление, служащее для выпечки хлеба.

² Сако — герой поэмы «Сако Лорийский»; Саро, Ануш — герои поэмы «Ануш».

Ованес показывает мне горы: вот это — Чатиндаг, над его вершиной всегда собираются черные тучи, каждый день грохочут раскаты грома и сверкают молнии. Вот гора Кошажар, там много косуль; в детстве Ованес целыми днями гонялся за ними.

Вокруг деревни шумят листвою величественные ореховые деревья. Под которым же из них Ованес получил благословение старейшин своего села?..

Мы совершили верховые поездки по лорийским деревням. Побывали в Одзуне, Сананне, Ахпате и других местах. объездили почти весь Лори.

«Чтобы понять писателя, надо побывать на его родине», — говорил Гёте.

Лори — это замкнутый, патриархальный мир, эпический, богатырский край, край сказок и легенд; каждый его уголок — заветное предание, каждый камень повествует о героическом прошлом.

Вот на мосту, переброшенном через бурный Дебед (Дэв-Бед), сидит ашуг и, подыгрывая себе на сазе, повествует о стародавних битвах с дэвами и о борьбе, которую ведут сегодня лихие удалыцы, плоть от плоти своего народа, против угнетающих народ богатеев, против чиновников правительства — насильников и притеснителей.

Ованес подхватывает слова певца и с воодушевлением рассказывает мне историю о сыновьях Чопура. В восьмидесятых годах против угнетателей-помещиков поднялся старший из сыновей Чопура Согомон. Он убил помещика и с тремя братьями ушел в горы. К ним примкнули другие храбрецы из недовольных. Царское правительство со всеми своими стражниками и казаками годами не в силах было изловить их.

Ованесу еще в юности хотелось написать поэму о героической борьбе сынов Чопура. Удивительный по красоте отрывок из поэмы «Стенания» — драгоценный фрагмент этого неосуществленного замысла.

Храбрость, лихая отвага неотъемлемо присущи лорийцам. Предок Туманяна Оваким — это тот самый отважный патриарх лорийских лесов и ущелий, Меграбян-Туманян, о котором гомеровским слогом повествовал Хачатур Абовян¹.

Это был исполин, словно высеченный из скалы. В бесчисленных сражениях он за-

¹ Хачатур Абовян (1805—1848) — основоположник новоармянской литературы, автор романа «Раны Армении».

щищал Лори от опустошительных грабительских набегов лезгин и кызылбашей.

Ованес и сам храбрел хоть куда, отличнейший стрелок и охотник.

Мы ездили по лорийским деревням, где все крестьяне знали Ованеса и относились к нему с глубоким уважением. Ованес тоже знал почти всех, особенно людей в летах, беседовал с ними, шутил на лорийском диалекте с его особым вкусом и ароматом.

Он знал жизнь многих крестьян, забавные происшествия из их пастушеского житья-бытья, рассказывал об их схватках один на один с медведями.

В Лори Ованес был в своей родной стихии. Среди великолепной природы, в горах и ущельях, полных преданий, легенд и воспоминаний, в него словно бы вливались новые силы. Его волновали каждый камень, каждое дерево, он узнавал каждую ложбину, лесок, ручей, с которыми были связаны заветные воспоминания детства и юности. Он знал о них бесчисленное множество разных историй, был досконально знаком во всех подробностях с древней и новой историей Лори.

Ованес показал мне среди высоких, величавых утесов те пещеры, из которых в последние годы были извлечены древние армянские рукописи. Наши деды спрятали их в этих неприступных местах, чтобы уберечь от уничтожения.

Патриархально-богатырский Лори с его великолепной природой, с его преданиями и традициями, древний народ этого края со своими взглядами на жизнь, со своими заботами и со своей борьбой за свободу и счастье были источником вдохновения Ованеса. Здесь брал начало могучий поток, питающий народность творчества Туманяна.

Язык Ованеса, его стиль, прозрачная ясность его поэзии идут от необозримо обширного векового фольклора этого чарующего края.

Всей душой, всей страстью и пламенем своей души Ованес любил родной Лори.

Эта могучая страсть воспламенила, окрылила его воображение, придала красоту его произведениям. Его сказочно прекрасная родина и ее трудолюбивый негибемый народ поэтически воссозданы в его бессмертных творениях.

Как я уже говорил, Лори был неиссякаемым источником вдохновения для Ованеса так же, как для прославленного поэта Ми-

страля — его изобильный плодородными виноградниками, оливковыми рощами и памятниками старины Прованс, который воплотился и обрел бессмертие в его пленительной поэме «Мирейо», в этой прованской «Ануш».

И только идя этим путем, путем народного искусства, поэты, которых породила маленькая страна и малый народ, становятся мировыми величинами, как стали ими Мистраль и Туманян.

И как облик Туманяна гармонировал с пейзажами Лори, с его природой! Он был плоть от плоти и дух от духа этого края, словно Хафиз, в раздумье бродивший среди цветников Ширази, или Пушкин среди широколиственных дубрав и полноводных рек России.

Он любил Лори, как влюбленный романтический юноша любит непорочную деву своих грез. Ничья рука не смеет осквернить ее, ничье дыхание, ничто не должно запятнать ее заветную чистую красоту.

И Ованес, подобно Джону Реоскину, огорчался, что через дивные альпийские луга, ущелья, девственные леса прокладывают железную дорогу, что техника уничтожает первозданную красоту природы, ланей, птиц, пастушьи песни, тишину и таинственность...

Постоянной мечтой Ованеса было построить дом в Дсехе или в другом, еще более живописном уголке Лори, перевезти туда библиотеку и работать там над незаконченными поэмами «Тысячеголосый соловей» и «Давид Сасунский».

Во время наших прогулок мы полушутя присматривали даже подходящее место для дома.

Из-за неустойчивого политического положения и по другим причинам это желание Туманяна так и не сбылось.

В декабре 1908 года царские жандармы арестовали Ованеса и меня и по обвинению в антиправительственной деятельности продержали шесть месяцев в Метехской тюрьме в Тифлисе. Камеры наши были рядом. В тюрьме Ованесу исполнилось сорок лет. По этому поводу он написал прекрасное стихотворение «Спуск с перевала». Мы отпраздновали его юбилей со смешанным чувством грусти и радости. В тюрьме же он написал и стихотворную легенду «Капля меда».

Летом 1911 года я вынужден был бежать за границу, чтобы избавиться от преследований царских властей. Из Тифлиса я выехал в конце июня, в день похорон Газароса Агаяна. После похорон мы с Туманяном пошли к нему домой.

Скорбный, невеселый был день. Мы безвозвратно лишились нашего любимого Патриарха, а я должен был покинуть родину, быть может, тоже навсегда. Невозможно описать эти тяжкие минуты расставания.

Была уже поздняя ночь. Мы обнялись в последний раз, молча, без единого слова. Это была последняя наша встреча...

Туманян был необыкновенно жизнелюбивый человек. Человек пылкого темперамента. Его переполняли пламенные стремления, мечтания, желания. Его душа не знала утления и пресыщения: он хотел все иметь, всего достичь, быть повсюду. Хотел и писать, и быть общественным деятелем, и политиком, и, разумеется, все делать хорошо. У него не было времени на одинокие раздумья, он был постоянно погружен в споры, собрания, встречи. Общество притягивало его к себе, он стремился к нему, и друзья всегда группировались вокруг него. Он был украшением любого общества, душой, искрометным факелом встреч и застолий. Везде он был тамадой, и тамадой непревзойденным. Все его уважали, все его любили. Тот, кому довелось хоть один раз увидеть его, стремился видиться с ним постоянно. Быть в обществе Ованеса, слышать его беседу, его шутки, его остроумные каламбуры было высшим наслаждением. Куда бы ни пришел Ованес, он приносил с собой веселье; те, кто был с ним, забывали, что на свете есть горе и несчастья.

Он оплянял на пирушках не вином, но своим юмором, своим колдовским языком, чарующей находчивостью, остроумием, вкусом. Казалось бы, Ованес должен был чувствовать себя счастливым — уважение обществу, любовь женщин, поклонение любящей литературу молодежи, слава и известность. Однако он был недоволен собой и жизнью, которую ведет. Его томила жажда работы. То, что уже было сделано, он считал слабыми и несовершенными набросками, не выражающими до конца его души. Он хотел написать «Тысячеголосого соловья», в котором желал выразить свою сущность. Это должен был быть «Фауст» Востока. Хотел написать драму «Артавазд» — из мифологического прошлого армянского народа. Хотел, уподобившись Гомеру или Фирдоуси, обработать весь эпос о сасунских богатырях. В своих силах он был уверен. Но чтобы писать, нужно было время, а времени-то у него и не было. Не было даже житейского представления о времени. Он не любил часов и не хотел пользоваться ими: не любил жить отмеренным временем. Подобно детям, он обладал чувством вечности своей жизни и всегда щедро расточал свое время, а вместе с ним — вдохновение, энергию, душевный пыл и силы...

Шестнадцать лет прошло с нашей последней встречи; когда я вернулся из-за границы на родину, Ованеса, увы, уже не было. Не было этого великолепного, бурно жившего сразу тысячами жизней человека. Вместо него я увидел лишенный всякого величия могильный холмик и великое молчание...

*Перевела с армянского
Нелли Хачатурян.*



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕПИСКА И. Е. РЕПИНА И А. И. КУПРИНА

(Публикация и комментарии К. А. Куприной)

Нежная, полная взаимного преклонения дружба между Куприным и Репиным возникла в начале девятисотых годов. Прочитав только что появившуюся в печати повесть Куприна «Поединок», Репин писал о ней Стасову в 1905 году: «Замечательное произведение, я давно уже ничего с таким интересом не читал. С громадным талантом, смыслом и знанием среды — кровью сердца написана вещь».

Куприн считал Репина «художником величиною с Казбек», сравнивал его в живописи с великим Толстым.

Начиная с 1905 года мой отец несколько раз посещает «Пенаты», усадьбу Репина в Куоккала (теперь Репино).

В 1920 году из Финляндии он часто пишет Репину, мечтает снова поехать в «Пенаты», где Илья Ефимович уже готовит полотно и кисти для портрета Куприна, который, к сожалению, так и не был написан.

Поездка эта не состоялась, и больше с Репиным Куприн не виделся. Много лет спустя, уже из Парижа, незадолго до смерти Репина, он с горечью писал художнику: «Теперь у меня еще сильнее желание повидать Вас хоть на минуточку. Хоть только потереться щекою о Вашу рукав. Как Вашу чудесную живопись, так и Вас всего люблю я с наивной дикарской чувственностью. Так же люблю Пушкина, Толстого и Бетховена...»

Репин для Куприна был как бы олицетворением громадной силы и необъятного таланта русского народа.

Ниже печатается неопубликованная переписка Куприна и Репина, относящаяся к тому времени, когда оба они оказались за границей¹ (она составит главу книги воспоминаний, над которой я сейчас работаю).

1. А. И. Куприн — И. Е. Репину

14 января 1920 г. [Хельсинки.]

Многоуважаемый, обожаемый, дорогой Илья Ефимович!

Два письменных обстоятельства вдруг напомнили мне с необыкновенной живостью о Вас. Первое — я сейчас читаю «Дневник писателя» Достоевского (1873 г.) и там нашел большую его статью о «Бурлаках». Второе — в тот же день ко мне зашел С. Животовский² и сказал, что Вы в письме к нему упомянули, кстати, и обо мне двумя-тремя словами теплого колорита. Вы представляете только, как меня это сообщение обрадовало здесь, в глубоком тылу, среди равнодушных, скучных, себялюбивых, жадных и трусливых бездельников и абсолютных невежд!

¹ Письма А. И. Куприна к И. Е. Репину хранятся в Архиве Академии художеств СССР (Ленинград). Письма И. Е. Репина к А. И. Куприну находятся в ЦГАЛИ, кроме № 2, хранящегося в Архиве Академии художеств (черновик). В тех случаях, когда письма не были датированы, в скобках указываются предположительные даты. Для того, чтобы сохранить цельность публикации, в выдержках приводятся письма, напечатанные в «Ленинградском альманахе», № 14, 1958 (публикация И. А. Бродского). Комментарии к тексту К. А. Куприной даются курсивом.

² Животовский Сергей Васильевич — знакомый Куприна и Репина.

Меня застала волна наступления С[еверо]-З[ападной] армии в Гатчине: вместе с нею я откатился и до Ревеля. Теперь живу в Helsinki и так скучаю по России [...], что и сказать не умею. Хотел бы всем сердцем опять жить на своем огороде, есть картошку с подсолнечным маслом, а то и так или капустную хряпу с солью, но без хлеба [...] Никогда еще, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по родине. Каждый кусок финского smörgösa становится у меня поперек горла, хотя на самих финнов жаловаться я не смею. ко мне они были предупредительны. Но я не отрываюсь мыслью о людях, находящихся там [...]

Искренно и всегда Вам преданный

Ваш А. Куприн.

2. И. Е. Репин — А. И. Куприну

19 (6) января 1920 г. Куоккала.

Только сейчас получил Ваше дорогое письмо от 1-го (14-го) янв[аря].

Вот не ожидал!!! Милый великодушный Александр Иванович... Да это не сон ли?!. Могла ли когда думать Гатчина, что Куприн будет скучать о ней и вспоминать картошку с подсолнечным маслом и хряпу!..

[...] А и со мной финны обращаются очень дружески... Это было так давно, что я тут голодал: вобла да вобла, и пасха — а вместо кулича все вобла; а хлеба никакого... Но я тут одиночеству: дочери Веры уже более года не видал, она в Питере. Дом здесь отапливается только частями — нет дров... А у Веры (Карповка, 19) в комнатах 3 гр. мороза — вода замерзает и пр., что уже Вам известно лучше.

В феврале 1920 года Куприн написал Репину о своем желании приехать в «Пенаты»:

«Две недели подряд я хлопотал о визе в Куоккалу. Хотелось, до коллик, поехать повидаться с Вами, хотя бы на денек. Но разрешение так запоздало, что, ко времени его получения, я уже был лишен возможности поехать. Это мне, конечно, в наказание за то, что я, раньше чем действовать, не спросил Вашего согласия. Ибо кто-то очень метко сказал: «Лучшие сюрпризы те, о которых заранее предупреждают»... Господи! Как хочется — не поехать — а только внутри себя чувствовать: «Вот захочу и поеду!»

В этом же письме далее Куприн вспоминал одну из первых своих встреч с Репиным. Это было в «Пенатах» в 1905 году:

«Сейчас, когда я пишу глубокой ночью, вспоминается мне один летний день далеко в Куоккала, так лет 14—15 тому назад. Я был у Горького. Он собирался к Вам читать свою пьесу «Дети солнца», а во время этого чтения М. Ф. Андреева должна была Вам позировать для портрета. Андреева у себя дома была в очень простом, но чрезвычайно милом платье, черном, которое шло к ней как нельзя лучше. Но Горький стал ее уговаривать, чтобы она надела какое-то другое платье, которое ему «так нравится».

Не помню теперь, что именно она надела, что-то очень говорливое, и мы пришли к Вам. Помню Ваш прищуренный взгляд и голову, слегка склоненную набок, когда Вы к ней быстро присмотрелись и потом спросили, нет ли у нее чего-нибудь другого, попроще. Тогда она отправилась домой и через некоторое время явилась в прежней, утренней одежде. Невольно Вы польстились верности моего взгляда, и, сознаюсь, мне это тогда было приятно. До сих пор этот маленький случай был тайной между нами. Я также должен сказать, что я не так прислушивался к чтению пьесы (я не умею слушать, если читают вслух, сейчас же, прицепившись к любой мысли, начинаю думать о своем и прихожу в себя лишь тогда, когда обедня кончается), как любовался Вашей работой. Палитра у Вас лежала на полу (это было в стеклянном павильоне); Вы придерживали ее ногой, когда нагибались, чтобы взять кистью краску; отходили, всматривались, приближались, склоняли голову и слегка туловище, с кистью то поднятой вверх, то устремленной вперед, писали и быстро поворачивались, и все это было так естественно, неволь-

но, само собой, что я видел, что до нас, посторонних зрителей Вашего дела, Вам никакого интереса не было: мы не существовали.

Тогда-то, помню, я подумал: «А ведь как красивы все бессознательные движения человека, который, совершенно забыв о производимом впечатлении, занят весь своей творческой работой или свободной игрой».

В том же письме Куприн обратился к Репину с просьбой:

«И еще одна просьба, вымолвить которую я бы ни за что не отважился, до того она нагла. Мне хотелось бы иметь у себя, всегда при себе и с собою, хоть какой-нибудь ключок, на котором что-нибудь сделано Вашей рукой. Уверю, что впервые в моей жизни я попрошайничаю таким образом и делаю это, во-первых, из моей сорокалетней (я мальчишкой-кадетом впервые увидел Ваши картины в Третьяковке) неизменной любви к Вашему гению, а во-вторых, Бог весть как еще разойдутся и когда сойдутся наши дороги — думаю уехать в Америку. А моя просьба скромная: все равно, чем это будет сделано, пером или карандашом (уголь я не сумею зафиксировать) и все равно что — дерево, петух, скамейка, рука, лицо, финн, рыба, треугольник. Это не для коллекции, а для складня.

Откажете—я не обижусь. Боюсь только, что на Вас произведу неприятное впечатление с просьбой! Этого ужасно боюсь».

З. И. Е. Репин — А. И. Куприну

3 марта 1920 г. «Пенаты».

Обожаемый Александр Иванович!

[...] Вы думаете принести жертву — приехать сюда? У меня разыгралась фантазия: дня на три?! Да, предупредитель! Сюрприз этот стоит использовать внимательно. И я с холстом и красками сейчас же начну с Вас — ну, что выйдет... Ах как хотелось бы. Я так давно не видал Вас. Тогда еще очень молодой Куприн мне казался похожим на молодого Вакха. Но скромный, очень скромный: приезжал на велó и в нашей тесненькой столовой забирался в самый угол. А какая силища, какая мускулатура! Такие формы бицепсов и дельт не спрятать: все сквозит под рубашкой. И мне чувствовался всегда такой вес в этом Дионисосе! Мы тут сидим: Горький, Андреев, Скиталец и еще многие, но когда я невольно тянулся к Куприну, то мне казалось, он своей тяжестью подымает нас всех на доске. Ах, да, если бы Вы сюда приехали! Но торопиться с этим не следует. Здесь еще все занесено глубоким снегом; в доме обогреваю только три комнаты, и я трепещу: Вы заскуча-а-аете от моей древности. А через месяц уже будет сносно. И тогда покажу Вам целый иконостас для выбора — берите, что понравится.

Вспоминаю анекдот — Вы знаете, я слышал это от Лернера¹. Будто бы однажды Пушкин на коленях выпрашивал у Брюллова понравившийся ему рисунок. Я даже нарисовал вроде карикатурки эту сценку и подарил ее Лернеру.

Приезжайте, приезжайте, милый, дорогой, светлый... А как Вас любил Лев Толстой. Когда мы гостили у них зимою однажды, он все читал Ваши творения, с какою-то радостью до слез...²

Ваш Илья (ибо есть еще Юрий³, который видел Вас — счастливцев — в Гельсингах в каком-то ресторане, с Вашими дочерьми) Репин.

¹ Лернер Николай Осипович (1877—1934) — известный пушкинист.

² В сентябре 1907 года Репин с женой Н. В. Нордман-Северовой гостил в Ясной Поляне. В один из этих дней Толстой читал вслух рассказы Куприна «Ночная смена» и «Allezi!», «читал с усилием, но с большим удовольствием; много смеялся, а за ним и другие». По окончании чтения он сказал: «Как это верно! Ничего лишнего... Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну» (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М. 1928, стр. 24—25).

³ Сын Репина, Юрий Репин (1877—1955), художник.

В одном из следующих писем Куприн писал Репину:

«Кажется, Филипп II испанский, посетив мастерскую Сурбарана, следил за его работой и осмелился сделать ему замечание технического характера. Художник возразил, не оборачиваясь:

— Полагаю, ваше величество, что если бы вы присутствовали при сотворении господом богом мира, вы не отказали бы и ему в своих советах.

Так сейчас буду и я перед Вами.

Почему, Илья Ефимович, Вам никогда не приходила в голову мысль написать «Дядю Ерешку» (из «Казачков») (повести Толстого.— К. К.). Этого охотника, пьяницу, джигита, Пана, анахорета, язычника, от которого так уютно и не неприятно пахло чихирем, табаком и дичью...»

Поездка в «Пенаты», о которой мечтал Куприн, никак не удавалась. С горечью пишет он об этом Репину, вспомнив эпизод из своего детства:

«Помню я одну трогательную картину, которую наблюдал в раннем детстве в Тр[оице]-Сергиевой Лавре. Я стою с одной дамой, монастырской покровительницей и благодетельницей, на бульварчике, что около стены лаврской, а сверху из окна, забранного железной решеткой, т. е. из карцера, виднеется бородатая голова монаха, который жалобно кричит моей даме:

— Оленушка, друг сердеченькой, разоздрили нас с тобой!..

Ох, боюсь, драгоценный Илья Ефимович, что, кажется, судьба скоро и меня разоздрит от Вас. Я не могу пожаловаться на Финляндию—ко мне здесь отнеслись предупредительно и, сравнительно с другими, гостеприимно. Раньше я был даже влюблен немножко в Гельсингфорс, но никогда не думал, что мне придется в нем жить поневоле [...] Я отдаю должное усердной финской культуре, но эти люди для меня — другая планета».

4. И. Е. Репин — А. И. Куприну

31 марта 1920 г. «Пенаты».

Ах, дорогой, милый Александр Иванович. Неужели я Вас не дождусь уже?! А комната Вам готова, и я все мечтал, что Вы будете заказывать блюда, что Вы любите... И холст готов, и дом уже почти весь теплый... Разумеется, есть вещи поважнее, и я смиренно поджимаю хвост...

Благодарю, благодарю за письмо. Только Вы меня не балуйте, не развращайте. Я, особенно теперь, так прозрел об искусстве, так понял суть его и так часто вспоминаю тургеневское — «человек делает не то, что он хочет, а то, что он может». И совесть грызет, как никогда еще, за слишком щедрую оценку моих данных. Да, мне в этом везло, ну зато и достанется на том свете... Простите, ради бога... Это я захныкал, когда получил известие от Леви¹, что Вашему решению на проезд уже истек срок — разоздрили!..

А насчет дяди Ерешки — эх, богатая мысль — какой Вы художник! Но я уже даже теоретически дошел, что иллюстрировать — значит идти на верную неудачу. Каждый chef-d'œuvre не потерпит повторения и наказывает презрением за тщетные потуги (а сколько у меня их было!) равняться с ними — никогда не сравняться!

А вы напрасно отвертываетесь от Ваших стихов. Львиная лапа и на них видна, и «кровь, что мы зовем поэзией», бьется... Но еще раз простите — это не моя компетенция.

А все еще подожду... авось [...]

Ваш Ил. Репин.

¹ Леви Василий Филиппович — художник, ближайший помощник И. Е. Репина в его выставочных делах.

А я погружен в «Яму»¹. Автор беспощадно вскрывает анатомическим ножом. Человечность, равенство со всеми пороками встают во всей своей пластике. Страшная назидательная картина.

5. А. И. Куприн — И. Е. Репину

[Февраль—июнь 1921 г.]

Дорогой и обожаемый Илья Ефимович.

Редакция журнала «Отечество» просит Вас принять участие в созидательной ее работе.

Это официально.

А сердечно и я умоляю:

Дайте нам одну из Ваших прелестных, интимных (одно слово не разобрано. — К. К.) статей-мыслей об искусстве или о чем хотите. Вы везде сам-свой.

Если сможете прислать фотографический снимок одной из Ваших последних работ, будем тоже очень признательны. И, конечно, все это превратим во франки.

Редактор, но тем не менее всегда преданный Вам

А. Куприн.

Это письмо было написано на бланке еженедельного иллюстрированного литературно-художественного журнала «Отечество», который издавался в те годы в Париже. На обороте купринского письма И. Е. Репин тотчас же начал набрасывать свой ответ: «Говорить стоит только о таком искусстве, которое действительно есть искусство. Оно незабвенно, оно очаровательно.

Искусство должно быть очаровательным.

Если в нем нет этого нектара жизни, то оно — ничто. И мы замечаем, любим, интересуемся только этими цветами души художника.

Без очарования мы не видим, не помним и не можем даже приковать к такому псевдохудожеств[енному] предмету нашего внимания — отворачиваемся, скучаем.

И художники это всегда чувствовали.

Сколько было выдумок, сколько отчаянных скачков в разные стороны, всяких вычуров, сколько похвальбы самонадеянных новаторов; часто целыми полчищами шли они брать с бою свои крепости. Они всегда разбивались, превращались в груды мусора и выметались никем не обласканные, быстро забытые.

Во всякую эпоху нам памятных истинных созданий нельзя не видеть страстного, преданного стремления к очарованию. Традиционно, преемственно, долгими упражнениями целыми школами бились любящие сердца в достижении воплощений своих художественных образов, разными приемами, всевозможными подходами, пока не доходили до чего-нибудь очаровательного, незабываемого.

И это, т. е. очарование,— при всякой оценке художеств — должно быть первым условием» (опубликовано в журнале «Искусство», № 5, 1940).

Куприн вообще не раз обращался к Репину с просьбой высказаться по вопросам искусства. Так, еще раньше из Финляндии он писал ему:

«Я лично — усердный и внимательный читатель всего, чем Вы делились с публикой в печати. У Вас всегда какая-то своеобразная точка зрения на вещи и явления, особый, обостренный взгляд и такая интимная, искренняя и независимая манера изложения.»

Репин послал тогда для газеты «Новая Русская жизнь» статью о «пролетарском искусстве» (напечатана в отрывках в журнале «Искусство», № 6, 1960. Публикация Э. М. Ротштейна).

¹ Повесть Куприна «Яма», написанная в 1908—1914 годах, вызвала при появлении споры и самые противоположные оценки. О своем впечатлении от второй части «Ямы» Репин в эти же дни писал и В. Ф. Леви: «Какая сильная, интересная вещь!» (ЦГАЛИ).

В 1920 году переписка между Куприным и Репиным прекратилась почти на четыре года. В мае этого года Куприн сообщил Репину о своем намерении уехать из Финляндии в одну из стран Западной Европы:

«Присно-милый и паки-уважаемый Илья Ефимович! Не моя воля, но сама судьба наполняет ветром паруса нашего корабля и гонит его в Европу. Газета скоро кончится. Финский паспорт у меня лишь до 1-го июня, а после этого срока будут позволять жить лишь гомеопатическими дозами, и придется мне через день бегать по канцеляриям, стучаться лбом, умолять о продлении [...] Тоска здесь... Впрочем, тоска будет всюду, и понял я ее причину вовсе недавно. Знаете ли, чего мне не хватает? Это — двух-трех минут разговора с половым из любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с володимирским плотником, с мищевским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка! [...] Меня, бывало, одно ловкое и уклюеет слово приводило на целый день в легкое теплое настроение. Помню, я говорю извозчику: «Лошадь-то у тебя, Ваня, как исхудала». А он мне: «Что и говорить. Одно основание осталось». Основание! Какая чистая замена иностранного слова «скелет». Вот когда я понял до конца ту загадку, почему и Толстой, и Пушкин, и Достоевский, и Тургенев (немного вычурно) так хорошо признавали в себе эту тягу к языку народа и к его непостижимой, среди грубости, мудрости. Как-то жалко, жалко мне, что уеду далеко от Вас. Я и в третий раз пробовал было пощупать путь на Куоккала — не выходит. Да и газету надо проводить до ее почетного конца. Буду писать Вам из... Вот и сам не знаю откуда. Есть три дороги — Берлин, Париж, Прага. На столбе под именами городов что-то написано. Но я русский малограмотный витязь, плохо разбираю, кручу головой и чешу в затылке. А главная мысль одна: «домой ба!»

В июле 1920 года Куприн поселился в Париже. Но связь не прервалась. Александр Иванович продолжал посылать Репину свои книги и газетные статьи.

С 1924 года переписка возобновилась. 6 августа 1924 года Куприн писал из Парижа в «Пенаты»:

«Дорогой, прекрасный, милый, светлый Илья Ефимович,

П. А. Нилус¹ вычитал мне из Вашего письма тот кусочек, где обо мне. К великой моей радости, я узнал из этих слов, что Вы не окончательно забыли Вашего преданного друга и любящего почитателя — скромного скрибу Куприна. Крепко обнимаю Вас за это, протягивая длани от пыльного, горячего, ныне опустевшего, но все еще грохочущего Парижа до тихой и нежной зелени «пенатских» берез. Во Франции тоже есть, как диковинка, пять-шесть берез, но—увы!—они не пахнут, даже если растереть их зазубренный листок в пальцах и поднести к носу.

Эмигрантская жизнь вконец изжевала меня, а отдаленность от родины приплюнула мой дух к земле. Вы же живете бок о бок с Ней, Ненаглядной, и Ваш привет повеял на меня родным теплом. Нет, не вод мне в Европах!» («Ленинградский альманах», № 14, 1958, стр. 203).

Куприн в этом письме напоминает и о своей давней просьбе:

«Что касается «картинки», то я давно уже примирился с положением: «обещанного три года ждут». Правда, у меня давно уже и место для нее уготовано в моей рабочей комнате... Да и зачем «картинка»? Так бы что-нибудь: одна карандашная линия и под ней магические две буквы И и Р».

Репин прислал Куприну в подарок свой рисунок «Леший». Посланный через А. Ф. Зеелера, знакомого коллекционера, рисунок застрял в дороге. Не зная об этом, Куприн пишет:

«Я Вам долго не писал оттого, что я очень мнителен. Мне показалось, что Вам стало неприятно, когда я принялся кланяться у Вас какой-нибудь этюдик. Столько лю-

¹ Нилус Петр Александрович (1869—1943) — писатель и художник. Куприн сообщил Репину, что «П. А. Нилус выставился у Petit в глухой сезон, но тем не менее кое-что продал Французская пресса отнеслась к нему любезно. Русская обмолчала» («Ленинградский альманах», № 14, 1958, стр. 203).

дей — подумал я — к Вам с этим приставало!.. Ну, слава богу, все хорошо! Если надумаете прислать мне Ваш этюд, то лучше всего это сделать через Юрия Александровича Григорьева, редактора «Н[овой] Русской жизни», Elisabeth Gatan, 29. У него всегда может быть оказия в Париж, и я ему об этом сейчас напишу.

Я теперь надолго-надолго осужден странствовать, подобно Вечному Жиду, по чужим странам и городам, с паспортом в кармане и с чемоданчиком в руках. А в чемоданчике у меня будет кожаная двухстворчатая рамка. С одной стороны — Ваш этюд, с другой — портрет Толстого с его надписью. Придя куда-нибудь, разверну, поставлю на стол и скажу: «Здравствуйте, отцы! Такую Россию бык не сжует и собаки не сожрут, только лишь послуняют».

6. И. Е. Репин — А. И. Куприну

24 августа 1924 г. «Пенаты».

Милый, дорогой, сердечно любимый, сверкающий, как светило, Александр Иванович!!! Как мне повезло: письмо от Вас! Не верю глазам. И как Вы пишете! Ваши горячие лучи все сжигают, всякий лепет 80-летнего старца сгорит в могучих лучах Вашего таланта... А я ведь, давненько уже, послал на имя Зеелера (Rue de Prony, 33) один эскиз «Лешего» и подписал на нем Ваше имя. Но, может быть, Вы его, Зеелера, не знаете? А он страстный любитель живописи и [...] выразил такую страсть иметь что-нибудь мое, что я, запаковывая рисунок ему, наткнулся на эскиз «Лешего», и вдруг произошел незадержанный рефлекс (как говорили в старину) — а не послать ли его с передачей Александру Ивановичу? Так и сделал. А вот уже около месяца прошло — никакого ответа. Не пропала ли моя посылка? Зеелер очень аккуратный и корректный джентльмен. А может быть, он в отъезде. Он деятельный член Земгора (и наша Куоккаловская школа видела здесь его в своих стенах).

За Петра Алекс[андровича] Нилуса радуюсь. В Париже нам редко кому счастливится. Как бы я желал прочитать нашумевшие его книги. Вот попросили бы его прислать мне его книги наложенным платежом — очень прошу. Издавна я много читал об этих книгах и ни одной мысли, даже в цитатах, не помню... Память у меня, как у всех старцев, плоха. Еще прошу и Вас и его: вложить при okazji свои фотографические карточки. Ведь я В а с очень давно не видал — какой-то Вы теперь? Помню только гатчинскую.

Так «не вод» Вам в Европе? Какое слово! В первый раз слышу.

П р и м е т ы верно оправдались: с самого С а м п с о н и я шесть недель стояла дивная погода, и я, в первое лето после многих холодных, накупался и нагрелся на горячем песке, чудо, чудо!.. Зато березы менее пахли этим горячим летом.

Так — Вы встречаете Дени Роша ¹? Кланяйтесь ему. Дружески жму ему руку и всего, всего лучшего желаю.

А за сим, награжденный божием милосердием свыше всякой меры, я уже мечтаю о чем-нибудь на закуску. И это: прочитать что-нибудь Ваше, еще не читанное. Подобострастно и униженно прошу Вас пришлите что-нибудь Ваше (непременно а л о ж е н н ы м п л а т е ж о м!). О, как бы я теперь прочитал Вас!!! Милый друг, не сердитесь за назойливость, надоедливость — осчастливьте уже много, много осчастливленного старца, который, выпивая каждый день из своего фонтана, по утрам и вечерам, угрожает доброй Финляндии прожить на ее земле сто лет — и осталось всего 20 лет, пустяки — время идет быстро: мне кажется, что я все еще 40-лет[ний] молодой человек.

Обнимаю Вас.

Илья Репин.

¹ Р о ш Морис Дени (1868—1951) — известный французский искусствовед, переводчик русской литературы, перевел на французский язык Гоголя, Лескова, Чехова и других русских писателей.

В ответ на это письмо Куприн писал Репину:

«Дорогой Илья Ефимович,

На известие о Вашей болезни я не обратил даже внимания, хотя и внимательно прочитал его. Для меня главным указателем были и всегда будут Ваши же слова в письме ко мне: «Вот назло Финляндии возьму и проживу до ста лет». Так оно и будет... только с большим «гаком», как говорилось у нас в благословенной, сытой, сдобной, теплой Малороссии. И длина этого «гака» целиком зависит от Вашей воли.

Как говорится в Библии?

«И когда насыщенный днями захотел Моисей» и т. д... Вы же, обожаемый мною Отец, Брат и дражайший Друг, чьим ласковым вниманием я радостно пользуюсь, как браконьер или, пожалуй, как контрабандист, Вы же жизнью с ее невинными прелестями никогда в меру не насытитесь, уж очень она хороша для людей с великим сердцем и с простой душой».

7. А. И. Куприн — И. Е. Репину

[1924 г. Париж.]

Вот, дорогой, любимый и чтимый Илья Ефимович, коротенькая заметочка. Не очень сердитесь за работу № 2. А вчера я послал Вам три образчика того, что я теперь пишу и как.

Пожалуйста, напишите мне, получили ли Вы, так в году 21-м, две мои книжки, изданные в Париже: «Гамбринус» и «Суламифь»? Помню, что посылал, но одну ли, две ли — отшибло.

И послал ли третью, изданную в Гельсингфорсе, «Звезда Соломона» — имеет ли Вы (Hélas! ¹ оборот французский)? Чего нет — дошло мгновенно.

С А. Ф. Зеелером говорил по телефону. Он все получил. От «Лешего» в во-сторге. Говорит: «раззавидовался и хотел присвоить, да, к сожалению, подписано — Куприну. Правда, можно было бы надпись отстричь, но рука как-то не поднялась на такое гнусное дело». Обещал как-нибудь на днях завезти эскиз ко мне на дом. Жду.

Вот теперь я и скажу, в каком соседстве будете Вы неразлучно со мною, где бы я ни был:

1) Портрет Главного Старика с собственноручной надписью А — ру И — чу Куприну — Лев Толстой 1906 г.

2) Пушкин (Кипренского).

3) Голова Спасителя, написанная моей дочерью.

Что же еще больше нужно?

Крепко люблю Вас.

Ваш А. Куприн.

8. И. Е. Репин — А. И. Куприну

9 сентября 1924 г.

Милый, дорогой, обожаемый Александр Иванович. Сплошной восторг и нельзя удержать подступающих слез от живой, реальной, исторической картины — кадета А. И. Куприна и Александра III, остановившихся в мимолетном взгляде на две с половиной минуты! Вот сила истинного гениального таланта: краткая страница, слетевшая с крылатого пера, разрастается в огромный этюд, в натуральную величину и незабвенно поселяется в памяти навсегда — в виде исторической картины «Войны и мира»². О, горячо обнимаю Вас за этот сюрприз. Да

¹ Увы! (франц.)

² Очевидно, Репин имеет в виду автобиографическую повесть Куприна «Юнкера». В главе «Торжество» описывается встреча в Московском юнкерском училище императора Александра III после крушения царского поезда около станции Борки в 1888 году. Возможно, Куприн послал Репину какой-то вариант этой главы. Позднее она была напечатана в газете «Возрождение».

и за «Однорукого коменданта»!..¹ Боюсь надоест... Но что за затмение — у меня нет «Русской газеты» из Парижа. Прилагаю стоимость; разумеется, при моей малодоступности к чтению я только и буду ждать, не появится ли там нечто от Куприна? Благодарю, благодарю!.. Ах, вспомнил неприятное! Только ради Создателя, не сравнивайте меня с великим Львом — этим сравнением я так сконфужен и угнетен даже до невозможности смотреть людям прямо в глаза. Видит бог, я не виноват, но — если бы этого не писалось!..

Простите за беспорядочное письмо. Это время я недостойно избалован судьбою — что называется, в зобу дышанье сперло — и не могу вовремя и с тактом ответить на все ласки и преувеличения моих посильных достижений.

Ваш Ил. Репин.

В 1924 году я тяжело заболела. В течение месяца я была между жизнью и смертью. Описать состояние отца и матери, конечно, невозможно. Когда мне стало лучше, врачи сказали, что только знаменитый город Лезек в горах Швейцарии может окончательно поставить меня на ноги. Но денег на это не было.

Устроили литературный вечер, очень многие артисты, писатели откликнулись и участвовали в этом вечере. Наконец деньги были собраны, виза выхлопотана, но в последнюю минуту швейцарское посольство потребовало денежный депозит. Когда отправляли больных, правительство Швейцарии не хотело брать на себя в случае несчастного исхода болезни расходы на похороны. Опять моим родителям пришлось срочно занимать деньги.

Вначале мое пребывание рассчитывали на один-два месяца, но в этом городе все идет медленно, время зависит только от здоровья, и я, в общем, пробыла там шесть месяцев и начала очень скучать. Отец мне писал смешные письма; привожу их здесь, ибо они передают какие-то подробности парижского быта Куприна.

«Стыдно, дорогая моя девочка, смеяться над старостью. Во-первых, сама такой будешь. Во-вторых, старость — одна из самых скверных, тяжелых болезней, да вдобавок она ничем не излечима, кроме смерти. Ведь не станешь же ты хлопать горбатого человека по горбу и приговаривать: «Черт горбатый, горбатый черт!» Он ведь и без того знает, что безнадежно горбатый, и от этого сознания мучается каждую секунду, даже во сне.

Ну-с, «в репу-с», как говорят англичане.

Теперь новости.

Был у нас вечер. Пришли пара мнлых Гольдштейнов. Один Богуславский (Дэлла не могла: к ней приехали две кузины из Шотландии, из Корки, старые длинные девы, и говорят уже четвертые сутки подряд). Один Писаревский (Н. О. приехала домой день спустя). Трое Ельяшевичей². Сели играть в 21. Папа Ель принципиально не играет в азартные игры. Ирочка у меня в комнате читала историю Madame de Pompadour. Кончилось тем, что я выиграл 4 франка. Проиграл дальше все Богуславскому и плакал тонким голосом. Но самое лучшее было вот что. Когда в промежуток между сдачами дали чай и фрукты, папа Ель рассказал замечательный медицинский случай. Немецкий ученый Петенкофер, желая доказать, что холерная зараза недействительна при соблюдении гигиенических условий, выпил стакан рвоты холерного больного; принял меры и остался жив. Я немного удивился тому, что рассказ этот был преподнесен внезапно, без всякой связи с предыдущей болтовней. Обрадовался за железное здоровье Петенкофера. Но вдруг поглядел на Гольдштейна и обмер от ужаса. Бедный М. Л. был бел, как бумага, и я явственно видел, как груша, виноград, вина и пти-фуры от Коклена вместе с чаем и лимонадом стремились вырваться наружу из его желудка и как героическими усилиями воли он водворял их в прежнее помещение. Еще страшнее было то, что я не один видел, а все и что всеми начали овладевать эти невольные подражательные спазмы. Вовремя рассказанный Писаревским анекдот спас положение.

¹ Рассказ Куприна, напечатанный в Париже в 1923 году в сборнике «Окно» (кн. 1).

² Гольдштейны, Богуславский, Писаревский, Ельяшевичи — парижские знакомые А. И. Куприна.

Дробович (журналист, одно время был добровольным секретарем Куприна.— К. К.) наконец привел нам Ее. Премиленькая, маленькая штучка. Очень брюнетка. Немножко египетское личико, с желтоватым (слегка) тоном, с шириною в скулах, с капризным ротиком и очень низким лбом. Она бы тебе понравилась как модель. А он... Если он ее любит — он пропал. Если не любит — отойдет ни с чем и в смешном виде.

Ах, еще! Гольдштейн обратил внимание на твой автопортрет и сказал любезно Писаревскому: «Вот видите, как пишут портреты, если имеют талант». Писаревский ответил: «Мия, мия, мия...» — что-то в этом роде.

Продолжение завтра. Мать сегодня купила марок.

Пока целую тебя, мое изумрудное сокровище.

А. Куприн».

В следующем письме отец описывает мне маленькую бытовую сценку. В конце 1922 года мы наняли меблированную квартиру у некой мадам Chêlat. Через два года ее контракт с хозяином дома кончился и был переписан на имя Куприных. «Шелавша» ни за что не хотела вывозить свою мебель и прекратить этим выгодную для нее комбинацию.

«Дорогой мой серый, американский козел!

Ну и был же у нас водевиль! Мать назначила m-me Chêlat окончательное и решительное свидание. Заранее выписала Дробовича. Наконец это дело состоялось.

Я писал у себя, в акварнуме, очередную клевету и немного увлекся. Доносился до меня из столовой довольно громкий разговор, но я не обращал на него внимания. И вдруг слышу — буря! Бегу на помощь в столовую. Застаю картину: m-me Chêlat — не красная, а свекольного цвета — качается на стуле, машет руками и кричит. Над ней склонился Дробович и бубнит что-то треснутым басом. Мать порхает вокруг и без передышки щебечет на французско-негритянском языке. На втором плане m-me Charle (наша привратница.— К. К.) в синем переднике прислонилась к стене, сложив ладошки у подбородка, и изредка томно стонет. В глубине сцены Madelaine (дочь привратницы, лет одиннадцати.— К. К.) высунулась во входную дверь: она в восторге от скандала, порозовела и похорошела, глаза у нее блестят, она топчется на месте от нетерпенья. «Поп-поп-поп» (у нее выходит «но-но-но»), — орет Шелавша. Эти «поп» она выпаливает сразу 13 по простой гамме вверх и вниз. Вот так:



Дроб: Madame! Ecoute!

M-me Chêlat: No-po-po-po-po-po.

M-me Коур: Муа пейе нон, ву регарде контракт².

M-me Chêlat: No-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po.

M-me Charle: Oh! M-me Chêlat!

M-me Chêlat: No-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po.

Дроб (треснутым басом): Alors, Madame. nous serons...³.

M-me Chêlat: No-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po.

Я сбежал. Спустя час встретил Дроба, бледного, губы белые и дрожат. Оказывается, m-me Шеля заявила, что это квартира ее и она не уйдет. Пришлось сообщить полиции. Та сказала: «Предупредите мадам, если продолжится припадок, позвоните нам». Ее предупредили. Она еще немного поковеркалась, пробовала было погрозить,

¹ Мадам! Послушайте!

² Я платить нет, вы посмотрите контракт (искаженный франц.).

³ Тогда, мадам, мы будем...

что все полиция Европы и Америки не тронут ее с места, но все-таки поджала хвост и ушла...

Сегодня утром, протягивая лапу матери и мне, говорила с милой улыбкой: «Hier, j'ai fâché»¹.

Словом, шелявская полоса жизни кончена. Но с барахлом мама еще не может расстаться. Что делать с твоими книгами? В сущности, они такое же барахло.

Твой А. К.»².

Курс лечения в Швейцарии был окончен, но доктора посоветовали перевезти меня на юг Франции на два-три месяца. Для этого опять понадобились большие средства, и, как крайнюю меру, устроили лотерею среди русской эмиграции. В эту лотерею вошли последние семейные реликвии, и для того, чтобы еще больше раззадорить и заинтересовать тех, в общем, немногих богатых эмигрантов, отцу пришлось расстаться с самым любимым и дорогим его сокровищем — рисунком Репина «Леший».

9. А. И. Куприн — И. Е. Репину

{1925 г.}

Ну, дорогой брат и друг, прекрасный художник, любимый Илья Ефимович! Снимаю шапку, бросаю оземь и каюсь в тяжком преступлении.

Получил я «Лешего». Отдал его оправить и застеклить. Вместе с переплетчиком выбирали тон паспарту. Остановились на серо-зеленом. Вышло просто прелесть как хорошо.

Но еще с мая захворала моя дочка перитонитом. Пришлось ее отправить в Leysin (Suisse), в санаторию д-ра Rollier. Там она и до сих пор. Горный воздух и горное солнце пошли ей на пользу. Но мы не соразмерили валютной разницы (100 шв. фр. — 372 фр. фр.) и, с позволения сказать, сели на кол. Теперь мне и жене пришла в голову мысль: устроить лотерею, куда я загнал все, что у меня было ценного. Туда я загнал и «Лешего».

Суди меня судья строгий, но справедливый. Я находился в крайности. Если Вам, милый Илья Ефимович, мой дерзостный поступок покажется злоупотреблением даром или превышением моей собственнической власти над любовным дарением, то мне еще не поздно будет изъять «Лешего».

Очень прошу Вас поэтому, черкните мне хоть словечко, хоть на открытке. Сердечно обнимаю Вас.

Ваш преданный и Вас любящий неизменно

А. Куприн.

P. S. Вы ведь сами понимаете, как мне скучно без Вашего рисунка!

10. И. Е. Репин — А. И. Куприну

4 марта 1925 г.

Милый, дорогой, всегда обожаемый Александр Иванович!

Я очень польщен Вашим обращением ко мне. И, через некое времечко, вышлю Вам на усиление фонда еще что-нибудь. Только лотерея мне представляется средством малодостижным...

В Париж, мне кажется, лучше обратиться к каким-нибудь комиссионерам (процент вроде 40, не жалеите). Словом, к хорошим, надежным, знающим дело. Чтобы они попытались сбыть вещицы — более интимно — каким-нибудь коллекционерам-любителям... Приходит в голову: ведь Вы же знакомы с А. Ф. Зеелером, бывшим очень почтенным собирателем? Я думаю, он знает этот мирок, т. к. сам заинтересован всегда в этих предметах высшей роскоши. Я думаю,

¹ Вчера я сержусь... (искаженный франц.)

² Оба письма хранятся в ЦГАЛИ.

Александр Феофилович укажет порядочных, хорошо знающих Париж и Лондон, и таким образом надежнее было бы что-нибудь выручить... А главное, лотерея — это такой долгий ящик и с таким дырявым дном...

Остановите меня: я — провинциальный старикашка — дотемна готов предлагать добрые советы; а вы живете в центре жизни, знаете все лучше меня уже потому, что остро заинтересованы. Прекращаю и перехожу к практике: что бы такое Вам выслать из моей безалаберной плюшкинской кучи? И как лучше переслать сей пакет или сверток — в трубку, — который, на Ваше счастье, найдется?

Ну, прибавьте [сами] на прощание все умное и порядочное в удостоверение моей радости помочь Вам.

Всегда Вас любящий

Илья Репин.

11. А. И. Куприн — И. Е. Репину

27 марта 1925 г. [Париж.]

Дорогой Илья Ефимович,

Конечно, я поступил слишком ретиво, пустив «Лешего» в лотерею. Обстоятельства сжали в таких жестких шенкелях, что было недохнуть. Подумал я в сердце своем: истинный, старый друг, широко знающий жизнь, — укорит ли он меня за своевольное и корыстное распоряжение даром его дружеским, если зарез. Прикинул на себе и сказал: нет, не укорит.

«Леший» был самым мощным магнитом. Лотерея сошла хорошо. Были не только удовлетворены мясник, зеленщик и молочник с булочником, но жена смогла поехать в Leysin (Швейцария) выкупить оттуда нашу Аксинью, отвезти ее в St. Antoine (200 м. над Ниццей) в санаторию «La Colline» на два месяца окончательной полировки здоровья.

Нет, я довел свою дерзость до предела.

Так как Вы без гнева приняли мое извещение о «Лешем», то вместо того, чтобы ночью в темном углу придушить нового владельца, я ниже Вашей мне подписи, на серо-зеленом паспорту (очень подошло к рисунку) написал: «С милостивого разрешения И. Е. Репина». Ну, вот моя повинная голова — рубите.

Конечно, Вы не отрубите, ибо Вы не мясоед и не быкоубийца. Вы только скажете: «Стоит дарить бродячим писателям прекрасные вещи».

Обнимаю Вас сердечно и люблю навсегда. Будьте здоровы и радостны.

Ваш твердо

А. Куприн.

12. И. Е. Репин — А. И. Куприну

[Конец марта 1925 г.]

Милый, дорогой Александр Иванович.

Боюсь верить Вам. Неужели Вы пишете чистую правду?! А ну его, сомнение: вчера, получивши Ваше письмо, я был счастлив, как никогда... Неужели мой бледный рисунок мог быть так полезен Вам и в — такую минуту? Вот радость... Горячо расцеловал бы я Вас за это, что Вы пустили «Лешего» в оборот и он не провалился, и за эту радость мне я доставляю себе большое удовольствие, в компенсацию Вам шлю рисунок с природы: в Капулівці — Чортомильск, недалеко от места последней Запорожской Сечи, я был несказанно счастлив, встретив давно желанный образчик — запорожца. Абрам лысы й. Сколько радости в его глазах и сколько аристократизма независимости в выражении его лица!.. Ах, некому остановить меня... Вот расхвастался на радости старик... О, как я боюсь своего телячьего восторга! Простите.

«Це ще як запорожці були; там вже, хто зна які вони були...» — рассказывала мне старуха там же, в Покровском, в 1881 г. «А й плакали сердяне, ще заста-

лися в тім Чортомилці, як товарищі до Турка помандрували... Та оцей Абрам (він вже дуже старий), так він ще бачив запорожців».

Подобную же радость судьба послала мне в 1870 г. в Ширяевом буераке, где я встретил истого бурлака Канина — в Царевщине, близ Самарской луки...

Вас искренно любящий

Илья Репин.

Потеряв надежду попасть в «Пенаты», Куприн стал настойчиво звать Репина в Париж:

«Взяли бы и поехали в Париж. Мудреного здесь совсем мало. Никакие трудности в визах для Вас не существуют, ибо главное — это согласие Парижа; если в великой, мощной Финляндии к Вашему имени относятся снисходительно, то в маленьком отсталом городишке Париже оно чтимо как мировая величина.

А то-то мне была бы радость! Пошли бы мы с Вами в солнечный день в St. Charpelle поглядеть, как играет на солнце драгоценными камнями эта филигранная витражная беседочка. Полубовались бы на берега Сены — утром, вдруг, серые в серебре, вечером — точно зеленый бархат, по которому разлили малиновое варенье. А если бы мы были в Лувре, или в Версале, или в Фонтенебло, или в Багателль, как бы я послушал Вас!»

Куприн посылал Репину свои книги, газетные статьи, делился с художником своими мыслями, впечатлениями, Так, после посещения одной из выставок он писал Репину:

«Вчера я был на выставке в Salon d'Automne. И вот что мне показалось:

1) Франк становится все дешевле, а краски все дороже. Оттого художники, люди небогатые, стали покрывать холст красками так экономно, что ткань вся сквозит наружу.

2) Женская модель стала по карману только художникам-миллионерам. Заплатить больше, чем за один сеанс, художник не может, остальная работа идет по памяти.

3) Да и красивые модели ушли в дактило и в модные магазины: остались лишь кривошени, сухорукие, разнебедрые, косоглазые девицы.

4) Так как писать приходится в темных мансардах, с окном на соседний брандмауэр, то цвета получаются уныло-погребные, точно все люди и вещи пронуты плесенью, как завалявшийся сыр.

5) Учиться стало дорого, и это при теперешней торопливой и нервной жизни — неприятно долго и скучно. Поэтому объявлен принцип неучения, самодовлеющей благодати; для удобства А объявляет гением Б, а Б — А. Такая печаль, такая безграмотность и такое убожество на выставке! Судя по ней, можно сказать, что весь мир наполнен исключительно уродами, живущими в уродливых комнатках и домах и видящими из окон уродливые цветы, пейзажи и уродливых животных. Публика постарше ругается очень громко. Она еще помнит те времена, когда божий свет был добр и прекрасен.

А главное — нет моего Репина! Когда я увижу моего Репина?»

13. И. Е. Репин — А. И. Куприну

8 октября 1925 г.

Дорогой, милый Александр Иванович,

Счастье мое, что я получаю из Парижа «Русское время»; но дваждысчастье и «Русского времени», что там пишет Куприн! И как у Вас это выходит: в таких коротких листках такая сила, мощь, такая правда, убедительность!!! Перечитываю по несколько раз и начитаться не могу. Только меня Вы напрасно так хвалите и ждете чего-то. Увы, я только старый пьяница в искусстве: все меньшая и меньшая порция (рюмочка) опьяняет меня, и я способен геперь, свернувшись в клубок, мечтать и грезить... А Парижа я даже бояться стал... Разумеется, я давно уже не был там и не видал ничего уже бесчисленное количество лет... А как

вспомню, как, бывало, с Поленовым мы два раза в неделю обходили картинные магазины... Прекрасно освещенные, только что написанные картины еще издали обдавали нас таким очарованием, что мы к их свету уже бегом, без удержу скакали через улицу и надолго замирали от восторгов... И эти восторги обуревали нас долго! Долго!.. Да, гений Парижа всегда кипит, живет и увлекает... Мне думается, что и сейчас там все то же, вечная инициатива, восторг без усталости и новости, новости — все еще не виданное, не вообразимое. Так и на больших выставках, в других государствах: бывало, проходишь, проходишь много отделов, даже до усталости, вдруг, еще издали, что-то сверкнуло, обдало чем-то неизъяснимым, очаровательным... О, да — это французы! Это их тон, это он делает такую музыку... И бредишь, бредишь этим тоном их очарования... Неужели этого больше нет? Не верится: и я мечтаю, что когда-нибудь я опять попаду в Париж и опять упьюсь до самозабвения... Неужели это все пропало?!!

Со вчерашнего дня у нас выпал снег и еще не растаял.

Если попадетсЯ Вам Леви, не сердитесь на него, и он мне так много и так добросовестно служил и служит. И правду сказать: у него огромный талант продавать: мои шансы он поднял высоко. А я намерен через него послать Вам давно отложенный этюдик, но Вы простите — это так ничтожно...

Вас всегда любивший и любящий Илья Репин.

О, Вы, Дионизос — бог, сила в Вас неземная!

Простите, не примите за лесть — это любовь...

14. А. И. Куприн — И. Е. Репину

[Париж. 1925 г.]

Дорогой и горячо любимый Илья Ефимович,

Конечно, скромность есть лучшее украшение добродетели (см. § 17-й, 2-го раздела, XI тома книги «Житейская мудрость»). И Вам присуща она всегда. Но как Вы могли усумниться в том, что главнейшим образом «Леший» потянул публику брать билеты — этого я не понимаю. Не было ни одного моего клиента и ни одной клиентки, которые бы заранее не облизывались от мысли приобрести за 25 фр. — кого? Самого Репина. И я, по крайней мере ста человек, благосклонно предсказывал выигрыш. Болячка до сих пор осталась в моем сердце. Утешением (слабым) мне служит то, что «Леший» попал в хорошие руки: в милую, теплую просвещенную семью, где без хвастовства или снобизма ценят и чтут искусство и где глубоко любят Вас, мой чудесный скромник, Вас, художник величиною с Казбек!

Другое утешение — та дружеская снисходительность и доброта, с которой Вы приняли мой самочинный поступок.

Третье — Ваш Monsieur le Zarogoge (помните, у Гоголя в «Тарасе Бульбе» француз кричит: «Bravo, messieurs les Zarogoges!», — когда те лезут на приступ). Какое лицо! У нас про таких мужиков говорят в Зарайском уезде так: «Ен про-ост. Его простота, как мордовский лапоть о восьми концов». И какая степная сила! И какое соединение доброты, жестокости, свободы, затаенного лукавого юмора и зоркости. Не посоветуете ли, батюшка Илья Ефимович, какого цвета паспарту пригнать?

И вот еще последнее, четвертое утешение. Собрал я — и все-таки, настаиваю, благодаря Вам — около 10 000 фр. (десять тысяч). На эти деньги жена поехала в Швейцарию (Leysin, в горах), выкупила оттуда дочку нашу Аксинью (17-ти лет), отвезла ее в Ниццу, поселила ее там в санатории «La Colline» д-ра Перского, где вот уже третий месяц мы держим эту непокорную девчонку в недорогих, но полезных, приятных и комфортабельных условиях.

Ну, уж «Лысый» из моих рук никуда не уйдет!!! А пока крепко Вас обнимаю и братски целую.

Весь Ваш Куприн.

Будет времечко — напишите два словечка. Обрадуете.

К сожалению, я уже не помню, когда «Лысый» тоже «ушел из рук». Но это было уже после смерти Репина, когда Куприн сам стал болеть

В благодарность отец послал Репину свою и мою фотографии. Илья Ефимович был всегда немного преувеличенно восторжен. Его оценки моей наружности отец мне не показал, чтобы я не возгордилась.

15. И. Е. Репин — А. И. Куприну

8 февраля 1926 г. «Пенаты».

Милый, дорогой, прелестный Александр Иванович; сижу перед Вашим и Вашей красавицы-дочери портретами и не могу оторваться, до чего это обворожительно!.. Ах, французы! Ведь это диво! Это, конечно, сделано прекрасным художником. Я думаю: хорошая, с большим французским вкусом фотография увеличена, и по этому увеличению прошелся художественной ретушью опытный недюжинный художник — ну и получилось то, что я получил от Вас. Вы — как живой, и — с самой симпатичной стороны: русский высокой интеллигенции и могучего характера человек. Да я едва ли и могу описать все, что мне грезится об этом поэте, творчество которого так могуче завоевывает, — простите, умолкаю, ибо все это слабо и ординарно перед явлением чего-то нового и в высшей степени красивого своеобразной красотой мужчины, чего-то богатырского. Теперь о портрете дочери: ведь итальянский ренессанс, начиная с Андреа дель Сарта¹ до Сикстинской Мадонны, все незабвенные идеалы красивой нации — все соединились в этом — невыразимой красоты — образе... Ах, я до вечера не уписал бы все свои ощущения восторга перед этой ангельской красотой... И вот уже — сила изображения. Какие слова могут выразить то, что дано изобразительному искусству! (Все это те редкости, которым цены нет...) А мы тут подавлены морозами, да еще с ветром... Только и спокойствия — перед жаркой печкой...

Простите, Ваш дальнекрайний обожатель

Ил. Репин.

Спасибо, спасибо еще и еще — за дивные фотографии..

16. И. Е. Репин — А. И. Куприну

4 июня 1926 г.

О, милый, дорогой, несравненный Александр Иванович!

Еще живо представляю себе сценку перед Вашими портретами у нас; еще звучит прелестный итальянский язык красивого молодого итальянца — Стафети. Он с места в карьер приковался к Вашему портрету, со многими расспросами о Вас, после перешел к портрету Вашей дочери — удивился, что это не природная итальянка, и много, много говорил мне тут о Вас и пр. Он очень хорошо говорит по-русски; заинтересован нашей литературой и, конечно, Вами... Был на могиле Леонида Андреева в его — разрушенном и уже проданном — доме. Привезли его (итальянца) милые шведы, наши добрые соседи (г. Шредер; был он еще не так давно куоккаловским комендантом, летом живут в Териоках)...

Ох, я бессовестно посягаю на Ваше время... И ведь все время в душе пишу Вам о себе. Но не жалейте, что я не о с е л на сем предмете. Старость, старость никому не интересна, да еще заглушенная собственной болтливостью...

¹ Андреа дель Сарто (1486—1531) — флорентийский художник эпохи Возрождения.

17. И. Е. Репин — А. И. Куприну

[Конец 1926—нач. 1927?]

Милый, дорогой Александр Иванович.

С тех пор, как Ваш и Вашей дочери портреты висят в нашей столовой, я с особым удовольствием провожу время против них; подолгу рассматриваю их... А сколько разговоров... Да, всего лучше так, в общем иконостасе помещать дорогие нам лица!

О, сколь мы угнетены зимою! Снега! Морозы!.. Сегодня уже все наши окрестные говорят, что лета не будет в продолжение трех лет—будет непрерывная зима!!

Я не перестаю жалеть о старом стиле [...] Ну какая же это психа! И здесь так развертывается деспотизм лютеранского рационализма!.. Наших бедных попов, как и монахов (которых уже делается жаль), ссылают за то, что служили по старому стилю.

Простите за это глупое письмо: жалобы, жалобы на природу и людей... Неверно!.. Несправедливо!..

Ваш Ил. Репин.

В январе 1927 года Репин получил от Куприна письмо. Александр Иванович писал:

«Проклинаю я парижскую зиму. Нет хуже зим на свете, чем здесь. Утром дождь, в полдень снег, к вечеру теплый весенний день, к ночи мороз и ураган. Никак не приспособишься. Все парижане и эмигранты ходят с носами, разбухшими от насморка, чихают, кашляют, слезятся. И Ваш покорный слуга с сентября по сии дни кашляет весь день и всю ночь, точно овца. Со злостью и завистью думаю, что далеко, где-то на юге,

На берегу морском
Под сению акаций
Сидит поэт Гораций
И... трет песком.

Да как вспомнишь еще, что вовсе не поэт Гораций теперь наслаждается прелестью и теплотою благословенного Юга, а нувориш, спекулянт, живодед, кровосос, банковская пивка, то мысленно точишь воображаемый кинжал на воображаемого буржуя. И как хочется настоящего снега, русского снега — плотного, розового, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снег, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба. А в лесу! Синие тени от деревьев и следы, следы: русаки, беляки, лисички-сестрички, белки, мыши, птицы.

Ах, драгоценный Илья Ефимович!

Как бы горячо я хотел сейчас повидаться с Вами. Вы такой же русский, как русский снег, такой же вкусный, такой же чистый, такой же волшебный и такой же простой, и такой же божий. Как теперь я жалею, что, живучи в 20-м году в Гельсинки, три раза собирался по Вашему приглашению приехать к Вам в «Пенаты» и каждый раз выпрашивал разрешение на недельный срок у финских властей, и каждый раз мне мешали то мои, то чужие болезни, то идиотская работа в газете».

18. И. Е. Репин — А. И. Куприну

9 февраля 1927 г.

Милый, дорогой Александр Иванович! Да, у нас кругом лежит тот снег, который Вам нравится. Но теперь у нас и сын мой, который приносил зайцев из той — с голубыми тенями — лесной собственности зверьков... Теперь запрещено — вероятно, уже до Петрова дня — стрелять этих милых существ. Это разумно.

Мне стыдно, что Елена Павловна¹ с моим дружеским поклоном Вам повела такую строгость — непременно лично [...] Но я все, все ей прощаю. Ибо я имею

¹ Тарханова-Антокольская Елена Павловна (1868—1932)—жена известного физиолога академика И. Р. Тарханова. Была с Репиным в дружбе, переписывалась с ним.

от Вас драгоценный автограф с воспоминанием о вилле Горацця на Байском берегу... Ах, сколько раз мы с Юрой проходили мимо этой виллы, когда целую зиму прожили в Неаполе. Недалеко там и Люкрино. (Не знаю, выздоровели ли там устрицы?! Какие устрицы! Как мы объедались!.. Но потом их объявили ядовитыми и запретили...) Да, на Байском берегу мы делали большие прогулки... (Не прочь был бы и я пройтись по этим просторам милого Юга, милейшей страны.) И—представьте!—тоже заскучали о снеге и махорке, к которой Юра приучил и меня! И как он, т. е. Юра, а не махорка, там поправился и понравился итальянцам. С ним все заговаривали, и он больше меня знал язык. И в Неаполе он впервые стал рисовать и рисовал козочек, которые приводились даже в четвертый этаж и там доились — прямо в стаканы. Мы жили совсем близко в Kastel-ого и ходили туда обедать. Какие там были обеды! И какие рыбы! Рыбы и по цветам и по форме были такое загляденье! Жаль было их есть...

А — под строгим секретом Вам — я покаюсь, что я опять стал мечтать о Запорожье. Но из этого уже ничего не выйдет... А мне один приятель, из Петроднепровска, прислал дивную книжечку. Яценка-Зеленского¹. Такой chef-d'œuvre — в литературном даже отношении. Этот монах Киево-Печерской Лавры два раза ездил по командировке во времена Екатерины II на Запорожье к казакам за подавнием. Эти простые сердца щедро вытряхали кошель... Но счастье не в этом, а в том, что даровитый монах так описывает, не мудрствуя лукаво, что я перечитал ее три раза и еще буду читать столько же раз и с возрастающим удовольствием.

Вообразите: простота и при этом — даровитость самой последней манеры, которую мы теперь нередко получаем из России: вроде — Романовых², Леон. Леоновых и т. д. Но и об этом молчание! Простите старого болтуна.

Ваш Илья Репин.

19. И. Е. Репин — А. И. Куприну

[«Пенаты», 1927 г.]

Александр Иванович!

Милый голубчик, совсем Вы меня избалуете. Ведь ужас, куда возвели!.. А я то как повестями и рассказами упивался, наслаждался!!! У меня большое преимущество перед всеми богатырями и всеми святыми — куда им, они мне завидуют теперь... Да этаких еще не было, т. е. повестей и рассказов. Ах, прелесть, прелесть... Что это я так скверно писать стал?! Ужас как гадко!.. Это оттого, что в комнате холодно. Ведь адская стоит зима, даже к фонтану до сих пор не иду. Потом не согреться — особенно после холодной водицы...

Простите, простите, дорогой мой; даже стыдно так писать и еще посылать, да ведь куда? Кому?..

Сегодня Вера приедет из Гельсингфорса. Вот порасскажет... Про нас-то мы уже помолчим... Прошли наши красны денечки...

Да, недаром я еще с юности не любил стариков, только не подумайте, что великих стариков, — тех я обожал, а так, шевелящихся старичков вроде меня, что еще не прочь поправиться в своей безнадежной походке — совестно им уже на людях фигурировать. А ведь как это незаметно: понемногу да понемногу, чуть, чуть, вот, вот — да мимо; ах, это мимо [...] Ах, вот некому запретить — все пишу и пишу... Неужели все это Вам читать?! Простите, простите... А я Вас так люблю и обожаю...

Ваш Ил. Репин.

¹ Имеется в виду книга «Две поездки в Запорожскую сечь Яценка-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750 — 1751 г.». Екатеринослав, 1915.

² Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — советский писатель.

Да, блаженные края, и Вы Горация вспомнили... Сколько раз во время зимы мы с Юрой, проходя на Байском берегу, мимо виллы Горация, вспоминали: ведь вот тут он со своими козочками кротко сидел на песке...

20. И. Е. Репин — А. И. Куприну

17 июня 1930 г. «Пенаты».

Милый, дорогой мой поэт Александр Иванович, я так осчастливлен Вашей поэмой (одно слово не разобрано. — К. К.). Дорогая Ваша любезность застает меня больным и не способным к этому роду искусства, который Вы сообразовали востребовать.

Увы, я позорно спрятался за могучего сына, и он великодушно заменяет меня. Что делать? Я едва дышу и едва ноги таскаю.

Простите, простите!

С обожанием к Вам

Илья Репин.

* * *

Илья Ефимович Репин умер 29 сентября 1930 года, приблизительно через три месяца после этого последнего письма, на восемьдесят шестом году жизни.

В первую годовщину его смерти А. И. Куприн написал очерк, посвященный художнику.

«Более чем половину столетия,— писал он,—Репин был славой России и гордостью живописного искусства. Еще до сих пор мы, в изгнании и рассеянии сущие, говоря о нашем незабвенном Доме, упоминаем со вздохом и во множественных числах: «Да. У нас были Пушкины, Толстые, Репины, Глинки, Чайковские. Какое богатство! Весь мир проносит их имена с благоговением!.. Теперь уже можно со спокойной уверенностью сказать, что имя и творчество Репина переживут столетия и сам Репин останется великим непревосходимым учителем до той поры, до которой живут полотно и краски» («Иллюстрированная Россия», № 40, 26 сентября 1931 года).



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА СВЕТЛОВА

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Это стихотворение Светлов написал в мае 1964 года, в своей квартире на Аэропортовской, во время короткой передышки между двумя больницами. Набросал ночью карандашом на клочке бумаги, не дописав строки в последнем четверостишии. И — словно предчувствуя краткость оставшихся ему еще дней жизни — Михаил Аркадьевич, обычно предельно безразличный к своим черновикам и экспромтам, на этот раз проявил удивительную, несвойственную ему заботу о наброске. Он не раз вспоминал о нем, просил хорошенько хранить его до тех пор, пока не сможет к нему вернуться, все собиравшись закончить стихотворение. Собирався, но так и не успел...

* * *

Не теряй никогда тревожности,
Душу намертво не замкни.
Все возможности, невозможности
Подсчитай, поэт, уточни.

Пусть тебя соблазняют многие,
Пусть сулят тебе райскую жизнь, —
От доступных звезд демагогии,
Я прошу тебя, откажись!

Всей поэзии непреложность
Мы в обычных словах поймем,
И возможность и невозможность —
Две соседки в сердце одном.

Пусть любовь к тебе прикоснется,
Первородна и горяча,
Ты не будь свечою при солнце,
Что нам в солнечный день свеча!

Откажись от высокой должности
.
Присягнувшие невозможности
Не должны занимать постов!

НАБРОСКИ К «МАЛЕНЬКОМУ ПРИНЦУ»

«Если я отсюда выберусь, если я отсюда когда-нибудь выберусь,— не раз говорил Михаил Аркадьевич в больнице,— я обязательно напишу «Маленького принца». Он часто вспоминал об этой так и не завершенной своей работе в по-

следние месяцы, вспоминал с тоской, как бы предчувствуя, что не удастся ему уже довести до конца ничего из задуманного, незавершенного.

Еще весной 1963 года Малый театр обратился к Светлову с предложением написать пьесу по сказке Сент-Экзюпери. Это предложение сразу же увлекло Михаила Аркадьевича. Он стал интересоваться творчеством Экзюпери, книгами об Экзюпери. Биография Марселя Мижо в то время только готовилась к печати в издательстве «Молодая гвардия». Михаил Аркадьевич с нетерпением ждал ее выхода в свет и, как только удалось раздобыть ему верстку книги, сразу же принялся за чтение. Помню, он, уже тяжело больной, вырвавшись на несколько недель в Переделкино, первым делом попросил привезти ему эту верстку. Так и остались лежать несброшированные ее листы на столике у кровати в тот трагический день, когда Михаила Аркадьевича, измученного нестерпимыми болями, снова — в последний раз — увезли в больницу.

Пьеса «Маленький принц» осталась ненаписанной. Дальше первого, подготовительного этапа работа не пошла. И этот подготовительный этап проходил несколько необычно. Время от времени у Светлова на Аэропортовской появлялись две сотрудницы литературной части Малого театра Э. Апухтина и Т. Королькова. Начинался разговор о пьесе. Светлов фантазировал, придумывал отдельные сцены, новых действующих лиц. Гости записывали. Дальше такой предварительной «разминки» дело не шло. Уже часто недомагавший в то время поэт не торопился сесть за письменный стол. Он исподволь готовился к работе, как бы настраивался на нее. И сразу же стало ясно: Светлов не мог ограничиться инсценировкой, простым переложением на язык театра чужих мыслей, чужого сюжета. Сказка Экзюпери становилась отправным пунктом для создания нового, самостоятельного произведения.

Работа над пьесой шла не только в часы встреч с литчастью театра. В эти месяцы Михаил Аркадьевич часто — вдруг отключившись от всего окружающего — начинал говорить о пьесе, создавалось впечатление, что мысли его все время заняты ею. Он придумывал отдельные детали, какие-то фразы, которые должен был произносить кто-нибудь из персонажей. Необычный ход его фантазии, причудливое переплетение сказки с обыденной жизнью, странные ассоциации порой озадачивали, приводили в недоумение. Помню, с каким увлечением описывал он сцену встречи маленького принца с Тарасом Бульбой и сыновьями, когда принц обращался к Тарасу со словами: «Ты слышишь меня, батько?» Или рассказывал о королеве-труженице, королеве, которая вынуждена весь день заниматься стиркой и лишь ненадолго отрывается от корыта. Часто он просил запомнить или записать что-нибудь, особенно ему понравившееся. У меня сохранились всего две краткие записи: «Королева весь день занята стиркой» — и слова введенного Светловым в пьесу персонажа — «Девочки»: «Я еще слишком маленькая, чтобы верить в смерть».

Сам Михаил Аркадьевич записей почти не делал. Осталось лишь несколько страничек с собственноручно сделанными им беглыми набросками к пьесе, которые здесь и публикуются.

Она, как многие взрослые женщины, часто повторяет последнее или два последних слова собеседника.

Пока я девочка, я буду жить в тебе. А когда я стану взрослой женщиной, я начну жить на земле.

Тарас Бульба у маленького принца.

Я женщина, и мне трудно перейти границу.

У меня три счастья. Первое — что я родилась. Второе то, что я тебя люблю. Третье, что ты меня не любишь.

А если я тебя люблю?

Не смей! Я тебя тогда возненавижу!

Это так сладко, когда любовь уходит и, возможно, никогда не вернется. Что на свете может быть лучше удаляющейся любви?

Дети поднимаются вслед за Экзюпери. Они останавливаются у границы неба. Потом молча медленно опускаются вниз. Им навстречу идет Женевьева. Она останавливается у черты, которую не смогла перейти при жизни Антуана. Дети смотрят ей вслед, возвращаются, берут ее за руки, и они втроем удаляются в небо к Экзюпери. Появляется Капитан. Старческими шагами он поднимается по спирали. Потом садится на одну из ступенек и горько плачет.

На земле все меньше становится королей. Но это вовсе не значит, что на земле исчезнут маленькие принцы. За неимением королей маленьких принцев начнет рожать простой народ. Вот я и принялась за это дело. Старуха Барбье завела себе молодого любовника. За деньги все можно сделать. Кроме молодых людей, она еще любит кошек и кроликов. Она собирается состязаться с ними в деторождении. Но ничего у нее не выйдет. Молодой человек, как кролик, сгрызет у нее все обои и уйдет к другой хозяйке. Такова судьба стареющей женщины.

Пока я принц, я повелеваю. Надо будет, я вернусь.
Повелеваю я!

Ну, вот. А ты сказала, что он умер.
Я не сказала, что он умер. Я сказала, что он погиб.

По просцениуму перед закрытым занавесом идет Главная девочка. Она везет на тачке большой овальный предмет.

Гл<авная> дев<очка>. Не удивляйтесь и не ломайте себе голову — что я везу на своей одноколенной тачке. Я вам сразу все объясню. Я везу небольшую планету, на которой родился маленький принц. Вы привыкли к мысли, что планеты круглые. А на самом деле они — овальные. Они к полюсам сужаются. И я долго думала: как это люди живут на очень неудобной овальной планете? Так я ни до чего и не додумалась. Наверное, это явление социальное, а я в социальных явлениях ничего не понимаю. И зачем только я качу эту тележку с овальной планетой? Наверно, потому, что я очень люблю маленького принца. Но только я, как любая женщина, не могу точно сказать — любила или люблю. Боюсь, что для меня, как и для любой женщины, это выяснится слишком поздно.

(Она напевает)

Не греет любовь и не светит
Сквозь времени круговорот...
Любовь не живет на планете,
А тачку с планетой везет.

Она уходит. Раскрывается занавес. На сцене — спираль, устремленная в небо. На спирали — несколько площадок, на которых часто разыгрывается действие. Маленький принц смотрит в небо

М<аленький> п<ринц>. Сейчас он, наверно, летит над Андами. Кордильеры. Красиво. Еще очень красиво — мыс Доброй Надежды. Мыс-то есть. А как дело обстоит с надеждой? Плоховато дело обстоит с надеждой. Лети, Антуан, лети. Лети над планетой, которая куда больше, чем та, на которой я родился. Лети и придумывай людям красивые названия. Мне не так много лет, но я уже давно убедился в том, что нет ничего более обманчивого, чем красивое название. Лети, Антуан, лети! И привези мне оттуда, с небес, переулок святой дружбы, улицу вечной преданности, проспект человеческого великолепия! Лети, Антуан, лети! И привези мне оттуда, с небес, пусть небольшую планету, на которой миллиардам людей совсем бы не было тесно. У меня нет родителей, Антуан! Ты меня

выдумал. Но ты — чистый, талантливый, светлый, — ты ведь не мог придумать совсем плохого мальчика. Внимание, Антуан! Мне кажется, у тебя барахлит правый мотор. Прислушайся! *(Он прислушивается.)* Нет, я ошибся. Послушай, Антуан! Сейчас я увижусь с твоей Женевьевой. Послушай. Антуан. Не обращай внимания на то, что я еще совсем мальчик. Плюнь на то, что я еще, как говорится, не умудрен жизненным опытом. Не всегда старцы правы. Антуан, дорогой, единственный. Она тебя предаст. Она тебя попытается остановить на середине пути. Перейди эту половину. Без нее! Я, выдуманный тобою мальчик, умоляю тебя об этом! Так! Сейчас мне надо подготовиться для разговора с женщиной. *(Он поднимается на площадку, где его ждет Женевьева.)*

Женевьева. Мальчик! Я не спала всю ночь.

Маленький > принц <. Это не удивительно. В вашем возрасте люди еще не спят.

Женевьева >. Ты думаешь, что я его не достойна?

Маленький > принц <. Я убежден в этом.

Женевьева >. Что же мне делать?

Маленький > принц <. Пожертвовать собой.

Женевьева >. Это нелегко.

Маленький > принц <. Легкая жертва — это не жертва.

Женевьева >. Поганый мальчишка! Что ты понимаешь в человеческих чувствах?

Маленький > принц <. У меня нет родителей. Меня выдумал великолепный французский писатель Антуан Экзюпери. Он не мог придумать пошлого мальчишку.

Женевьева >. Что же делать?

Маленький > принц <. Давайте вместе подумаем.

И пока они думают, свет переносится на следующую площадку. А на следующей сидит Капитан и беседует с давно умершей женой.

Капитан >. Мэри! Ты не злись на меня! Я всегда был замкнут. И вся беда заключается знаешь в чем? В том, что как только ты меня раскрыла, ты умерла. Ты ведь знаешь, как я понимал свой долг? Долг — это всегда конспирация. Когда человек говорит «Я должен!», он никогда не отдаст долга. Долг — это пещера, и неизвестно, выйдешь ли ты из этой пещеры! Мэри! Вот стоит пустой стул для тебя. А ты помнишь, как я впервые положил голову на твою грудь? Мне это показалось диким хамством, положить свою голову на голую женскую грудь. А я положил. Что, что? Ну, да! Никогда больше не положу. А он сейчас летит над Андами! Южные Кордильеры! Ты спрашиваешь, кто он? Он! Он! И никого больше...

Публикация Н. Федосюк.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. ВЕЛИКОВСКИЙ

★

ПОСЛЕ «СМЕРТИ БОГА»

(О «Постороннем» Альбера Камю)

До недавних пор Альбер Камю принадлежал к тем мастерам слова и мыслителям Запада, представление о которых у нас можно было бы назвать полумифическим. О них слышаны, молва их развенчивает и увенчивает, нарекает сперва небезызвестными, потом — иногда — известными. Они же остаются попросту неизвестными, пока их книги в широком обиходе заменены пересказами и мнениями о них.

«Посторонний» — первую, но самую читаемую и самую в критике предпочитаемую повесть Камю — перелагали у нас не раз и не два, до того как перевести¹. Вооружившись работами о зарубежной культуре XX столетия, всякий, у кого любознательность дружит с упорством, мог выстроить по порядку едва ли не все важные эпизоды истории скромного алжирского служащего Мерсо: ночное бдение у гроба матери в богадельне и похороны знойным летним утром; встреча на следующий день с бывшей сослуживцей и плохие утешения двух здоровых молодых людей; воскресная поездка со случайными приятелями к морю и непреднамеренное убийство, совершенное неведь зачем и почему; следствие и суд над преступником, который не раскаивается, а отчужденно и изумленно дивится на слуг закона. Пространно и разноречиво анализировались также поступки, шаг за шагом приближающие злополучного убийцу к гильотине. Высказывались похвалы и упреки, нередко весьма запальчивые. Короче, сведений и толков было в избытке.

¹ В девятой книжке «Иностранной литературы» за 1968 год. Перевод с французского Норы Галь.

Переход от подобной слышанности к прямому знакомству — всегда особо тяжелое и одновременно надежное испытание писателя: далеко не каждому по плечу выдерживать соперничество с собственной тенью, бегущей впереди и уже по привычке принимаемой за истинный облик. Повести Камю — независимо от того, улавливают ли в ней нечто близкое для себя или ее атмосфера кажется чуждой во всем, — эти оплечающие легенды оказались не в ущерб. Книга без потерь пробилась сквозь завесу заранее сложившихся мнений, предварительных приговоров и столь же предварительных восторгов. При всей непритязательности рассказанного здесь случая, «Посторонний» выводит на один из узловых духовно-исторических перекрестков XX века, где бесполезно задержаться мыслью — хотя бы для того, чтобы попробовать понять, что происходит в сознании рядовых обитателей Запада, когда им приходится попадать на это неуютное перепутье.

1

«Посторонний» был впервые напечатан в июле 1942 года. Дата выхода повести в свет иногда вызывает недоразумения. Ведь это год, когда во Франции складывалось патриотическое подполье. Сам Камю рассказывал об этих днях: «Вы спрашиваете, почему я принял сторону Сопротивления. Есть люди, к которым нет смысла обращаться такого рода вопрос. Просто я нигде больше себя не мыслил, вот и все. Мне казалось и кажется до сих пор, что нельзя принимать сторону концлагерей... И чтобы

быть уж совсем точным, скажу, что я отчетливо помню день, когда возмущение, волной поднимавшееся во мне, достигло высшей точки. В то утро в Лионе я прочел газету с сообщением о казни Габриеля Пери» (депутат-коммунист, расстрелянный гестапо среди других заложников в декабре 1941 года). Ну как после этого не упрекнуть писателя в том, что в «Постороннем» нет и слабого отзвука тогдашних забот и надежд?

Все дело, однако, в том, что «Посторонний» возникал в совсем иную пору. Он был закончен в мае 1940 года, и парижский журналист Камю, недавно перебравшийся в столицу из родного Алжира, долгие месяцы таскал рукопись в походном вещмешке по всем дорогам поражения. Ему еще предстояло очень многое: работа в подпольной газете «Комба», которую он возглавит после Освобождения и будет делать до 1947 года; создание притчи-хроники «Чума» (1947), навеянной недавним коричневым лихолетьем и провозглашающей суровый долг человека стоически сопротивляться натиску злых сил; еще позже — растерянность перед крутыми поворотами истории и поиски «очищения» в трактате «Бунтующий человек» (1951); горькие исповеди отчаявшегося «пророка в пустыне» (повесть «Падение», 1956; публицистика последних лет). Словом, в 1940 году, когда завершался «Посторонний», задуманный еще в 1938-м, впереди у двадцатисемилетнего Камю было почти все. Позади же — лишь ранние лирические эссе «Изнанка и лицо» (1937) и «Бракосочетания» (1938).

Они явственно отмечены печатью последних предвоенных лет — той духовной атмосферы, из которой вырос и «Посторонний». В нестройных медитациях Камю, напоминающих «прогулки» старых романтиков, ведутся поиски такой житейской позиции, которая помогла бы человеку не пропустить отпущенные ему судьбой мгновения жизни в мире трагическом и хмуром. Срывы и потрясения века, происходившие у него на глазах, заставили Камю наряду со многими его сверстниками усомниться в разуме истории. Потерявший отца, убитого в 1914 году, учившийся на медные гроши, «кухаркин сын» Камю сам пояснял: «Я находился где-то на полпути между нищетой и солнцем. Нищета помешала мне уверовать, что все благополучно в истории и под солнцем; солнце научило меня, что история — не все».

Неблагополучие истории побуждало Камю-газетчика вмешиваться в ее ход. Камю-эссеист жаждал стряхнуть с себя завороченность ее угрожающим ликом и припасть к суровой, но непреходящей, вечной природе, загадки которой открываются вполне и до конца только при свидании один на один с безлюдьем — прибрежным песком, морем, каменистыми скалами, палящим солнцем, развалинами древних городов, заброшенными посреди пустыни. Тело, дух, стихии — точно три собеседника, сведенные в «прогулках» Камю для разговора о самом важном: о радости жить и трагедии жизни. Тело ненасытно впитывает все то, что ловят слух, глаз, обоняние, кожа. В такие минуты свершается торжественный обряд причащения к дарам природным, и пронзительная радость охватывает того, кто сподобился языческой благодати: «Море, равнина, безмолвие, запахи земли — меня переполняла пахучая жизнь, и я кусал золотистый плод мира, потрясенный вкусом сладкого и терпкого сока, что стекал по моим губам. Нет, ни я, ни мир сами по себе не имели значения, но лишь наше согласие и еще тишина, рождавшая между нами любовь». Это почти мистическая полная слиянность, когда «толчки крови совпадают с мощным биением солнца в зените».

Чистота и младенческая невинность этих празднеств в том, что в разгар их человеческая личность перестает быть в разладе с мирозданием, совмещается полностью со своей физической сутью. Она уже не «мыслящий тростник», работа ума приостановлена. Ведь последний как раз и обращает кровное родство в чужеродность, делает меня иным, не похожим на бездуховную материю. Разрыв усугубляется тем, что разум достоверно знает: тело, в котором он обитает, смертно, и вот уже пропасть разверзается между конечным и вечным, крупницей плоти и безбрежной природой, между Я и вселенной. Дух вынуждает взглянуть на изнанку пьянящих «бракосочетаний», он возвещает ужас неминуемого распада и уничтожения, отлученности человека от родников бессмертия. И ничего с этим поделать нельзя — остается признать, что непомерные притязания на вечность тщетны, быть скромнее и попробовать собрать отпущенные тебе и особенно драгоценные крупички минутного счастья. Все прочее — химеры. «Нет» от века прудустановленному распорядку вещей надо обручить с «да»,

обращенным к мимолетному сейчас, — в этом прозрачная мудрость «средиземноморской цивилизации», наследником заветов которой считает себя Камю. «Без отчаяния в жизни нет и любви к жизни».

Афоризм не из веселых, хотя отсюда не следует, будто ранний Камю — мизантропический певец уныния и тлена. Отчаяние его — просто-напросто утрата надежд на загробное блаженство, призыв искать спасение в посюстороннем здесь «Люди, которые довольствуются землей, должны уметь заплатить за свою радость ясностью и, избегая иллюзорного счастья ангелов, возлюбить то, что обречено погибнуть».

Однако само по себе выдвижение смертного удела в качестве истины всех истин делает метафизический масштаб исходным для философии Камю. Одинокая личность наедине с несправедливым творением — первичная и самая подлинная в глазах Камю ситуация человеческого бытия. Все остальные — от каждодневной жизни бок о бок с другими людьми до социальной рутины и даже до исторического действия — промежуточные, производные, а них не обнажена самая суть, а чистое «быть» оттеснено мутным «казаться». «Революционный дух, — записывает, например, Камю в одной из своих черновых книжек 1938 года, — полностью сводим к возмущению человека своим человеческим уделом. Революция всегда, начиная с Прометея, поднимается против богов. Она есть протест против судьбы, тираны же и буржуазные марионетки здесь просто предлог». Понять жизнь — значит, по Камю, свести ее изменчивые разноречивые облики к одному знаменателю и истолковать их в свете последней вспокрывающей правды.

Все эти умонастроения трагического языка, опирающегося на замену исторического подхода к человеку подходом метафизическим, были положены Камю и в основание «Постороннего». Они-то и делают повесть книгой во все времена, вышедшей из-под пера писателя, еще не распрощавшегося с утопической надеждой на возможность отстраниться, выласть из жестких и принудительных рамок гражданского бытия. Разгром 1940 года и последующая судьба Франции усугубят неприязнь Камю к истории, он прямо будет числить себя среди тех, кто ее «претерпевает а не делает». Но тогда он по крайней мере осознает,

что от нее не скроешься в тихий оазис, что сам он, как и все прочие, «прикован к галерее своего времени и вынужден грести вместе с другими. даже если полагает, что она провоняла селедкой, что на ней слишком много надсмотрщиков и что, помимо этого, взят неверный курс». Пока же, работая над «Посторонним», Камю лелеет помыслы о бегстве с постылой галеры или по крайней мере о том, что иным счастливицам на ней, быть может, позволительно не грести в лад с соседями.

2

Работая над «Посторонним», Камю предписывал себе в дневнике: «Хочешь быть философом — сочини романы». А вскоре после окончания рукописи, оглядываясь на сделанное, он снова отмечал свою склонность к такому вымыслу, который есть «завершение философии, ее иллюстрация и увенчание». О притче, восходящей к традициям вольтеровских философских повестей, шла речь и в первых же эскизах на «Постороннего», хотя в нем, казалось бы, не улавливается и намек на фантастическое иносказание, а взят вполне заурядный житейский случай, каким несть числа. Частенько сетовавший на то, что его толком не поняли, писатель тем не менее в этом моменте полностью согласился со своими критиками и не раз подтверждал свое присграсие к символу, к мифу, к сотворению «воображаемой вселенной, где жизнь принимает облик Судьбы».

Разумеется, когда впервые берешь в руки «Постороннего», можно заране и не знать или, зная, отвлечься от этих самокомментариев и советов автора, хотя вообще-то ему виднее, что ему предпочтительнее и ближе. Но в конце концов перед тобой запечатленный в слове одаренным мастером «кусочек жизни», стоит ли еще дисквизировать, какие мудрствования он увенчивает и при чем тут миф о самой Судьбе? У такого непосредственно-наивного подхода есть свои преимущества: ничто не мешает свежести сопереживания. Он чреват и своими потерями: отключается соразмышление. А в случае с «Посторонним» оно не только не лишне, но без него, пожалуй, не возникнет и сопереживания. Ведь у философской повести свои источники «занимательской», она по-своему захватывает здесь не надо разгустывать клубок приключений, погружаться в сердеч-

ные бездны, созерцать сочную живопись быта и нравов, внимать лирической ворожбе. Самой манерой, поворотом рассказа Камю ставит нас в положение пристрастного, увлеченного и вместе с тем стороннего наблюдателя, бьющегося над нелегкой нравственной задачей, решение которой касается или может коснуться всех и каждого. Перед самой казнью осужденный преступник ведет записки, стараясь с предельной откровенностью осветить, еще раз перебрать в памяти то, что привело его в камеру смертника, и под занавес, в час последнего прощания, подтвердить, что ему не в чем себя упрекнуть, что он всегда был прав и счастлив. И его чистосердечные признания волей-неволей воспринимаются как скрытое, хотя и настоятельное ходатайство о кассации, обращенной к самому высочайшему суду — суду человеческой совести.

В подобном приглашении задуматься вместе с ним над уголовным преступлением и всем, что ему сопутствует, Камю, которого укоряют во всех грехах модернизма, на самом деле скорее традиционен, опирается прежде всего на писателей XIX века от Стендаля и Гюго до Толстого и Достоевского (кстати, сочинения двух последних всегда были настольными у Камю). Злоключения по дороге к скамье подсудимых, а затем в каторгу и на эшафот нередко становились стержнем их книг. С тщательностью следователей вникали они в поступки, страсти, вожделения, восстанавливая шаг за шагом, осмысливая извне и изнутри происшествие с роковым исходом, чтобы приговор мог быть вынесен без предвзятости. Конечно, их писательское следствие — особого толка. У ведущего «дело» здесь не было чиновничьего почтения к статьям того принятого властями кодекса, что освящает и охраняет данное общественное устройство. И коль скоро взыскательная совесть расхлдилась с буквой и духом действующего уложения о наказаниях, тем хуже было для последнего. Суд и подсудимый менялись местами перед лицом небумажной справедливости. Прямое и смертельно опасное столкновение двух далеко не всегда совпадающих прав, двух правд — права человеческого и права юридического, правды личности и правды закона — высекало искру прозрения. С одной стороны — официальные стражи порядка, знающие наизусть свод запретов и предписаний, в которых зыбкая стихия социальной жизни отвердела, обрела логическую

жестокость и словесную четкость. С другой — их нарушитель, под беспощадными лучами перекрестного допроса и свидетельских показаний представший «как на духу» — со всем, что в нем есть дурного и доброго, благородного и низкого, изломанного и честного, навязанного укладом общества и заложенного природой. Трудно, пожалуй, сыскать моменты, больше дающие для человековедческого исследования жизни.

Случай, представленный Камю к нашему пересмотру, имеет, однако, одну особенность. У Гюго или Толстого правда одних и виновность других очевидна. О «Постороннем» этого не скажешь: здесь многое запутано, даже двусмысленно. Налицо неспособность судейских вникнуть в суть дела по-настоящему, но и преступление тоже — налицо. Книга, на первый взгляд столь бесхитростно-прозрачная, затягивает своими «за» и «против», вдруг оказывается чуть ли не головоломкой, не дающей успокоиться, пока не распутаешь все до конца. Она прямо-таки пробуждает в каждом аналитика и изыскателя, жаждущего докопаться до самого корня и подобрать свой ключ к ее загадке. Отгадки опережают одна другую, заочно скрепляя или отвергая однажды вынесенный приговор. В рассказчике «Постороннего» поочередно открывали злодея и великомученика, тупое животное и мудреца, ублюдка и робота, скрытого расиста и сына народа, недочеловека и сверхчеловека. Камю сперва изумлялся, потом сердился, а под конец сам усугубил путаницу, сообщив полушутя-полусерьез, что в его глазах это «единственный Христос, которого мы заслуживаем».

Какую бы из подстановок, впрочем, ни предпочесть, остается неизменным исходное: он «посторонний», «чужой». Но посторонний — чему? Чужой — кому? На этот счет Камю сомнений не оставил, с нечастой для писателей в подобных случаях прямой сказав в предисловии к американскому изданию повести (1958): «Герой книги осужден потому, что не играет в игру. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет, он блуждает — словно на полях страницы — по окраинам жизни частной, единичной, чувственной. Он отказывается лгать... Он говорит то, что есть на самом деле, и вот уже общество ощущает себя под угрозой». Записные книжки Камю тех лет, когда шла работа над «Посторонним», пестрят

презрительно-колкими выпадами против официальной жизни, сведенной к бессовестному охранительному фарисейству, против ее заправил — буржуазных политиканов с выжженным нутром и страстью к бесконечному плетению словес.

Одна из записей 1937 года: «Всякий раз, когда я слушаю полигическую речь или читаю заявления тех, кто нами управляет, я ужасаюсь — и уже не первый год — оттого, что не улавливаю в словах ни малейшего человеческого оттенка. Вечно все те же слова, несущие все ту же ложь. И в том, что с этим свыкаются, что гнев народа не сломал дагно всех этих марионеток, я вижу подтверждение взгляда, согласно которому люди не придают особого значения своим правительствам...» Позже Камю не раз возвращался к тогдашним своим разрозненным наблюдениям в том же духе, а в 1957 году в речи при вручении ему Нобелевской премии свел их в язвительную инвективу: «Вот уже почти столетие, как мы живем даже не в обществе денег (серебро и золото по крайней мере могут возбуждать плотские страсти), а в обществе отвлеченных денежных символов. Общество торгашей может определить себя как общество, где вещи понемногу замещаются знаками. Когда правящий класс измеряет свое состояние не арпанами земли или слитками золота, а неким числом цифр, по видимости соответствующих числу обменных операций, он тем самым обрекает себя на то, чтобы поставить в центр своего мира и своего опыта определенную мистификацию. Общество, основанное на знаках, по самой сути своей есть общество искусственное, в котором плотская природа чело века мистифицирована. Поэтому нет ничего удивительного, что это общество сделало своей религией мораль формальных принципов и что оно пишет слова «свобода» и «равенство» одинаково на тюрьмах и финансовых храмах. Однако нельзя безнаказанно протитуировать слова. Сегодня свобода — без сомнения самая оклеветанная ценность».

В «Постороннем» встреча с этой всепроникающей, сказывающейся даже в житейских мелочах мистификацией происходит на первой же странице. Служащий Мерсо, получив телеграмму о смерти матери, отправившаяся с работы для похорон. Хозяин не спешит выразить ему свое соболезнование: в одежде подчиненного пока нет показных призна-

ков траура — значит, смерть как бы еще не произошла. Другое дело после похорон — тогда «все станет ясно и определено, так сказать, получит официальное признание». Вежливость такого толка — бюрократизированная душевность, давно не вспоминающая о своем исходном предназначении и нуждающаяся в сугубо формальном толчке, чтобы провести очередное сугубо галочное мероприятие.

Однако столь откровенное саморазвенчание «дежурного» церемониала допустимо лишь в мелочах. Мистификация обречена на гибель, если она проявляет халатность в более важных случаях, не печется денно и нощно о том, чтобы выхолощенная искусственность была увенчана ореолом священной естественности. Чем меньше жизни в социальном ритуале, тем он тираничнее, тем придиричвее требует соблюдения своих правил и табу, тем круче расправляется с уклоняющимися. Здесь все заранее расплано по полочкам должного и недолжного, а то, что не втискивается в рубрику, сразу же оказывается предосудительным, карается и уничтожается. «Посторонний» и вскрывает механику этого защитительного отсева.

Повесть разбита на две равные, схожие по композиции и очевидно перекликающиеся друг с другом части. Вторая — зеркало первой, но зеркало кривое. Однажды пережитое взаправду реконструируется затем в ходе судебного разбирательства, и подобие до неузнаваемости искажает натуру. Из сырья фактов, расчлененных и заново сопряженных по законам не восприимчивой к «частностям» логики, производится подделка. Мистифицированная гражданственность показана прямо за работой.

Привычно вяло и размеренно тянутся в первой половине повести дни одинокого холостяка Мерсо, обитателя пыльного предместья Алжира и служащего какой-то конторы. Поездка в богоугодный приют, где скончалась его мать, прерывает это растительно-полудремотное прозябание, но уже на следующий день после погребения все опять попадает в наезженную колею. Он ходит в присутствии в будни; вечерами сидит дома, изредка вступая в пустяковые разговоры с соседями по площадке и оказывая им мелкие услуги; по субботам купается в море, смотрит кино и спит с более или менее случайной знакомой; воскресенье напролет томится у окна, разглядывая прохожих. Он в меру прилежен на работе,

благожелателен и уступчив без особого радушия, сообразителен, хотя лишен любознательности и желания преуспеть, молчалив, но не угрюм, привержен к наслаждениям тела. А в общем, по крайней мере внешне, обычен, как обычно его жизнь — невзрачная, скучноватая, но ничем не выделяющаяся из сотен ей подобных.

И вот глупый и во многом случайный выстрел, сделанный скорее из-за наваждения послепопуденной жары и какой-то физической раздерганности, чем по злому умыслу, приводит незаметного обывателя на скамью подсудимых. Он и не собирается ничего скрывать, даже охотно помогает следствию. Но запущенной судебной машине простого признания мало, от него ждут театрального покаяния и свидетельств своей закоренелой преступности — иначе убийство не укладывается в головы блюстителей правосудия. Когда же ни угрозы, ни посулы не помогают вырвать предполагаемых улики, их принимают искать в его биографии. И находят. Правда, не совсем подходящие: скорее странности, чем пороки. Но от странностей до чуждости — один шаг, а там уж рукой подать и до злоскозненной враждебности. Тем более что среди «причуд» Мерсо есть одна совершенно непростительная. Подследственный правдив до пренебрежения собственной выгодой. Врожденная обезоруживающая искренность кажется всем, для кого жизнь — корыстное лицедейство, то ли ловкой маскировкой, то ли посягательством на устои. В обоих случаях она заслуживает кары.

Во второй части «Постороннего» и происходит в соответствии с этим тщательно замалчиваемым заданием перелицовка одной обыкновенной жизни в житие злодея. Следователь, прокурор, судья, свидетели обвинения дружно сотрудничают, подгоняя — по колодке, возникшей из их стихийной неприязни к подсудимому, — куски, полученные способом произвольного рассечения живой биографической ткани. Сухие глаза перед гробом матери превращаются по ходу этой операции в черствость убудка, пренебрегающего сыновним долгом; вечер следующего дня, проведенный с женщиной, — в святотатство; шапочное знакомство с соседом-сутенером — в принадлежность к распутному дну; поиски прохлады в тени у ручья — в месть кровожадного изверга. В зале заседаний Мерсо не может отделаться от ощущения, что судят кого-то другого,

кто отдаленно похож на знакомое ему лицо, но уж никак не он сам. Да и трудно узнать себя в маске «выродка без стыда и совести», которая вырисовывается из некоторых свидетельских показаний и особенно из язвительных намеков обвинителя. А над всей этой зловещей перекройкой витает незримый дух ханжества, почитающего себя оплотом добродетели, залогом сохранности всего общественного организма.

Постепенно самый поступок убийцы отодвигается на задний план, вперёд же выходит его неподсудное, частное, но тем более злостное, с точки зрения фарисеев, уклонение от «священных» условностей. Произнеся кликушескую речь, прокурор выбалтывает тайну всего судилища: по его словам, глухое к принятой обрядности сердце «постороннего» — страшная «пропасть», «грозящая разверзнуться» и «поглотить все, на чем зиждется наше общество». И Мерсо отправляют на эшафот, в сущности, не за совершенное им убийство, а за то, что он «белая ворона», за неприятие им лицемерия, из которого соткана мораль формального долга, за то, что он не плакал у гроба и назавтра ходил в кино. Всемогущий искусственный уклад творит расправу над отпавшей от него жизнью.

Однако оттого, что столпов этого уклада подталкивает скорее страх, чем правда, устроенное ими ритуальное жертвоприношение зачастую утрачивает подобающую серьезность и, наоборот, приобретает оттенок фарса. На одном из первых же допросов между следователем и подследственным происходит разговор, предвосхищающий заключительный визит священника в камеру приговоренного и вскрывающий природу той ненависти, которую питают к «чужаку» официальные лица. Достав из стола распятое, следователь размахивает им перед озадаченным собеседником и дрожащим голосом закликает этого неверующего уверовать снова. «Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? — воскликнул он». Просьба на первый взгляд столь же странная, как и обращенные к Мерсо мольбы тюремного духовника принять причастие: хозяева положения униженно увещивают жертву. Такие увещивания возможны лишь в устах тех, кого гложут сомнения, кто догадывается, что в охраняемом ими и удобном для них порядке завелась порча, и вместе с тем испуганно отрешивается от этих подозрений. Он не был даже уве-

рен, что жив, ведь он жил как мертвец, — думает Мерсо о причинах назойливости священника. Избавиться от червотчины уже нельзя, но можно заглушить тоскливые страхи, постаравшись склонить на свою сторону всякого, кто о ней напоминает. Чем тревожнее догадки, тем нетерпимее и мстительнее вражда к инакомыслящим — ведь они одним своим существованием перечеркивают все, чему поклоняются их преследователи, в чем они черпают себе поддержку. За всесилим властью имущих кроется духовная растерянность, и это делает их жалкими — отталкивающими и смешными одновременно.

Слух прямодушного рассказчика, добросовестно передающего все, что ему запомнилось из судебных прений, чутко улавливает в них примесь фальши, которая как раз и выдает эту внутреннюю немощь всемогущих. Отсюда истерическое озлобление прокурора, который испуган сам и «пугает» присяжных и публику, то и дело взгромождаясь на ходули мелодраматического витийства. Закругленные тирады его густо увешаны побрякушками отработанно-пустозвонных метафор. Подсудимый с трудом продирается сквозь это вымученное краснобайство: «И я опять постарался слушать внимательно, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе. Он говорил, что пристально в нее всмотрелся — и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели!» Прямое обращение к присяжным, будучи вкраплено в косвенный пересказ от лица слушателя и подчеркивая момент предельной взвинченности говорящего, делает все предложение несурзанным. Столь же нескладны в устах простодушного рассказчика и обрывки sacramентальных юридических формул. Торжественное произнесение смертного приговора сведено, например, к фразе: «Председатель в каких-то чудных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову», — здесь торжественно-грозные слова канцелярских бумаг, попав в обрамление разговорных оборотов, получили прозаически-буквальное прочтение и зазвучали пародийно.

Не менее приметлив, чем слух рассказчика, и его глаз: механически затверженные речи сопровождаются механически затверженными жестами. Государственный обвинитель патетически prostирает руки, тычет перстом в сторону подсудимого, для

пушей важности оправляет мантию, когда встает или усаживается. Защитник светливо вскидывает руки, и всем мозолят глаза складки его накрахмаленной рубашки. Жестикуляция обоих кажется обвиняемому набором ужимок из какой-то диковинной балаганной пантомимы.

Незадачливый слушатель и зритель, Мерсо «лишний» в игре защиты и обвинения, где ставкой служит его жизнь, но правила которой для него за семью замками. Ходы игроков загадочны и рождают у него головокружение, мысль о призрачности всего происходящего. Он дивится, потому что не понимает. Однако это непонимание особое: в нем зоркость, а не слепота. То, во что другие погружены с головой, к чему они подходят изнутри, он созерцает извне. И он обнаруживает изъяны, скрытые от остальных их благоговением перед привычным и должным, перед заштампованными мерками, которые просто прикладывают к очередному случаю, ни минуты не сомневаясь в их надежности. «Посторонний» платит своим судьям их же монетой: для них он враждебно-странен, они же, в свою очередь, «остраннены» его взглядом, превращены в устроителей трагикомического обряда. Сквозь его изумление проступает издевка Камю над мертвым ритуалом мертвой официальной системы. Суд над «посторонним» оборачивается судом самого писателя над поддельными ценностями промотавшего живую душу буржуазного общества.

3

Понятно, что в этом царстве смехотворной эрзац-гражданственности, где даже изъясняются на тарбарском наречии, в которое и вникает-то, пожалуй, не стоит, правды человеческой жизни нет и быть не может. Все подлинное здесь чужеродно, оно — остаток после вычета условностей, нечто сугубо личностное и внесоциальное. «Посторонний» это знает, точнее, ощущает давно, судейские не знают и знать не хотят. Вылившись в разговор глухих, судебный процесс обнажает это взаимное отчуждение, которое подспудно существовало и тогда, когда Мерсо еще не считал в одиночестве на скамье подсудимых, а был затерян в толпе.

Камю не вдается в подробности биографии своего героя, но одна деталь, проливая

ющая свет на весь его облик и поведение, мельком упомянута. В юности он был студентом в Париже и, как все, строил планы на будущее, помышлял о карьере. Занятия пришлось бросить, однако вскоре он не только утешился, но и понял, что прежние честолюбие было пустой суетностью и не заслуживало даже, чтоб о нем сожалеть.

Под напором каких же очевидностей рухнули былые запросы? Об этом рассказчик молчит вплоть до последних минут, когда выведенный из себя приставаниями священника, он вдруг взорвался и «излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна»: «Я прав и теперь и прежде, всегда был прав...» — лихорадочно выкрикивает он. «Все — все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему... Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, — ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями... Рано или поздно всех осудят и приговорят». Старым или молодым, в собственной постели или на плахе, каждый умрет в одиночку, разделив участь всех прочих, — перед этой беспощадной ясностью тают все миражи, за которыми гонятся люди, пока не пришел их смертный час. Суетны все потуги заслониться от жестокой очевидности, посвящая себя карьере, помощи ближним, заботе о дальних, гражданскому служению или еще чему-нибудь в том же духе. Бог, якобы предписывающий то-то и то-то, — сплошная выдумка. Пустые небеса хранят гробовое молчание, свидетельствуя, что в мире нет разумного и рачительного хозяина и с точки зрения вездельной смертной песчинки все погружено в хаос. Невесть зачем явился на свет, невесть почему исчезнешь без следа — вот и весь сказ с смысле, точнее, бессмыслице жизни, который выслушивает от глухого к его запросам мироздания всяк взыскующий.

Здесь кстати вспомнить, что те же мысли высказывались незадолго до того в ранних лирических эссе самого Камю. Они мучили и уязвленного несправедливостью смерти «логичнейшего из безумцев» Калигулу из одноименной трагедии, написанной Камю тогда же. При всем несходстве скромного алжирского служащего и римского самодержца, Камю вкладывает им в уста схо-

жие слова, ставит их рядом. Один дополняет и поясняет другого, и оба вместе позволяют отчетливее различить общественный и культурно-исторический смысл тех откровений, которые они возвещают вслед за своим создателем.

Калигула у Камю, почерпнувшего историю полусумасшедшего на троне из «Жизнеописаний двенадцати Цезарей» Светония, — дальний потомок тех рыцарей «конечной черты», которые в книгах Достоевского вздергивают себя на дыбу «своевольного хотения». Правда, он не родился таким, поначалу это вполне благоразумный, просвещенный и даже совестливый юноша, полагавший, что «заставлять страдать других значит серьезно заблуждаться». Падение произошло внезапно, и причина тому — встреча со смертью. Перед безжизненным телом своей сестры и любовницы, умершей в расцвете молодости, Калигула вдруг постиг «совсем простую и очень ясную истину, чуть-чуть нелепую и с трудом выносимую»: «люди смертны и несчастны» и «они плачут оттого, что все идет не так, как им хотелось бы». «Этот мир, как он устроен, нестерпим, — сообщает он своему другу, — следовательно, мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, или что-нибудь, что, быть может, и является безумием, но что не от мира сего». В руках императора огромная власть, и он полон решимости пустить ее в ход, чтобы испытать шанс, который она дает, — надежду на невозможное. Калигула не желает покориться судьбе, он сам хочет быть для подданных судьбой и божеством, чинить суд и расправу, не давая себе труда объяснять, когда и почему казнь наступает очередную жертву. Разве не так же поступает и само творение, насылая мор и глад? «Оныне и навсегда, — провозглашает самозванный соперник богов, — моя свобода беспредельна». И добавляет с дьявольской усмешкой: «Свободны всегда за чей-нибудь счет, это огорчительно, но нормально».

Зачем же понадобилась Калигуле все это натужное лицедейство? Затем, чтобы развеять условности и предассудки, которыми люди заслоняются от пугающей их судьбы, приобщить всех к жестокой ясности. Калигула одержим желанием просветить окружающих слепцов. Смерть полкрадывается к ним исподтишка, они гонят от себя мысль о неизбежном конце — император-«просветитель» намерен показать

каждому ее насущность. С бесовской изощренностью ставит он «педагогический эксперимент» — съей кощунственный фарс. Он грабит богатых и нищих, пытается, унижает, издевается, принуждает отца улыбаться на следующий день после гибели сына и превращает супруга в сволочника своей собственной жены, почтенных вельмож он зовет «милашками», приказывает закрыть хранилища и объявляет голод в Риме, затем, взгромоздившись на пьедестал, заставляет придворных возносить ему хвалы, предназначенные богине Венере. Поучительный спектакль в спектакле призван вбить в тупые головы «правду этого мира, состоящую в том, что ее в нем нет». Нет поступков добродетельных или дурных, все они в принципе «равнозначны», каждый волен вести себя, как ему вздумается, волен покорно идти на заклание или молить о пощаде, волен взбунтоваться и поднять руку на палача. Калигула провоцирует своих сенаторов на восстание, но они долго холопски ползают перед ним на брюхе, пока наконец вокруг зловещего комедианта не стягивается кольцо заговора. И когда настает час расплаты, Калигула в страхе осознает, что невозможно так и не достигнуто, что луну он не заполучил, а из зеркала на него смотрит все то же лицо — лицо несчастного смертного, а не божественной судьбы. Насилием нельзя отменить рок, оно лишь умножает людские страдания. «Я избрал не тот путь, — заключает перед смертью Калигула свой урок чудовищной педагогики, — он ведет в никуда. Моя свобода несостоятельна».

Убийца не по природе, а из философского принципа, Калигула у Камю парадоксален: прав против всех в мыслях, преступен перед всеми на деле. В споре с ним никто из его жертв и противников не может опровергнуть железной логики выкладок, которыми он обосновывает свои надругательства. Рядом с «непогрешимыми» и чреватыми убийством силлогизмами Калигулы жалким лепетом выглядит защита филистерских добродетелей в устах римских вельмож, перепуганных тем, что «семейственность потрясена, уважение к труду падает, вся страна богохульствует» по примеру императора. Своekorыстие этих заслонов против «нечестивых» откровений, лживость этих заместителей недостающего смысла жизни в пьесе очевидны. Впрочем, даже и те, кто мыслит шире и благороднее, кому противны прид-

ворные «столпы порядка», тоже не в силах противостоят Калигуле и попадают под колдовское очарование его доводов.

Где же в таком случае вина Калигулы? И есть ли она вообще? Или это просто роковой просчет, беда, горе от ума? Подобно Ивану Карамазову (Камю исполнял роль Ивана в своей сценической обработке «Братьев Карамазовых», которую он поставил в те годы в передвижном алжирском театре), подобно Раскольникову или Кириллову, этим, по слову Вересаева, «фанатическим фетишистам черты», Калигула — мученик наваждения, жертва своей страсти быть последовательным до конца. Он очищен тем, что готов искупить ошибку своей кровью, заплатив за пролитую кровь и причиненные другим муки. Изнемогший под бременем убийственной логики, он сам подставляет грудь под кинжалы заговорщиков. Писатель делает все, чтобы заставить нас влезть в шкуру своего «тирана от отчаяния», проникнуться пониманием злосчастия этого «падшего ангела», и одновременно он предостерегает против «бесовства» — против одержимости калигул, решивших быть на свой лад цельными, породнить мысль и дело.

Двусмысленность Калигулы позволяет понять историческую подпочву того искусства «конечных пределов», который столь занимал Камю в пору его первых шагов на литературном поприще. Ведь «разговор по душам с творением», жгучая жажда попытаться, зачем жизнь и зачем смерть, не возникают вдруг, по прихоти случая. «Проклятые вопросы» существуют всегда, но они разбухают, заполняют умы, когда там образуется пустота, когда выветривается непосредственное, изнутри данное сознание нужности и осмысленности своей жизни. До этой поры мысль занята иным — работой по возделыванию жизненного поля, которое ригуется ей, быть может, не слишком подходящим, чтобы на нем возростала тучная нива, но и отнюдь не бесплодным, все-таки пригодным для посевов. Чтобы произошла смена самой установки и «проклятый вопрос» был задан, нужна утрата наивно-благодушного доверия к чреде трудств и дней, нужна догадка — толчок для скептического анализа, в беспощадном свете которого каждодневному житью-бытию предстает обнажить свои язвы, свою ущербность, свою неспособность быть чем-либо иным, кроме светной

возни. На первых порах «проснувшегося» уму свойственно приписывать честь горьких открытий исключительно собственной прозорливости, кичиться тем, что его, мол, не проведешь, и вместе с тем угрызаться своей дерзостью, спугнувшей покойную тишь вокруг. Когда ранний Камю со смешанным чувством гордости и вины возлагал на разум ответственность за «грехопадение личности», познавшей свое изгнанничество и заброшенность в мире «без бога», без верховного распорядителя судеб, он переживал момент подобного поворота-пробуждения. Постепенно, однако, выясняется, что разум здесь просто орудие, инструмент, а не перво-причина, что он сам исподволь наведен на след «вопросов» изменившимся в корне положением вещей. Оно перестало внушать безмятежное самодовольство и больше не выдвигает для себя никаких серьезных оправданий, разве что перечень пошлых прописей, какими пробавляются сановники Калигулы. Разуму остается либо опуститься до их жалкого рассудка, ослепнуть, либо призвать на свой суд и расправу миропорядок, еще вчера казавшийся по крайней мере сносным.

Заурядная и будничная механика тех прозрений, которые Калигула, а вслед за ним и Мерсо завещают векам как разоблаченную ими тайну творения, очерчена Камю совершенно прозаически на одной из первых страниц «Мифа о Сизифе» — философской работы, написанной год спустя после «Постороннего». Открытие нелепицы всего и вся, предупреждает Камю, не есть исключительное достояние вознесенных над толпой ясновидцев. Абсурд подстерегает рядового обывателя за каждым ближайшим углом, абсурдом чреват самый невинный случай, неосторожный шаг. «Бывает так, что привычные декорации рушатся. Пробуждение утром, травмы, четыре часа в конторе или на заводе, обед, грамвай, четыре часа работы, ужин, сон — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме...» И однажды, когда мозг измотан, когда усталость толкает его на размышления, в нем вдруг проскальзывает: а зачем это унылое круговращение ради круговращения? И есть ли в нем хоть капля смысла? Ведь так изо дня в день до пенсии, а там уж и до могилы рукой подать. Самая обычная усталость подсказывает вопрос о назначении человека на земле, мучающий мыслителей с тех пор, как

стоит мир. И на него в конце концов следует обескураживающий ответ: круг, по которому тащишься от рождения до смерти, замкнут в самом себе и порочен. Заботы о хлебе насущном и очередные дела, просто бездумное исполнение кем-то и когда-то заведенных правил до поры до времени скрывают от нас эту истину. Но она жестоко рассеивает самообман всякий раз, когда мы, дотоле покорно повиновавшиеся привычке, случайно спогкнулись, выбиты из колеи и вдруг всем нутром ощущаем «нелепость этой привычки, отсутствие каких бы то ни было глубоких оснований продолжать жить, тщету повседневной суеты и ненужность страданий».

В этой отсылке к обыденному, повседневному (она, разумеется, не исчерпывает «Мифа о Сизифе», а лишь предвзряет обоснование трагического стоицизма как суровой «морали абсурда») примечателен особый срез житейского пласта — обнажение прежде всего мертвенно-опустошенной ритуальности поведения, полного автоматизма привычки, когда уже забыто, для чего она, собственно, понадобилась. Нетрудно распознать в этом довольно точный слепок тех духовных связей, которые прикрепляют частного индивида к обществу кризисному и одряхлевшему, вынужденному сплошь и рядом прибегать для самосохранения к шаманскому заклинанию традиций, обычаев, предков, к бумажным ценностям, давно уже не обеспеченным сегодняшним золотым запасом. Впрочем, буржуазная цивилизация, закат которой застал Камю, и смолоду выступала в маскарадном облачении, охотно рядясь — в пору утверждавших ее революций — то в одежду библейских пророков, то в тоги древних тираноборцев и тем скрывая даже от самой себя свою далеко не героическую деловито-торговую суть. А к XX веку злоупотребление подделками под старинную гражданственность с ее суровыми доблестями, прежде бывшее искренней иллюзией, выродилось в циничное изготовление фальшивок. Принципы слиняли и сделались затертыми клише, привычный ритуал заменил осмысленное поведение. Когда Камю вслед за бесчисленными предшественниками попробовал приподнять завесу, он нашел за нею осколки разбитых кумиров и еще — зияющую пустоту. Перед этим плачевным зрелищем поневоле напрашивалось скептическое «зачем?».

Иступленно-страдальческий крик, вло-

женный писателем в уста Калигулы, родился, следовательно, из яростной неудовлетворенности укладом жизни в обществе и нес в себе заряд стихийно-разрушительного протеста против него. Однако разрушение разрушению рознь. С середины XIX века в европейской философии и культуре наметились и в дальнейшем резко размежевались два разных подхода к задачам освобождения человека. Один — исторический — исследовал природу зависимости личности от социального строя, с тем чтобы во всеоружии знания приступить к его перестройке; это был курс на пролетарскую революцию, и его прокладывал марксизм. Другой — лирический по складу и скорее душеспасительный по упованиям — спешил разорвать всяческие зависимости как путы постылой юдоли, проклинал этот строй, стонал по поводу его чудовищности, отвергал с порога его духовную нищету, но жаждал в первую очередь добыть свободу произвольного хотения и не посягал на устои, поскольку не дал себе труда разобраться, в чем они; это бунтарство по наитию и под метафизическими лозунгами звучало на все лады в пестром многоголосье хора, среди первых запевал которого были Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше.

Их-то сочинения наряду с романами Достоевского и штудировал в молодости особенно тщательно студент философского факультета Альбер Камю. У него и в дальнейшем часты отголоски, а то и просто пересказы их суждений. Все четверо (несколько позже к ним будут присоединены Кафка, затем Лев Шестов и Николай Бердяев) в глазах Камю — евангелисты того пошатнувшегося в своей вере или вовсе утратившего бога христианства, которое иной раз провозглашает себя атеизмом, оставаясь религиозным по самой сути. «Смерть бога», о которой оно подозревает или открыто ее возвещает, для него трагедия, потому что оно веками приучено искать утешения за беды земные в лоне всевышнего и не допускает иного залога разумности творения, кроме провиденциального закона создателя. Если же богочеловек есть просто антропоморфный миф — а это мало-помалу делалось ясным не одним просвещенным умом, но и обыденному сознанию, — то все повергается для них в пучину бессмыслицы. Настоящий атеизм попросту перестает заботиться о небесах и обретает себе дело на земле — тоскующее по былому ущербное безбожие

болезненно переживает себя как отпадение от блаженства. Ведь ему невыносимо знать, что загробное воздаяние за добро и зло — пустые рассказы и что смерть — безвозвратное исчезновение. Ведь оно пока не умеет толком и ходить-то без вывешенных костылей, думать без прежних координат, что побуждает его принимать за исходную все ту же точку отсчета, только переименованную: вместо наличия бога — отсутствие бога. А вслед за этим происходит выворачивание наизнанку и всех прочих представлений: на место запрета попадает своеволие, на место пребывания в благодати — изгнание, на место провидения — непостижимый хаос. Но эта подмена почти ничего не меняет в корне. Все так же замороженная небесами, хотя и пустыми, мысль по-прежнему ищет в первую очередь там отгадку для своих загадок, только на сей раз вычитывает из молчания не смысл, а бессмыслицу. Последнюю она уже остро ощутила в самой отнюдь не потусторонней жизни, но истинно сказано: «Всякое слово есть слово заклания: какой дух вызывает, такой и отзывается» (Новалис).

Затянувшаяся агония христианства, совпав с сумерками буржуазной цивилизации и придав ее кризису крайнюю остроту, гораздо сильнее, чем иногда думают, отравила духовный климат в западных странах, в частности и во Франции XX столетия. Без учета этого нельзя понять не только таких писателей-католиков, как Франсуа Мориак или Бернанос, но и неверующих — Жюда, Селина, Мальро, Сартра. Что касается Камю, то как раз отсюда попытка логикой у Калигулы с его максималистским «все или ничего» — тварь дрожащая или божество, бессмертие или самоуничтожение. В этом тиране крепко сидит «христианин наизуворот», охваченный тоской безбожник нищенского толка. И недаром, когда пьеса в 1945 году впервые была поставлена в театре, зритель, свежо помнивший нашествие таких вог калигул со свастикой, узнал в блуждающем взоре Жерара Филипа — Калигулы взгляд бесноватого Гитлера. Сам Камю не вкладывал в пьесу этого исторического намека, тем не менее он как бы сжато проиграл на подмостках мистерию взбесившегося и вымороченного безбожия, которое сперва опустошило немало голов, а потом и стран. Калигула бросал в зал признания, перекочевавшие постепенно из утонченно-изысканных эссе в расхожую

журналистику и разнесенные по свету громкоговорителями: «Я живу, я уничтожаю, я пользуюсь безумной властью разрушителя, по сравнению с которой власть небесного творца кажется обезьяньим кривляньем. Вот оно — счастье. Вот оно — блаженство: невыносимое освобождение, презрение ко всему, кровь, ненависть вокруг, бесподобное одиночество человека, окидывающего взором всю свою жизнь, непомерная радость безнаказанного убийцы, беспощадная логика, сминающая людские жизни...»

Жить, по таким понятиям, значит убивать. Поглощенный своим метафизическим сражением с призраками, «рыцарь черты» в отчаянии хватается за лозунг «все дозволено» и присваивает себе право распоряжаться участью ближних так, будто они — пешки. Свобода в погоне за миражами воздвигается на чужих костях — без этих зримых свидетельств. единственных ее трофеев и завоеваний, нет и ее побед. Ополчаясь против смерти, она сеет смерть. Взыскав невозможного, пускает в ход свою последнюю возможность — нагромождать трупы и под конец швырнуть в общую груды свой собственный труп. Вслед за Достоевским — и в отличие от Ницше — Камю нащупал опаснейший порок этого «поединка с судьбой»: здесь другие не принимаются в расчет.

Однако поскольку философские послышки Каллигулы кажутся Камю не лишёнными оснований, а заключения ужасают, то исход у этого спора с самим собой один — разорванность сознания, которое себя же заклиняет ни в коем случае не быть рассудочно-последовательным, не сводить в своих силлогизмах концов с концами. Собственная одержимость «предельной логикой» воспринимается им как наваждение, гордыня, несчастье. Ум корчится от болезненного раздвоения, мечется из крайности в крайность и в конце концов поддается соблазну отыскать для себя отдушину в возврате к былому безумию. Последнее рисуется ему спасительной гаванью, «золотым веком». Вслед за «Каллигулой», где развернута трагедия интеллекта изощренного, в «Постороннем» прослежены злоключения интеллекта наивного, так сказать, почти «нулевого».

По сути и там и здесь Камю продолжает биться над задачей с одинаковыми исходными данными. И Мерсо и Каллигула ставят в упрек окружающую попытку испуганно заслониться от сурового «быть» обманчи-

вым «казаться». Оба исповедуют безверие отверженных, которые не ждут свыше ни помощи, ни спасения. Разница, однако, в том, что в «Постороннем» как будто учтены предыдущие просчеты: Мерсо лишен задатков гордцеа и не тшится научить уму-разуму ближних. Римский самодержец жаждет, чтобы все подстроились к его шагу, алжирскому служащему достаточно брести себе в сторонке от всех не в ногу. Один — воинственный иконоборец, другой — тихий раскольник, один — бунтарь, другой — уклоняющийся. Памятуя о своем вырождении в тиранию из-за нескромных своих замашек, свобода предписывает себе довольство малым. Она не собирается перевернуть все вверх дном, она хочет, чтобы ее оставили в покое и позволили насладиться тем, к чему у нее еще не пропал вкус.

4

А вкус у «постороннего» пропал ко многому.

Ко всему, что не приносит непосредственного физического удовольствия, что выходит за пределы элементарнейших потребностей здорового тела. Остальные лобуждения и обязанности воспринимаются Мерсо как бремя, отнесены к разряду несущественных или попросту отвергнуты. Его не занимает продвижение по службе и возникающая возможность зажечь жизнью более подвижной, богатой впечатлениями. На предложение хозяина псехать в Париж представителем конторы Мерсо не возражает, но и не выказывает никакой заинтересованности: «Я сказал — пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно... в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо». Столь же равнодушен он к любви, браку, сыновним привязанностям, дружбе — для него все это пустые слова, он просто напросто перестал их понимать и честно в этом признается. Он испытывает желание обладать женщиной, его тянет к крепкой и загорелой машинистке Марии. Но он обескуражен, когда она спрашивает, любит ли он ее, и он отделяется замечанием, что слово «любовь» вообще-то ничего не означает. Впрочем, он согласен жениться на ней, если ей этого хочется, — ведь ему-то совершенно безразлично, отчего же не сделать ей приятное. Буль это, однако, другая женщина и завел сн с ней подобную же случайную связь, он также, не раздумывая,

не отказал бы и ей и также не ощутил бы никаких семейных уз. Жил же он бок о бок с матерью так, будто они едва эчакомы: за весь день они не находили друг для друга двух-трех приветливых фраз. Огупляющая усталость и сожаления об утре, пропавшем для прогулки,— вот, пожалуй, и все, что угнетало его в богадельне, куда он приехал просидеть ночь у гроба матери и потом проводить траурный катафалк до кладбища.

Подобно тому, как у других отмирают органы слуха или зрения, у Мерсо омертвела чувствительность к распространенному вокруг нравственному кодексу, да и ко всем прочим установлениям людского общежития. Духовно отсутствующий даже тогда, когда приходится надевать на себя невесть откуда и зачем взявшиеся социальные одежды, он — «голая натура», человек, из которого вычли члена общества, семьи, церкви, клана.

Зато тем беспримеснее вышелушивается его телесное естество. Моральное сознание почти вытеснено в нем влечением к приятному. Супружество потому для Мерсо и неважно, что ничего не добавит к наслаждению телом подруги, а другого он от нее и не ждет. С ней можно купаться и спать, все прочее Мерсо не касается. Что говорится у нее в голове, что она вообще делает между двумя субботними свиданиями, ему совершенно безразлично. При таком повороте ума и в самом деле нетрудно признать, что тяготы тюремной несвободы — это невозможность иметь женщину да еще разве что запрет курить, в остальном же можно было бы жить даже не в камере, а «в стволе высохшего дерева и совсем... ничего не делать, только смотреть, как цветет небо над головой».

Последняя оговорка указывает еще на одно пристрастие «отстранившегося» Мерсо: когда он не испытывает ни жажды, ни холода, ни усталости и его не клонит ко сну, ему приносит усладу молчаливо приобщение к природе. Обычно погруженный в ленивую оторопь, мозг его работает нехотя и вяло, ощущения же всегда остры и свежи. Самый незначительный раздражитель повергает его в тягостную угнетечность или жгучее блаженство. И дома и в тюрьме он часами, не ведая скуки и утомления, упоенно следит за игрой солнечных лучей, переливами красок в небе, смутными шумами, запахами, колебаниями воздуха. Изысканно-точные слова, с помощью которых он пе-

редает воспоминания о солнце, что «дробилось на песке и на воде в колкие осколки»; о «жалобном звуке, медленно взмывавшем вверх, точно цветок, рожденный гишиной», и проникавшем с улицы ярком свете, который «словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам точно сок из лопнувшего плода»; о том, как в утро похорон он чувствовал себя «затерянным между белесой выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк». Все это обнаруживает в тяжелодуме Мерсо дар недюжинного лирического живописца. К природе он, оказывается, открыт настолько же, насколько закрыт к обществу. Равнодушно отсутствующий среди близких, он каждой своей клеточкой присутствует в мироздании. И здесь он не сторонний зритель, а завороженный и самозабвенный поклонник стихий — земли, моря, солнца.

Солнце как бы проникает в кровь Мерсо, завладевает всем его существом и превращает в загнипнотизированного исполнителя неведомых космических наий. В гот роковой момент, когда он непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета и убил араба, он как раз был во власти очередного солнечного наваждения. Судьям он этого втолковать не может, сколько ни бьется,— человек, по их представлениям, давно вырван из природного ряда и включен в ряд моральный, где превыше всего зависимость личности от себе подобных, а не от бездуховной материи. Для Мерсо, напротив, и правда, и добро, и благодать — в полном слиянии его малого тела с огромным телом вселенной, все прочее — наносное и неважное. В преддверии казни, при стычке со священником до конца постигнув обращенный к нему призыв судьбы, который прежде он смутно угадывал, приговоренный к смерти обретает покой, «раскрываясь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, я счастлив и сейчас». И словно завет звучат его последние слова: «остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей — и пусть они встретят меня криками ненависти». Пожелание, понятное в устах человека, которого верность своей плотской природе и всему родственному ей природному царству сделало в обществе чужаком.

Все это безотчетно исповедуемое «языческое» раскольничество — отпадение от культа официальных добродетелей и обретение телесного первородства — в «Постороннем» даже не столько прямо высказано, сколько подсказано всей его атмосферой, самой языковой тканью. Передоверив слово человеку немудрящему, менее всего склонному к психологическому самоанализу, Камю запечатлел облик его сознания прежде всего в облике его стиля.

Слог «Постороннего» вызывающе беден по словарю, прост по синтаксису, разговорен по манере. Суховатую прямоту этого ровного, крайне скупого на метафоры, подчеркнуто однообразного и однолинейного нанизывания по преимуществу нераспространенных фраз пытались обозначить как «плоский», «нейтральный», «сырой», «невинный» стиль; наиболее меток был, пожалуй, критик Ролан Барт, причисливший «Постороннего» к прозе с «нулевым градусом письма».

Страница за страницей без смысловых нажимов и разрядок тянется в повести перечень поступков, вещей, поз, жестов, речей, лишь иногда сбиваясь на торопливую скороговорку. Весь рассказ дробится на бесконечное множество предложений — языковых «островов» (Сартр), едва соотнесенных друг с другом, замкнутых в себе и самодостаточных. Они соседствуют, не более того. Здесь нет взаимозависимости, иерархии подчинения, вспомогательное приравнено к первостепенному, побочное к самому основному. Предложения схожи с черточками пунктирной линии — между ними разрыв, бессоюзный пробел или чисто хронологические отсылки вроде «потом», «в следующий момент», скорее разбивающие ленту речи на изолированные отрезки, чем служащие связкой. Всплыв из пустоты, случайно попавшие в поле зрения повествователя подробности снова пропадают в пустоте. А между двумя бесконечностями их небытия — краткий миг, когда о них можно сказать «наличествуют», «присутствуют», «есть», первозданные и самодовлеющие, есть именно здесь и сейчас. Желание пишущего овладеть сырым материалом воспоминаний, привести их в систему действительно стоит на нуле. Поэтому и порядок изложения не то чтобы хаотичен, а необязателен и прерывист, в нем сквозит протокольная добросовестность, но

не проступает логика чередований, взаимоотношений, переходов.

В этом прерывистом пункте есть, однако, если не своя особая упорядоченность, то избирательная односторонность. «Черточки» приходится на вспышки зрительных, слуховых, шире — «естественно-органических» раздражителей. Зато все, что находится за корой явлений или между ними, что не дано непосредственно, а требует осмысляющих усилий, для Мерсо непроницаемо, да и не заслуживает того, чтоб в это вникать. Интеллект здесь инертен, погружен в спячку, вовсе отключен. Настолько, что и собственные поступки Мерсо истолковывает с трудом: они предстают в его памяти как вереница инстинктивных откликов на позывные извне, как то, что не он сам делал, а с ним «делалось». Потому-то он и не раскаивается, а лишь выражает легкое сожаление, когда от него требуют признания вины. Ошеломляющая парадоксальность всего повествования как раз и связана с тем, что ведущее рассказ «я», утратив аналитическое самосознание, созерцает себя словно другого, словно постороннее «он».

Разум Мерсо страхивает с себя сонный дурман всего один раз, под самый конец, и возмещает правду извечного неразумия бытия, где нет создателя, нет указаний провидения, над раскрытием которых стоило бы биться уму, чтобы проложить дорогу к счастью. Веления плоти, тянущейся к приятному и избегающей неприятного, умеющей насладиться быстротекущим моментом, слившись с «тихим равнодушием мира», гораздо вернее помогают обрести радость. Дух заговорил, но лишь для того, чтобы предписать себе молчание и отречься от своих прав в пользу тела. «Нулевой градус письма» Камю вводит непосредственно в лабораторию размытого, рыхлого, «нулевого» сознания, из которого интеллект почти вытеснен и образовавшиеся пустоты заполнены ощущениями.

В манере Камю обычно различают — да он и сам на это указывал — следы учебы у американских писателей, в частности у Хемингуэя. Однако сходство здесь лишь оттеняет расхождение. За рублено-клочковатым лаконизмом Хемингуэя, по крайней мере тогда, когда его мастерство не срывается на холостой ход, действительно угадываются поднозные глыбы айсбергов — будь то залежи лирического подтекста или

вся обстановка происходящего, подсказанная воображению точным штрихом. У Камю в «Постороннем» слово однозначно, деталь равна самой себе и ни на что не намекает, кроме притаившейся за ней пустоты. В книгах Хемингуэя смятенный ум часто глушит себя, стараясь не думать, потому что мысль причиняет невыносимую боль, и это самозаклание разума трагично. Мерсо живет бездумно, и это не доставляет ему особых мук, а скорее приносит блаженство. Он эмигрировал в ощущения, в жизнь тела легко, без тоски по былому. Слова «я был счастлив, я счастлив и сейчас» в устах ожидающего казни слишком весомы, чтобы не прозвучать заповедью, почти уроком. Высказывая их, простодушный повествователь даже переходит на несвойственный ему философический слог и ясновидческий тон. Все выглядит так, словно, не будь нелепой оесчки, он, смотришь, и решил бы с помощью писателя квадратуру житейского круга, на чем угробил себя его предшественник, рафинированный интеллект Калигула. Во всяком случае Камю, звавший увидеть в «постороннем» «человека, который, не помышляя о героизме, идет на смерть во имя правды», делает немало, чтобы внушить доверие к избранному теперь пути решения.

5

И опять вряд ли достигает желаемого. Свобода и «правда» Мерсо ничуть не более состоятельны, чем произвол Калигулы, — они тоже существуют за чей-то счет и в конце концов тоже несут смерть другому. Конечно, груды трупов — не один убитый, и вред от «постороннего» — не чета злодейству его венценосного собрата по духу. Но, строго говоря, оба они одного поля ягоды.

Все это так лежит на поверхности, что заставляет недоумевать: почему же писатель, обладающий в отличие от своего героя и незаурядной нравственной культурой, и острым умом, будто не замечает ошибки и принимается «темнить», невзирая на высоко чтимую им ясность? Какому наваждению приписать эту слепоту? Откуда столь необоримое искушение попытками обрести девственную чистоту и спасительную неподдельность через усыпление и отключение рассудка?

Прежде всего заметим, что «Посторонний» — далеко не первая и огню не пос-

ледняя из книг, проникнутых тягой к подобному раскрепощению. По крайней мере со времен Парижской коммуны во французской, да и во всей зарубежной литературе едва ли не каждое десятилетие дает очередные прорывы в область первозданно-нутряного, предназначение которых — посрамить расчетливую и вульгарную житейскую мудрость со всеми ее предписаниями, табу, с ее претензиями направлять поступки и всю духовную жизнь личности. И бунты эти, обещающие омолодить сердца и умы, имеют постоянный источник в духовно-исторической ситуации XX столетия на Западе.

Устрашающих масштабов достигло в последние полвека обобществление всей человеческой жизнедеятельности в государственно-бюрократической машине, конвейерном производстве, стандартизированном потреблении, культуре дешевых «духовных» поделок, в развлечениях, поставляемых всевозможными «фабриками отдыха». Обслуживающая всю эту разросшуюся организацию идеологически-пропагандистская индустрия изо дня в день ведет подравнивание умов, прибегая к мыслям-стереотипам, к разного рода мниморассудительным клише, назначение которых, в общем-то, одно — затвердить в головах и сделать чуть ли не рефлексом идею принципиальной разумности сегодняшнего общественного устройства, его соответствия исконным потребностям и вековым чаяниям человечества. Порции здравого смысла, точно расфасованные и снабженные рекламными наклейками консервированные продукты, с помощью радио, телевидения, газет, иллюстрированных еженедельников доставляются прямо на дом.

Однако человек, вовлеченный таким способом в круговорот «порядка», рано или поздно на собственной шкуре узнает, что хваленая «разумность» — всего лишь благообразная личина. За ней таится хаос, который вырывается наружу в пору кризисов, безработицы, войн. «Винтик и рычажок», крутящийся в полном согласии со всей машиной, вдруг в ужасе прозревает, что повинен в преступлениях, совершенных во исполнение безликого долга и тем не менее обременяющих кошмаром лично его совесть. Да и в обычные спокойные времена причин для разочарования достаточно. Рационализируется труд, но работник из-за этого либо становится простым

придатком поточных линий, от сих до сих механически выполняющим свой каждодневный урок, либо его вовсе выбрасывают на улицу за ненадобностью. Рационализируется домашний быт и отдых, но потребитель, усвоивший совет своих наставников-искусителей из рекламных контор, что быть — значит обладать, мало-помалу с головой увязает в погоне за вещами и однажды просыпается не их хозяином, а их рабом. Рационализируется административно-политическое управление страной, но у ее граждан все меньше возможностей оказывать влияние на ход дел, ибо даже недовольство, даже соперничество разных по вывеске и родственных по сути партий заранее запрограммировано и содействует упрочению все того же социального уклада. Словом, жизнь как будто нарочно, в мелочах и в самом важном, подстраивает ловушки простодушным упованиям на торжество здравого смысла. Человеческую щепку, безмятежно плывущую по тихой глади вроде бы смиренного наверху потока, то и дело затягивает в какой-то подспудный, таинственный, околдовывающий омут. И даже очень благополучный обыватель не застрахован от скверных «шуток» общества отчужденного и отчуждающего личность, общества принципиально двуликого, поскольку целесообразная организация лишь обслуживает здесь анархическую игру товарно-денежных стихий.

Трудность положения усугубляется еще и тем, что обывателю, даже просвещенному, а может быть, в первую очередь просвещенному, нелегко пробиться сквозь плотную завесу мифов и запугиваний, которой обволакивают на Западе то, что происходит в революционном лагере, там, где пошлую буржуазную рассудительность заменяет стремление марксистов опереться на разум, а не на предрассудок истории, обуздать ее разрушительные силы и овладеть ее созидательными возможностями. Затруднения, непродуманные шаги, искажения маоистского толка. встречающиеся здесь, подаются за рубежом не иначе как очередные «неоспровержимые свидетельства» краха надежд подчинить ход общества человеческим запросам, «справиться со злым своеволием судеб.

Что касается сознания обыденного, рядового, то, не будучи в силах осмыслить историческую суть ошеломляющих его парадоксов жизни, оно в каждой своей кле-

точке становится сознанием разорванным, «несчастливым»¹. У него фетишистское преклонение перед тем, что ему преподносится как разумное, и столь же фетишистский страх перед коварным неразумием, прячущимся где-то в складках извращенной рациональности. Привычка понуждает следовать предписаниям должного, принятого всеми вокруг, — горький опыт толкает в противоположную сторону. Болезненное раздвоение разрешается то взрывами дикого сумасбродного хотения, буйством запугавшегося интеллекта, одержимого страстью во всеулышание возвестить, что благообразный облик «порядка» — обман, что нет ни «бога», ни «закона», кроме слепой бессмыслицы всех и каждого; то тихим бегством в окраинные скиты «непосредственной» жизни. «Бесовство» Калигулы и пустынножителство Мерсо в самой гуще людской толпы — две ветви одного и того же умонастроения. У них схожая, закваска и схожая манера всюду заменять добропорядочный плюс на вызывающий минус. Раз цивилизация чревата механизированным варварством, то пусть она сгинет, спасение — в природном и первозданном, будь то душевное подполье или велеция плоти. Самодовольное конформистское благообразие со всеми его табу и советами взято на подозрение, его чураются, его изгоняют с той же суеверной опаской, с какой в средние века изгоняли беса. Корчи очищающихся от зловерной рассудочности сотрясают и философию и словесность. Писатели рьяно включаются в охоту на картезианских вельм и ведут раскопки подлинного там, где, по их предположениям, залегают забытые и оставленные в небрежении клады дообщественного, почвенного, по-детски нерасчетливого и непроизвольного.

Каждая из крупниц первородного естества дается таким изнурительным трудом, каждая сулит столь бесценные и столь важные снадобья для излечения «пере-

¹ «Несчастное сознание» — гегелевский термин, взятый ныне на вооружение некоторыми из наших исследователей массовой духовной жизни промежуточных мелкобуржуазных кругов как почвы для спекулятивных построений крупнейших философов-идеалистов в XX столетии (см., например, М. И. Мамардашвили, «Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра». Сборник «Современный экзистенциализм». М. 1966).

мудрившего» человечества от недугов, что отдельные жертвы не то чтобы вовсе не в счет, но и не столь уж катастрофичны. До потерь ли здесь, когда чудится, будто стоишь чуть ли не на пороге открытия алхимического камня, с помощью которого можно превратить тусклый металл угнетенного прозябания в чистое золото счастья? Одна из таких огорчительных, но неизбежных потерь — застреленный араб в «Постороннем». Вот откуда «ослепленность», «забывчивость» Камю. Того самого Камю, который через несколько лет, резко отвергая фашистское изуверство, возведет в культ евангельское «не убий». а позже с присущей ему страстью к крайностям провозгласит «не убий» непререкаемым долгом и тогда, когда перед тобой кровожадный враг. Пока же, в пору работы над своей первой повестью, он даже склонен пренебречь заветами столь почитаемого им Достоевского, который вздернул на дыбу раскаяния своего Раскольников и обрек на безумие идеолога смердяковского преступления Ивана Карамазова. Мерсо же слегка досадует — не более того. Для Камю жизнь «постороннего» — козырь, обещающий побить все карты служителей правосудия. И он уже не замечает, что у них на руках козырь не менее сильный — жизнь, оборванная ни за что ни про что. А ведь она, вопреки всем умолчаниям Камю, существенно меняет нравственную суть рассказанной им истории. И если «чужак» — это Христос, распятый на кресте искусственной общественности, то погибший от его руки — Христос, распятый на кресте естественной телесности. Ходатайство о пересмотре дела об убийстве, поданное Камю в трибунал взыскательной совести, даже при учете того, что преступление непреднамеренно, поддержать по крайней мере столь же трудно, как и скрепить вынесенный приговор.

Затруднение, которое испытывает здесь живое и стихийное чувство справедливости еще до всяких умозрительных выкладок, рождено неосознанной на первых порах догадкой, что внешне безупречное «или — или» Камю в чем-то казуистично, таит скрытый подвох. Так оно и есть, и в этом всегдашняя беда «мышления наоборот». Выхолощенный ритуал судилища только логически противостоит наивной естественности «постороннего», исторически же и попросту житейски они гораздо ближе друг

другу, чем кажется. Их сопряжение как раз и есть парадокс самого буржуазного мироуклада, где свод официальных установлений — жесткая узда для корящихся в толще анархических вождельней, где расудочный формализм права дает сугубо принудительные, внешние скрепы скорее совражеству, чем содружеству одиночек. В «Постороннем» сокровенное, нутряное рвет свои стеснительные путы, клеточка на своей страх и риск пробует ускользнуть от общей структуры, всеми болезнями которой она, однако, затронута.

В самом деле, озарения, которые Камю поручил высказать перед казнью своему подопечному, на поверку вовсе не правда бытия вообще, а правда того самого жизнеустройства, о благообразии которого пекутся следователь, прокурор, священник. Смерть одного принимается за истину всех истин тогда, когда личность мерит все на свете замкнутой конечностью одной своей жизни. Человечество знает, однако, и совсем иные измерения, принятые в иные времена: мудростью тех, кто спаян со своим родом, племенем, страной, с общим делом и признанием, издавна был взгляд на все сущее из бесконечности Жизни, в которой смерть, как гибель библейского зерна, — момент трагический, но включенный в круговорот вечного умирания и воскресения. «Если я не за себя, то кто же за меня; если я только для себя, то зачем я?» — эта заповедь, во всем противоположная заключительным словам «постороннего», тоже ведь родилась не на пустом месте, а проверена и подтверждена не одним поколением.

Метафизика «земного удела», исповедуемая Камю, следовательно, сама по себе исторична и не поднимается над горизонтами мышления, с окостеневшими догмами которого Камю же искренне сражается. Она есть домашний дух миропорядка, оберегаемого велеречивым обвинителем и трепещущим священником из «Постороннего», она исчадие этого общества — его ангел-хранитель и бес одновременно. В конце концов судьи Мерсо, который прихлопнул свою случайную жертву так, будто это назойливая муха, и в самом деле преувеличивают, усмотрев в неосторожном нарушителе ритуала заклятого недруга, угрожающего обрушить устои, — вот уж, как говорится, у страха глаза велики.

Без сомнения, у Камю, как и у других

глашатаев «несчастливого сознания» XX века, предостаточно яростного остроумия в развенчании мертвечины, с тупым самодовольством давящей живую жизнь. У него выстрадавшая тяга ко всему подлинному, вступающему против лжи выпотрошенных подделок. Зато ему явно недостает трезвой оглядки на себя со стороны. Слишком уж поспешно выдает он за правдоискательство иллюзорные мифы спасения, на свой лад и с немалым талантом перелагает толки о суете сует, об очистке от скверны ненатурального и омовении в чистых водах «телесной благодати», не замечая, что все эти расхожие мнения подсунуты ему тем самым мироустройством, против которого он ополчился.

С таким оснащением можно быть чутким свидетелем, но трудно, невозможно преуспеть в учительстве, о котором Камю помышлял. Он мастерски выстраивал свою повесть как «миф, укорененный в жаркой плоти дней», как «сокровенный сплав жизни и раздумья о ее смысле» — словом, притчу, подводющую к открытию самых простых и самых важных истин бытия, ненавязчиво наставляя в «языческой мудрости». В камере смертника — «постороннего» — совершалось таинство счастья, обретаемого в благостном слиянии с каждым быстротекущим миготом. Но увя — заверения осужденного, причастившегося сиюминутных даров, все же не очень убеждали: сбивала гильотина впереди, да и труп позади — все то, что исходит от «других» и вторгается в беседу с глазу на глаз между одиноким конечным телом и бесконечным мирозданием. И недаром уроки, возвещенные Мерсо перед казнью, в первую очередь не выдержат проверки трудными днями Спротивления, когда Камю будет вынужден сразу же приступить к их пересмотру. «Стыдно быть счастливым в одиночку», — подведет в «Чуме» итог этой смене нравственной установки преемник «постороннего», заезжий журналист, поначалу тоже непричастный к заботам и бедам жителей чумного города,

а затем постигший невозможность устроиться, остаться чужаком среди себе подобных.

Но если защита добровольного «языческого» робинзонства, подвижником которого сделан «посторонний», скорее заблуждение, и небезопасное, то нельзя не прислушаться к «нет», без обиняков брошенному Альбером Камю в лицо обществу. Промотав живую душу и прикрывая свою опустошенность ветхими лохмотьями словес о боге, долге, добре, пользе, справедливости, в которые оно и само-то толком не верит, общество это с лихвой заслужило презрительное «нет». Даже не соглашаясь в корне с Камю и все же дав себе труд обдумать, откуда взялась его книга, обнаруживаешь, что толчком для нее послужила вовсе не праздная тревога по поводу застарелых пороков цивилизации, находящейся на излете. Тревога о вырождении гражданственности, полагающей, что она тем успешнее повергает в священный трепет, чем сильнее сотрясает воздух, бряцая затверженными прописями.

Независимо от своих уроков, смахивающих на наивные мифы спасения, Камю будит озабоченность тем вопиющим расхождением искренности и добродетели, правды, вынужденной прятаться, и неправды, предписываемой извне, которое в нашем веке калечит многие людские души и многие судьбы. Само по себе это беспокойство — осознавал это Камю отчетливо или нет — в свою очередь внушено исконной человеческой потребностью в таком жизнеустройстве, где личность не была бы в небрежении, где бы ее разум и тело не враждовали, а благо всех сочеталось со здоровыми запросами каждого.

Уловить этот подспудный пафос в «Постороннем» не значит закрыть глаза на предрассудки «несчастливого сознания». Это значит приблизиться к тому, чтобы его стихийную мятежность отвести в созидательное русло, — задача не из последних и в сегодняшней истории, и в сегодняшней культуре.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Яков Хелемский. Беседа продолжается.— **А. Липелис.** Серафим Фролов и другие.— **В. Масловский.** Глазами очевидца.— **В. Кардин.** Верность себе.— **Г. Литинский.** По завещанию отца.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Галлай. «Ла» — человек и самолет.— **В. Борнычева.** Статистика труда.— **Н. Коржавин.** «Не природа, а история».— **Е. Гнедин.** Научно-техническая революция в капиталистических странах.— **А. Немировский.** Новые данные к старому спору.

Литература и искусство

БЕСЕДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Михаил Светлов. *Беседует поэт. Статьи, воспоминания, заметки. «Советский писатель».* М. 1968. 232 стр.

Михаил Светлов. *Беседа. «Молодая гвардия».* М. 1969. 384 стр.

«И вот я умер. Чем бы мне заняться?» Эта строка, найденная в записях поэта, могла стать началом стихотворения. Впрочем, если вдуматься, что можно прибавить к ней? Она ведь и без подкрепления существует сама по себе. Больше того, она уже известна читателям так же хорошо, как знаменитые, полностью завершенные стихи ее автора.

Но допустим, что вы прочитали однострочную запись впервые, не зная ее происхождения. Все равно вы сразу же назовете имя поэта, настолько своеобразна она в своей иронической недосказанности и грустной законченности.

Вот это безошибочное узнавание и есть, вероятно, лучший ответ на вопрос, заключенный в оборванной строке.

Чем заняться тому, кого живые по-прежнему понимают с полуслова, узнают по одной-двум коротким фразам? Можете быть уверены, дел у него предостаточно в этом мире.

«Я оставлю вам в наследство сберегательные книжки моих стихотворений, на счету у которых не осталось ни копейки денег. Но

зато вам всегда будет что почитать на ночь».

Это сказано все тем же человеком. И, конечно же, имя его — Михаил Светлов.

Нынешней осенью исполняется пять лет с того прозрачного сентябрьского дня, когда он ушел от нас.

Уже пять лет?

В это с трудом веришь не только потому, что двадцатый век, словно сверхмощный ускоритель, с каждым днем усиливает бег времени, и без того быстротекущего.

Есть и другая причина, более существенная, — все эти годы мы с особой полнотой ощущаем неизменное присутствие Светлова. Распространяется не только живое влияние его поэзии. Стремительно возрастает притягательное воздействие его личности.

Посмертная «Светловiana» уже сейчас значительно обширнее того, что написано было о поэте за четыре с лишним десятилетия его работы.

В самое последнее время опубликовано несколько монографий о Светлове, напечатано множество воспоминаний о нем, статей, рецензий, эссе, стихов, посвященных

памяти ушедшего мастера. Поставлен спектакль «Человек, похожий на самого себя» — по известной книге З. Паперного. Задуманы и другие постановки. Светлову посвящаются радио- и телевизионные передачи, литературные вечера, выставки. Все чаще звучит его голос, записанный на пленку.

Судьба Светлова, его принадлежность к романтическому поколению «лучшей гражданской войны», его цельность и бескорыстие, мудрость и обаяние привлекают сердца людей.

Могут сказать, что все это в порядке вещей, что посмертная слава, увы, всегда щедрее прижизненной.

Но здесь дело обстоит несколько иначе.

Светлов достиг широкой известности еще смолоду. Признание и читательская любовь пришли к нему рано. И это украшало его существование, вообще-то говоря, весьма далекое от благополучия. Бывали у него и творческие неурядицы, и житейские горести, натерпелся он в давние времена и от критических несправедливых наскоков. Свои обиды и беды он переживал, как всякий художник, с обостренной ранимостью. Но никогда не страдал он от безвестности или невнимания. В одном был счастлив наверняка — расположение любителей поэзии ощущал всегда. Даже в трудные свои периоды читателя чувствовал постоянно.

Тем поразительней новый взлет его имени, который сейчас очевиден. И вот что примечательно — это расширение круга светловских друзей, весьма многочисленных и прежде, началось сразу же после кончины поэта.

Ощущение масштабов утраты и стремление заново осмыслить и оценить утраченное было в этом случае всеобщим и незамедлительным.

При жизни Светлов издавался не слишком часто. Сейчас за короткий срок издана целая полка его книг — от брошюры в «Библиотечке избранной лирики» до объемистых выпусков большой и малой серий «Библиотеки поэта». Готовится отдельное издание песен на стихи Светлова, на очереди том его драматургических произведений.

А сколько журнальных и газетных публикаций! Неизданные, забытые, незаконченные стихи. Эпиграммы. Записные книжки. Прозаические наброски.

«И вот я умер. Чем бы мне заняться?»

Эта строка взята мной из книги, пополнившей недавно полку светловских изданий. Называется книга — «Беседа с поэтом». Это первая попытка собрать воедино образцы прозы Светлова, его статьи, рецензии, дневниковые страницы, записи бесед, выступлений, устных высказываний, наконец, отрывки «Взрослых сказок», над которыми Светлов увлеченно работал в последние годы жизни.

За первой попыткой последовала вторая. Вышла в молодежном издательстве книга, адресованная юным читателям. Она содержит лучшие стихи Светлова и около пятидесяти неизвестных ранее поэтических его произведений, главным образом отрывков и набросков. Но большая часть страниц отведена прозе (здесь обе книги частично совпадают).

На обложке написано — «Беседа».

Как видим, названия обоих сборников схожи. И это не случайно. Здесь выражена сущность светловского творчества.

В первой книге читаем: «...Всякое искусство, будь это музыка, живопись или стихи, всегда — беседа».

В другой книге сказано: «Я за то, чтобы искусство было беседой. Все искусство, даже пейзаж — беседа. Вспомните картину Левитана «Над вечным покоем» — это ведь беседа». «В чем прелесть талантливого человека? В том, что он умеет беседовать с людьми». «Самая главная черта в поэте — это непосредственность общения. Он разговаривает со мной».

И вся прелесть обеих книг, вышедших с небольшим интервалом, внутренне связанных между собой, в том, что Светлов снова разговаривает с нами. Мы все время ощущаем непосредственность общения с талантливым человеком, снова слышим его негромкий голос, наслаждаемся мудростью добряка и бесребренника, узнаем милую сердцу интонацию его. Даже знакомая картавость слышится нам при этом.

Дело не только в манере беседы, не только в ее афористической иронии, в ее неповторимой лексике. Суть — в особом светловском мироощущении, в своеобразии мышления, в остроте взгляда.

Мы читаем давнюю полемику Светлова с Андреем Белым, полную молодого запала. Много лет спустя незримо присутствуем на семинарской беседе умудренного годами мастера со студентами Литературного института. С ходу, как стихи, запоминаем днев-

никовую запись. Изучаем отрывок из поэмы, публикуемый впервые. Перечитываем воспоминания о Багрицком. И радуемся всему, чем одаряет нас щедрый собеседник.

Здесь обозначены многие жанры. А выясняется, что жанр один. Потому что Светлов во всех случаях остается поэтом.

Чему, собственно, посвящена беседа? Светлов может вести речь о киноискусстве или отвечать на вопросы пионеров, размышлять о нравственных категориях или сочинять сказку, все равно он говорит о том, что остается его призванием, его любовью, его бессмертием, — о поэзии.

«Все передавать через поэзию, — учил Белинский», — напоминает Светлов. И перечисляет: «Дворничиха подметает снег, ученый держит свой светильник науки, а поэт протягивает свою неизданную книгу». В каждом из этих людей наш собеседник видит художника, мастера, работающего на уровне волшебства.

Он вспоминает эпизод своего детства: умирал знакомый мальчик, знал, что умирает, понимал, что и окружающим это ясно, сознавал, что сейчас любая его просьба будет выполнена. И потребовал, чтобы товарищ, обидевший девочку, немедленно извинился перед ней у его постели. А другому приятелю предложил: «За мою учебу заплачено за весь год. Скажи матери, что ей незачем ни у кого одалживать денег. Второе полугодие будешь учиться за мой счет».

Светлов заключает: «Этот мальчик, даже не подозревавший, что на свете существует рифма, несомненно был поэтом».

Близким и друзьям, видевшим и слышавшим Светлова в последние месяцы его жизни, рассказ этот напоминает самого Михаила Аркадьевича, который даже в пору предельных физических страданий оставался поэтом. Не только потому, что написал на больничной койке несколько незабываемых стихотворений, но и потому, что во всем продолжал быть самим собой, излучал доброту и благородство.

Когда Светлов беседует непосредственно о своем труде, о том, как создаются стихи, он не менторствует, не изрекает непреложные истины. Он естествен, как обычно. Размышляет, шутя. Шутит, размышляя. Но за всем этим стоит нешуточное отношение к тому, что составляет содержание жизни поэта.

«Вечный подданный» державы Поэзия, он, осуждая безвкусную строчку, дешевую

красивость, не преминет заметить: «Это для командировочных. У постоянных жителей поэзии это вызовет только улыбку».

Все его раздумья о мастерстве, все его утверждения, доброжелательные или резкие, направлены на то, чтобы поддержать постоянных жителей своей державы, безоговорочно выделить их, противопоставить «командировочным».

Он пишет для издательства рецензию на рукопись первой книги стихов: «Первая книга поэта не обязательно книга начинающего поэта. Это может быть и книга мастера, что и произошло в данном случае».

Речь идет с Белле Ахмадулиной. И, признав ее право на подданство, старый мастер уже не считает для себя возможным даже намек на позу покровителя: «Этим своим коротким отзывом я не хлопаю ее по плечу — я опираюсь о ее плечо».

Здесь нет заигрывания с младшими.

«Молодежь! Ты мое начальство — уважаю тебя и боюсь». Это сказано было когда-то, по-светловски, с улыбкой, но притом вполне серьезно. Поэт всю жизнь оставался ровесником тех, кто вступает в жизнь. Он был одинаково близок конармейцам гражданской войны и солдатам сороковых годов, рабфактовцам двадцатых и студентам шестидесятых. Даже сменявшие друг друга самые звонкие и популярные голоса, самые модные репутации не могли заглушить эту близость, поистине непреходящую.

Но Светлов никогда не льстил следующим поколениям, не приноравливался к ним. Он вообще ни к кому и ни к чему не приноравливался, оставаясь верным себе, своему голосу, возрасту, опыту.

Именно поэтому он мог позволить себе говорить напрямик то, что не всегда ласкает ухо молодого человека. Знал, что на него не обидятся, что его поймут, что к нему прислушаются.

И к нему прислушивались, когда он говорил о начинающих: «Многие из них, убегая от банальности, убегают и от жизненной правды, и убегают они все в одном направлении, так что начинает казаться, будто все эти стихи написаны одним человеком. Если можно так выразиться, получается банальное убежание от банальности».

«Что мне не нравится в современной поэтической молодежи? Это создание искусственных солнц».

«Надо научиться сидеть с читателем за

одним столом, а не стоять отдельно и показывать фокусы.

«Самое трудное в поэзии — быть обычным».

В своих наставлениях, как и во всем, он шел по самому трудному пути — оставался обычным. Но простота всегда у него граничила с необыкновенностью. И это проявилось с особой силой в любимом детище позднего Светлова, в его «Взрослых сказках».

Эти сказки занимают особое место в обеих книгах. К сожалению, Светлов не успел закончить эту работу, сказки представлены лишь фрагментарно. К счастью, у друзей сохранились черновики, наброски, заготовки. По-разному смонтированные в каждой из книг, эти отрывки все же дают нам представление о том, что хотел написать Светлов.

Сказочная сфера всегда была ему сродни. Превращения и невероятности сопутствовали многим его стихам. Помните «Похороны русалки», где кит от волнения курит папиросу за папиросой? Или басню, где Гром женится на Молнии и на их свадьбе «даже тихая обычно Зорька всех шумней кричит фальцетом «Горько!»?

Всем известна пьеса, названная достаточно определенно — «Сказка». Не забудем и о том, что Светлов мечтал перенести на сцену «Маленького принца» Сент-Экзюпери, но не успел. А вот то, что он успел, — «Любовь к трем апельсинам». Труфальдино оказывается учителем физкультуры, а Фея запросто встречается с нынешними школьниками.

Во «Взрослых сказках», где все несколько сложнее, на то они и взрослые, философия и фантазия идут рука об руку. Но все начинается с будничного существования овдовевшего официанта. И мы даже не замечаем, как эта житейская проза переходит в область феерии. Светлову уже случалось выдавать замуж молнию. В сказке требуется столкновение посильнее. Из рабочих записей поэта узнаем, что в дальнейшем он собирает яркую молнию обвенчать с тусклым официантом. Но сперва на авансцену выходит Иван Иванович Рубль, который, выпав из окна, разбивается на десять гривенников. По совершенно реальным улицам летней Москвы ходят мальчики-гривенники. Один из них, растратив себя в кафе, получает всего одну копейку сдачи. Но эта копейка превращается в девочку. С ней происходят чудеса, которые не хочется пересказывать: это надо читать. И все чудеса —

лишь повод для удивительных раздумий, для беседы.

В этом смысле сюжетное сказочное повествование ничем не отличается от всей светловской прозы. О чем беседа? О нашем времени, о добре и зле, о скупости и щедрости, о прошлом и будущем. А вернее всего — о поэзии, которой пронизана обыденная жизнь.

Мы не можем целиком представить себе замысел «Взрослых сказок». Слишком все отрывочно. Но какова тональность этой вещи, языковая фактура ее — ясно уже с первых строк. Спасибо тем, кто сберег эти разрозненные листки и подарил нам еще несколько светловских страниц.

Дочитаны обе книги. Беседа на время оборвалась. Начинаешь обдумывать прочитанное, а вернее — услышанное. Сопоставляешь одно издание с другим, размышляешь о том, как составлены книги. Отдаешь должное всем, кто подготовил эти издания, кто пригласил нас на эту новую встречу с Михаилом Светловым, — составителям «Беседы» С. Залину и А. Светлову (сыну поэта), Льву Озерову, написавшему предисловие к этому сборнику, друзьям поэта, предоставившим для публикации неизвестные произведения, в частности — Н. Федосюк, сохранившей некоторые стихи и часть «Взрослых сказок».

Потом с читательской ненасытностью прикидываешь — а что же упущено, чего не хватает? Может, стоило еще шире представить короткие рецензии и маленькие предисловия к книгам друзей? Это ведь особый светловский жанр! Жаль, что нет размышлений о театре: ведь поэт отдал ему добрую половину своего вдохновения. И такие раздумья у него были. Взять хотя бы статью «Трудности первой пьесы», написанную в тридцатых годах, после премьеры «Глубокой провинции». А лучшие из писем Светлова? Чудесные ведь письма!

Но тут же сам себя урезониваешь: невозможно с первой попытки объять все. Надо что-то оставить для собрания сочинений, которое, будем надеяться, не заставит себя ждать.

Серьезная исследовательская работа над всем наследием Светлова только начинается. Сам он, как известно, не очень хранил свои произведения, не копил черновики, не собирал вырезки. «Художник — это абсолютная мобилизация рядом с небрежностью» — читаем в книге «Беседует поэт».

Не знаю, применима ли эта формула во всех случаях. По отношению к самому Светлову она предельно точна. Он умел всецело мобилизоваться для работы. Но бывал небрежен прежде всего по отношению к самому себе, к своим рукописям.

Так что работы исследователям предстоит немало. Надо собрать то, что рассыпано в архивах, в периодике, в стенограммах, то, что хранится у друзей и родных.

Составители обеих книг делали свое дело от души, с энтузиазмом. За это им низкий поклон. Они торопились. Это понятно: они хотели скорее положить плоды своего труда на стол читателя. Они стремились к возможной полноте. Это естественно. И те огрехи, которые допущены в работе, объяснимы. Их можно, пожалуй, простить, но обратить на них внимание надо, потому что идущие следом обязаны действовать вдумчивее.

Перед любым, кто занимается изучением и публикацией литературного наследия, стоят две задачи. Первая — с о б и р а н и е. Вторая, не менее существенная, — о т б о р для широкого читателя. В отличие от первой она требует не только любви и усердия, но такта, безупречного вкуса, чувства меры. То, что самим автором не включалось в книги или не публиковалось вовсе, надо вводить в круг всеобщего чтения осмотрительно. В авторских запасниках следует хозийничать аккуратно.

К слову сказать, некоторое время тому назад в одной газете систематически печатались черновики и варианты светловских эпиграмм, оставшиеся после работы над книгой «Музей друзей», вышедшей еще при жизни поэта. Убежден, что против обнародования некоторых из них Светлов бы протестовал. Не надо нарушать авторскую волю. Не надо включать в основной текст то, что в академических изданиях печатается в разделе п р и л о ж е н и й.

Если с этой точки зрения взглянуть на оба сборника, видишь, что мешает им не столько отсутствие каких-то желательных материалов, сколько присутствие некоторых излишних. Беда не в том, что книги в чем-то дублируют друг друга, — в конце концов они адресованы разным читателям. Есть внутренние повторы в каждой из них, варьируются одни и те же высказывания. Этого можно было избежать.

Хорошо, что в книге «Беседа» рядом с хрестоматийными стихами есть и публикуе-

мые впервые. Среди них много набросков. Здесь встречаются истинно светловские фразы: «Все порывы молодого часа я храню, как старая сберкасса», «Юность создана для находок, старость создана для потерь», «Нет! В людей не потерял я веру, и живу я не в лесу глухом, если дети и пенсионеры наклонились над моим стихом»...

Но есть среди этих вещей и такие, которые сам Светлов назвал бы «рядными необученными».

Странно выглядит хронология в книге «Беседует поэт». Сборник открывается заметкой двадцать девятого года. Далее следует статья, датированная шестьдесят вторым. Потом находим вещи, написанные в пятидесятых годах. Затем опять шестьдесят второй год. И вдруг перескок — статья, обозначенная тридцать третьим. Может быть, материалы объединены не по времени написания, а по темам? Ничего подобного. В чем же дело?

Некоторые публикации вообще лишены дат. И уж совсем непростительная неточность — две обширные дневниковые записи помечены... 1965 годом. Светлова тогда уже не было в живых.

Светловский парадокс о сочетании мобилизованности с небрежностью будущим составителям и редакторам на свой счет принимать не стоит.

Вероятно, следовало бы, кроме дат, указывать источники, где впервые публиковалась вещь, или место, где хранится рукопись. Если в книге нет раздела примечаний, нужны хотя бы сноски. Полемику с Андреем Белым Светлов вел в соавторстве с Багрицким. Об этом весьма глухо сказано в издательском послесловии. А знать это важно при чтении. Когда еще читатель доберется до послесловия!

Еще одно замечание — на этот раз по адресу книги «Беседа». Здесь в отдел «Записные книжки: афоризмы» наряду с тем, что сохранилось в рукописях и стенограммах, приводятся без всяких оговорок высказывания Светлова, почерпнутые из воспоминаний о нем. Эти цитаты, порой весьма развернутые, сами по себе ценны. Естественно, что авторы воспоминаний, приводя слова поэта, даже сказанные очень давно, стремились точно передать не только мысль, но и лексику Михаила Аркадьевича. И все-таки свидетельство памяти мемуаристов не есть прямой текст Светлова. Записи такого рода следовало выделить особо, в каж-

дом случае ссылаясь на источник. Этого требует прежде всего точность, не говоря уже об элементарной этике по отношению к авторам воспоминаний.

Но вот, высказав все это, я опять начинаю листать оба сборника и снова захожусь под обаянием знакомого голоса.

Будут со временем — не сомневаюсь — более полные, точные, выверенные издания. Но эти — первые. Их уже сейчас можно раскрыть в любую минуту и снова говорить с любимым поэтом.

Беседа продолжается.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ.



СЕРАФИМ ФРОЛОВ И ДРУГИЕ

Николай Евдокимов. День рождения. Повести и рассказы. «Советский писатель». М. 1968. 344 стр.

Люди добрые и люди злые, самоотверженные и себялюбивые, отчужденные и открытые, собственники и бессребреники — вот герои Н. Евдокимова. Писатель стремится выявить в них основы нравственной прочности или, напротив, обнажить беспочвенность и внутреннюю разорванность. Человек для него начинается с верности другому человеку, живому или мертвому, с самой способности вместить в свою жизнь чужую, сделать ее событием собственного существования. В сборнике Н. Евдокимова, говоря иначе, есть некое общее начало, достаточно определенный угол зрения на мир, и факт этот тем более ограден, что речь идет о произведениях, написанных на протяжении двадцати с лишним лет.

Наверно, самое значительное в книге — повесть «Необходимый человек (Из жития прекрасногодушного Серафима Фролова)». Герой ее — из тех людей, которые не умеют жить просто, как трава растет, подчиняясь жизненной рутине, благоприятному случаю, избирая короткие пути — даром что не всегда безупречные. Поступки и сама судьбу его направляют не заботы об устройстве в жизни (хотя кто осудил бы за это демобилизованного после войны солдата, человека одинокого и бездомного), а «жуды души».

Так и с Настей, любовь к которой проходит через всю историю героя повести. Натолкнувшись сначала на ее холодность, а потом, когда что-то в ней пробудилось, на просьбу, поставившую под сомнение полноту их отношений, Серафим уехал. Пусть он вроде бы и устроился, нашел себе и новые обязанности, и новый дом, и уже, кажется, отболела душа, а все-таки он не выдерживает и думает о возвращении. И не потому, что захвачен Настинной красотой или задет ее «загадочностью», как было

вначале: «...что делать, ежели он осознал свой долг перед слабым человеком, а этот долг не менее важен, чем долг человека перед невспаханной землей».

С точки зрения обыденных представлений Серафим Фролов предельно непрактичен, но жить без чувства нужности своей другому человеку он не может, как не может пойти на компромисс в житейской практике. Отсюда и «нелогичные» его поступки.

Впрочем, Серафим — натура не столько «праведная», сколько максималистская. Ему не дается то, что с легкостью получается у других, — удовлетворение доступным. Его влечет недостижимое и неуловимое, он томится по идеальному, живет смуглыми порывами. В нем разбужено, хотя до конца и не осознано, ощущение того, что пребывание человека на земле должно иметь смысл более значительный, чем открывают нам готовые формы повседневной жизни. Потому-то он и мыкается. И Настя здесь, возможно, только повод.

Писатель любит своего героя, но избегает — в этой вещи — иконописной благости, ложной поэтизации. Безраздельное авторское соучастие во всех надеждах, очарованиях и кризисах Серафима умеряется и общим, едва различимым налетом условности, и мягкой, вполне доброжелательной иронией, и прозаическими подробностями бытовой жизни героя.

Рассуждения Серафима Фролова самодельны, фразы не всегда складны, а иногда просто наивны, но они — реальное выражение его личности.

У героини рассказа «Трудный день» Амалии Викторовны — педагога с высшим образованием, завуча городской средней школы — все бесспорно, обкатанно, гладко. И это потому, что у нее нет своих слов. Ей

только кажется, будто за тем, что она говорит и что думает, стоят соответствующие чувства. Вместо них — другое.

Амалия Викторовна полагает, что заботится о чистоте нравов, нарушенной, как сигнализирует анонимка, молодым учителем Чуриновым, но в действительности она подчиняется иным побуждениям — комплексу страха, неприязни и недоверия, который вызывает в ней всякая человеческая нестандартность.

Прибегая в целях тайной проверки подзреваемого к дурным приемам, она проявляет при этом не только патологическую небрежность, но и незаурядную увлеченность, более подходящую гончей, когда та преследует дичь, нежели педагогу. И хотя никакой дичи и в намеке не оказалось, а организовать другое дело не позволило сопротивление тех, кто занят работой и поэтому гнушается интриг, винит в своих неудачах она «злых, бессердечных, тупых людей». Результат неожиданный, но в нем — весь характер с его несознаваемым лицемерием.

В рассказе «Трудный день» (как и в повести «Необходимый человек») Н. Евдокимов улавливает действительно значимое в человеческих характерах и позволяет ему произвольно высказаться. Вернее — почти позволяет. Уже и в этом рассказе правде образа мешает авторский нажим.

Амалия Викторовна, в общем-то, ясна — и в своем человеческом содержании, и в его истоках, и в социальной роли. Но Н. Евдокимову хочется ее непременно «домотивировать», и так появляется любовь его героини к собственному особняку, так появляется почти символическая «своя» корова и т. п. Характер при этом не только связывается с собственническим началом, но по существу из него и выводится. Это не просто утрировка. Это упрощение.

Авторский нажим повредил этому рассказу лишь отчасти. В повести «Ни кола, ни двора» его последствия более ощутимы.

Переход своих героев-молодоженов из одного душевного качества в другое, от взаимной нежности и общей открытости миру к замкнутости и ожесточению Н. Евдокимов объясняет здесь тем, что они случайно обзавелись неким подобием собственного домика (в одну комнату с верандой), который избавил их от унижительной необходимости скитаться по знакомым, а то и вовсе встречаться на улице да в подъездах. И в этом весь парадокс повести: писатель убеждает

нас в естественности и законности желаний молодоженов, дает этим желаниям возможность осуществиться и — приводит своих героев к душевному краху.

Тему нравственного падения Ивана и Люси, неосмотрительно покончивших с бесквартирностью, Н. Евдокимов разворачивает серьезно и методично. Уже на одной из первых страниц повести формулируется ее идея: «Всякий человек в начале жизни гол как сокол. Это потом он обрастает всякими нужными и ненужными вещами. Приобретает одну вещь, а уж эта одна тянет за собой другую, другая — третью, а в начале жизни человеку ничего не надо».

Далее герои потихоньку портятся и на последних страницах предстают перед нами в окончательном своем виде — ползающими на четвереньках в поисках металлического рубля, лица у них при этом нехорошие, недобрые, а объясняются они друг с другом так: «Не визжи! У тебя как у поросенка голос становится. Глаза вылупила и орет. Погляди, нос будто у Буратино сделался...» И т. д. Так реализует себя идея.

Автору остается подвести итог. И это он делает с помощью своего героя: «Не было у них с Люсей ни кола, ни двора — были они люди как люди. Свободны были. А теперь? Теперь им все мало».

Люся и Иван испытывают неловкость, стыд, даже раскаяние, и это, несомненно, важная для автора подробность, однако и она лишь подчеркивает неотвратимость происшедшей с героями метаморфозы. Но даже рассуждая в пределах авторской сюжетной логики, в собственном ли домике здесь дело? А что, если в чем-то другом, скажем, в душевной бедности самих героев? Но у автора лишь одно решение. Либо душа, либо вещи — как бы говорит он нам. Верная в каком-то общем смысле, дилемма эта слишком узка и абсолютна, чтобы объяснить ту жизненную ситуацию, которая предложена нам в повести.

Не сложно понять намерения Н. Евдокимова, но достаточно мы уже читали произведений, построенных на готовых представлениях: абстрактная установка прилагалась там к конкретному материалу, подминала его под себя и, торжествуя любой ценой, невольно компрометировалась. Так и в этом случае: милая, трогательная пара фатально и немотивированно подпадает под власть своего рода психоза, и неотъемлемое право живого человека на крышу над головой

оказывается чем-то сомнительным и опасным.

И уже, к сожалению, не удивляешься, когда в том же сборнике встречаешь рассказ о домработнице Моте, дидактически названный «Свет из чужих окон» и завершающийся лобовой, но далеко не бесспорной моралью: «Впервые она со стыдом почувствовала, что похвальные делами других людей, потому что самой ничем гордиться».

Что говорить, Мотя — не герой труда, и особых достижений у нее нет. Жениха она упустила, образование и должность самые скромные, за границу не посылают, в высотном доме с лифтом и мусоропроводом ей не принадлежит ни одного квадратного метра, да и прописка, наверно, временная, — хвастать и в самом деле нечем. Но почему это обстоятельство должно заставлять нас относиться к Моте со снисходительным неодобрением — непонятно. Что ж, у нее не слишком удачно сложилась жизнь, возможно — по ее собственной вине, но ведь это ее жизнь, и здесь естественно посочувствовать и вовсе не обязательно многократно и напористо противопоставлять этой незадачливой женщине более преуспевших в жизни людей.

Подчиняясь той или иной, но непременно крайней тенденции, Н. Евдокимов вынуждается ею на однозначные и безапелляционные оценки явлениям и характерам. Ему уже трудно бывает удержаться от морализирования, фельетонной сатиризации, неумерен-

ного сарказма и вообще обличительного запала, несообразного предмету.

Вот Н. Евдокимов рассказывает о старом учителе, вышедшем на пенсию («День рождения»). Петр Иванович сам виноват в своем душевном одиночестве, он не любит людей, сердится на них, злится, раздражается. Если это не клинический случай, здесь должны быть какие-то веские причины. Кое-что в рассказе мелькает. Но автору это неинтересно, он предпочитает расписывать мелкость и себялюбие своего героя.

И по поводу забытого зонтика Петр Иванович несколько лет огорчается, и дверью он хлопает мстительно, и уголки губ брезгливо опускает, и гадости говорит ласковым голосом, и хихикает (просто смеяться ему не положено), и опять говорит гадости — на этот раз заглазно. И даже то, что он и его жена сохранили на всю жизнь нежное чувство, — тоже его как-то компрометирует. Петр Иванович всех на свете хуже, он, еще когда учителем был, не любил заседания педсовета, и непонятно только одно: зачем о таком нехорошем — дальше некуда! — человеку было писать рассказ.

Так серьезная тема мелеет во внешней заданности авторского отношения к герою.

Внимание Н. Евдокимова к нравственной стороне человеческой жизни — ценность неоспоримая; достоинства его прозы больше ее промахов. Но, может быть, именно поэтому бесполезно сказать и о них.

А. ЛИПЕЛИС.

★

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Александр Бек. Почтовая проза. «Советский писатель». М. 1968. 284 стр.

Проза бывает разная: художественная и научная, поэтическая и документальная... «Почтовая проза» — как назвал свою новую книгу Александр Бек — тоже жанр не новый, традиция издания эпистолярных архивов писателей существует уже давно. Правда, по большей части мы привыкли иметь здесь дело с инициативой исследователей и издателей творческого наследия писателя и знакомиться с его перепиской в последних томах собрания сочинений. Но, как и всякий обычай, традиция эта, вероятно, несовершенна. И — по человечески — трудно ли понять автора, который усомнит-

ся в ее обязательности, спеша представиться читателю и с этой, несколько необычной для него стороны? Кто, в самом деле, лучше его самого может отобрать, отредактировать и прокомментировать свои собственные письма? Во всяком случае именно так и поступил А. Бек, издав свои написанные более трех десятилетий назад письма и — с любезного разрешения адресата, которому они были направлены, — некоторые ответы на них.

О чем же рассказывает нам эта книга?

Почтовая проза всегда — или почти всегда — проза, написанная на злобу дня. Так

и здесь — переписка А. Бека доносит до нас треволения, заботы, наблюдения, раздумья писателя той поры его жизни, когда он, после не очень удачных занятий литературной критикой, доставивших ему немалые неприятности, решает «переквалифицироваться в прозаика», «взяться за художество». «Жизнь, как говорится, загнала «в собачий ящик», — объясняет он это свое решение в одном из писем и формулирует свою программу так: «Решаю работать, стиснув зубы, над тем, чтобы стать писателем... Я, не имеющий, вероятно, почти никакого художественного таланта, хочу воспитать, вырастить, развить его в себе. Я знаю, что это осуществимо. Нужно лишь зверское упорство. Нужны годы непрерывной, неустанной, ежедневной работы».

Безусловно, очень разные стечения обстоятельств приводят человека к писательству, и, конечно же, путь к признанию лежит только через упорный труд. Но надо быть очень наивным читателем, чтобы всерьез отнестись к этому заявлению А. Бека, поверить ему на слово, тем более что эти строки писались человеком молодым и не слишком искушенным в тайнах своего ремесла. Если уж говорить о «тайнах творчества», то гораздо справедливее, вероятно, старая мудрость, утверждающая, что из сосуда может вытечь только то, что в нем есть.

Отражением, памятным свидетельством неустанной работы писателя и являются письма, вошедшие в «Почтовую прозу»: войдя в литературную бригаду при созданном Горьким издании «Истории фабрик и заводов», А. Бек отправляется в Сибирь, чтобы писать историю Кузнецкстроя, и его письма рассказывают нам о замысле его первой книги, о том, в каких условиях она писалась, о зарождении следующих произведений, или, как выражается автор, о «проблеме второй книги». Это, так сказать, «личная интрига», на которой строится повествование, и в этом своем содержании новая книга А. Бека настолько тесно связана с его первым опубликованным произведением — повестью «Курако», что, пожалуй, только хорошо зная эту повесть, можно до конца понять и воспринять «Почтовую прозу». Она выросла вокруг другой, основной постройки — это как бы сохраненные леса уже выстроенного здания.

Однако книга не исчерпывается ее «личной интригой», и в этом ее путь к широко-

му читателю. На Кузнецкстрое автор знакомится с Иваном Павловичем Бардиным, тогда главным инженером строительства, с другими доменщиками — в книге есть немало интересных, выразительных штрихов к их портретам. Работая над первым произведением, автор встречается и со многими крупными партийными работниками — И. И. Межлауком и другими, — им тоже посвящено в книге немало страниц. Есть в «Прозе» и множество самых различных — подробных и мимолетних — зарисовок тогдашнего быта, жанровых сценок и эпизодов. Все это доносит до нас живые черты времени, приобщает к достоверному знанию его реальной наполненности.

А. Бек — один из создателей нового жанра советской литературы — документальной прозы. Рассказывая о своей работе над вещью, он немало пишет о дорогой ему идее «Кабинета мемуаров», о так называемом методе «беседчика», разъясняет о значении документализма для художественной прозы. Этому же посвящает писатель и свои статьи, опубликованные в книге: «Ваш корреспондент потерпел неудачу» и «Люди великого пятидесятилетия». Автор мечтает об «Обществе по изучению жизни» — так он называет «учреждение», где бы хранились стенограммы бесед с героями производства, известными деятелями науки и культуры и просто бывальными людьми. Прототипом такого «учреждения» и был в свое время «Кабинет мемуаров», о котором А. Бек вспоминает: «Мы приносили в «Кабинет» эти вызванные нами к жизни, открывающие новую действительность исповеди больших и малых сынов века... Они рассматривались как основа неких близящихся новых явлений в литературе. Мы понимали: если люди двух пятилеток не расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не рассказать». Эта мысль заслуживает особого внимания. Автор и в другом месте подчеркивает важность не только для историка, но и для писателя живых свидетельств современников. И дело даже не столько в «однообразии героев и сюжетов» в литературе, от которых они помогают освободиться. Проблема эта более широкая и принципиальная. Пристальное изучение человеческих документов, с одной стороны, является могучим стимулом творчества, а с другой — оно как бы корректирует, направляет писателя к непосредственной реальности жизни.

Конечно, утверждение о том, что если «люди... не расскажут о себе, то и нам, писателям, о них не рассказать», нельзя абсолютизировать, оно вряд ли может претендовать на всеобщность: классики, как известно, и не подозревали о существовании метода бесед и стенографических отчетов о них, однако тоже создавали-таки портреты своих современников, и даже весьма удачно. Истина в конечном счете в оптимальном сочетании «факта» и «домысла», что и стало творческим принципом Бека-писателя. Его книга, посвященная времени, когда документальная проза еще только

становилась, отыскивая свои пути и формы, весьма любопытна и ценна как свидетельство современника и участника созидания нового жанра советской литературы. «Почтовая проза» многое может дать литературоведу и историку, интересующемуся такими начинаниями эпохи, как история заводов, «Кабинет мемуаров» и т. д. Интересна и полезна книга А. Бека будет, наконец, и всем тем читателям, которые любят и знают творчество писателя, интересуются его истоками,—они с удовольствием примут приглашение побывать в его творческой мастерской.

В. МАСЛОВСКИЙ.

★

ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

Вл. Саппак, В. Шитова. Семь лет в театре. Вл. Саппак. Телевидение и мы. «Искусство». М. 1968. 278 стр.

Под общий переплет сведены две книги, различающиеся и предметом и жанром. Даже авторство обозначено несбычно: сначала два имени, потом одно. Но это не издательская прихоть, здесь есть безусловная внутренняя оправданность, более того — закономерность.

Астма удушила Владимира Саппака, когда ему не было еще и сорока лет. Достаточно одной странички, чтобы перечислить главные события его недолгой жизни. Но кроме анкетного: родился, учился, женился,—есть еще биография мысли и души, пронизывающая написанное, если оно написано честно и убежденно. Эта биография Вл. Саппака — в его статьях и книге.

Работая над книгой «Телевидение и мы» (три года добровольной вахты у светящегося экрана, полсотни блокнотов с торопливо занесенными первыми впечатлениями), Вл. Саппак испытывал властную потребность рассказать и о себе. Он вспоминал детство, описывал по-московски, до последнего угла, обжитую квартиру, свою улицу. Во всем этом не было и грана самолюбования, эгоцентризма. Ему хотелось, он просто не мог не объяснить, почему так, а не иначе отзывается на искусство, откуда взялись его пристрастия и несогласия. Поэтому, например, в исследовании о телевидении и рассказывается и о первом—еще детско—впечатлении от «Броненосца «Потемкин», и о школьном приятеле, павшем в бою в октябре сорок первого года.

Доверчивая открытость — от естественного демократизма: я жил, как многие сверстники, то, что вижу, я соотношу не с отвлеченными понятиями, а со своей, с нашей общей жизнью. Поэтому с точкой зрения Вл. Саппака можно не согласиться, но нельзя сбросить ее со счетов. Она не просто досконально мотивирована. Она продиктована всей жизнью, всей судьбой автора, совпадающей с другими и отличной от них. Это критика органическая. Случайность и вкусовщина сведены в ней к минимуму, взгляды не пристраиваются в кильватер уже известным оценкам.

Из вечера в вечер он сидел, не отводя взгляда от мерцающего четырехугольника. Перед ним поворачивалась планета, проплывали лица, лица. лица, звучали речи, являли себя все виды искусства — от классического балета до кинохроники, к нему обращались президенты, дикторы, перед ним выступали эстрадные певицы и почтенные академики. Одно рождало мысль, другое — скуку. Но он ни от чего не отмахивался. И не потому лишь, что гоголил книгу. Устав, он мог, на худой конец, выключить аппарат. Однако не мог выключить себя из того, что составляет калейдоскопический поток жизни.

Болезнь загоняла Саппака в комнату, привязывала к телевизору. Но не только здесь причина того, что он взялся за книгу о телевидении. Телевидение манило едва ли не безбрежной широтой охвата, массово-

стью аудитории. Мир: врыается в комнату, искусство приближается к самым глазам, богатейшая информация достается на дом.

Не зря для Саппака так важно число телезрителей, статистические выкладки. Он не раз перебивает повествование, напоминая: это видят миллионы — не сотни, не тысячи, а миллионы. Слово, звук, жест, мимика, пластика, переданные экраном, неумолимо приобретают значение, какого не знает ни одно из искусств. Поэтому так тревожны раздумья: что дала десятиминутная передача, на какой лад настроила?

Для Саппака не существует пустяков, второстепенного. Он готов размышлять о фразе диктора, о тексте репортажа, об интонации писателя — «любимца публики». Экранное время для него отнюдь не техническая категория. Дурная передача творит свое дурное дело — для множества умов и душ. Такое происходит всякий раз, когда в эфир проникают фальшь, недобросовестность, подделка. Их не скрыть интимностью тона, отрететированной импровизацией, нарочито косноязычной фамильярностью. Последствия этого горше, чем может показаться поначалу. Вл. Саппак писал, что один плохой рассказ, одна неискренняя статья — и писатель лишается доверия своих читателей. Этому беспощадному закону на телевидении подвластен каждый оказавшийся в поле зрения камеры. Каждый. Поэтому Вл. Саппак скрупулезно исследовал телевизионную деятельность писателей, актеров, музыкантов, не однажды возвращался к дикторам. В словах Герцена о «таланте искренности» он обнаружил разгадку тайны «телегенничности».

Всего сильнее Саппака увлекали позитивные возможности экрана, возможности благотворного воздействия на человека и на искусство. Телевидение по природе своей предполагает правду и разоблачает ложь. Саппак считал, что известная мысль Чехова: «Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господ бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя», — имеет самое непосредственное касательство к телевидению. Правда искусства, слова, характера обладает великой силой выпрямления человека. Поэтому в исследовании Вл. Саппака так естественно сближаются, скажем, Юрий Галгарин и Ван Клиберна. В первом случае —

правда подвига, олицетворяемая дружелюбно обращенной к людям открытостью характера, во втором — правда искусства, юношески доверчивая, трогательная. И в обоих случаях — неповторимая индивидуальность.

Вл. Саппаку чрезвычайно важна личность безотносительно к профессии, званию, должности. Не только то, что говорит, делает выступающий, но и то, что в нем самом делается. Размышляя в этой связи о телевидении, он приходил к выводу:

«Нравственный кодекс здесь не только находится в глубоком внутреннем единстве, родстве с кодексом художественности. Нравственный кодекс здесь стоит как бы на защите художественности.

Телевидение — искусство высочайшего нравственного потенциала — таким видится будущее».

И Саппак верил в телевидение как в одно из деятельных средств человеческого совершенствования, в один из путей к «единому человечьему общежитию». Вся его книга — то грустная, то задиригая, то трезво аналитичная, то безудержно веселая — в конечном счете не что иное, как слово надежды на торжество добра в людях. Пусть бы чудесное изобретение XX века — телевидение — помогло этому торжеству!..

«Телевидение и мы» писалось почти десять лет назад. С тех времен многое изменилось в телевидении, да и мы не прежние. Однако все сказанное Саппаком и поныне интересно, живо и даже спорное поучительно. Дело, как видно, в том, что он сумел сказать свое слово, то есть выразил глубоко личное мнение, обладающее общественной значимостью, смыслом более широким, нежели предмет рассмотрения. Слово об искусстве лишь тогда чего-то стоит, когда оно постигает и жизнь, родившую искусство. Слово Вл. Саппака — из этого ряда, и стоит оно немало.

Конечно, ему помогли талант, знания, труд, упорство. Но к удаче надо прийти, прийти издалека. И чтобы составить представление о пути, проделанном Вл. Саппаком, необходимо немного выйти за границы сборника, выпущенного издательством «Искусство».

Всего труднее, видимо, Саппаку было обрести себя, а обрета, сохранить, не изменить себе.

Вместе с друзьями я разбирал бумаги покойного. Нам попался альбом с аккуратно подклеенными газетными вырезками конца

сороковых — начала пятидесятих годов — поры критического дебюта В. Саппака. Не будь под каждой вырезкой знакомой подписи, пожалуй, нелегко было бы установить авторство. Безликая гладкость, невнятность оценок. Будто вся самостоятельность мобилизована лишь на то, чтобы не проявить самостоятельности.

В тогдашних письмах Саппак справедливее и строже судил о фильмах и книгах.

Откуда этот разнбой?

Начинающий критик, видимо, хотел быть, «как все», «не хуже других» и «не умнее прочих». Он следовал бытующим образцам, полагая: одно дело — личное мнение, другое — размноженное газетой слово. Он верил распространенным тогда нормативам, верил достаточно искренне. Поэтому в ранних своих рецензиях если и грешил, то, пожалуй, не против совести, а скорее против своего собственного вкуса. Коли не слишком углубляться, коли допустить, будто благая идея способна существовать безотносительно к художественному решению, то такие книги, спектакли, очевидно, не грех и похвалить.

Благожелательный прием его работ утверждал критика в мысли: так, вероятно, и надо. Если тебе не по душе пьеса, это твое лишь дело. Ее название — ты же видишь — замелькало на афишных щитах. Выходит, ты чего-то не понимаешь, выходит, не дорос...

И получается: удивляться надо не столько блеклости первых опытов Саппака, сколько тому, что в них нет-нет да и прорвется живое слово. Но главное даже не в этом. В статьях пятидесят второго года — растущее недовольство собой. В письмах оно едва ли не преобладает:

«Эх, мне бы сейчас годик, чтобы почитать, поучиться, подумать и спокойно, в настроении, начать писать серьезные, большие статьи».

«Такое впечатление, что жизнь такая на два-три дня, максимум на неделю. А после — я разгрузюсь, додумаю все, что думалось, дочитаю то, что не дочиталось, встречу с тем, с кем не встретилось. Иначе — и жить-то так нельзя».

«Когда пьеса состоит чаполовину из «программных» разговоров, когда идея доказывается публицистически, а не через образы и развитие действия, это говорит лишь о бедности автора... о бедности его образного мышления...»

Это, повторяю, из личных писем. Столь категорически сформулировав мысль, он больше не может предаваться благостному рецензированию. Тут бы в самый раз освободиться от набивших оскомину банальностей и зажечь «новой жизнью».

Однако ничто не проходит бесследно. Мысль, привыкшая к сказанности, не распрямляется с быстротой пружины. Надо оттачивать, возрождать собственный вкус, ставший слишком покладистым.

Встречаются, правда, люди, которые годами могли машинально выводить: «воинствующий враг советской культуры, буржуазный космополит Мейерхольд», а потом, с одного чудесного дня, не дрогнув, той же бестрепетной рукой: «Выдающийся советский режиссер Мейерхольд...» Саппак так не мог.

Нам сейчас не понять, сколько надо было передумать, пережить, сколько должно было перегореть внутри, чтобы человек — сама мягкость и деликатность — уподобился, без преувеличения, кремню, стал таким, каким мы знали Саппака лично и по статьям в его последние годы.

Были обстоятельства личного и общественного ряда, способствовавшие этому.

Прежде всего природная порядочность. И в час своего первого успеха он ни разу не «подрубил» цитату, не истолковал ее произвольно. Мог похвалить не по заслугам, но не мог ни за что ни про что разругать.

Помогали увлечения и спутники юности. «Бронепосец «Потемкин» и «Город на заре», Гоголь и Маяковский, Шостакович и МХАТ... Неспроста все это так или иначе вошло в последние статьи, в книгу о телевидении.

Он не в одиночку прошагал эту новую дорогу. Она сделалась необходимой для искусства. На нее один за другим выходили театры, режиссеры, писатели. Каждый невольно помогал другому. И всем помогал одно время.

Настоящая критика возможна там, где есть для нее достойные объекты. Даже отрицая и порицая, важно иметь за плечами что-то, способное противостоять отрицаемому. Становление искусства — первейшее условие становления критики.

Именно этим показательны промежуточные, так сказать, рецензии Саппака о «Деле» в постановке Н. Акимова, о Мих. Романове в роли Протасова, о «Кремлевских курантах» и Б. Смирнове в роли В. И. Лени-

на. Порой наивные, подчас неровные, они предвосхищали нынешний сборник.

Статьи, вошедшие в сборник, написаны (за исключением одной — «Золотой теле-нок». Спектакль и книга) совместно с женой Верой Шитовой.

Любое соавторство — материя тонкая. Мысли, слова, которые легли на бумагу за одним столом, принадлежат каждому из двоих и обоим совместно. В данном случае соавторство означало прежде всего обретение совместного и единого взгляда, литературной манеры, главенствующего предмета критики. Предмет этот определился первыми же статьями.

С живучестью мещанства связана статья Вл. Саппака и В. Шитовой о поставленном на сцене Театра сатиры «Клопе» В. Маяковского. Авторы сумели по достоинству оценить этот отличный спектакль, его новаторскую режиссуру и мастерство исполнителей. Но искреннее восхищение не помеха творческому спору. Поверяя открытие, сделанное театром, их собственными впечатлениями от пьесы и от жизни, критики сумели сказать и свое слово о Присыпкине Маяковского, который, по их мнению, вызывает к более настойчивому социальному анализу, помогающему разобраться в секретах клопной живучести.

Наступление против мещанства велось критиками на широком фронте («Перечитываемая «Клопа», «О вкусах споря!», «Еще о вкусах»). На широком в том прежде всего смысле, что речь шла и об аляповатых открытках, и бумажных цветах, и пышном нагромождении декораций к «Сказу о Каменном цветке» в Большом театре, и фильмах «Анна на шее», «Княжна Мери», «Испытание верности», и известных картинах Лактионова... Мещанство как проблема социальная, бытовая, нравственная, эстетическая...

Тут неизбежны были, конечно, и какие-то издержки, невольное уравнение вещей разнокалиберных, неодинаковой ценности.

Однако серьезность, с какой писали авторы не только о спектаклях и картинах, но и об открыточных голубках и бумажных хризантемах, по-своему обоснована. Искался ход к тем, кто обожает эти открытки, души не чают в бумажных букетах, хотелось обнаружить нити от сцены к залу, прямые и обратные связи, не только благие, но и губительные. О благих говорено-переговорено. А вот о едва не безграничной возможности

культивировать безвкусицу вспоминали куда реже и уж совсем редко — о воздействии зрителя, поощряющего искусство такого толка, о зрительском спросе, рождающем сценическое, экранное, литературное, выставочное предложение. Мещанское искусство кого-то устраивает, кому-то нужно, доставляет наслаждение, которое тоже ведь именуют «эстетическим».

Вл. Саппак и В. Шитова, отрекшись от недавнего безоговорочного «культу зрителя», предприняли один из первых у нас опытов социологического изучения зала, заполненного разноликой массой. Это была попытка персонифицировать вкусы.

Новизна наблюдений вызывала у авторов полные оптимизма надежды. Достаточно, казалось, поставить диагноз — и с болезнью будет покончено. Статья «Перечитываемая «Клопа» упрекала Театр сатиры в очень уж скоропалительных похоронах мещанства. Однако в самих статьях о вкусах чересчур, пожалуй, поспешно ставился крест на безвкусице. Такова, надо признать, распространенная в критике тех лет иллюзия. Смело обличалось дурное в искусстве и думалось: тут ему и вечную память поют и вся-то забота — вынести ногами вперед.

Если что и устарело в статьях, то как раз такого рода упования. Все остальное — живет.

Театр впрямь внушал надежды. Он все отважнее вступал в бой с пошлостью, наносил все более увесистые, а подчас и неожиданные удары. Такие, как, скажем, Олег из пьесы В. Розова «В поисках радости»: сорвал со стены отцовскую саблю и давай крушить полированные серванты. Лихо это у него получилось. И беспомощно как-то. Однако публика поддерживала Олегову атаку. Она стала чуть не символом.

Вл. Саппак и В. Шитова написали о ней трезвее многих коллег. Время излечивало от иллюзий и от мальчишески экспансивных сабельных штурмов. Они уже понимали: сабля — не самое страшное для обывательщины.

Однако как ни всеобъемлюще мещанство, как ни широка и разветвлена его проблематика (она принимает в лоно свое и мелкое стяжательство, и философию «моя хата с краю», и «художественный» ширпотреб, и приспособленческое камелеонство, и многое другое), не обязательно к ней стягивать все узлы нынешнего искусства. Обличая

многоликое, настырно лезущее на сцену и в зал мешанство, критики вместе с тем задавали вопросом: в чем истинная ценность жизни и человека, чем люди живы?

«Чем люди живы...» — так называется статья о «Власти тьмы» в Малом театре. Ей принадлежит особое, оговоренное авторами место в их биографии. Все сказано с прямотой и точностью, закрывающими щель для кривотолков. Читая о «Власти тьмы», начинаешь думать о собственном моральном идеале, о своей ответственности — именно об этом напряженно думали писавшие статью, подключая к напряжению всякого, кто взял в руки журнал, вынуждая и его остановиться перед вопросом вопросов: а я-то чем жив?

Статья, собственно, о том, что может и должен человек, что может и должно искусство. А в другой, по-своему ее продолжающей, — «Борис Равенских и его манифест» — вместе с тем и о возможностях негативных, об искусстве ухода от правды, замены высоких нравственных категорий претенциозным вымыслом.

Назначение искусства, проповедовавшего Б. Равенских, — утешить, убаюкать, дать «красивую жизнь», что может стать «заменой счастью». Не печаль искусства — бороться с нечестью и подлостью. Да творит оно праздник, да изготавливает «красоту»!

Статья о Б. Равенских кончается уже не торопливой отходной по дурному, а настоятельным призывом: «Так давайте же бить тревогу каждый раз, когда художник отступил от правды, отступил в пользу лжи. Каждый раз — именно так!»

Досадно, что эта статья осталась за пределами сборника. Во-первых, она дает представление о Саппаке — бойце непримиримом и бескомпромиссном. А во-вторых, могла сослужить службу и сегодня. (Вокруг Б. Равенских принято вести дискуссии. Не так давно журнал «Театр» апологетически писал: «Равенских выставляет на сцене избы из блестящих, покрытых лаком досок, когда делается модным словечко «лакировка»...»)

Разбирая спектакль, критикуя актера, возражая режиссеру, Саппак обычно предлагал свой вариант, доказательно обосновывая его. Статья «Золотой теленок». Спектакль и книга — остроумный рассказ об Остапе Бендере, о том, каков из себя «великий комбинатор», не разгаданный театром и актером, в чем его своеобразный шарм, как его следует играть. Тут Саппак скорее даже режиссер, чем критик.

За безотказную готовность помочь, посоветовать его любили в театрах, хотели знать его мнение и не обижались. Саппак уверовал в «Современник», когда это был никому не ведомый «актерский драмкружок». Больной, задыхающийся, таскался он на ночные репетиции, вникал во все детали неприкаянной студийной жизни...

Я начал свою рецензию замечанием о двух произведениях, заключенных под общую обложку, а хочу кончить утверждением, что перед нами все же одна книга. Общность эта, помимо всего сказанного, в нераздельности и человеческом обаянии книги.

В. КАРДИН.

★

ПО ЗАВЕЩАНИЮ ОТЦА

С. В. Короленко. Десять лет в провинции. «Удмуртия». Ижевск. 1966. 218 стр.

С. В. Короленко. Книга об отце. «Удмуртия». Ижевск. 1968. 282 стр.

Почти до последних дней своей жизни, преодолевая тяжелую болезнь, мой отец В. Г. Короленко работал над книгой, в которой пытался запечатлеть историю свою и своего поколения, озаглавив ее «История моего современника». Перед смертью он сказал мне: «Пиши ты», — рассказывает Софья Владимировна Короленко. И осуществляя волю отца, она продолжила описание его жизни с того момента (1884 год), где остановился он. В пераой

ее книге «Десять лет в провинции» рассказано о жизни Короленко в Нижнем Новгороде, после возвращения из якутской ссылки. Последующим годам посвящена «Книга об отце».

Обаятельный и сложный образ Владимира Галактионовича Короленко, так привлекающий в «Истории моего современника», очень мало потускнел в дальнейшем повествовании. Дело не только в том, что в основу его положены рукописи, заметки, днев-

никовые записи и прочие документы из необъятного архива В. Г. Короленко, а и в том, что сама Софья Владимировна обладала незаурядным литературным талантом и вкусом.

Слитность стилия отца и дочери часто была бы просто неотличима, если бы не «вычки», которыми обозначен текст самого Короленко. Вот почему обе книги читаются как единое, стройное повествование, слух читателя не коробит ни одно слово, поставленное в непосредственном соседстве со словами замечательного писателя.

Читатель невольно обратит внимание на то (как справедливо отмечает в предисловии к книге «Десять лет в провинции» Г. Бялый), что «образ автора... остается в тени». Полное самоотречение во имя добровольно возложенного на себя долга пронизывает всю жизнь Софьи Владимировны Короленко. Она обладала несомненными способностями в живописи и скульптуре, но для занятия ими уже не оставалось времени, ибо все оно без остатка было посвящено отцу. С девятнадцати лет Софья Владимировна становится незаменимой и ближайшей его помощницей, участвуя в собирании необходимых писателю материалов, в подготовке полного собрания сочинений для издательства Маркса, в ведении огромной переписки, наконец сопровождая его в поездках и путешествиях.

После смерти отца Софья Владимировна много сделала для изучения и популяризации его творческого наследия. Настоящим подвигом было предпринятое ею издание действительно полного собрания сочинений В. Г. Короленко, к сожалению, не законченного Госиздатом Украины.

Софья Владимировна Короленко умерла в 1957 году, не дождавшись выхода в свет главного своего труда, законченного еще в 1931 году.

Местом жительства после якутской ссылки Владимир Галактионович избрал Нижний Новгород «в надежде найти здесь работу», как пишет Софья Владимировна. И вот первое впечатление от провинции восьмидесятых годов. В беседе с одним из нижегородцев — литератором и общественным деятелем А. А. Савельевым — Владимир Галактионович услышал: «Какие у нас теперь, батюшка, партии? Одни открыто воюют и хотят сохранить эту приятную традицию... Это консерватизм. А мы бы и хотели эту традицию прекратить, да не можем.

Вот и вся оппозиция». Так начались глухие, удушливые «десять лет в провинции». Их скрашивали работа, дружба, любовь.

Особенно — любовь. Софья Владимировна пишет: «Короленко как художнику иногда бросали упрек, что в его произведениях нет женских образов, нет любви. Гарин-Михайловский однажды сказал: «Влюбиться вам надо, Владимир Галактионович, забыть все. Тогда вы роман напишете». Перечитывая теперь бумаги отца, я думаю, что в них можно найти этот ненаписанный роман...» О том, насколько это глубоко верно, можно судить даже по тем отрывкам, которые включены в главу «Любовь и семья».

Достойное отражение в книгах С. В. Короленко нашли литературные связи ее отца.

Из собранных в книге воспоминаний и высказываний Короленко о Толстом видно, как высоко чтит Короленко великого писателя. Но вместе с тем он, как и Чехов, позволял себе прямую полемику с Толстым-философом. «...негодование и гнев против насилия и всегдашняя готовность отдать жизнь на защиту своего достоинства, независимости и свободы должны занимать нормальное место», — писал Короленко, решительно выступая против учения Толстого о непротивлении злу насилем. Замечательна эта полемика между удивительно честными писателями, для которых главным импульсом их литературной деятельности служили слова: «Не могу молчать!»

Волнующи записи о первых литературных шагах, о новых знакомствах и образовании кружка друзей, шутливо именованного «Обществом трезвых философов», подробности журналистских будней, встречи с Г. И. Успенским («С первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой»), знакомство с Чеховым...

Одинаковое отношение ко многим явлениям русской жизни сблизило Короленко и Чехова, и это, в частности, нашло свое выражение в их реакции на знаменитый «академический инцидент» — исключение по приказу царя М. Горького из Академии наук. Как известно, Короленко и Чехов в знак протеста вышли из Академии.

Любопытно окончание этого «инцидента». После февральской революции Короленко была предоставлена возможность вернуться в стан академиков, для чего ему оставалось лишь выполнить небольшую формальность — написать соответствующее письмо. Но писа-

тель решительно отверг это предложение, ибо не желал связывать себя с той средой, которая послушно выполняла приказание царя и тем самым взяла «на свою ответственность эту царскую функцию»...

Отдельные главы книги «Десять лет в провинции» посвящены путешествиям Короленко по России (в частности, пешеходным), давшим художнику очень много ценных и важных наблюдений, описанию страшного голода 1892 года, борьбе с полицейским режимом, поездкам в Америку и Румынию, печально прославленному «Мултанскому делу», на котором писатель выступал в качестве защитника оклеветанных удмуртов. (Не случайно книги, завершающие «Историю моего современника», издаются в столице Удмуртии.)

Следует особо отметить страницы, рисующие внутренний мир писателя, столь характерный для «исповедального» строя «Истории моего современника» в целом.

«Предчувствие великой истины, разлитой в природе среди жизни и смерти», никогда не покидало писателя. Особенно остро эти религиозные вопросы встали перед ним после смерти дочери Лели, известие о которой он получил 14 сентября 1893 года на пути из Америки домой.

«Смерть — глубочайший источник мистицизма», — писал Короленко в рассказе «Чужой мальчик». В главе «Искание истины» С. В. Короленко приводит ряд отрывков из произведений, писем и дневников отца, свидетельствующих о том, что писатель не унижился до мистицизма, а тем более до уровня официальной религии. «Он, — как писал М. Горький, — отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, религиозной страсти».

Яркое представление об органичности демократизма В. Г. Короленко дает приводимая Софьей Владимировной дневниковая запись (10 апреля 1893 года): «Работа средней человеческой мысли, вековая и коллективная, дает великие мировые результаты. Гениальная поэма остается для нас гениальной поэмой. Но что она значит перед самым даром речи, перед чудным орудием мысли — языком, которого не выдумать никакому отдельному гению, ни даже собранию гениев всех народов!» Позднее — в 1904 году — в своих «Литературных заметках» он возвращается к этой мысли. «Мо-

гут быть ничтожные люди, очень много ничтожных людей, но человечество не ничтожно, перед всем человечеством самый великий человек — только атом, только одна капля...» Может быть, именно в этом источник величайшего оптимизма писателя.

Описанием переезда в Петербург начинается «Книга об отце», с созданием которой, как справедливо писал редактор публикации доктор филологических наук А. В. Западов, «труд В. Г. Короленко «История моего современника» обрел продолжение — и окончание».

«Книга об отце» имеет особенное значение не только потому, что она посвящена наиболее важному периоду жизни писателя, но еще и по другой причине, о которой лучше всего сказать словами самой Софьи Владимировны:

«В годы войны и революции отец с огромным напряжением старался разобраться в вопросах, выдвинутых жизнью и до сих пор не потерявших своей злободневности. И так как он в это время порой лишен был возможности работать в печати, — его точка зрения по поводу войны и революции осталась почти неизвестной. Я постаралась собрать все существенное из записей отца за эти годы и думаю, что они имеют живой интерес еще и сейчас».

Интересна и важна первая часть книги — «Петербург и Полтава», охватывающая такие важные факты и события, как студенческие волнения в Петербурге в 1889 году, упомянутый уже «академический инцидент», переезд в Полтаву, аграрное движение 1902 года, новые свидания с Л. Н. Толстым, кишиневский погром, 1905 год, знаменитое «Дело Бейлиса» и т. д. и т. п. Умело и тщательно собранные, приведенные в строгую последовательность, материалы эти рисуют яркую и динамическую картину напряженной творческой и общественной деятельности замечательного писателя, страстного публициста, кристально честного человека.

Вторую часть «Книги об отце» С. В. Короленко озаглавила «Война и революция». Когда началась война, Короленко с женой и дочерьми находился во Франции. Только в мае 1915 года Короленко удалось вернуться в Россию. Родина встретила писателя судебным процессом, возбужденным властями еще в связи с его корреспонденциями по делу Бейлиса в 1911 году. Суд так и не состоялся, но зато действительность царской

России в изобилии давала все новые и новые поводы для выступлений против шовинистического угара, сеющего национальную рознь и вражду. С. В. Короленко пишет: «Преследования немцев, украинцев, евреев побуждают Короленко писать статьи против этого отвратительнейшего для него явления...»

Февральская революция застала Короленку в Полтаве.

«...огромный факт совершился, и совершился на фоне войны», — писал В. Г. Короленко в одном письме.

Его мучил вопрос: «Образуется ли все как следует в России?» Занимая оборонческие позиции, он тем не менее старательно записывает свои беседы с солдатами, которые всюду голосовали за мир.

В «Книге об огце» приводится много записей писателя о страшных днях хозяйничанья центральной рады и гетманщины.

Вот запись в дневнике 29 марта 1918 года: «Начинаются безобразия... Хватают подозреваемых в большевизме по указанию каких-то мерзавцев-доносчиков, заводят во дворы и расстреливают... По другим рассказам, — приводят в юнкерское училище, страшно избивают нагайками и потом убивают... Избивать перед казнью могут только истые звери...»

Нечего говорить, как мужественно держал себя Короленко, неизменно и с опасностью для жизни заступавшийся за преследуемых людей.

Девятнадцатого января 1919 года Полта-

ва была освобождена советскими войсками. В то время Короленко писал: «...У нас ждали большевиков, чувствовалось, что идет сила, сознающая себя и более спокойная». Однако через полгода в город вступили денкиницы. Появление их было сразу озаменовано грабежами, погромами, убийствами... Короленко явился к начальнику контрразведки полковнику Щучкину и, ссылаясь на то, что при большевиках ему удавалось улаживать многие конфликты, спросил, может ли он и теперь выполнять роль посредника между властью и населением. Но Щучкин «довольно грубо... дал понять, что пример большевиков ему не указ...».

Незадолго до смерти (в 1921 году) В. Г. Короленко записал в своем дневнике: «Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой и практическими предприятиями вроде мултанского дела или помощи голодающим. Но ничуть об этом не жалею. Во 1-х, иначе не мог. Какое-нибудь дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колен. Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась без участия в жизни».

Да, жить иначе Владимир Галактионович Короленко не мог. Одаренный многими талантами, он был поистине гениальным в своей мужественной честности. Недаром А. В. Луначарский одну из своих статей о Короленко озаглавил словом «Праведник».

Г. ЛИТИНСКИЙ.

★

Политика и наука

«ЛА» — ЧЕЛОВЕК И САМОЛЕТ

Михаил Арлазоров. Фронт идет через КБ. «Знание». М. 1969. 160 стр.

Литературные произведения о людях технического творчества — конструкторах или изобретателях — чаще всего заканчиваются на том, что герой, преодолев множество субъективных и объективных преград, добивается реализации своего проекта. Препятствия преодолены, соперники поразмалены, новая машина построена и заработала — иногда даже сразу, с первого пуска... Вроде свадьбы, завершающей роман о любви.

А между тем не раз было сказано умными людьми, что главное и самое сложное начинается после свадьбы. Хотя и рассказать об этом, наверное, труднее.

Так же трудно полноценно рассказать о всей творческой жизни конструктора, которого, после того как реализован в металле его первый проект, тоже ждет бесчисленное множество конфликтов: мелких и крупных, явных и скрытых, вызванных чьим-то недомыслием и вытекающих из объективно

действующих закономерностей... И каждый из этих конфликтов имеет двойную природу. С одной стороны, в нем есть конкретное техническое содержание, та самая суть дела, обойти которую — значит оставить читателя в неведении, кто, чего и почему добивается. С другой же стороны, в любом конфликте подобного рода обязательно происходит столкновение человеческих эмоций, характеров, темпераментов, личных и общественных устремлений. Чтобы не потерять по дороге к листу бумаги ни одной из этих двух ипостасей, надо глубоко разобраться в обеих, воспринять их и умом и душой. Словом, надо быть одновременно и «инженером человеческих душ», и просто инженером (пусть не по образованию или опыту работы, но по умению и вкусу к серьезному, не поверхностному проникновению в конкретное содержание деятельности своего героя).

Такое сочетание всегда дает хорошие результаты. Вспомним хотя бы книги о жизни и творчестве ученых — физиков и математиков, — принадлежащие перу Д. Данина, Б. Кузнецова, А. Ливановой. К сожалению, люди техники до последнего времени почему-то привлекали к себе внимание литераторов в значительно меньшей степени.

Тем больше оснований по достоинству оценить книгу Михаила Арлазорова «Фронт идет через КБ», содержание которой раскрывается автором тут же, в подзаголовке: «Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками». Правда, читатель, раскрыв книгу, быстро убеждается, что каждый из друзей, коллег и сотрудников авиаконструктора Лавочкина рассказал лишь о каком-то пусть исключительно интересном, но все же отдельном факте, случае, эпизоде. Жизнь же конструктора рассказана, конечно, писателем.

Михаил Арлазоров — не новичок в художественно-биографическом жанре. Читатели знают его книги о Н. Е. Жуковском и К. Э. Циолковском, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей». Кстати, последняя из упомянутых книг — о Циолковском — уже выдержала три издания: случай в серии «ЖЗЛ» довольно редкий. И прошла она нельзя сказать, чтобы тихо и гладко: вокруг некоторых авторских оценок разгорелись бурные дебаты. Как рассматривать не сбывшиеся до сего дня прогнозы Циолковского о перспективах развития ди-

рижаблестроения? Что это — ошибка гения или наше неумение реализовать его наследие?..

Не буду сейчас отвлекаться на обсуждение вопроса по существу, хотя не скрою, что лично мне, как и автору книги, первая позиция представляется более убедительной. Я вспомнил об этой дискуссии лишь потому, что она хорошо характеризует вкус и способность М. Арлазорова — авиационного инженера по образованию — к углублению в существо творческих проблем, занимавших тех людей, о которых он пишет.

Личность Семена Алексеевича Лавочкина, имя которого («Ла») в годы Великой Отечественной войны носила добрая половина наших самолетов-истребителей, — одна из самых ярких и значительных в истории отечественной авиации. Жизнь и деятельность ученых и конструкторов такого калибра так тесно переплетались со становлением и развитием нашего самолетостроения, так велик их персональный вклад в это дело, что порой трудно отделить жизнеописание каждого из них от рассказа о пути, пройденном нашей авиацией в целом. И вместе с тем Лавочкин очень своеобразен сам по себе, неповторим как личность даже на ярком фоне своих коллег.

Невозможно было бы в короткой рецензии пересказывать содержание книги Арлазорова. Но о некоторых принципиальных успехах автора не сказать нельзя.

Арлазоров счастливо избегает схематизма, упрощенчества, подстерегающих авторов книг художественно-биографического жанра буквально на каждом перекрестке. В качестве примера приведу хотя бы ту же проблему: умение видеть динамические живые конфликты не только в начале пути, но во всей жизни конструктора, — о чем говорилось в начале этой статьи.

Вот позади этап, когда конструктор наедине с чертежной доской, — этап, не находивший отражение в литературе (вспомним хотя бы роман В. Дудинцева). Машина спроектирована, изготовлена — идут испытания. Сюрприз следует за сюрпризом, один неприятнее другого: то обнаруживается недостаток управляемости, то ломается («не держит») деталь, вроде бы по расчету достаточно прочная, то летчик жалуется на плохой обзор при заходе на посадку...

Наконец самолет испытан, основные недостатки, всплывшие на свет божий в ис-

пытательных полетах, исправлены — это называется: самолет «доведен», — и, как венец всего, правительственное постановление: «Принять к серийному производству...»

Машина в серии! Конструктор может вздохнуть свободно? Как бы не так. Его берут за горло требования технологов, экономистов, недоработки десятков и сотен смежников, даже перебои материально-технического снабжения...

И вот машина пошла в бой! А бой — это не просто полет, даже испытательный. Тут недостатки самолета оплачиваются по другому счету. На конструкторское бюро наваливаются новые претензии, на сей раз со стороны фронтовых летчиков, статистика потерь (какой человек найдет в себе силы видеть в ней только цифры?), данные эксплуатационного опыта. К тому же не сидит сложа руки и противник. Он улучшает свои самолеты. Надо выиграть соревнование с ним сегодня и, что еще труднее, непрерывно создавать задел идей, чтобы выиграть это соревнование и через год, и через два — пока не будет выиграна вся война.

Проблемы, проблемы, проблемы... А все оттого, что пришел успех: машина в серии.

Оказывается, успех может быть не менее драматичным, чем неудача. Для человека, который, подобно Лавочкину, незауряден не только как конструктор, руководитель, организатор, но и как личность эмоциональная, гуманная, остро воспринимающая радости и боли других людей, такой драматизм особенно чувствителен...

Иногда эмоции героя книги представляются на первый взгляд неожиданными. «По литературе» конструктор обязан непрерывно мечтать о создании новой, совершенно новой машины — вроде того, как актеру положено мечтать о новой роли, иначе он как бы не настоящий актер, а ремесленник. И вдруг — в нарушение этой красивой концепции — выясняется, что наши военные конструкторы, а в их числе и Лавочкин, видели во время войны в создании совершенно новой машины вынужденное и даже огорчительное следствие того, что улучшениями серийной, освоенной в производстве и эксплуатации машины больше не проживешь, не дотянешь до уровня, диктуемого жестокой конкуренцией войны, хотя — видит бог — это было бы прекрасно! Оказывается, «новое ради нового» — из беллетристики.

Таких открытий в книге «Фронт идет через КБ» немало. А от них идут и открытия в более тонкой области эмоций, воззрений, жизненных позиций героя. Читатель не ставится перед необходимостью верить автору на слово. Он видит перед собой многоплановый, написанный без намека на схематизацию портрет Семена Алексеевича Лавочкина — и проникается не только глубоким уважением к заслугам этого замечательного человека, но и живой, личной симпатией к нему. Наверное, это те самые чувства, которые продолжают жить в душах всех пятидесяти пяти «друзей, коллег и сотрудников» Лавочкина, поделившихся с автором книги своими воспоминаниями. В том числе и в душе А. И. Шахурина — народного комиссара, руководившего авиационной промышленностью нашей страны в течение всей войны, — ему принадлежит предисловие к книге М. Арлазорова.

Книга «Фронт идет через КБ» написана динамично, интересно, хорошим языком. Может быть, лучше было бы автору проявить чуть большую экономию в использовании превосходных степеней. Илья Григорьевич Эренбург как-то заметил, что слова «я тебя люблю» звучат сильнее, чем «я тебя очень люблю». Так и встречающиеся в книге выражения вроде «влюбленные в авиацию» или «замечательные испытатели» от снятия примелькавшихся эпитетов только усилились бы. И название главы — самой по себе очень интересной и хорошо написанной — «Враг сбрасывает маску» кажется заимствованной в каком-нибудь детективе... Но, разумеется, не эти частности определяют общее впечатление от книги Арлазорова.

И последнее.

В неоднократно возникавших спорах о природе художественно-документальной прозы постепенно выкристаллизовались две полярные точки зрения на допустимую степень отхода от фактической основы в произведениях этого жанра.

Сторонники одной из них утверждают не только допустимость, но даже прямую необходимость свободного домысла, авторской фантазии, вольной модификации фактов в соответствии с замыслом произведения. Иначе, говорят они, исчезнет элемент художественности и останутся сухие факты, названные на скучную нить хронологии.

Другая точка зрения сводится к тому, что история не простит литераторам, назвавшим

свои произведения документальными, неуважительного обращения с фактами. Если же речь идет о конкретных людях, то не простит этого и элементарная этика. Автор волен выбирать факты, группировать, комментировать их так, как диктует ему вкус и замысел художника, но с самими фактами обязан обращаться безукоризненно строго. Или — не называть свою работу документальной! Не вводить в заблуждение читателя, который, особенно в последние годы, склонен придавать большое значение подлинности того, о чем читает.

В спорах на эту тему как-то незаметно возникло и укрепилось никем прямо не

сформулированное, но живучее мнение, будто документальность и художественность суть чуть ли не антитезы и усиление в каждом конкретном произведении одного из них возможно не иначе, как за счет ослабления другого: хотите, чтобы было интересно и художественно, — не держитесь за факты!

Чем можно опровергнуть это мнение?

Только одним: книгами, в которых художественность и строгая документальность присутствовали бы одновременно. «Фронт идет через КБ» — как раз такая книга.

М. ГАЛЛАЙ.

★

СТАТИСТИКА ТРУДА

Труд в СССР. Статистический сборник. «Статистика». М. 1968. 342 стр.

Появление статистического сборника «Труд в СССР» отвечает назревшей потребности. Цифры, характеризующие наши достижения в этой области и позволяющие определить главные задачи на будущее, не только насущно необходимы специалистам, занимающимся этим «важнейшим вопросом строительства социализма» (Ленин), но и представляют немалый интерес для широкого читателя.

Опубликованные в сборнике материалы дают возможность проследить, какие огромные социально-экономические преобразования произошли за годы советской власти в нашей стране. Если в дореволюционной России рабочие и служащие не составляли и пятой части населения, то теперь составляют почти четыре пятых и лишь три сотых процента приходится на долю крестьян-единоличников и некооперированных кустарей. Полностью ликвидирована безработица. Убедительными цифрами подтверждается, что, как пишут в предисловии составители, «советская власть создала все условия для активного участия женщин во всех отраслях народного хозяйства», что «за последние годы... значительно повзрослел культурно-технический и общеобразовательный уровень рабочих и колхозников», что «наша страна проявляет неустанную заботу о расширении подготовки специалистов для всех отраслей народного хозяйства», «возникают новые профессии квалифицированного труда и одновре-

менно исчезает ряд профессий тяжелого ручного труда». «За 40 лет (с 1925 года по 1965 год) численность рабочих промышленности, выполняющих работу механизированным способом, увеличилась в 15 раз, — сообщают составители сборника. — Значительно возросла за этот период численность рабочих таких профессий, как электромонтеры — в 46 раз, наладчики — в 22 раза, станочники по металлу — в 26 раз, слесари и электрослесари — в 36 раз. Рабочих таких профессий, как аппаратчики, электро- и газосварщики, в 1925 году почти не было, а сейчас их насчитываются сотни тысяч».

Сборник обстоятельно иллюстрирует «огромные успехи в развитии экономики и культуры... во всех союзных республиках», о них говорит одно уже то, что «к концу 1966 года среди специалистов, занятых в народном хозяйстве страны, узбеков было 177 тысяч, казахов — 133 тысячи, киргизов — 32 тысячи, таджиков — 38 тысяч, туркмен — 33 тысячи человек», тогда как в дореволюционной России специалистов с высшим и средним специальным образованием среди народов Средней Азии и Казахстана почти не было.

Сопоставляя сборник «Труд в СССР» с ежегодником ЦСУ «Народное хозяйство СССР», в последних выпусках которого также имеется специальный раздел «Труд», можно заметить, что как там, так и здесь главный упор делается на сведения о численности работающих. Сборник значитель-

но увеличен в объеме по сравнению с аналогичным разделом ежегодника преимущественно за счет данных именно такого рода.

Материалы сборника позволяют проследить, как увеличивалось число рабочих и служащих в народном хозяйстве, превысившее в 1967 году 82 миллиона человек, более чем удвоившись по сравнению с 1950 годом при увеличении всего населения за тот же период примерно на 31 процент. Цифры обнаруживают и тенденцию некоторого роста административно-управленческого аппарата. В частности, штат министерств и центральных учреждений, органов управления кооперативных и общественных организаций расширился в 1967 году по сравнению с предыдущим годом приблизительно на шесть процентов.

Свыше пятидесяти страниц занимают в сборнике таблицы численности рабочих по профессиям в некоторых отраслях промышленности на 2 августа 1965 года. Профессиональный состав рабочих представлен в этих таблицах настолько детально, что наряду с ведущими специальностями в них встречаются и такие, о существовании которых, вероятно, впервые узнает большинство обратившихся к справочнику. Многим ли известно, что в пищевой промышленности, например, есть и вальцерезы, и вальцовые, и вальцовщики; что, кроме выбивальщиков, существуют еще и выбивщики, и выворотчики мешков, и выбойщики продукции или полуфабрикатов в мешки; а помимо залильщиков — налищики, перелившики, разлившики, слившики? Читатель узнает, что к указанной выше дате на угольных шахтах числилось 32 990 «рабочих, занятых на управлении кровлей». Можно бы, кажется, и удовлетвориться этой цифрой, которая и так не слишком велика — не только в масштабах всего народного хозяйства, но и в масштабе самой угольной промышленности. Тем не менее составители справочника считают необходимым дать ей подробную расшифровку, сообщая, что в это число входят «горнорабочие очистного забоя, занятые выкладкой бутовых полос и креплением бутовых штреков», в количестве 9217 человек, «горнорабочие очистного забоя, занятые обрушением кровли на металлургические тумбы» (9154 человека), «горнорабочие очистного забоя, занятые посадкой кровли» (4880 человек), «горнорабочие очистного забоя, занятые

закладкой выработанного пространства с применением машин» (276 человек) и т. д.

Преобладание в сборнике сведений о численности работающих может даже навести на мысль, не адресован ли он вопреки своему обобщающему заглавию не широкому кругу экономистов, социологов, читателей, интересующихся общими проблемами труда, а отдельным узким специалистам, тем единичным исследователям, которым для чего-либо потребуются данные о наличии рабочей силы именно на 2 августа 1965 года. Однако подобные предположения опровергаются довольно значительным (12 500 экземпляров) тиражом издания.

Более вероятной причиной тяготения составителей сборника преимущественно к материалам о численности работающих представляется намерение продолжить традицию довольно регулярно выходивших до 1935 года справочников того же названия, где подобные сведения тоже занимали ведущее место.

Но если в двадцатые годы количество работающих показывало, насколько успешно разрешаются такие жизненно важные задачи, как восстановление промышленности, оживление народного хозяйства, ликвидация безработицы, а в тридцатые притоком рабочей силы в промышленность в значительной мере определялись успехи индустриализации, то теперь особое значение приобретают указания Ленина о производительности труда. Между тем в рецензируемом сборнике раздел, озаглавленный «Производительность труда», — один из самых сжатых.

Сообщается, например, что производительность труда в промышленности возросла у нас по сравнению с 1913 годом более чем в пятнадцать раз, в США — менее чем в четыре раза, во Франции — меньше чем втрое, в Англии не увеличилась и вдвое. Однако лишь эти показатели, при всей их важности, еще не дают возможности охватить вопрос во всей полноте. Для решения практических задач необходимо знать, например, как влияют на производительность различные системы оплаты труда, квалификация работников и т. д. Полезны были бы материалы, позволяющие судить об охвате трудящихся социалистическим соревнованием и его результатах, о деятельности профсоюзов, оценить достижения в области организации отдыха, охраны труда, улучшения его условий.

Данные, включенные в сборник, характеризуют главным образом промышленность. Некоторое внимание уделяется строительству и сельскому хозяйству, преимущественно совхозному. Из производственных отраслей специальная таблица посвящена торговле (численность по годам работников розничной торговли и общественного питания).

В изданиях первых лет советской власти можно было найти бюджет времени трудящихся. Они затрагивали не только вопросы труда как такового, но и потребление основных продуктов питания и промышленных товаров, семейный бюджет. В справочнике за 1924—1925 годы, который отрекомендован его составителями в качестве первого опыта подобного рода, имеются некоторые розничные цены, индекс цен. Сопоставление этих данных с современными наглядно продемонстрировало бы, как изменился уровень жизни.

Пищу для размышлений дают сведения о подготовке квалифицированных рабочих. Так, например, с 1963 по 1966-й год системой подготовки кадров для сельского хозяйства было выпущено 2894 тысячи трактористов-машинистов, трактористов, комбайнеров и механиков-комбайнеров, а в 1967 году их числилось в колхозах и совхозах всего 2358 тысяч...

Наиболее содержательным представляется раздел, озаглавленный: «Численность научных работников и численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве». Его таблицы характеризуют рост уровня образования в нашей стране, быстрое увеличение числа специалистов, научных работников. Особенно велики в этом отношении достижения республик, прежде считавшихся отсталыми, и женской части населения. Цифры свидетельствуют, что женщины сумели надлежащим образом использовать равные права на образование. Былое их отставание в этом отношении не только в основном ликвидировано во всех республиках вплоть до самых отсталых ранее, но даже возникла проблема... отставания мужчин! Женщины составляют половину всего контингента рабочих и служащих, а среди специалистов женщин в 1966 году было 58 процентов. В РСФСР и Латвийской ССР, где процент женщин-специалистов наивысший, их в полтора с лишним раза больше, чем мужчин.

Как сообщается в сборнике, в 1967 году у нас на тысячу человек населения было 27 человек с высшим образованием, 333 человека — с неоконченным высшим, средним и неполным средним, но сколько именно первых, вторых и третьих, не расшифровано¹ и ничего не сказано относительно уровня образования остальных двух третей населения.

Отдельным материалам недостает четкости. Так, к числу работников, занятых преимущественно умственным трудом, которых, по данным соответствующей таблицы, насчитывается 27 миллионов, отнесены самые различные категории работников, начиная от руководящих, инженерно-технических, медицинских, кончая контролерами, кассирами, телефонистами. Но в труде, например, телефониста «умственного» вряд ли больше, чем в труде станочника, шофера, сборщика. В наше время нелегко разграничить умственный и физический труд, но, взявшись за эту задачу, следовало бы все же отыскать какие-то более определенные признаки классификации. Категория «рабочие и служащие», которая, за вычетом колхозников, включает в себя едва ли не все самодеятельное население, занятое в народном хозяйстве, во многих таблицах никак не дифференцирована, чем в значительной мере обесцениваются приведенные в них сведения. Не выделены в самостоятельные группы и крестьяне, а также работники интеллигентного труда, так что, при всей пространности сведений о численности работающих, сборник не дает ясного представления, какова же численность каждой из основных групп в отдельности.

Судя по данным о численности специалистов в народном хозяйстве, их приток происходил крайне неравномерно. В 1955 году он составил 495 тысяч человек, в 1956-м — 1124 тысячи, в 1957-м — 564 тысячи и т. д. Причину подобных скачков следовало пояснить. Нуждается в пояснении и значительное, выражающееся тоже в сотнях тысяч, расхождение между количеством специалистов, поступающих, по данным сборника, в народное хозяйство, и числом оканчивающих высшие и средние специаль-

¹ Обратившись к ежегоднику «Народное хозяйство СССР в 1965 году», можно узнать, что на 1 января 1966 года высшее образование имели 6 миллионов человек, незаконченное высшее 2,6 миллиона, среднее — 23,5 миллиона человек, неполное среднее (семь классов и выше) — 48,2 миллиона.

ные учебные заведения (по сведениям ежегодника «Народное хозяйство СССР»).

Нет полной ясности, во всех ли случаях данные сборника не включают учащих — специально это оговорено лишь в немногих таблицах. Не всегда названа единица измерения, не все знаки разъяснены. Сообщается, например, что в черной металлургии столько-то горновых I, горновых II, горновых III и IV, можно только предполагать, что римские цифры означают определенные производственные разряды.

Подобные погрешности нетрудно устранить, тем более не следует допускать их в дальнейшем. А надо надеяться, первый после долгого перерыва выпуск сборника «Труд в СССР» не останется единственным.

Создать отвечающий современным требованиям статистический справочник по таким сложным и широким проблемам, какими в настоящее время являются проблемы труда, дело нелегкое, но весьма нужное. Поэтому, при всех претензиях, какие можно предъявить сборнику «Труд в СССР», сам факт его появления следует только приветствовать как первую попытку возобновить полезную традицию. Хочется пожелать, чтобы это издание вновь превратилось в периодическое, которое, совершенствуясь, будет все более эффективно содействовать успешному разрешению важнейших народнохозяйственных задач.

В. БОРНЫЧЕВА.

★

«НЕ ПРИРОДА, А ИСТОРИЯ»

В. О. Ключевский. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. «Наука». М. 1968. 528 стр.

Имя В. О. Ключевского, создателя «Курса русской истории», профессора Московского университета, воспитавшего не одно поколение историков, — хорошо известно советскому читателю. Поэтому его письма, афоризмы, дневники и мысли об истории, собранные впервые в одной книге Р. А. Киреевой и А. А. Зиминим, безусловно вызовут интерес. Эти материалы, как точно отмечено в предисловии редактора книги академика М. В. Нечкиной, «не столь уж прямо ведут к страницам его «Курса» или «Боярской думы», но много дают для нашего понимания, как сложился В. О. Ключевский, как он мыслил, какие раздумья вызывала у него окружающая его действительность, каким он был человеком». Впрочем, познакомиться с ним как с человеком мы имели возможность значительно раньше, ибо благодаря общепризнанному литературному таланту Ключевского характер его неповторимой индивидуальности очень ярко проявляется и в ученых его трудах. Полностью отдавая дань исторической ценности опубликованных материалов, нельзя не заметить, что для читателя, специально не занимающегося историей науки, они могут быть интересны не только как документы к биографии выдающегося человека, но и сами по себе.

Хронологически рамки этой книги огра-

ничены двумя датами биографии Ключевского — годом поступления в университет и годом смерти. Первое письмо написано в июле 1861 года, через пять месяцев после отмены крепостного права (родился Ключевский в январе 1841 года, когда еще жив был Лермонтов), а последние письма — в апреле 1911 года, всего за шесть лет до Октябрьской революции. Пятьдесят лет, помещающиеся между этими двумя датами, как известно, не были для нашей страны годами исторического затишья, и, конечно, свидетельства, впечатления и мысли такого человека, как Ключевский, сочетавшего сильный ум, фундаментальные знания и живое ощущение отечественной истории, не могут быть безразличны каждому, кто интересуется этой важнейшей эпохой, хотя, разумеется, ко многому в его взглядах мы сегодня отнесемся весьма критически.

Несмотря на всю яркость индивидуальности Ключевского, биография его весьма характерна для целого слоя интеллигенции, принадлежащего к поколению фазночинцев-шестидесятников.

Иногда понятия «разночинец», а тем более «шестидесятник» слишком тесно связываются с понятиями «революционер», «революционный демократ». Основания для этого есть. Дух протеста и смелых радикалистских построений был действительно свойствен строению (отнюдь не всегда

мировоззрению) основной массы тогдашнего разночинного студенчества. Общими для всех были прежде всего стремление к деятельности и сознание права на эту деятельность. Общей была убежденность в своей более тесной, чем у прежних поколений русской интеллигенции, связи с народом и более непосредственном знании и понимании его нужд. И, конечно, своей просветительской роли, а значит, и просвещенности, масштабы которой нередко преувеличивали (что было совершенно естественно на фоне почти поголовной неграмотности населения). Общей была, наконец, молодая уверенность в том, что, если взяться с умом и доброй волей да притом исходить из правильной теории, все — с большими или меньшими издержками, но довольно быстро — устроится к общему благу.

Из разночинцев вышли, однако, не только революционеры или писатели критического направления, но и многие деятели правительственного лагеря, в том числе воинствующие реакционеры и душители просвещения. Вышли и деятели положительной науки, земцы, врачи, агрономы, инженеры, из которых потом многие прославили свои имена. Одних влекло яростное стремление вырваться из своего круга и захватить более сознательной и цивилизованной жизнью, других — желание найти товарищей по духу, чтобы вместе гореть ненавистью к злу, а то и прямо вступить в открытый бой с темными силами жизни. Пензенского семинариста Ключевского в высшую школу привела прежде всего жажда знания.

Многие страницы этой книги дают возможность лучше понять ту среду, откуда выходили такие семинаристы, среду тогдашнего православного духовенства, и многое в ней начинает представляться несколько сложнее, чем раньше. Прежде всего оказывается, что она была далеко не столь однородно невежественна и враждебна просвещению, как принято было думать. В семинарской среде читались те письма, которые Ключевский адресовал своему товарищу Порфирию Гвоздеву, причем читались публично, с кафедры. А в этих письмах были не только сообщения о характере вступительных экзаменов, что представляло для многих практический интерес, но и подробное изложение лекций университетских профессоров. Правда, Ключевский ушел из семинарии, но он это, по-видимо-

му, сделал не столько из-за придиорок одного из учителей, злобного и невежественного человека, сколько просто потому, что его тянуло к совершенно иной деятельности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что воспоминания Ключевского о семинарии, несмотря на отдельные серьезные критические замечания, вообще весьма далеки по тональности от известных очерков Помяловского о бурсе.

Очень обаятельными предстают в этой книге образы родственников Ключевского: священника Боголюбской церкви в Пензе Ивана Васильевича Европейцева и его жены, тетки Ключевского, Евдокии Федоровны, благодаря материальной помощи которых он и смог приехать в Москву. О степени доверительности, существовавшей между семьей провинциального «служителя культуры» и будущим историком, можно судить по следующему отрывку из письма, написанного вскоре по выступлении в университете: «...У нас ходят толки, любопытные в высшей степени, намекающие на то, что и на Руси не все шито да крыто, что и в ней кое-где движется и борются, а не безмолвствуют покорно; но об этом как-то еще страшно передавать на бумаге...»

Любопытна и такая подробность. «Как будет нужно,— писал Ключевский из Москвы в Пензу 25 июля 1861 года,— не замедлите, Иван Васильевич, сообщить мне тему будущей Вашей проповеди и назначьте срок, к которому я должен прислать ее. Означьте и то, в каком тоне нужно писать ее: Варлааму (архиерею.— Н. К.), пожалуй, не по нутру напишешь. Впрочем, это уже несколько известно мне». Видимо, не раз до этого И. В. Европейцеву приходилось читать с амвона проповеди, составленные литературно одаренным племянником, и племяннику хочется, чтоб все осталось по-прежнему.

Отношение к современной действительности, выраженное в первой из приведенных цитат, не было мимолетным. Оно развивалось параллельно увлечению учебой и приводило Ключевского к весьма напряженным переживаниям. Через полгода после поступления в университет оно выразилось записью в дневнике. С одной стороны, ему, как он пишет, «часто хочется безотчетно и безраздельно отдаться науке», с другой — найти силы для «осуществления того, о чем речь ведется всеми деятелями нашей современной жизни». Впрочем, это по-

ка не совсем противопоставление. Просто «хочется поскорее набраться нужных запахов, без которых, говорят, ничего нельзя сделать, а чтобы поскорее сделать это, я думаю на время замкнуться и не развлекаться. Но стоит заглянуть в какой-нибудь из живых, немногих наших журналов, чтобы перевернуть в себе эти аскетические мысли, стоит встретиться только с этими речами и вопросами, чтобы увлечься ими и забыть мирную книгу. В самом деле, можно ли спокойно оставаться и смотреть, когда там копошится мысль в каком-нибудь далеком уголке Руси, когда неотступно, со всей силой тянут к себе эти вопросы, глухо, но сильно раздающиеся из-под маскированной, а подчас и немаскированной речи? И готов сказать себе: стыдно оставаться глухим при этом родном споре, стыдно не знать его. Что же за беда такая, что наука должна непременно заколачивать ухо от всего, что творится и шумит перед тобой! Жутко стоять между двух огней!»

Как видим, В. О. Ключевского в первый год обучения в университете волнуют те же чувства, что и других его более радикальных коллег. В этой борьбе между призванием и тем, что он тогда понимал под чувством долга, победило призвание, но победило не легко и не сразу. Впрочем, свободным от долга перед народом Ключевский себя не считал никогда. Он только стал по-настоящему понимать сложность развития страны, и благородные народнические построения были для него теперь слишком наивны.

Призвание Ключевского с самого начала ощущалось всеми, кто с ним встречался. Ишутин, человек самых крайних воззрений на долг человека перед революцией, так ответил на предложение одного из членов кружка привлечь Ключевского (большинство ишутинцев были пензяками и знали его как земляка, одно время он был репегитором брата Каракозова по лагери): «Вы его оставьте! У него другая дорога. Он будет ученым». Конечно, не надо забывать, что служение науке призывалось в этой среде тоже способом служения народу, но все-таки здесь чувствуется именно это впечатление своей дороги, призвания, которое, видимо, производил на окружающих будущий историк.

Интерес Ключевского к русской истории не был абстрактным интересом человека, чуждого современности. Можно даже сказать, что его толкала к изучению истории

та же любовь к народу, что других его сверстников—в народ и в революцию; пафос патриота и народолюбца уживался в нем со страстью ученого проникать в подноготную явлений (в бесстрашии, с которым он это делал, проявилась характерная для разночинца свобода от догм). «Самая строгая наука,— пишет он в дневнике за 1868 год,— не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее...» Дальше в этой записи сформулировано кредо Ключевского: «Если наши опыты, уроки переживаемой нами действительности имеют какую-нибудь цену, то лишь потому, что они настойчиво укореняли в нас сознание необходимости в народной жизни некоторых начал, некоторых основных условий развития и научали нас ценить их как лучшие человеческие блага. Эти начала привыкли сводить к двум главным: чувству законности, права в мире внешних отношений и к деятельной мысли в индивидуальной сфере. В развитии и упрочении этих благ все наше будущее, все наше право на существование. Никто не может сказать, что из нас выйдет в далеком более или менее будущем. Но мы знаем, что из нас ничего не выйдет, если мы не усвоим себе этих элементарных оснований всякой истинно человеческой жизни. Вот наша руководящая нить, маяк, который мы не можем выпустить из вида при изысканиях в сумраке минувшего».

Конечно, с марксистской точки зрения эти блага слишком абсолютизированы и слишком мало придаются значения условиям жизни, без изменения которых «развитие и упрочение этих благ» не больше чем утопия, но и на взгляд марксиста рост правосознания народа и сознательное отношение к жизни представляют бесспорную ценность.

Для Ключевского — это главное. Всякая неспросвещенная, основанная на недоразумении мысль, всякая имитация духовной и умственной деятельности, всякая стадность ему претила. «Господи, какая безобразная пуганица понятий, какой чад в головах!» — воскликнул он однажды. Его мучает общее невежество, забитость и темнота толпы, которая в «патриотическом» воодушевлении «безумствует пред великими фигурами Минина и Пожарского, не понимая их смысла и значения, жаждет молебнов с

вином, попирает и религию и историю — все свое нравственное и умственное достояние».

Отвлекаясь от вопроса о том, входит ли религия в нравственное достояние народа, отметим здесь то, что мы уже видели выше — и что имело громадное значение в могучей и неграмотной, вчера еще крепостнической стране, — требование осознанности поступков и реакций.

Того же, но еще в более резкой форме требовал он и от самодержавной власти. Отношение Ключевского к власти сложное. Как известно, он отнюдь не желал революционных потрясений, а хотел сделать все возможное, чтобы их избежать. Вероятно, его пугали не цели революции, а она сама со всем тем жестоким и страшным, что, по его мнению, будет ей сопутствовать. «Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее» — это едкое высказывание Ключевского вполне могло быть, по общему смыслу его исторической концепции, обращено и против революционеров. В отличие от Н. Г. Чернышевского Ключевский видел в революции не созидательную, а только слепую, разрушительную, анархическую силу. «С[амодержавие], — замечает он в одном из своих афоризмов, — нужно нам пока как стихийная сила, которая своей стихийностью может сдерживать другие стихийные силы, еще худшие». «Стихийная сила» — это отнюдь не комплимент государству в устах того, кто хочет в нем видеть силу законности и порядка, но это меньшее, с его точки зрения, зло.

По мысли Ключевского, самодержавное государство мало соответствует своему назначению. Его положение подорвано ложным положением дворянства как руководящего класса и упрочением крепостного права в момент, когда оно стало историческим и правовым анахронизмом. Все это придало юридическую зыбкость всему зданию российской государственности, запутало все отношения и представления. «Умолчание Св[ода] зак[онов] об юрид[ических] и полит[ических] основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, правит[ель]ство и дворянство, признавали это право чем-то таким, что превратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, как скоро в него будет внесена хотя микроскопическая доза права».

Не более осмысленно и отношение власти к просвещенной части общества, на кото-

рую, казалось бы, она должна была опираться. «В продолжение всего XIX века... русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков». Такая «игра старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками» тоже никак не способствовала нормальному развитию страны. С точки зрения Ключевского, подобное поведение власти есть измена ее своему назначению. После этого уже не удивительно, что в конце концов «правительство превращается в одну из соц[иальных] партий, только маскируясь в личину государственного органа». Такая власть сама становится источником анархии, а поддерживающие ее правые «оказываются еще анархичнее самих левых».

Сам Ключевский правым никогда не был. Он сочувствовал партии умеренности, буржуазным либералам. Но и они могли мало чем порадовать этого трезвого и пронизательного человека. «Всего тяжелее положение умеренно-либеральной середины, партии свобод[одного] порядка. Она жаждет мирной созидательной работы на почве дарованных прав; но она не организована и не знает, что делать. Идти своей дорогой она не может, потому что она не собралась еще в дорогу и у нее нет своей дороги, нет определенной программы: в одном она гнет направо, а в другом ее тянет налево». Как видим, оценка кадетов, данная их сторонником, не очень расходитя с той оценкой, которую давали этой партии большевики.

Впрочем, Ключевский больше занимался наукой, чем политикой. Когда случалась забастовка студентов, он страдал от этого, потому что нельзя было заниматься учебой (когда он был студентом) или преподаванием (когда он стал профессором). Он исходил из того, что чем больше будет людей с подлинными знаниями, тем больше будет в обществе сознания, без которого ни из каких тупиков не выйдешь. Но бунтующие студенты противопоставляли ему свою правоту. На этой почве бывали и недоразумения. В 1894 году он произнес и опубликовал речь, посвященную памяти Александра III. В этой речи он хвалил покойного царя за осторожную внешнюю политику, за то, что в его царствование Россия ни разу не воевала. Внутренней политики, ненавистной пе-

редовым кругам интеллигенции и ему самому, он не касался вовсе. Ему пришлось испытать все неудобство положения «над схваткой»: студенты устроили ему obstruction. Дело усугубилось тем, что педея записали фамилии наиболее бушевавших студентов, и они были исключены. Ключевский (в числе сорока двух профессоров Московского университета) безуспешно хлопотал за них, за что и был удостоен официально выраженного неудовольствия тогдашнего министра народного просвещения.

Отношения со студентами у Ключевского обычно налаживались. Ибо действовало сформулированное им правило: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Вот многозначительная запись из дневника, сделанная 17 сентября 1905 года, очевидно, после очередной забастовки: «Я начал курс. Встретили молча, провожали шумным одобрением. Дичились друг друга — я их, они меня». Много разделяло, но многое и сближало его со студентами.

Сближала прежде всего острая, законченная, точная мысль. Сталкиваясь с неумением мыслить, он огорчался и раздражался, хотя и видел тому историческое объяснение. Есть у него такая запись: «Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: «Я выше закона», и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям... говорит: «Я выше логики», и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли». Произвол мысли Ключевский ненавидел везде и во всем. И в слепом западничестве, и в слепом славянофильстве. «Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум». Здесь не отрицание «западноевропейского ума», а желание, чтобы люди думали самостоятельно. Впрочем, он это говорит и совсем прямо: «Жить своим умом не значит игнорировать чужой ум, а уметь и им пользоваться для понимания вещей». Тем более что «гонор — не гордость, а прикрытые ее отсуствия». В отношении к вопросу сказывалось самосознание и достоинство достигшей подлинной зрелости русской куль-

туры, у которой не было уже не только необходимости (ее никогда нет), но и просто повода, для того чтобы самоутвердиться подобным образом.

Волнуют Ключевского не только сугубо российские беды. Вот его отклик на журнальный отчет о съезде историков в Мюнхене: «Доселе верили в общеобразовательное значение истории, как всякой науки, и в преподавании ее старались возбуждать мысль, образуя ум, питать нравственное чувство образцами доблестей и ужасами пороков, но не действовали прямо на волю... не дрессировали посредством изучения истории, а просто учили истории, предоставляя учащемуся самому добиваться конечных практических выводов и житейских приложений. Теперь начали все чаще заказывать задачи и направления преподаванию истории. Общеобразовательное значение предмета хотят подменить специальными назначениями... Недавно в Германии сверху поставили вопрос о преподавании истории, приспособленном специально к политическим надобностям именно немецкого имперского гражданина. Общие цели преподавания заменяются местными, конкретными, самосознание человека — немецким политическим сознанием, нравственное чувство — национальным, человечность — патриотизмом».

Эта запись сделана в июне 1893 года, за двадцать один год до начала мировой войны, но как точно здесь уловлено то антикультурное, антидуховное, античеловеческое, что потом внесла, а тогда уже начала вносить с собой в жизнь народов эпоха империализма,— уловлено сквозь оболочку внешних атрибутов культуры!

Впрочем, симптомы разрушения буржуазной культуры, ее дегуманизации он замечал не только в том, что прямо относилось к национализму или войне. Борьба с этим, защита от этого и, наконец, духовное торжество над этим составляет содержание большинства его афоризмов, за исключением тех, которые, говоря словами М. В. Нечкиной, «явно сочинены специально для мужской профессорской компании и рисуют ее довольно невзыскательные вкусы» и которых мы здесь не касаемся, ибо не они составляют существо этой книги.

«Спорт становится любимым предметом размышления и скоро станет единственным методом размышления» — это, разумеется, не выступление против спорта, а указание на некоторую опасность на пути развития

культуры. Впрочем, отсутствие духовности может проявляться и в областях, сугубо духовных: «детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего организма», и наоборот: «смотря на вещи свысока, с высших точек зрения, мы видим только геометрические очертания вещей и не замечаем самих вещей». И то и другое уводит от понимания жизни, и в том и другом опасность холостой деятельности ума.

Дегуманизация мертвит и самое сокровенное, человеческое: «Прежде в женщине видели живой источник счастья, для которого забывали физическое наслаждение, ныне видят физиологический прибор для физического наслаждения, ради которого пренебрегают счастьем». Превращением человека в прибор для наслаждения — в то время, как «отношение мужчины к женщине не есть естественнейшее отношение человека к человеку» (Маркс) — это ли не отчуждение! При таком состоянии общества уже не удивительно, что «прежде психологией называлась наука о душе человеческой, а теперь это наука об ее отсутствии».

Но Ключевский не только констатировал наличие и опасность этой античеловеческой стихии, он противостоял ей, поскольку имел, что ей противопоставить: «Поэзия разлита в обществе, как кислород в воздухе, и мы не чувствуем ее только потому, что ежеминутно ею живем, как не ощущаем кислорода потому, что ежеминутно им дышим». Как основной нравственный принцип он утверждал человеческое отношение к людям: «Наблюдать людей значит презирать их, т. е. лишать себя возможности понимать их; чтобы понимать их, надобно жить с ними, презирая их образ жизни, а не их самих». Вполне естественно, что с точки зрения этого принципа всякая низкая «хитрость не есть ум, а только усиленная работа инстинктов, вызванная отсутствием ума».

Цитирование афоризмов можно было бы продолжать до бесконечности. Многие из них мудры, остры, несколько парадоксальны и доставляют истинное наслаждение.

Ибо «самый дорогой дар природы — веселый, насмешливый и добрый ум», и этим даром Ключевский был наделен в высшей степени. Но цитат уже и так более чем достаточно, а речь идет о книге, вполне доступной читателю.

Закончить рецензию мне хотелось бы дневниковой записью от 7 мая 1892 года, ибо она имеет прямое отношение ко всему, чем жил и что думал Ключевский. «Ведь только во сне твое сознание становится вне истории и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры; твое одеяло, которое дает тебе возможность грезить, не стуча зуб об зуб, и твоя добросовестная хозяйка, накормившая тебя безопасным обедом, — ведь это продукты культуры, плоды просвещения, истории. Хромой Ярослав, разбитый Святополком и бежавший в Новгород, не имел ни того, ни другого на своем трудном пути. Идя по тротуару, ты видишь, что встречный обходит тебя слева, и ты норовишь посторониться вправо; извозчик предлагает тебе свои услуги, и ты, имея чем ему заплатить, садишься. Он едет рысью, нахально кричит «берегись» переходящим дорогу мужчинам и женщинам и вдруг без окрика осаживает лошадь. «Что случилось?» — думаешь ты. Ничего, — через дорогу плетется ребенок. Ты думаешь, что все это так просто и естественно, что это искони бывало и всегда быть должно, что мир создан с правилом держаться правой стороны и не давить ребенка. Нет, это не природа, а история. Это не сотворилось, а выработалось, стоило много трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований».

С таким ощущением истории и ценности культуры жил всю жизнь замечательный русский историк Василий Осипович Ключевский. И хотя многое в его взглядах не созвучно нашему миропониманию, это ощущение, лежащее в основе всего его научного творчества, сегодня нам по-особому понятно и близко.

Н. КОРЖАВИН.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Н. Д. Гаузнер. Научно-технический прогресс и рабочий класс США. «Наука». М. 1968. 312 стр.

В. И. Михеев. Капитализм или «индустриальное общество»? Проблемы современного капитализма и буржуазная социология. «Международные отношения». М. 1968. 208 стр.

Научно-техническая революция середины двадцатого века имеет значительно более широкий характер, нежели промышленная революция XVIII—начала XIX века, охватывая самые различные сферы общественного производства. Такую констатацию Н. Д. Гаузнер кладет в основу своего исследования. Между тем еще недавно иные авторы опасались аналогии с промышленным переворотом прошлого, возражали против описания перемен, происходящих в капиталистическом мире, с помощью такого понятия, как научно-техническая революция. Как ни странно, они, видимо, полагали, что, отрицая или преуменьшая значение современного научно-технического переворота, легче полемизировать с буржуазными авторами.

Н. Д. Гаузнер указывает и на другую, более глубокую, причину недооценки научно-технического прогресса. Она заключается в том, что одно время получил распространение «упрощенный и односторонний подход, при котором все внимание сосредоточивалось только на факторах торможения технического прогресса в условиях современного капитализма и недооценивались факторы его стимулирования... Сторонники такого взгляда скатывались на чуждые марксизму позиции стагнации производительных сил. Поводом к распространению таких взглядов послужили высказанные Сталиным в 1951 году положения о сокращении объема производства в главных капиталистических странах и отрицание ленинского положения о том, что, несмотря на загнивание, в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде. Решения XXII и XXIII съездов КПСС восстановили ленинское понимание тенденции развития экономики и техники в капиталистических странах, нацелили на серьезное изучение закономерностей и последствий научно-технической революции».

«Научно-техническая революция открывает перед человечеством беспрецедентные возможности преобразования природы, создания огромных материальных богатств, умножения творческих способностей че-

ловека...»¹. В настоящее время вопрос о темпах современного научно-технического переворота становится центральной проблемой в соревновании между капитализмом и социализмом. Книги Н. Д. Гаузнера и В. И. Михеева посвящены как раз этой проблеме. Работа Н. Д. Гаузнера представляет собой обстоятельный научный анализ фактического положения дел на опыте США, причем экономическое и статистическое исследование автор связывает с общетеоретическими соображениями. В. И. Михеев поставил своей задачей вскрыть ошибочность взглядов буржуазных социологов, стремясь при этом теоретические соображения подкрепить указаниями на фактическое развитие.

Книга В. И. Михеева как бы вводит в круг проблем, возникающих в связи с научно-техническим прогрессом в капиталистических странах. В первой главе автор опровергает мысль о том, что в высокоразвитых странах капитализм и социализм достигли одной и той же стадии «индустриального общества». Вторая глава посвящена критике буржуазных теорий о «трансформации» частной собственности; здесь речь идет о таком явлении, как отделение функций контроля от права собственности, опровергаются утверждения о «диффузии» или о «социализации» частной собственности на средства производства. В третьей главе говорится о роли современного государства в экономической жизни развитых капиталистических стран. Наконец, в четвертой главе рассматриваются концепции, согласно которым в буржуазном обществе сформировался новый средний класс или, наоборот, образовалось множество прослоек (страт), между тем как рабочий класс «депролстаризуется».

¹ «Задачи борьбы против империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил». Основной документ, принятый международным Советом коммунистических и рабочих партий в Москве 17 июня 1969 года. — «Правда», 18 июня 1969 года.

Таким образом, книга В. И. Михеева охватывает широкий круг проблем. Однако в ней есть и недостатки, в которых полезно разобраться: за ними — подход к делу, нередко в прошлом затруднявший исследование проблемы.

В. И. Михеев не ограничивается постановкой проблемы, вынесенной в заглавие книги, — перерастает ли капитализм в некий новый не предвиденный ранее никем общественный строй — «индустриальное общество». Он тут же ставит другой, более общий вопрос: «Действительно ли... в недрах капитализма в настоящее время складываются явления, отрицающие его самого в принципе?»

На этот второй вопрос нетрудно дать ответ, если помнить, что Маркс и Ленин показали, что надо рассматривать коммунизм как «нечто развивающееся из капитализма», как «общество, выходящее из недр капитализма»¹.

Дальнейшее чтение убеждает нас, однако, что сам В. И. Михеев на поставленный им вопрос отвечает отрицательно и что он имеет в виду совсем иное: неизменность капитализма как социально-экономической структуры. Автор так и пишет: «...Капитализм может сколько угодно планировать и программировать, но пока он сохраняет частную собственность, прибыль и т. п., он ни на шаг не отходит от капиталистической структуры, сложившейся в XIX веке». Но можно ли говорить о том, что капитализм «ни на шаг» (!) не отходит от той структуры, которая сложилась в XIX веке, если уже в начале XX века Ленин показал качественные изменения этой структуры и охарактеризовал империализм как новую стадию развития капиталистического общества?

В противоречии со своим утверждением В. И. Михеев в заключительной части книги и сам упоминает о ленинском анализе империализма, после чего добавляет: «Продвижение человечества вперед к социализму будет продолжено в странах современного капитализма только тогда, когда там победят идеи подлинной социальной науки — научного социализма, когда большинство людей поймет, что новые производительные силы требуют новых общественных отношений, и в результате этого к власти придут подлинны силы социального прогресса».

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 98, 99.

Вряд ли автор хотел сказать, что продвижение человечества к социализму в капиталистических странах до поры до времени происходило, но теперь почему-то приостановилось и будет «продолжено», когда люди возьмутся за ум и сменят власть.

В книге наблюдается расхождение между конкретным разбором тех или иных неверных положений буржуазных социологов, а также фактического положения в капиталистических странах и обобщенными полемическими аргументами. При этом имеет место невольная подмена анализа объективных процессов в современном капитализме характеристикой субъективных намерений или расчетов буржуазных идеологов («происходит, — пишет автор, — не изменение капитализма... а изменение в приемах буржуазной идеологии, призванной по-прежнему обеспечить любым способом существование выгодного для частных собственников общественного устройства»). В результате и в самом описании общественных явлений на первом плане оказываются субъективные факторы.

Не всегда точно и поэтому едва ли может достичь цели и полемика, которую В. И. Михеев ведет с идеологическими противниками. На 29-й странице мы читаем: «Социальный прогресс не причина экономического прогресса, а его следствие... Эту зависимость первым заметил К. Маркс. Нужно, чтобы люди приложили больше усилий для понимания того, что социальное, юридическое и политическое зависят от экономики». Что ж тут неверного? — спросит читатель. Ничего. Все дело в том, что приведенные слова — цитата из работы буржуазного автора Ж. Фурастье, а наш советский автор критикует их в следующих выражениях: «Теория «индустриального общества», таким образом, внушает людям идею бессмысленности всяких политических революций, а следовательно, политической борьбы для реального улучшения их материального положения...»

Взгляды противников политической революции (которая, кстати говоря, не идентична с политической борьбой) нельзя опровергать, входя в противоречие с такими марксистскими положениями, с которыми вынуждены согласиться даже буржуазные авторы. Очевидно, нам не следует в одних случаях напоминать о примате экономических процессов, а в других — ради удобства полемики — объявлять решающим фактором идеологическое воздействие.

Анализируя кардинальные проблемы современности, недостаточно противопоставить одну ложную теорию другой, а надо бы, как писал Ленин, внести свою деятельность «в виде плюса, в виде отстаивания интересов всей эволюции в целом, ее коренных и самых существенных интересов»¹. Это соображение полностью относится к оценке научно-технической революции, ее значению и разнообразным последствиям в обоих противоположных социально-экономических системах. Поэтому столь важен конкретный теоретический анализ проблемы, равно как и анализ самой социальной действительности. Этим требованиям во многих отношениях удовлетворяет книга Н. Д. Гаузнера. Ее тема — воздействие прогресса техники на рабочий класс крупнейшей капиталистической страны — вбирает в себя многие из основных проблем научно-технической революции.

В монографии анализируются основные причины и направления технического прогресса США. Указав, что важнейшие открытия современной науки в капиталистических странах нашли свое применение в военной промышленности, и подчеркнув, что наука и техника в США в значительной мере поставлены на службу гонке вооружений, Н. Д. Гаузнер вместе с тем подробно освещает условия, при которых технический прогресс охватил все стороны экономической жизни и «научно-техническая революция привела к глубокому преобразованию технического базиса производства».

Переход к информационно-кибернетической стадии автоматизации создает материальную основу для централизации управления и учета и тем самым повышает преимущества крупных предприятий, однако лишь до определенного предела. Поэтому существенно, что автоматизация позволяет также создавать предприятия, которые при относительно небольшом числе рабочих обладают огромной производственной мощностью. Последнее замечание не означает недооценку роли крупных монополий: как показывает автор, «концентрация собственности и монополистического контроля значительно превосходит концентрацию производства».

Одним из принципиально важных изменений по сравнению с прошлым является освещенное в книге Н. Д. Гаузнера «развитие

механизма капиталистического обобществления». Это понятие не менее важное, чем концентрация производства или концентрация собственности. «В руках монополистических гигантов, — пишет автор, — современная электронно-вычислительная техника в сочетании с линиями телекоммуникаций или радиотелефонной связи превращается в мощное средство обобществления. Крупнейшие корпорации устанавливают в своих центральных конторах электронно-вычислительные машины, осуществляющие учет продукции, запасов, поступления сырья, подсчеты заработной платы и другие операции для всей сети своих предприятий, разбросанных по стране». И далее: «В прямой связи с достигнутыми масштабами монополистического обобществления производства и внедрением автоматизации повышается роль внутрифирменного и внутризаводского планирования... планирования капиталовложений, организационных изменений, подготовки и переподготовки кадров».

Нарисовав внушительную картину «капиталистического обобществления» как одного из важных последствий научно-технической революции, автор отнюдь не смягчает краски в картине социальных противоречий. Он и теоретически и статистически обосновывает вывод об углублении противоречий между монополиями и народными массами. Н. Д. Гаузнер подробно характеризует увеличение удельного веса наемных работников среди всего занятого населения и опровергает мнение о возникшем процессе «депролетаризации». Так, в несельскохозяйственных отраслях число лиц наемного труда составило в 1965 году по сравнению с 1956 годом 115,3 процента. Автор анализирует материальное положение и социальный статус как рабочих, так и служащих и приходит к выводу, что сдвиги в их положении — еще не заверченный процесс.

Приведенные в книге данные не оставляют сомнений в том, что современная научно-техническая революция сопряжена с серьезными социальными последствиями и изменениями классовой структуры общества. Тщательно исследует Н. Д. Гаузнер расширение непродуцирующей сферы (торговля, услуги, финансовая система, государственные учреждения). В 1965 году численность работников этой сферы превысила их довоенную численность более чем в два раза. Анализируя организацию труда в современной непродуцирующей сфере,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 169.

автор показывает, что превращение служащих в частичных рабочих усиливает их реальное подчинение капиталу. Расширение непроизводственной сферы вызывается и специфическими капиталистическими условиями, и общеэкономическими изменениями. «Расширение непроизводственной сферы является следствием, а вместе с тем и условием увеличения производительности труда и служит удовлетворению общественных потребностей, оно происходит и в социалистических странах».

Важнейшим результатом научно-технической революции следует считать рост темпов повышения производительности труда (в 1960—1964 годах среднегодовые темпы роста часовой выработки составляли по всей экономике США — 3,5, а по сельскому хозяйству — 5,4 процента).

В книге подробно освещены и новые формы эксплуатации рабочего класса. Автор ясно показывает, почему при автоматизированном производстве принципы тейлоризма изживают себя. Капиталистическая рационализация, соответствующая современному этапу технического прогресса, направлена не столько на интенсификацию физических усилий, сколько на стимулирование отдачи нервной и умственной энергии, на лучшее использование оборудования, сырья и вспомогательных материалов. В этой связи представляет интерес обстоятельный анализ системы профессионально-технической и общеобразовательной подготовки в США. Он приводит сведения о росте квалификации американского рабочего класса. Так, из таблицы на странице 101 мы узнаем среднее «число лет обучения в школе рабочих 18 лет и старше» по квалификационным группам. Если в 1948 году для квалифицированных рабочих такое число составляло 9,7, для полуквалифицированных — 9,1, а для неквалифицированных (без сельскохозяйственных) — 8 лет, то к 1966 году эти цифры соответственно возросли до 11,9, 10,7, 9,5, а для всех рабочих в целом средний срок обучения в школе составил 11 лет.

«При современном уровне организованности рабочего класса и развития производительных сил капитал большей частью избегает прямого понижения номинальной заработной платы», — констатирует автор. Однако доля совокупной заработной платы в национальном доходе за последние десять лет падает (с 59,2 процента в 1956 году до 57,7 процента в 1965-м). Напротив, разли-

чия в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда многие годы остаются на одном и том же уровне. Если в 1939 году неквалифицированный рабочий получал в среднем 673 доллара в год, что составляло 51,4 процента от среднего заработка квалифицированного рабочего (1309 долларов), то в 1964 году это соотношение составило 52 процента (соответственно — 3259 и 6268 долларов), — разрыв практически не уменьшился.

Применение новой техники, автоматизации и химизации производства значительно сужает сферу действия традиционной сдельной оплаты. Исчезает основное условие для ее применения: возможность соизмерять выработку с количеством затраченного труда. Распространяется повременная оплата. С другой стороны, шире прежнего применяется такое старинное средство эксплуатации, как вредная для здоровья многосменная работа. Одна из причин введения на новых производствах многосменной работы — это увеличение стоимости применяемого оборудования наряду с сокращением сроков его морального износа.

В условиях высокомеханизированного и автоматизированного производства индивидуальные усилия рабочих растворяются в общих итогах комбинированного труда и не поддаются учету; одновременно «возрастает значение заинтересованности рабочего в результатах производства, более широкое распространение получают системы коллективного стимулирования, основанные на «участии в прибылях». Конечно, нужна социальная демагогия широкого размаха, чтобы прикрыть то обстоятельство, что «монополистический капитал стремится использовать комбинированный характер труда для взаимного подстегивания рабочих».

Касаюсь теории и практики так называемых «человеческих отношений» на производстве (модная тема политической и социальной демагогии), автор и в этом случае раскрывает связь этих методов капиталистической рационализации с глубокими изменениями в материально-технической базе производства, которые «особенно под влиянием научно-технической революции повысили роль интеллектуальной и эмоциональной стороны труда, усилили общественный коллективный характер процесса труда».

Со всеми описанными явлениями и, в частности, с упомянутым выше «развитием меха-

низма капиталистического обобществления» связано усиление роли буржуазного государства. По этому поводу автор пишет в шестой главе своей книги: «Два важнейших явления современности — научно-техническая революция и рост государственно-монополистического капитализма — тесно связаны между собой. Многие научные и технические проекты требуют таких масштабов финансирования и концентрации усилий, какие не по плечу частному капиталу. Финансирование, а в некоторых случаях и осуществление таких проектов берет на себя буржуазное государство. Оно стимулирует развитие новых отраслей промышленности, обновление основного капитала, расширение научно-исследовательской работы и т. п. Буржуазное государство становится инструментом подталкивания научно-технической революции. С другой стороны, вызывая обострение противоречий капитализма, на-

учно-техническая революция ускоряет его перерастание в государственно-монополистический капитализм».

Оставаясь в рамках своей темы и даже кое в чем себя ограничивая, Н. Д. Гаузнер нарисовал общую картину динамического процесса, происходящего в капиталистическом мире. Эта картина отличается от извращающих или приукрашивающих действительность концепций буржуазных экономистов и социологов. Но она отличается и от упрощенного одностороннего освещения дела, которое еще иногда дает себя знать. Только с помощью строгого научного анализа можно дать всестороннюю характеристику научно-технической революции, ее причин и последствий. Как справедливо указывает Н. Д. Гаузнер, «развертывание научно-исследовательской работы в этой области только начинается».

Е. ГНЕДИН.



НОВЫЕ ДАННЫЕ К СТАРОМУ СПОРУ

М. М. Кубланов. Новый завет. Поиски и находки. «Наука». М. 1968. стр. 231.

Какие только эпитеты не давались нашему веку! Но он заслужил также и название века великих археологических открытий. Раскопки, проведенные в Азии и Европе, Америке и Австралии, существенно изменили представления о прошлом человечества. С помощью научных методов была определена длительность цивилизаций, выявлены их важнейшие связи. Археология уже на заре своего существования подтвердила многое из того, что относилось учеными к области легенд или злостного вымысла. Генрих Шлиман открыл стены Трои, в реальное существование которой мало кто верил. Позднее Артур Эванс нашел основания для еще более неправдоподобных преданий о лабиринте, Миносе и Минотавре.

Наиболее ошеломляющим открытием прошлого века была дешифровка письменности народов Двуречья, выявившая связи их истории с Библией. Для одних Библия была священной книгой, божественным откровением, непререкаемым авторитетом. Для других — плодом народной фантазии или результатом труда редакторов, хитроумных плетений которых пытались обнаружить с помощью не менее хитроумных приемов критики. С появлением археологических

данных и открытием тайн древневосточной письменности критика Библии пошла к другому руслу.

«Библия и Вавилон» — так называлась одна из популярных книг, бестселлеров конца прошлого века. Она могла быть правильнее озаглавлена «Библия из Вавилона», ибо тогда казалось, что все в Библии восходит к этому древнейшему центру цивилизации. Потом, уже в XX веке, были открыты другие центры цивилизаций Переднего Востока — в Малой Азии, в Сирии, — это дало возможность шире взглянуть и на происхождение Библии. Было в полной мере осознано ее значение как исторического источника. Даже легенда о потопе нашла археологическое подтверждение — толстый слой ила, разделявший культурные слои. Правда, потоп оказался не всемирным, но для авторов Библии, чей географический кругозор был очень ограничен, он должен был казаться таким.

Открытия в области древневосточной культуры касались лишь той части «священного писания», которая называлась Ветхим заветом. Что касается Нового завета, включавшего памятники христианской литературы и возникшего в совсем иную эпоху, в годы господства на Востоке Рима, то он

долгое время изучался с помощью методов, которые отличались мелочной критикой по отношению к каждому слову источника и построением гипотез взамен древних свидетельств, признававшихся вымышленными, сфальсифицированными. Эти методы принято называть гиперкритикой. Отсутствие археологических памятников, современных Новому завету и относящихся к сфере описываемых в нем событий, открывало простор для создания ученых мифов и легенд не менее фантастичных, чем древние.

Но пробил час и для Нового завета. В конце сороковых годов появились первые сообщения о находках памятников письменности в тех районах, где появилось христианство. А в наши дни уже существует целая отрасль науки, изучающая эти памятники, современные христианству или несколько более древние, но во всяком случае возникшие в той же социальной среде. Находки в районе Мертвого моря выбили почву из-под ног тех, кто, следуя церковной традиции, рассматривал Новый завет как произведение, полное божественного смысла. Эти же находки нанесли сокрушительный удар и по построениям гиперкритиков, находивших в Новом завете то, что им хотелось.

Книга М. М. Кубланова живо, остроумно и в то же время основательно знакомит нас с теми теориями, которые стали благодаря археологии вчерашним днем науки. Особенно впечатляет разбор античных свидетельств о Христе, объявлявшихся интерполяцией, вставкой позднейших христианских переписчиков. Сторонники мифологической теории не смущало, что Тацит, сообщаящий о преследовании христиан Нероном в 64 году н. э., дает христианам и христианству такую характеристику, которая немыслима для благочестивого переписчика («люди, ненавидимые за их мерзости», «пагубное суеверие» и т. д.).

Тацит в своем пассаже о христианстве упоминает прокуратора Понтия Пилата, при котором в Иерусалиме был казнен основатель новой религии. Это упоминание гиперкритики считали несомненным свидетельством подложности всего пассажа. Тацит, рассуждали они, едва ли мог знать имя столь незначительного чиновника, неизвестного другим римским авторам, стало быть, Понтий Пилат — лицо мифическое, и упоминание о нем могло появиться лишь с легкой руки христианского переписчика.

И вот в 1961 году в административном центре римской провинции Кесарии Иудейской найдена латинская надпись с именем Понтия Пилата, рассеявшая все сомнения в личности этого римлянина.

Одним из доводов неисторичности Иисуса служило молчание о нем римских писателей I века. Но, как убедительно показывает М. М. Кубланов, это молчание само является мифом. Тацит, Иосиф Флавий, Светоний, Плиний Младший — разве этого мало для лица и явления, в общем, ничтожного с точки зрения современников Нерона и Веспасиана, не догадывавшихся, чем станет «безмерно уродливое суеверие» через двести — триста лет?

Историчность основателя христианства — одного из многих проповедников, сектантов, бунтарей, фанатиков — доказывается прежде всего научной критикой евангелий. Они содержат ранние элементы предания, идущие вразрез с догматическим и мистическим образом Иисуса Христа. Как, например, отнести к сообщению, что ученики распятого Иисуса выкрали его тело, чтобы создать иллюзию воскрешения учителя? Эта наивная хитрость (или рассказ о ней) предполагает существование реального человека и не имеет ничего общего с мифами об умирающих и воскресающих богах.

Убедительной нам представляется и критика М. М. Кублановым главной догмы мифологической школы — о формировании образа Христа от бога к человеку. Утверждалось, что в древнейших произведениях Нового завета у Христа нет ни одной человеческой черты. В «Апокалипсисе» он сын божий, мессия, в посланиях Павла — богочеловек, а в евангелиях он уже обладает полной биографией. Не говоря уже о том, что эта концепция противоречит логике развития религиозных культов, знакомой нам по множеству примеров, она вступает в противоречие и с хронологией произведений Нового завета, для установления которой наука может воспользоваться новыми данными. Недавно стал известен отрывок списка Евангелия от Иоанна, так называемый папирус Райлендса, датируемый первой половиной II века. Естественно предположить, что оригинал Евангелия от Иоанна, считающегося позднейшим из евангелий, написан в конце I века, другие же евангелия (от Марка, от Матфея, от Луки), содержащие довольно подробную биографию основателя христианства, относятся к сере-

дине I века. Они написаны через двадцать — тридцать лет после трагических событий, которые в них изложены. Единство основного содержания трех евангелий, несмотря на расхождения в деталях, — важный довод против мифологической школы. Что касается противоречий в этих произведениях, то они неизбежны, поскольку их авторы не могли пользоваться какими-либо документами. У Иисуса не было биографов, а были лишь истолкователи его учения, которое в разной среде, при разных обстоятельствах могло излагаться во многом по-разному.

Обожествление проповедника новой религии, вышедшей из иудаизма и враждебной ему, — результат сложных социальных процессов. Буржуазная наука с ее идеализмом и произвольностью толкований оказалась бессильной дать им объяснение. К этому выводу приводит знакомство с заключительным разделом книги — «Из истории новозаветной критики». Наша атеистическая

пропаганда двадцатых — тридцатых годов недостаточно критически пользовалась аргументами буржуазных антиклерикалов, труды которых издавались в обстановке почти полного отсутствия квалифицированной антирелигиозной литературы. Значение новых находок в том, что они покончили с засилием мифологической школы, с произвольными толкованиями евангельских легенд. Они позволили подойти к евангелиям как к источнику, в котором вымысел сочетается с историческими фактами, истолкованными в духе религиозной идеологии. В сочетании с произведениями нехристианской литературы и данными археологии критически изученные евангелия превращаются в руках исследователя-марксиста в ценный материал для воссоздания истории раннего христианства.

А. НЕМИРОВСКИЙ,
профессор.

Воронеж.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЕЩЕ РАЗ О «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА В. И. ЛЕНИНА»

Сколько слов в речи В. И. Ленина, письменной и устной (поскольку сохранились стенограммы)? Мы не знаем. А не знаем потому, что не существует даже словника — алфавитного списка слов, встречающихся в его сочинениях. Но словник (с указанием томов и страниц, где есть то или иное слово) — это лишь начало. Нужен именно словарь языка ленинских произведений. Создание такого словаря — дело не только большой научной сложности, но и большой партийной и государственной важности. При этом надобно подчеркнуть, что это должен быть не обычный толковый словарь. Это еще и идеологический, политический, философский словарь. Поэтому потребуются постоянное участие в работе группы высококвалифицированных историков, философов, политэкономов, юристов, биографов Ленина. Без содействия опытных сотрудников Института марксизма-ленинизма, без использования его архивов вряд ли можно рассчитывать на успех.

Язык изменяется. Поэтому чтение трудов того или иного мыслителя со временем становится делом все более сложным. Ленина будет читать и через столетия. Вот почему так важно оставить потомкам точное, научное толкование каждого слова ленинского лексикона, толкование, сделанное его современниками или почти современниками, не утратившими живого чутья языка той эпохи.

Но не только далеким потомкам будет нужен «Словарь языка В. И. Ленина». Он нужен и нам, людям XX века. Он нужен философам, историкам, политэкономам, искусствоведам, языковедам. «Словарь» будет надежным путеводителем по лаборатории мысли Ленина. Он поможет воочию увидеть движение применяемых В. И. Лениным понятий и терминов. Он поможет точно установить реальное содержание их, лучше представить себе динамику ленинской мысли. Такой словарь будет оружием

в борьбе с фальсификаторами и вульгаризаторами не только ленинского учения о социалистической революции, но и всего ленинского теоретического и философского наследия.

«Словарь языка В. И. Ленина» позволит установить, насколько часто применял те или иные слова Владимир Ильич, а каких слов вовсе избегал. «Словарь» будет ценным подспорьем в текстологической работе.

Нечего и говорить, как поможет «Словарь языка В. И. Ленина» нашим лексикологам: ведь в произведениях Ленина широко представлены философская, политическая, политэкономическая, юридическая лексика и фразеология конца XIX — начала XX века, слова и обороты, бытовавшие в партийной среде того времени.

Профессор Н. А. Мещерский пишет: «...требуется проверить, в каком отношении находится язык Ленина к русскому литературному языку XIX века... его влияние на развитие публицистического стиля советской эпохи... Для того, чтобы произвести названные исследования, безусловно необходим в качестве насущнейшего справочного пособия полный словарь ко всем произведениям Ленина, по типу словаря Пушкина... или словаря Маркса и Энгельса, над которым трудится коллектив ученых Академии наук в ГДР».

Но тут пришло время сказать читателю о возможных сомнениях. Ссылаясь на существование работ о языке Ленина (а среди них прекрасные статьи Ю. Тынянова, Б. Томашевского, Б. Эйхенбаума, Л. Якубинского, В. Шкловского, Б. Казанского, напечатанные в 1924—1929 годах), могут спросить: исследования о языке Ленина, которые есть и которые будут, не делают ли ненужным словарь? Рассмотрим это возможное возражение. К моменту выхода в свет «Словаря языка Пушкина» уже существовали десятки и десятки работ о пушкинском языке (и в их числе фун-

даментальные исследования академика В. В. Виноградова). Но разве они сделали ненужным «Словарь языка Пушкина»? Напротив, они были одним из импульсов к началу работы над словарем, и их коллективный опыт помогал его создателям. А ныне словарь помогает писать новые работы о языке Пушкина (не говоря уже о помощи переводчикам Пушкина и исследователям языка той эпохи). Если это так, а это действительно так, то разве могут препятствовать работе над словарем существующие исследования языка Ленина?

Как известно, Ленин был чужд догматизма и нигилизма не только в политике и идеологии, но и в своей речи. Литературный опыт Ленина — могучий союзник в борьбе за подлинную, а не пуристически, догматически понятую культуру речи.

Словарь понадобится и для других целей.

Положим, вы хотите освежить в памяти забытое место из какой-либо ленинской работы. Вы запомнили название и год. Вы помните всего несколько слов. Попробуйте-ка найти это место в пятидесяти пяти томах, каждый из которых имеет несколько сот страниц! Конечно, есть предметный указатель к собранию сочинений. Но иной раз и он не может помочь. И вот тогда на выручку придет словарь. Например, захотите вы узнать, где и по какому поводу было Лениным сказано: «...если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 210). Тут нет ни одного термина. Предметный указатель здесь не помощник. Только словарь назовет вам том и страницу.

Невозможно переоценить значение «Словаря языка В. И. Ленина» для переводчиков, а тем самым и для миллионов и миллионов иноязычных читателей.

Перевод ленинских произведений — дело трудное, тонкое. Надо сохранить полную идейную аутентичность: ведь это не художественный перевод, где вольность переводчика простительна. Надо передать «мускула-

туру» ленинского стиля, надо донести до читателя ленинский юмор, надо дать ему почувствовать колорит и атмосферу эпохи и страны.

У такого-то слова много значений и оттенков значений, — в каком из них именно употреблено слово Лениным? А вот у этого слова не отмечены в существующих словарях значения, которые оно получает в языке Ленина (например, слово «фраза», как показал Н. М. Малеча, имеет у Ленина не менее восьми значений, тогда как в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова отмечены только три). Помимо чисто языковых трудностей перевода, возникают и другие. От переводчиков потребуются специальные знания в области философии, истории, политической экономии и т. д. Зачем предоставлять здесь переводчиков самим себе? «Словарь языка В. И. Ленина» уберезит будущих переводчиков и от ненужной модернизации слов, выражений и терминов, употребленных Лениным, от «осовременивания» их, поможет обеспечить необходимый историзм при переводе.

Предстоит огромная, чрезвычайно кропотливая работа. Но она полезна нашей науке, тем более что избавить людей от лишнего ручного, механического труда, высвободить их время для собственно лексикографической работы сегодня уже помогут машины, позволяющие в несколько десятков раз ускорить процесс перехода от черновой работы лексикографа.

О необходимости создать «Словарь языка В. И. Ленина» уже писалось в журналах, рассчитанных на специалистов. В 1963 году журнал «Новый мир» предоставил свои страницы для пропаганды этой мысли. Но даже апелляция к самым широким кругам нашей общественности пока осталась без отзыва. Приближается столетие со дня рождения В. И. Ленина, и было бы прекрасно, если бы на родине Ильича ученые-гуманитарии могли встретить этот праздник работой над проспектом (генеральным планом) «Словаря языка В. И. Ленина».

Эр. Ханпира,

кандидат филологических наук.

СТИМУЛЫ ИЛИ СИМВОЛЫ?

Казалось бы, чего проще — составляй рацион кормления норок и коров, старайся, чтобы вовремя подвезли сено, следи за чистотой и порядком на фермах — вот и все заботы зоотехника. Но каждый день приносит свои проблемы.

Я уже писала в «Новый мир»¹ о том, как много еще перед нами, специалистами сельского хозяйства, стоит нерешенных вопросов, как трудно, например, бывает соблюсти одновременно материальный интерес рабочего и целого совхоза и т. д.

И вот я опять беру за перо, чтобы рассказать о новых своих заботах.

Был май. Последним ветром оторвало и унесло далеко от берега льды. По утрам с Охотского моря напознал промозглый туман, стелился над полями и наступал на ферму. Женщины, проклиная погоду, расходились по шедам² и уже не возвращались в теплушку до самого вечера. Потому что май — время рождения норчат. От того, сколько щенят принесут норки, будет зависеть, выполнила или не выполнила каждая работница план и свои обязательства, а значит, и зарплата и размер премиальных, которые начисляют в конце года. Если, конечно, щенята вырастут, не погибнут. Родятся они крошечными и беспомощными, совсем не приспособленными к холоду магаданской весны.

Потому и пропадали женщины целыми днями в своих шедах, чтобы уследить за каждым норчонком, не дать замерзнуть, если мать нечаянно уронит его на еще не растаявший снег.

Лишь к концу дня, перед вечерней кормежкой, звероводы собирались на несколько минут в теплушке и все ревностно заглядывали в «экран шенения». (Я специально повесила на стену эту бесхитростную ежедневную сводку, чтобы можно было сравнивать, лучше или хуже идут дела в нынешнем году, чем в прошлом.) Кстати, в прошлом (теперь уже в позапрошлом 1967 году) арманская звероферма впервые за свое десятилетнее существование выполнила и перевыполнила план. Эта весна сулила еще лучший результат. Уже был побит прошлогодний рекорд Антонины Тимофеевны Бобковой. В прошлом году она получила сто щенков сверх плана. Нынче у Фаины Сериковой сверхплановый приплод подбирался к двум сотням. Не отставала и Валя Сметанина. Да и у других дела были хороши. Уже на ферме было больше трех тысяч сверхплановых щенят. Ферма, правда, не маленькая, тридцать три шеда (то есть тридцать три основных рабочих); четыре с половиной тысячи маточного поголовья норок. Но все равно, Армань такого успеха еще не знала. Все давно смирились, что Арманский зверосовхоз — последний в РСФСР по всем показателям. А тут на тебе — чуть ли не в первый десяток зверосовхозов по Союзу выходим по выполнению плана приплода молодняка. Женщины повеселели. Увлечлись подсчетом будущих премиальных, надоедая Бобковой одним и тем же вопросом:

— Тось, тебе сколько начислили в том году за сто сверхплановых щенков?

А начислили ей много. С учетом северного коэффициента и надбавок получила она премии около двух тысяч рублей. Выходило, что к зиме женщины смогут прибавить к своим сбережениям солидный куш, если, конечно, не случится беды и щенята вырастут.

Беды не случилось. Хотя и трудным было лето, не хватало кормов, норки болели и дохли, но к осени на ферме все-таки сохранили сверх плана около двух тысяч взрослых норчат, вполне готовых к забою.

Потом был забой зверей. Тут уже не до расчетов. Работали с утра до поздней ночи. Обработка шкурки, пожалуй, самый трудоемкий процесс в звероводстве. И сроки поджимают. Надо скоро забить зверей, выделать шкурку, рассортировать, упаковать и отправить на пушно-меховую базу.

Сдавать пушнину на базу обычно ездит главный зоотехник. Провожали меня всей фермой. Желали успеха, обещали «болеть» за меня, наказывали сдать как можно дороже.

¹ Письмо Е. Юдиной «Наши заботы» было опубликовано в № 6 «Нового мира» за 1968 год.

² Сарай, в которых находятся клетки со зверьями

В этом тоже свой резон. Во-первых, в промфинплане есть такая графа: реализационная цена. Для Арманского совхоза на 1968 год была установлена твердая плановая реализационная цена. Значит, делом моей чести было сдать пушнину по цене хотя бы на копейку выше плановой. Во-вторых, от того, как дорого я сдам пушнину, тоже будет зависеть размер премиальных, которых ждут звероводы.

По положению об оплате труда они должны получить в виде премии десять процентов от суммы сверхплановой реализации пушнины.

Я сдала пушнину на семь рублей дороже плана. Это, безусловно, было здорово. Лучшие звероводы получили за раз в совхозной кассе по две с лишним тысячи. Новыми, конечно.

А через несколько дней было общесовхозное собрание по итогам работы хозяйства за год. В маленьком, плохо натопленном совхозном клубе народу собралось много. Доклад делала я (директор совхоза был на трехмесячных курсах, и я его замещала). Готовилась тщательно; боялась превратить собрание в очередную формальность и поэтому волновалась.

— Очень хорошо и отрадно,— говорила я,— что основные отрасли хозяйства — звероводство и животноводство — перевыполнили производственный план. Мы надолго много молока и получили большой приплод норок. Но при этом за один только 1968 год совхоз дал государству 871 тысячу рублей убытков — на 414 тысяч больше запланированных. Причем с каждым годом убытки растут. Растет и себестоимость продукции. Совхоз получает самую дорогую норку в стране, себестоимость одной шкурки шестьдесят пять рублей, а продали государству намного дешевле. У нас самое дорогое молоко — шестьдесят пять копеек литр. Один килограмм заготовленного совхозом сена стоит столько же, сколько один килограмм хлеба. А килограмм лука из совхозных парников стоит почти шесть рублей.

Пришлось сказать о том, что у нас очень плохая организация труда, плохо работает транспорт и много еще ручных работ. О том, что мы станем самыми настоящими нахлебниками у государства и что дальше так продолжаться не может.

Едва я кончила и председатель не успел сказать свое традиционное: «У кого какие вопросы?» — как из первого ряда, не с трибуны, зверовод Александра Федоровна Рычкова, повернувшись лицом к залу, начала:

— Это что же получается? Мы обязательство выполнили. Нам райком звание присвоил, знамя дали. Премии большие получили, а теперь выходит, что все это незаконно? Раз убытки приносим, нахлебники мы, не надо было тогда и эти премии давать, а?

— Как это незаконно? — закричали женщины сразу в несколько голосов, и Федоровна, довольная, села. Она свое дело мигом справила. К трибуне уже протискивалась Катерина Шубина, тоже зверовод, и на ходу обращалась к президиуму:

— Вы растолкуйте, может, ошибаюсь, но я так понимаю: мы план выполнили? Выполнили. Пушнину сдали хорошо? Сдали. Значит, денешки наши. А что там убытки совхоз дает, так наше дело маленькое. Для этого вы есть, начальники, вы и считайте убытки. Премияльные заработали — отдай и не грехи. Они вот этими мозолями получены.

— Верно говорит, что там рассуждать,— закричали все враз женщины.

А порассуждать мне казалось очень не лишним.

Недолго поколдовав над годовыми совхозными отчетами, можно составить такую немудреную таблицу:

Показатели	1966	1967	1968
Процент выполнения плана по звероводству (основной отрасли)	90	110	117
Среднемесячный заработок одного работника (в руб.)	170	200	240
Фактические убытки от финансово-хозяйственной деятельности за год (в тыс. руб.)	442	449	871

С каждым годом растут убытки, значит, совхоз беднеет. Но с каждым годом улучшаются производственные показатели, с ними растет зарплата. Значит, каждый отдельный работник совхоза богатеет. Парадокс...

В чем же секрет такого парадокса?

На собрании женщины защищались, приводя один и тот же неоспоримый довод: они выполнили и перевыполнили план. Но что же это за план, перевыполнение которого не сулит хозяйству успеха?

— Ага, понятно,— скажет читатель,— во всем виноват план. Уж сколько страданий выпало на долю плана. Сколько газетных строчек, не перечесть, во гневе было посвящено тому, что планы насаждаются сверху, что в них не учитывается специфика условий. Короче, план обвиняли в главном грехе — нереальности. Что же, видно, было, за что обвинять. В народе есть такая поговорка: «Коли говорят — зря не скажут».

Но нынче времена другие. В течение последних трех лет, постигая зоотехнику и экономку, я могу сказать: никто нас не заставлял «сверху» планировать такой-то урожай капусты и такой-то надой молока. Все делали сами. Как? А вот так. Собирались в кабинете директора, после вечерней разрядки сядем вокруг стола и начнем прикидывать. В прошлом году планировали получить от каждой норки по 3,9 шенка, нынче можно поставить в план по четыре. Нет возражений? Возражений нет. Потому что свобода свободой, а все-таки управление план не утвердит, коли в нем цифры будут ниже прошлогодних. Хоть на одну десятую, но должен быть прогресс. Пользуясь этим «принципом», мы и запланировали на 1968 год звероводам получить от каждой норки по четыре шенка. А норки принесли в среднем по 4,3. Женщины-звероводы прославились, да и мне, грешным делом, вручили значок отличника социалистического соревнования.

Я не хочу сказать, что это такое уж легкое дело — получить и вырастить много шенков. Нет, трудов было вложено немало! Хочу сказать о другом: правильно ли было вообще включать этот показатель (получение шенков) в план и ставить в зависимость только от него моральный и материальный интерес рабочих-звероводов?

Мы ушли в основном от волюнтаризма в планировании, дали некоторую свободу руководителям хозяйств самим планировать перспективы, но при этом не создали стимулы и условия, которые бы заинтересовали предприятия в составлении реального и максимально эффективного плана, выгодного для каждого рабочего, для предприятия и для государства. А поэтому субъективный подход продолжает действовать, приняв лишь иной облик. И рождаются парадоксы типа арманского: заработки растут и убытки — тоже.

Впрочем, заработки могут и не расти — это тоже зависит от составления в хозяйстве плана. Однажды при составлении очередного производственно-финансового плана не помню уже кому из наших совхозных специалистов пришла вдруг такая мысль: вот мы составляем каждый год план, и порой очень хочется нам занижить показатели, чтобы было потом перевыполнение, чтобы, значит, прилично выглядеть. А что, если бы мы сделали наоборот, завысили план? Мы его скорее всего не выполним, но специалисты весь год стали бы получать не по сто тридцать рублей (без коэффициента и надбавок), а этак по сто семьдесят. Почему? А очень просто. Высокие производственные показатели в плане повысят и плановую сумму реализации продукции — по ней определяют группу, к которой следует отнести совхоз. А от группы зависят должностные оклады специалистов. В районе, в области и даже в Главзвероводе план, пожалуй, утвердили бы без промедления. Еще бы: намечается такой рост производственных показателей за один год! Зато Фаина Серикова при том же старании и за те же производственные показатели не получила бы свои две с половиной тысячи и пересгала бы считаться передозым звероводом. И вообще рабочие, почувствовав, что план невыполним, потеряли бы интерес к работе, как как в выполнении именно этого плана — их материальный стимул. Значит, виной всему такая система планирования и стимулирования, которая ставит заработок в зависимость от случайных цифр. Она приносит ущерб государству, то есть совхозу, если планы занижены, а если планы завышены, то материально ущемляются и рабочие.

Экономическая реформа подсказывает: главным показателем планирования и оценки деятельности хозяйства должны стать прибыль и рентабельность. В общем-то, этот шаг реформой уже сделан. «Прибыль», «полный хозрасчет», «коэффициент рентабельности» — эти слова почти не сходят с газетных полос. Прибыль становится одним из главных показателей хозяйственной деятельности. Теперь остается приковать материальной цепью интерес рабочих к этой самой прибыли, и все как будто потечет по нужному руслу? Но давайте пригляди́мся, не будет ли система стимулирования ввергнута в пучину еще большей необъективности при условии, если реформа задержится на этом первом шаге?

Ведь убытки совхоза возникают из разницы между затратами на получение продукции и суммой, вырученной от продажи этой продукции. В Армени затраты выше, чем сумма от реализации. Из чего складываются затраты, скажем, на выращивание норки? Это — зарплата рабочих, корма для норок, ну и всякие другие расходы, связанные с транспортом, освещением, отоплением помещений и прочее. При новой системе стимулирования рабочие будут стараться меньше произвести затрат (зарплата не в счет) и больше получить выручки от продажи. Экономить корм, следить, чтобы звери не разбрасывали, а поедали все до капли, оставшийся корм собирать и хранить в холодильнике до следующей кормежки. В общем, способы, известные любой хозяйке. Но в самый разгар этой экономии директору совхоза на стол ложится телеграмма из управления Дальрыбы, откуда в совхоз централизованным порядком поступают корма: «Цены на рыбу повышены, каждый килограмм будет дороже на пятнадцать копеек». Кстати, так и случилось в прошлом году: внезапное повышение цен на рыбу почти удвоило совхозные убытки. А при чем же здесь, спрашивается, рабочие, заработок которых будет зависеть от конечных результатов деятельности хозяйства?

Ладно, переживем эту несправедливость и постараемся выгадать на другом — как можно больше денег выручить за пушнину.

Звероводы, предчувствуя вознаграждение за свои труды, будут стараться лучше ухаживать за зверями, чтобы получить крупную, красивую, без всяких дефектов шкурку. Такая дороже ценится на пушно-меховой базе. База — посредник между хозяйством и экспортным рынком. Пушнину туда сдают по ценам, установленным стандартом. Стандарт же очень строг. Приемщик придирается к самым незначительным дефектам. А часть шкур самого низкого качества разрешается сдавать у себя в области в местную промышленность. Сюда сдавать проще. Здесь даже бракованную шкурку, за которую на базе не возьмешь больше двенадцати рублей, можно продать рублей за сорок. Но много пушнины в местпром продавать не разрешает Главзверовод. А продать охота побольше, выгода-то от этого явная. Да и рабочие уговаривают «рисковать»: подумаешь, мол, выговор заработаете, зато большие премии.

Решили мы однажды послать директора в Москву, бить челом в кабинете начальника Главзверовода, слезу пустить — дескать, совхоз убыточный по всем статьям, разрешите побольше пушнины в местную промышленность продать. Привез он от высшего начальства бумагу: «Разрешается продать в местпром пять тысяч шкурок». Тогда-то и подпрыгнула у нас в отчете сумма от сверхплановой реализации пушнины. И получили звероводы солидные премии.

А у меня зародилась крамольная мысль: вот бы упросить однажды начальника Главзверовода разрешить всю пушнину продать в местную промышленность. Тогда бы совхоз одним росчерком пера из убыточного превратился в высокорентабельное хозяйство. Чудеса, да и только!

Но чудес в жизни не бывает. Один раз начальник Главзверовода разрешил продать на месте пять тысяч шкур, а на будущий год возьмет, да и не разрешит продать ни одной. Сколько ни старайся тогда женщины, все равно пушнину продадут дешево, потому что весь брак придется везти на базу, а там за него дадут копейки. И опять подпрыгнут убытки по причинам, от рабочих не зависящим и им непонятным.

Хоть и станет, скажем, в Армени рентабельность главным показателем деятельности хозяйства, но проку от этого еще мало, так как ничто не гарантирует рентабельности свободу от неожиданных внешних воздействий. Кстати, в объяснительных запис-

ках к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности совхоза до сих пор общепринят парараф: убытки, не зависящие от хозяйства.

Рабочие, что посмекалистей, все эти тонкости очень хорошо понимают. Помню, едва я вернулась с базы после сдачи пушнины, как Федоровна, главная затейница споров, тут же начала меня подначивать:

— Заладили ездить на какую-то базу! Отправили бы меня в Лондон со шкурками, уж я бы натрговала с буржуями, посмотрели бы кто кого.

Вмешалась бригадир:

— А ты-то откуда знаешь, что с нашей пушнинной продешевили? Там тоже не дураки небось к делу приставлены.

— Но у Федоровны все одно лучше вышло б, — посмеялись женщины.

Коммерческие способности Федоровны всем известны. Свое домашнее хозяйство она давно перевела на полный хозрасчет, и четкости ее товарных отношений с обществом можно подивиться. Нароет сорок кулей картошки с осени, пересушит и — в погреб. До весны. А весной, когда днем с огнем в магазинах картошку не сыщешь, Федоровна к вашим услугам. И пару кабанчиков она выращивает не как все. Все норовят сало засолить, да с ним на рынок. Только много ли сала продашь? А у Федоровны товар особый: слой мяса, слой сала, опять мясо — настоящий бекон. Даже чеснок прихорючилась в Арmani выращивать. В общем, хозяйка что надо. Ее бы сноровку да совхозному руководству. Впрочем, может, и не пригодилась бы та сноровка. Нет пока подходящих условий...

Арманский совхоз, созданный в суровых климатических условиях, отрезанный рекой от трассы, не под рукой у города, не имеет никакой собственной кормовой базы. Рыбу и китовое мясо для норки привозят пароходами из Владивостока, солому для утепления их жилищ везут из Амурской области, комбикорм доставляют из Средней России. Что стимулирует совхоз к жизни? Непонятно. Да и жизнью-то назвать трудно неторопливый, однообразный ход дней. Потому что жизнь, по известным понятиям, есть борьба за существование. Совхозу же ни за что бороться не надо. Все приходит само. А если и не приходит, то большой беды в этом нет. Не привезли нынче вовремя китовое мясо — всю зиму норки сидели лишь на рыбе. От плохого кормления многие подохли, то есть увеличились убытки.

— А я-то при чем? — отпаривает директор совхоза на очередной балансовой комиссии.

Верно, ни при чем. Где-то что-то не сработало, а с директора взятки гладки. Ущерб покроет государство. Случалось, и не такие расходы покрывало. За один прошлый год совхоз на двести тысяч рублей перерасходовал фонд зарплаты без серьезных на то причин. Двести тысяч государство добавило. В общем, Армань, как избалованный ребенок в богатой семье, где хоть и журят и грозятся выпороть, а к именинам все же подарят мопед.

Представлю лишь на миг совхоз хозяйством самостоятельным, без всяких надежд на помощь со стороны и с главной целью своей выжить, себя прокормить, — тут же глазу рисуется иная картина. Пожалуй, и холодильник бы в совхозе давно появился с морозилкой. А значит, можно было б запас дешевых кормов сделать по весне, когда море — рядом, рыбы — хоть мешком лови. И дорогую заморскую солому заменили бы чем-то подешевле. Вон по берегу сколько сушняка валяется, собирай бревна да переводи на станке в стружку. Наверное, выгодней, чем за тысячу верст за соломой купцов посылать. Да мало ли всего могла б смекалистая крестьянская голова придумать. Но уж если тогда не сумели бы шкурку продать с выгодой для совхоза (не на базу сдать, а продать), подняли б на общем совете руки кверху и сказали: нельзя, братцы, здесь норку выращивать, невыгодное это дело. Добавьте лучше наших зверьков к каким-нибудь зверофермам, что в Приморье, на дешевых кормах живут. А мы уж чем-либо другим займемся, от чего будет прок... Хотя бы оленеводством.

Но для этого нужно не формально, а по-деловому переводить совхозы на полный хозрасчет. «Только... на почве коммерческого расчета можно строить хозяйство». Эти слова принадлежат Ленину¹.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 129.

Любой руководитель из города, приехав в командировку в Армань, норовит за- вести на ферме «серьезную беседу». Что ж это, мол, у вас такая высокая себестои- мость пушнины? Ай-ай, как нехорошо. Ведь у вас вон на стене висит хозрасчетное задание. Надо искать пути к снижению...

Женщины сидят, слушают, а в глазах отчуждение. Им-то ни жарко, ни холодно от той себестоимости. Пускай растет. Только б заработки не падали. Вот чуть речь зайдет о расценках, сразу интерес всеобщий. И настороженность. И уверенности как не бывало. Начальство им про премии: мол, вон сколько вам начислили, а они — робко: подумаешь, мол, раз в жизни повезло, получили, а нынче неизвестно как обернется.

Верно, неизвестно. Это не в хозяйстве у Федоровны, где все наперед надежно и прочно. Здесь по-другому. Тариф, правда, твердый: три рубля двадцать копеек за день при пятидневке получит каждая. Но шестьдесят четыре рубля в месяц — какие деньги? Охота побольше. А это «побольше» связано пока с факторами случайными — с субъек- тивными показателями плана. Попробовали мы в своих рассуждениях связать их с дру- гим, более прочным звеном — с конечным результатом деятельности хозяйства. Но и из этого ничего хорошего не вышло, опять вмешались случайные факторы: цены, кем- то искусственно конструируемые, базы, преграждающие путь к рынку, и всемогущие директивы начальника главка.

Так и живет Арманский зверосовхоз все еще по старым, далеким от экономики законам. С соседями моими — коллегами на каждом совещании и пленуме — у нас в коридорах один разговор: «Вот бы самостоятельность свою испытать, может, мы еще на что-то сгодимся, а?»

В. Юдина.

Армань, Магаданской области

ОБ ОШИБКАХ И НЕТОЧНОСТЯХ

Уже не раз говорилось о необходимости быть точным в передаче исторических фактов. Увы, новые и новые ошибки, а то и ляпсусы продолжают появляться на страницах разных изданий. Наша редакция также получает письма о различного рода искажениях исторических фактов. Некоторые из этих писем мы помещаем ниже, в том числе и письма о неточностях, допущенных, к сожалению, и в нашем журнале.

В 1968 году журнал «Вопросы истории» в трех номерах, начиная с майского, опубликовал документальный очерк В. Г. Чумаченко «Страницы жизни и деятельности Г. В. Плеханова». Публикация очерка совпала с знаменательной датой — пятидесятилетием со дня смерти пионера марксизма в России. Г. В. Плеханов занимает выдающееся место в истории русского рабочего движения, в пропаганде и развитии теории марксизма, в истории русской национальной культуры. «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре,— писал В. И. Ленин.—Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве,— но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова».

В силу ряда причин широкая читающая публика мало знает о жизни и деятельности Г. В. Плеханова. О том, что давно назрела необходимость создания не только его научной биографии, но и «включения» его жизни в серию биографий, выпускаемую издательством «Молодая гвардия», можно судить по тому интересу, с которым был встречен документальный очерк В. Г. Чумаченко.

Интерес этот вполне оправдан, но тем более необходимо — именно потому, что это первая работа, на которую будут опираться другие, — указать на некоторые допущенные автором неточности и ошибки.

Начнем хотя бы с того, что Г. В. Плеханов родился не 11 декабря, а 29 ноября 1856 года (дата 11 декабря по новому стилю дается, по обыкновению, в скобках). Далее, автор объявляет Валентина Петровича, отца Г. В. Плеханова, владельцем села Гудаловка. Ему, по-видимому, остался неизвестным документ, опубликованный Д. М. Просвириным в 1928 году в «Известиях Тамбовского общества изучения природы и культуры местного края» (№ 3, стр. 66—69), а именно: «Экспликация по плану владения помещиков Плехановых в сельце (подчеркнуто мною.—И. М.) Гудаловка». Не село, а сельцо — это не одно и то же.

«Село,— читаем у Даля,— обстроенное и заселенное крестьянами место, в коем есть церковь». А сельцо — «деревня, селение, особ. барское, более, где барский дом». Из публикации Д. М. Просвирина следует, что в этом сельце отец Плеханова был владельцем всего лишь пяти крестьянских дворов и что, следовательно, он был мелкопоместным дворянином.

В очерке не совсем верно характеризуются годы воспитания детей Валентином Петровичем, прибегавшим якобы к «солдатским штукам». Сестра Георгия Валентиновича В. В. Позднякова-Плеханова, к слову сказать, мать первого наркома здравоохранения Н. А. Семашко, писала, что, когда она впервые прочитала «Войну и мир», ей «казалось, что отец похож на старого князя Болконского». В 1910 году, когда она приехала за границу, чтобы свидеться с братом, Георгий Валентинович сказал ей: «Не правда ли, Валя, старый князь напоминает нашего отца». А князь Болконский вряд ли был способен на «солдатские штуки». Неверным является и утверждение, что обширная библиотека отца Плеханова состояла в основном из книг по военному делу. Другая сестра Плеханова, Клавдия Валентиновна, умершая в 1946 году, в своих неопубликованных воспоминаниях пишет об отце: «Он изучал медицину и агрономию. Читал много. Библиотека была подобрана искусно» (архив дома Плеханова).

Ошибается В. Г. Чумаченко и в отношении даты поступления Плеханова в Воронежскую военную гимназию. Он поступил во второй класс этой гимназии не в 1866, а в 1868 году. Вслед за Л. Дейчем автор утверждает, что имя Г. В. Плеханова по окончании гимназии было записано на золотую доску. Документы, найденные И. Смирновым, опровергли эту ходовую версию (см. И. Смирнов, Г. В. Плеханов в Воронежской гимназии, журнал «Каторга и ссылка», № 12, 1929).

В. Г. Чумаченко, по-видимому, остались неизвестными документы о пребывании Г. В. Плеханова в Константиновском военном училище. Он утверждает, что Плеханов вышел из училища в 1874 году. На самом деле он был уволен в отставку 18 ноября 1873 года, пробыв, таким образом, в училище, вопреки утверждениям Л. Дейча, не год, а всего лишь три месяца и одну неделю.

Но так обстоит дело не только с фактами. Характеристику многих событий В. Г. Чумаченко дает, опираясь не на документы, а все на те же непроверенные воспоминания. В частности, он повторяет довольно сомнительное свидетельство П. Н. Лепешинского о так называемом «спинозизме» Г. В. Плеханова. Наши отечественные критики мнимого «спинозизма» Плеханова не раз ссылались на то, что Плеханов якобы сказал Лепешинскому, что и «камень мыслит». На этом печально знаменитом камне долгое время покоилось обвинение, опровергаемое множеством других высказываний Плеханова.

Переменяя события личной жизни Г. В. Плеханова с изложением его философских и общественно-политических взглядов, автор не всегда должным образом ориентируется во времени и пространстве, нарушая необходимую последовательность. Так, в начале очерка, где дается характеристика молодого Плеханова, автор вдруг приводит известное сравнение Плехановым Розы Люксембург с Сикстинской мадонной. Но это сравнение имело место на V съезде РСДРП, после того как меньшевик Либер сказал, что Роза Люксембург «сидит между двумя стульями», Плеханов, возражая ему, заметил, что она не занимает этой неудобной позиции, а «витает в облаках и отсюда снисходительно глядит на бранный мир».

Для всякого исследователя творчества Г. В. Плеханова наибольшую трудность представляет период деятельности Г. В. Плеханова, наступивший после II съезда РСДРП. В. Г. Чумаченко, к сожалению, не удалось преодолеть эти трудности. Думается, что и здесь одной из причин является некритическая ориентировка на мемуарную литературу, сказавшаяся, в частности, при характеристике личной жизни Плеханова. Автор излагает впечатления А. В. Шотмана от посещения семьи Плеханова после II съезда РСДРП. А. В. Шотман писал, что его подавляла богатая обстановка и присутствие взрослых дочерей, «не умевших, как передавали, говорить по-русски». А. В. Шотман явно преувеличивает. Богатой обстановки в доме Г. В. Плеханова не было, да и быть не могло, даже после того, как он наконец выбрался из отчаянной нужды, о которой правильно говорится в начале очерка. Что касается русского языка дочерей Плеханова, то автор этих строк неоднократно встречался с Лидией Георгиевной и ныне покойной Евгенией Георгиевной в дни, когда отмечалось столетие со дня рождения их отца, и говорил с ними на родном языке их родителей.

Досадно, что В. Г. Чумаченко, собравший большой материал, много поработавший над столь необходимым очерком о жизни и деятельности Г. В. Плеханова, допустил подобные ошибки. Но источники, им использованные, в такой мере недоступны широкому читателю, что и в настоящем виде его очерк будет в конечном счете иметь положительное значение для понимания места, роли и значения Г. В. Плеханова в истории марксизма, в истории русской общественной мысли.

И. Миндлин.

Москва.

* * *

С доверием берешь в руки книжку Ю. Королькова «В катакомбах Одессы» (издательство «Молодая гвардия», 1968), обещающую документальные, почерпнутые из архивов КГБ сведения об одесском подполье в годы фашистской оккупации. Повесть так и названа — документальной, со всеми, как говорится, вытекающими отсюда обязательствами. Но слишком уж много в ней досадных неточностей и ошибок.

Окупированную румынами советскую территорию автор упорно называет «Трансистрией», хотя корень этого слова «Ниструл», то есть Днестр, отсюда — «Транснистрия», «Заднепровье».

Неточен автор и в именах. Известный руководитель одесских подпольщиков В. Д. Авдеев-Черноморский переименован им в Черноморца. Искажено имя связанной

легендарного подпольщика В. Молодцова-Бадаева — Межигурской, погибшей от руки оккупантов. Секретари одного из подпольных райкомов партии Лазарев и Горбель превратились под пером автора в Азарова и Горболова. Фамилия одного и того же румынского генерала воспроизводится в нескольких вариантах...

Но в конце концов свыкаешься и с ошибками, если даже в редакционной справке пишется «диалогия» — вместо «дилогия». Все это было бы еще полбеды, если бы не касалось более важных вещей. Так, Ю. Корольков пишет, что в Одессу «фашистские войска... вошли... не зная, что город уже два дня как оставлен его защитниками». Между тем, по овидетельству тех же защитников, например, генерала И. Петрова в «Красной звезде» от 22 октября 1941 года, последние части покинули Одессу на рассвете 16 октября и «в шесть часов вечера» того же дня в город вошли румыны. Из «документальной повести» можно понять, что осенью 1941 года поезда подходили к разрушенному одесскому вокзалу, хотя враг взорвал его только в апреле 1944 года. В описаниях быта оккупированной Одессы упоминаются «телефонные автоматы», которых тогда и в помине не было.

Эти неточности легко обнаруживает каждый, кто мало-мальски знаком с историей минувшей войны, с обороной Одессы.

В. Гридин.

Одесса.

* * *

Прочитав с большим интересом в № 4 «Нового мира» за нынешний год письма Марины Цветаевой, я натолкнулся на ошибку в комментариях — на странице 191. Комментатор поправил Цветаеву: «Аксенов (правильно: Оксенов) Иннокентий Александрович, поэт и критик».

Но Цветаева, по-моему, не ошиблась. Уверен, что человек, о котором она пишет, — это Иван Александрович Аксенов (1884—1935), председатель Всесоюзного союза поэтов в начале двадцатых годов, искусствовед, переводчик классической английской и современной французской драматургии, автор книг о Шекспире и о Пикассо. Он жил и умер в Москве, Иннокентий же Оксенов жил в Петрограде.

«Краткая литературная энциклопедия», к сожалению, пропустила И. А. Аксенова, но полагаю, что старые москвичи, как я, знавшие и помнящие его, смогут подтвердить мое предположение, что речь в письме Цветаевой идет именно о нем.

Хорошо было бы, если бы «Новый мир» поместил поправку к комментариям.

С уважением

А. Февральский,
доктор филологических наук.

* * *

Уважаемые товарищи!

В моих воспоминаниях «Встречи» («Новый мир», № 7, 1969, стр. 180) допущена неточность, на которую указал мне читатель.

Вечер Игоря Северянина в «Обществе свободной эстетики», где я впервые увидела А. Н. Толстого, О. Мандельштама, К. Липскерова и других, состоялся, очевидно, в начале 10-х годов, а не в 1906 году, как написано в моих мемуарах. Приношу читателям извинение за невольную ошибку памяти, но, к сожалению, не могу более точно восстановить эту дату.

В. Ходасевич.

* * *

Мне хотелось бы обратить внимание на некоторые неточности, замеченные мной в журнале «Знамя».

В повести М. Колесникова «Все ураганы в лицо», имеющей подзаголовок «Страницы жизни М. В. Фрунзе», черным по белому написано, что Фрунзе, будучи гимназистом, читал «Диалектику природы» Ф. Энгельса («Знамя», № 5, 1969, стр. 68). Если бы автор потрудились заглянуть в любое предисловие к «Диалектике природы», он бы узнал, что рукопись этой книги после смерти Энгельса три десятилетия находилась в архиве германской социал-демократии. Она была впервые напечатана в 1925 году, так что Фрунзе-гимназист, к сожалению, ее читать не мог.

На таком фоне другие ляпсусы, которые допускает М. Колесников, пожалуй, покажутся недостойной внимания мелочью. Но приведем еще один пример. В повести «Все ураганы в лицо» фигурирует владимирский губернатор Сазонов. Признаться, я не проверял, был ли во Владимире такой губернатор. Но М. Колесников утверждает, что после убийства Столыпина этот Сазонов стал министром внутренних дел и в качестве такового отправил Фрунзе в Николаевский централ («Знамя», № 5, 1969, стр. 87). Но ведь после убийства Столыпина министром внутренних дел стал Макаров, тот самый, который после ленского расстрела произнес печально известную фразу: «Так было — так будет впредь».

Если сначала М. Колесников называет владимирского губернатора просто Сазоновым, то, произведя его в министры внутренних дел, величает уже по имени и отчеству — Сергей Дмитриевич. Но позвольте, Сергей Дмитриевич Сазонов был министром иностранных дел с 1910 по 1916 год, а в те годы, когда волею М. Колесникова был во Владимире, он находился в Риме в качестве представителя царского правительства в Ватикане.

Б. Пильверман,

кандидат исторических наук.

Харьков.

* * *

В № 8 журнала «Молодая гвардия» за 1969 год опубликована рецензия Е. Мухиной и В. Щербакова на книгу В. Прибыткова «Сквозь жар души». Она начинается так: «У Бориса и Глеба, у Параскевы Пятницы и Сергия Радонежского, у Александра Невского и Дмитрия Донского, кроме их святых житий, были и поучительные земные судьбы. Церковь, превратив их в святых, насильно вырвала из истории русского народа много живых, прекрасных людей. Князь Владимир, Ярослав Мудрый, Дмитрий Солунский, Зосима и Савватий Соловецкие, протопоп Аввакум — все это люди, отнятые у земной жизни и втиснутые в рамки икон... каждый из них — явление на русской земле. Лишь богатый духовно народ мог породить такое количество героев — не мифологических, а исторических личностей» (стр. 307).

Ареопег святых православной церкви воистину представителен (впрочем, и католическая ему не уступит), тем более странно, зачем понадобилось рецензентам уподобляться гоголевскому Собакевичу, включившему в список запродавших Чичикову мертвых мужских душ Елизавету Воробей. Ведь Параскева Пятница заведомо не могла стать «явлением на русской земле» — это римлянка, казненная во времена императора Диоклетиана. При том же Диоклетиане страдал и Димитрий (!) Солунский. Никогда не канонизировался и не «вырывался из истории русского народа» князь Дмитрий Донской. Что же касается протопопы Аввакума, то неистовому расколоучителю не грозила и не грозит опасность, устранившая Е. Мухину и В. Щербакова, сопричислиться к лику святых официального православия рядом с князем Владимиром. Гарантирована от этого и упоминаемая ими в том же ряду Анна Ярославна, дочь киевского князя, много нагрешившая королеву Франции. Подобные промахи особенно удивительно встретить у на зависть эрудированных рецензентов: «Мы не только знаем Прометей и Гефеста, Афины и Зевса, — скромно признаются они, — но и их жизнь до интимнейших подробностей» (стр. 307). В данном же случае можно было обойтись и без копания в «интимнейших подробностях» биографии Параскевы — достаточно было заглянуть в «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона.

Митрополит Киприан, болгарин по национальности, титулуется в рецензии «российским патриархом Киприаном, византийцем по происхождению» (стр. 309). Между тем Киприан был современником Дмитрия Донского, а патриаршество в России было введено только через двести лет, в 1589 году.

Выполненные в 1405 году росписи Благовещенского собора в Кремле, как и «более поздняя роспись Успенского собора на Городке по специальному заказу второго сына Дмитрия Донского — Юрия Звенигородского», Е. Мухина и В. Щербаков объявляют «нелицеприятным напоминанием князю Юрию о забытых заветах его крестного отца Сергия Радонежского — беречь единство, хранить власть Москвы...» (стр. 309). Если верить этому утверждению, то живописцы, обличившие «умысел Юрия против старшего брата», обладали даром провидеть будущее на много лет вперед: ведь Юрий выступил против московского князя, своего племянника (а не брата), лишь в 1425 году, в начале же XV века снискал известность удачной борьбой с татарами.

Таковы избранные нелепости в рецензии, уместившейся на четырех страницах малого формата (говорю «избранные», потому что уже не касаюсь мелочей вроде переименования митрополита Алексия в «Алексиса» или таких капризов словоупотребления, как «остов национального духа»).

В. Бочков.

Кострома.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА И МЕТОДЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК. Ответственный редактор М. Э. Омеляновский. «Наука». М. 1968. 608 стр.

Коллективная монография «Материалистическая диалектика и методы естественных наук» — плод совместных усилий (это становится хорошей традицией!) многих известных философов и крупных исследователей в области физики, химии, математики, биологии, астрономии, геологии, кибернетики и физиологии.

В работе последовательно реализован принцип «от общего к частному», от изложения диалектического материализма как метода и теории познания естественных наук (первый раздел) к обсуждению общих (второй раздел) и частных (третий раздел) методов этих наук.

Такая схема на первый взгляд прямо противоположна действительному движению познания. Ведь изменения в сложившейся системе мышления определяются совершенствованием методов прежде всего в области специальных наук, которые обобщаются в принципах, присущих всему естествознанию в целом. Однако подход редакторов и авторов книги вполне правомерен. Суть в том, что общий метод не является простым результатом и суммой частных. Он сам приобретает характер орудия и средства познания и преобразования мира. В этом, собственно, и заключается роль материалистической философии по отношению к естествознанию, ее участие в едином процессе «добывания» знаний.

Статьи сборника богаты интересной и содержательной информацией естественнонаучного характера. Однако философскую проблематику здесь не всегда легко бывает уловить и выделить из общей массы специальных вопросов. Это происходит в известной мере потому, что в книге отсутствует вступительная статья, которая бы настраивала этот хор талантов на единый лад. Правда, подобный упрек можно сделать не только редакторам данного сборника: в философии естествознания вообще пока нет необходимой ясности в вопросе о том, что именно относится к ее компетенции. Очень часто философы и представители специальных наук вкладывают различный смысл в словосочетание «философские проблемы естествознания». Разрешить эту трудность провозглашением обязательного для всех

определения невозможно, но хорошая вступительная статья, не претендуя на полное решение вопроса, могла бы тут все же кое-что разъяснить или по крайней мере указать на сложность проблемы.

Составители сборника предупреждают, что они не стремились добиться единства взгляда авторов на рассматриваемые проблемы. И хотя это обстоятельство подчас затрудняет чтение, зато, с другой стороны, книга показывает живую картину современного естествознания — с обилием и борьбой различных точек зрения, теорий, гипотез.

Н. Годер, С. Михайлов.

★

ИВАН ЗУБЕНКО. Тополя в соломе. Повести и рассказы. «Молодая гвардия». М. 1968. 126 стр.

«Тополя в соломе»... Название это поначалу удивляет, даже несколько обескураживает: тополь и вдруг... солома. Но чем дальше углубляешься в повесть, которая дала название всей книге, тем больше убеждаешься, что это неожиданное соседство традиционно романтического образа и будничной прозы деревенской жизни точно характеризует особенность стиля Ивана Зубенко.

Повесть в новеллах «Тополя в соломе», открывающая сборник, — воспоминания о детстве. Если окинуть детство лирического героя взглядом достаточно скептическим, то предстанет оно, в общем-то, однообразным и небогатым впечатлениями. Но самые обыкновенные, вроде бы и не стоящие внимания события ежедневного, ежечасного житья-бытья деревенского парнишки писатель сумел увидеть свежо, поэтично.

Опозитивирование самой что ни на есть суровой жизни не выглядит фальшивым или нарочитым: ведь воспринимает эту жизнь человек восьми—десяти лет от роду, для которого каждый миг — открытие.

И пусть открываемый им мир — всего лишь изба, огород да сад, что вдоль и поперек облезил мальчишка. Дело не в обилии впечатлений (кого сейчас этим удивишь!), а в зоркости взгляда, чуткости слуха, умении радоваться тому, что ты есть на свете. И тогда недалёкая дорога на мельницу становится событием, что помнится много лет спустя. А тепло от печи в зимние вечера

согревает воспоминания человека, давно уже ставшего взрослым.

Небогаты событиями и рассказы И. Зубенко, вошедшие в его первую книгу. О чем они?

О том, как одинокий дед, потерявший в войну трех сыновей, а недавно похоронивший и жену, всем сердцем привязался к тридцатилетнему мужчине, у которого тоже нет родных. А все потому, что «истосковалось его сердце по заботам о другом человеке» («Сынок»).

О том, как бывший фронтовик, человек на костылях и с изуродованной рукой, однажды забил на футбольном поле, где играли деревенские мальчишки, пенальти — словно вернулся на миг в свое «короткое детство, которого почти не было» («Пенальти»).

О душевной щедрости человека по прозвищу Кадушка, кто, как никто другой в станице, умел «лечить» чужую тоску, глубоко упрятав свою собственную («Сатана»).

Выхваченный из вереницы дней момент жизни героев на первый взгляд почти случаен, но в нем писатель умеет разглядеть внутренний мир человека, показать всепоглощающую доброту одного, подметить сиротливое одиночество другого, уловить трепет пробуждающегося чувства у третьего, передать радость мироощущения четвертого.

Нельзя не упрекнуть автора (а вместе с ним и редактора) за то, что он чрезмерно насыщает свои рассказы провинциализмами («оклунок», «возык», «багиг», «налыгач» и т. п.), которые затрудняют восприятие.

Не всегда чувствуется стремление отыскать то единственное слово, которое наиболее четко, образно выражает мысль. Встречающаяся в рассказах стилистическая небрежность тем обиднее, что в целом своей первой книгой Иван Зубенко заявил о себе как писатель, бережно и вдумчиво относящийся к слову.

И. Данченко.



А. Л. ЧИЖЕВСКИЙ, Ю. Г. ШИШИНА.
В ритме Солнца. «Наука». М. 1969. 112 стр.

Естествоиспытатели, так или иначе связанные с изучением Земли — геологи, географы, биологи, — до сих пор сохраняют приверженность к одной из двух систем — геоцентрической и гелиоцентрической. Конечно, со времен Птолемея и Коперника прошло много столетий, и обе эти системы претерпели значительную эволюцию. Однако борьба между ними достигает порой большой остроты. Один из самых убежденных наших «солнцепоклонников», известный советский ученый А. Л. Чижевский имел все основания написать (в стихотворении): «О ты, узревший солнечные пятна с великолепной дерзостью своей — не ведал ты, как будут мне понятны и близки твои скорби, Галилей!» И все-таки уже при жизни А. Л. Чижевского, умершего в 1964 году,

идеи «гелиоцентризма», солнечной обусловленности большинства земных процессов стали благодаря достижениям космонавтики глубоко проникать в современную науку. Несколько меньше внимания уделяется им в научно-популярной литературе. Это упущение во многом восполняет рецензируемая книга, совмещающая в себе немалый фактический материал и важные научные обобщения с доступностью и художественной выразительностью изложения.

Авторы ведут нас от древних гимнов божественному Солнцу к достижениям современной науки. Они рассказывают о строении и «принципе действия» Солнца, о его излучениях, питающих земную жизнь. Особо подчеркивается переменность этой ближайшей к нам звезды, несущественная на первый взгляд, но тем не менее заметно сказывающаяся на органической и неорганической материи Земли.

Стоило бы, пожалуй, подчеркнуть сложность, своеобразную многоступенчатость и малую изученность влияния солнечных излучений на Землю. К тому же изменчивость наклона земной оси к лучам Солнца и меняющееся расстояние Земли от светила не менее серьезно сказываются на планетарных процессах, чем переменность самих солнечных излучений. Читатели, не знающие этого, получают несколько одностороннее представление о факторах солнечных влияний на Землю. Вместе с тем основная мысль авторов (научное кредо А. Л. Чижевского) представляется бесспорной: «...лучистая энергия Солнца... основной источник энергии большинства физико-химических явлений, происходящих во всех оболочках планеты». А ведь до сих пор даже некоторые известные естествоиспытатели не придают этому факту должного значения и склонны объяснять целый ряд планетарных процессов действием гипотетических «внутренних» сил Земли, а не вполне реальных, ощутимых, мощнейших солнечных влияний.

Особое внимание уделено в книге описанию солнечной обусловленности биологических явлений: нашествия саранчи, болезнетворных микробов и т. д. Прослежены волны эпидемий чумы, холеры и гриппа, обострений сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, удивительным образом соответствующие колебаниям солнечной активности (хотя, пожалуй, механизм солнечных воздействий охарактеризован пока излишне категорично — возможно, сказывается специфика популяризации). Рассказано о том, как чутко реагируют на интенсивность излучений Солнца кровь и кожа человека. Исходя из этого, А. Л. Чижевский, незадолго до своей смерти, предложил учредить медицинскую «службу Солнца», чтобы своевременно изолировать тяжелобольных от опасных повышенных солнечной радиации и связанных с ними возмущений атмосферы.

Заключительная глава книги, написанная Ю. Г. Шишиной, знакомит читателя с личностью А. Л. Чижевского. Жаль только, что

это знакомство очень краткое. Прочтя эту интересную, полезную книгу, испытываешь особое рода неудовлетворенность: хочется больше узнать о научной деятельности А. Л. Чижевского и о нем самом — оригинальном мыслителе, ученом с мировым именем, творчество которого заслуживает всяческой популяризации.

Р. Баландин.

★

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ. Назначенный день. Стихи. «Советский писатель». М. 1968. 127 стр.

Новая книга поэта Вл. Лифшица — лирика, пародиста, фельетониста — своего рода полное собрание жанров, в которых он обычно работает.

Наибольший интерес в книге вызывает поэма «Порядок вещей». Ее герой и вымышленный автор — англичанин Джемс Клиффорд, молодой поэт, погибший при отражении немецкой танковой атаки в 1944 году. Его-то стихи и «перевел» Вл. Лифшиц. Таким образом получилась поэма. Это не литературная мистификация, хотя поэма и напоминает ее.

В поэме множество подробностей жизни ее героя — географических, исторических, социальных и частных, — она основана на ситуациях именно этой индивидуальной судьбы, но не зря она названа «Порядок вещей» и недаром сказано в «Прощании с Клиффордом»: «Одною непогодой нас хлестало...» Судьба Джемса Клиффорда — судьба человека не только трагическая по исходу, но и драматическая по существу, и это обстоятельство выводит поэму Вл. Лифшица из рамок литературной игры и стилизации, занятого или даже поучительного исповедания придуманного поэта.

В тех разделах, что написаны Вл. Лифшицем от собственного лица, наибольший интерес представляют произведения комические, где Вл. Лифшиц, как правило, оригинален. В столкновении с реальным оппонентом и резко выраженной чужой позицией он хорошо реализует свои возможности полемиста. Так, одна из его пародий делает очевидной неслучайную двусмысленность нашумевшего в свое время изречения Ст. Куняева насчет добра, которое должно, дескать, быть с кулаками:

Добро должно быть с кулаками,
Но если результата нет,
Добру годится танке камень,
Годится палка и кастет.

Хоть вывод мой и необычен,
Но если, после зуботычин,
Твой лучший друг на землю — бряк! —
То это значит — ты добряк.

Пародист обнажает опасность внутренней логики хлесткого афоризма, демонстрируя его — увя! — реальное применение.

В сборник входят также эпиграммы, в том числе переводные, и разнообразные юмористические стихи.

А. Липелис.

★

Е. И. РЕГИРЕР. Развитие способностей исследователя. «Наука». М. 1969. 228 стр.

Профессия исследователя, ученого стала в результате научно-технической революции профессией массовой. Люди, занимающиеся новой отраслью знания — науковедением, подсчитали, что за последние пятьдесят лет количество ученых в СССР удваивалось каждые шесть-семь лет, в США — каждые десять лет и в странах Западной Европы — каждые пятнадцать лет. Само собой разумеется, что для того, чтобы стать исследователем, необходимо обладать определенными способностями. Но ведь одних природных задатков недостаточно. Они, как и всякая способность, нуждаются в систематическом развитии и тренировке. К сожалению, как отмечает в предисловии к рецензируемой книге академик Н. М. Жаворонков, «ни в одной стране не выпущено книг, специально посвященных задаче развития способностей готовящихся к этой нелегкой профессии».

Как же развить способности исследователя? Какие качества ему необходимы?

Нам кажется, что Е. И. Регирер правильно определяет основную черту характера, необходимую человеку, посвятившему себя науке. Это прежде всего «поглощенность проблемами науки». В самом деле, чтобы стать настоящим исследователем, недостаточно иметь те или иные задатки, которые можно развить. Дело даже и не в знаниях, которые можно приобрести, и не в умении — его можно укрепить практическим опытом. «Секрет» становления подлинного исследователя — в страстном, упорном стремлении к познанию истины.

Специальную главу посвящает автор развитию четырех, по его мнению, важнейших способностей: памяти, наблюдательности, воображению и сообразительности. Здесь мы находим ряд любопытных способов и ценных советов, как тренировать эти способности. Многие из них основаны на опыте выдающихся ученых и мыслителей.

Большим и ценным фактическим материалом насыщена глава, посвященная развитию профессиональных навыков: изучению работ предшественников, технике измерений, работе над словом. Особенный интерес представляет она для начинающих ученых в области точных наук, но много интересного и поучительного почерпнут в ней и гуманитарии.

Однако некоторые утверждения Е. И. Регирера представляются излишне категоричными. Так, он усиленно рекомендует в качестве универсального способа развития способностей такой метод, который он называет «способом открывать известное». Коротко говоря, этот метод сводится к тому, что молодому ученому дается как бы не «вторичное открытие» уже заведомо открытое. Не отрицая полезности такого метода, все же было бы неверным признавать его универсальность. Опыт показывает, что молодые научные работники быстрее всего растут

в процессе решения новых, еще не разрешенных научных задач.

Несвободна книга и от некоторых фактических неточностей. Например, говоря об ошибках в определении способностей, автор утверждает, что «в результате оценки педагогов Горький был принят в консерваторию, но не был принят Шаляпин». На самом же деле ни в какую консерваторию ни Горький, ни Шаляпин не поступали, а пытались они поступить в хор казанского антрепренера Серебрякова (кстати говоря, они еще тогда не знали друг друга). Причем Шаляпин не был принят не по злокозненности экзаменаторов, а потому, что у него в то время менялся голос.

В заключение нельзя не пожалеть, что в книге не затронут морально-этический аспект проблемы подготовки молодых ученых, воспитание у них таких качеств, как принципиальность, честность, смелость. В предисловии «К критике политической экономии», вспоминая строфы Данте, Маркс писал: «...у входа в науку, как у входа в ад, должно быть выставлено требование:

Здесь нужно, чтобы душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета».

О. Димин.

★

СЕРГЕЙ ЗВАНЦЕВ. Миллионное наследство. Рассказы о Таганроге. «Советский писатель». М. 1968. 286 стр.

Родной город Чехова — Таганрог — знал когда-то недолгую и бурную пору коммерческого расцвета. Создавались состояния, богатели негодяны и контрабандисты, воздвигались роскошные особняки. Потом эта волна преуспевания схлынула. Таганрог стал обычным дореволюционным провинциальным городом, которому разве только море и большая прослойка греческого населения придавали своеобразные черты.

Писатель С. Званцев, чье детство и молодость прошли в дореволюционном Таганроге, объединил в сборнике «Миллионное наследство» свои рассказы о прошлом родного города. Большое место в них занимает то, что Щедрин называл «мошенническими шалостями и шаловливыми мошенничествами» — изворотливость находчивых адвокатов, использующих недомолвки и неясности закона, ловкие махинации дельцов, продажность властей, триумфы и разорения богачей и азартных игроков. Все это дает разнообразный материал для обрисовки старого провинциального быта, особенно его имущественных и юридических сторон.

Но в книге С. Званцева читатель найдет и другую сторону таганрогской жизни — борьбу революционных рабочих, деятельность честных передовых интеллигентов, события гражданской войны. Появляется на страницах сборника и Чехов, которого С. Званцев в детстве видел у своего отца, когда-то сидевшего в гимназии за одной партией с будущим великим писателем.

С. Званцев рассказывает живо, рисует красочные, порой анекдотические эпизоды из жизни города на Азовском море. Читатель с удовольствием и интересом продольет с ним увлекательное путешествие в старый Таганрог. Для характеристики духовной атмосферы социальной среды автор привлекает не только подлинные факты и происшествия, но также и разговоры, толки, даже сплетни, своеобразный городской судебно-обывательский фольклор, который тоже отражает умонастроение и вкусы населения.

Например, рассказ «Дело Вальяно» — один из самых эффектных в книге, написан, как сообщает С. Званцев, в значительной степени на основании устных таганрогских преданий и рассказов отца автора. Сравнение этого яркого рассказа с подлинными отчетами о некогда знаменитом судебном процессе Вальяно, отразившемся и в произведениях и письмах Чехова, показывает, что версия С. Званцева имеет мало общего с действительностью.

«Интересно, но неверно», — могут сказать по этому поводу ревнители документальной точности, «неверно, но интересно», — возразят им любители увлекательного чтения. И те и другие имеют свой резон. Какой из них предпочтительнее — в конце концов дело вкуса и исторического такта, который требует максимальной точности от повествований об ответственных и важных моментах прошлого и оставляет за авторами право на изложение исторических легенд, если они интересны и поучительны и касаются эпизодов, отдаленных и мало затрагивающих наше историческое и моральное сознание.

Но если об этом могут быть два мнения, то не может быть двух мнений о другом: не украшает книгу имеющееся в ней некоторое количество исторических, историко-юридических, географических неточностей и попросту лягусов — вроде фразы «В Швейцарии, на озере Веве...» (нет такого озера в Швейцарии, а есть город Веве на берегу Женевского озера). Ответственность за это следует возложить не только на автора, но, пожалуй, и на редактора, не оказавшего автору интересной книги необходимой помощи.

А. Наркевич.

★

А. Н. КОПЫЛОВ. Культура русского населения Сибири в XVII—XVIII вв. «Наука». Сибирское отделение. Новосибирск. 1968. 168 стр.

В XVII веке вся территория Сибири была включена в состав Русского государства, и началось интенсивное хозяйственное освоение этого богатейшего края. Вместе с производственными навыками, орудиями труда, изделиями ремесла переселенцы принесли в Сибирь и свою культуру. А. Н. Копылов ставил перед собой две задачи: нарисовать конкретно-историческую картину развития культуры этого края и выявить специфиче-

ские черты культурного процесса в Сибири. Специфика эта определялась прежде всего отсутствием помещичьего землевладения и земельной тесноты, а также притоком политических ссыльных. Автор исходит из того, что сибирская культура XVI—XVII веков развивалась на основе перенесения и приспособления русских культурных традиций и навыков к условиям местной жизни. Поскольку главный поток переселенцев шел тогда из Поморья, Сибирь и в культурном отношении была сколом русского Севера.

Местные, специфические черты сибирской культуры появляются уже в XVIII веке. Особенно это проявилось в архитектуре (сибирское барокко), в живописи (местная манера иконописи), фольклоре (включение в него элементов фольклора коренных народов Сибири). При этом автор не ограничивается общими экскурсами в историю тех или иных областей культуры, а стремится выяснить и роль отдельных ее деятелей. Интересны странички о Радищеве, об основоположнике сибирского краеведения С. У. Ремезове, сибирском летописце-самоучке И. Л. Черепанове. Увлеченно рассказывает автор о выдающихся изобретателях И. И. Ползунове, К. Д. Фролове, создателе «неизвестного до него в мировой практике каскадного типа деривационных установок». Значительный вклад в историю печатно-издательского дела в Сибири внесла Тобольская типография купца Василия Корнильева, организованная в конце восьмидесятых годов XVIII века. В ней печатались и первые сибирские журналы «Иртыш...», «Журнал исторический», «Библиотека ученая...», принадлежавшие к числу наиболее ранних провинциальных журналов России.

Заслуживает быть отмеченным и принятая автором выяснение круга чтения сибиряков.

Книга, сравнительно небольшая по объему, охватывает широкий круг вопросов: не только просвещение, но и народное театральное искусство, музыку, живопись, архитектуру, зарождение краеведения. Немалый интерес представляют сведения о развитии в Сибири медицинских знаний, народной фармакопеи.

Предыдущие работы автора говорят о его широкой осведомленности и знании архивных источников о Сибири. При переиздании желательно было бы использовать их пошире. Следовало бы также специально исследовать роль Сибирского и особенно Посольского приказа в изучении и освоении края. Книга сибирского историка, надо думать, заинтересует всесоюзного читателя.

Ю. Курсков,

кандидат исторических наук.

Петрозаводск.

★

С. ЛЕМЕШЕВ. Путь к искусству. «Искусство». М. 1968. 311 стр.

У этой книги, вероятно, не будет недостатка в читателях. Автор ее, известный оперный певец, принадлежит к числу тех,

кому всегда ярко светили огни рампы. Однако сам артист оценивает аплодисменты, щедро доставшиеся на его долю, весьма сдержанно.

«Беда многих певцов, в том числе и моя, состоит в том, что в течение всей сценической жизни им сопутствует «успех» у «поклонниц». Как бы ты ни спел, «овации» обеспечены... Поэтому в оценке своего исполнения я привык опираться на личные ощущения, на мнения близких и тех немногих друзей, в которых я был уверен, что они говорят мне правду», — пишет С. Лемешев.

Эта самокритичность, требовательность к себе, наверное, и помогла певцу стать большим художником.

И еще, конечно, — природный дар, неповторимый, «пастельный» тембр голоса. Еще — встречи с чуткими, умными наставниками, такими, например, как интеллигенты Н. А. и Е. Н. Квашнины, приобщившие к музыке «мальчика из народа». Затем — преподаватели консерватории Н. Г. Райский, И. Н. Соколов, Н. Г. Кардян, товарищи по сцене — блестящая плеяда мастеров советской оперной сцены первых послереволюционных десятилетий.

Вся эта большая семья «служителей музыки» принимала участие в становлении мастера. А оно протекало отнюдь не гладко. Сергей Яковлевич вспоминает, как в начале своего пути он пытался подражать Собинову. И однажды после «шумного успеха» он получил урок — на всю жизнь! — от замечательного музыканта и педагога В. И. Садовникова: «То, что вы сделали, — фальшивка... Между тем у вас есть свое хорошее, и вы это должны развивать, чтобы всегда быть самим собой».

И молодой певец размышлял, искал себя, пытался, как пишет он, «петь мысли». А через несколько лет заслужил похвалу «самого» Собинова: «Хорошо, что вы соображаете, что поете».

Автор послесловия Е. Грошева справедливо сближает творчество С. Лемешева с есенинским. Стихийей певца были всегда национальные мотивы. И это — при огромном уважении к мировой музыкальной культуре, «моим университетам», как называет он сам знаменитых теноров Б. Джильи, Т. Скипу и других. Но С. Лемешев очень хорошо понимал, что, если «партню Ленского спеть на итальянский манер, получится нестерпимо пошло». Вся его сценическая деятельность может служить ярким подтверждением того, что русская вокальная школа существует. Жаль, что С. Лемешева, так же как и других известных советских певцов тех лет — И. Козловского, М. Максакову, А. Пирогова и многих еще, — не слышал зарубежный зритель.

Артистизм, поиски, импровизация должны дополняться, как свидетельствует опыт певца, высоким профессионализмом. Без самодисциплины, постоянной «формы», неустанной работы нет и творчества. Именно профессиональные качества позволили

Лемешеву в течение шести лет петь с одним легким (на второе был наложен пневмоторакс). Одна из глав книги, содержащая ценные советы по технике пения, адресована молодым певцам. Она, несомненно, привлечет внимание специалистов.

В книге есть и другие интересные главы — рассказ о товарищах по Большому театру, мысли о режиссуре, об отдельных произведениях оперной классики. В итоге можно поздравить артиста еще с одной творческой удачей — на этот раз литературной.

В. Ермаков.

★

А. Л. МОНГАЙТ. Надпись на камне. «Знание». М. 1969. 112 стр.

О знаменитом Тмутараканском камне, найденном в конце XVIII века и хранящемся ныне в Ленинградском Эрмитаже, начали спорить, едва он появился в поле зрения исследователей. Подлинность выбитой на нем надписи была поставлена под сомнение — и недаром. Первые сведения о камне были получены из уст графа Мусина-Пушкина, коллекционера, человека неясной репутации. Самая надпись — о том, что князь Глеб (живший в XI веке) мерил море по льду от Тмутаракани до Корчева, то есть от Тамани до Керчи, заставила ученых насторожиться. Подозрительно ровны и правильны были вырубленные на нем буквы, словно их отпечатали типографским шрифтом. К тому же появилась эта находка уж слишком вовремя, когда правительство Екатерины II было заинтересовано в том, чтобы объявить исконно русскими захваченные у турок земли. Со временем споры вокруг находки становились все острее. Одним казалось, что «подлог обнаруживается там на каждом слове», другие отстаивали его подлинность — тем яростнее, что камень этот, несущий на себе, как они были уверены, древнейшую русскую надпись, представлялся им «священной реликвией», и всякое посягательство на него казалось оскорблением их патриотических чувств. Сейчас все эти привходящие обстоятельства выглядят наивно. Изъятие тмутараканского камня из русской культуры не в силах поколебать эту последнюю. Существование Тмутараканского княжества, доказательством которого должен был служить камень, доказано независимо от него. И политические расчеты императрицы вряд ли могут нас сегодня волновать. Нам интересна ныне только самая истина.

Автор книги «Надпись на камне» А. Л. Монгайт тщательно собрал всю аргументацию скептиков, отрицающих подлин-

ность камня, составил как бы «обвинительный акт» против предполагаемых фальсификаторов, и этот обвинительный акт его не удовлетворил. «Наше обвинение,— пишет он,— страдает одним очень серьезным недостатком. Оно все построено на предположениях. А обвинить можно, лишь располагая доказательствами. Даже не для прямого обвинения, а для подозрения недостаточно того, что «так могло бы быть». Надо знать, как было дело».

Именно эта задача — выяснить, как было дело, — и стоит перед автором, но есть у него и другая, которую можно считать главной: показать и рассказать читателю на примере тмутараканской находки, что такое вспомогательные дисциплины — палеография и эпиграфика. Казалось бы, задача не из самых развлекательных, тем не менее книга читается с захватывающим интересом.

Книга занимается проблемой фальсификации, она показывает парадоксальную прогрессивность этого чисто отрицательного явления: защищаясь от подделок, наука вынуждена была развивать и совершенствовать методы исследования. Эту не лишнюю забавности борьбу науки с фальсификацией автор проследивает на примере знаменитых подделок — Джеймса Макферсона, который открыл никогда не жившего древнешотландского поэта Оссиана; несчастного Томаса Чаттертона, отдавшего свой талант никогда не бывшему на свете поэту Роулею; тут и песни западных славян Мериме, обманувшие Пушкина, и многие предметы изобразительного искусства и художественного ремесла — поддельные королевские короны, саркофаги и статуэтки. Любопытно, что сама фальсификация становится подчас искусством, отчего проблема сильно усложняется.

А. Монгайт вводит читателя в лабораторию ученого. Он тщательно собирает все, что говорит и в пользу подлинности камня, и против нее, привлекает материал эпиграфики, археологии, использует жития и летописи. Весы, на которых взвешиваются доводы, клонятся то в ту, то в другую сторону. «Обвинительное заключение» отклонено за недоказанностью. Но и все же в конечном счете автор оставляет решение вопроса дальнейшему развитию исторической науки. А главная задача, поставленная автором в его книге, тем временем выполнена: он показал, «как сложно познание истины» и «как увлекателен любой раздел исторической науки, даже если она называется вспомогательной исторической дисциплиной».

Св. Новиков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О союзе рабочего класса и крестьянства. 280 стр. Цена 50 к.

Героини. Очерки о женщинах — Героях Советского Союза. В двух выпусках. Выпуск 1. 447 стр. Цена 96 к. Выпуск 2. 463 стр. Цена 98 к.

Г. Кржижановский. Мыслитель и революционер. 40 стр. Цена 5 к.

Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. Москва, 5—17 июня 1969 г. 352 стр. Цена 59 к.

Справочник пропагандиста-международника. 270 стр. Цена 47 к.

«МЫСЛЬ»

В. Афанасьев. Об интенсификации развития социалистического общества (Проблемы взаимодействия науки, техники и управления). 149 стр. Цена 45 к.

Е. Журбина. Теория и практика художественно-публицистических жанров. Очерк. Фельетон. 389 стр. Цена 1 р. 47 к.

Научно-техническая революция и общественный прогресс. Сборник. 397 стр. Цена 1 р. 42 к.

Планирование и хозяйственная реформа. Сборник. 166 стр. Цена 53 к.

В. Подмарков. Социальные проблемы организации труда. 214 стр. Цена 79 к.

Развитие экономического сотрудничества социалистических стран. Сборник. 183 стр. Цена 58 к.

Ф. Талывин. Секреты природы. 191 стр. Цена 57 к.

«ЭКОНОМИКА»

С. Демидов, П. Васильев. Методологические основы планирования сельского хозяйства. 407 стр. Цена 1 р. 71 к.

Н. Иванов. Народнохозяйственные пропорции, фактор времени, темпы (Вопросы экономики капитальных вложений). 182 стр. Цена 86 к.

П. Ивасенко. Совершенствование коллективной оплаты труда рабочих. 120 стр. Цена 38 к.

Е. Юферева. Ленинское учение о госкапитализме в переходный период к социализму. 223 стр. Цена 1 р. 6 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Атаджанов. Искры мигают звездами. Стихи. Перевод с туркменского. 63 стр. Цена 23 к.

В. Беспалый. Гомон степей. Роман. Перевод с украинского И. Карабутенко 279 стр. Цена 57 к.

А. Дейч. День нынешний и день минувший. Литературные впечатления и встречи. 311 стр. Цена 35 к.

Р. Ивнев. Память и время. Стихи (1965—1967 гг.). 151 стр. Цена 36 к.

В. Казанский. Утренник. Стихи. 111 стр. Цена 29 к.

В. Казанцев. Дочь. Стихи. 104 стр. Цена 26 к.

А. Кушнер. Приметы. Третья книга стихов. 112 стр. Цена 28 к.

И. Науменко. Ветер в соснах. Перевод с белорусского М. Горбачева. 344 стр. Цена 60 к.

Ю. Смирнов. Обруч. Книга стихотворений. 68 стр. Цена 20 к.

А. Тарковский. Вестник. 291 стр. Цена 78 к.

В. Финк. Иностраный легион. Судьба Анри Ламбера. Романы. 527 стр. Цена 1 р.

П. Цвижба. Сказочный поезд. Стихи и поэма. Перевод с абхазского. 100 стр. Цена 26 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Вечерний витраж. Рассказы. Перевод с польского. Вступительная статья М. Слуцкиса. 264 стр. Цена 73 к.

С. Клдншвили. Далекие зарницы. Рассказы. Перевод с грузинского. 302 стр. Цена 65 к.

Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо. Перевод с японского («Зарубежный роман XX века»). 365 стр. Цена 1 р. 11 к.

Т. Манн. Будденброки. История гибели одного семейства. Перевод с немецкого Н. Ман («Библиотека всемирной литературы»). 640 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. Панов. Боцман с «Тумана». Повесть. Колокола громкого боя. Роман. 564 стр. Цена 1 р. 26 к.

Л. Сейфуллина. Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 4. Очерки и статьи 1918—1954. 430 стр. Цена 85 к.

В. Тушнова. Лирика. 352 стр. Цена 93 к.

М. Урнов. Томас Гарди. Очерк творчества. 151 стр. Цена 39 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андроников. Рассказы литературоведа. 456 стр. Цена 2 р. 2 к.

Ван Линь. Дальние края. Повесть. Перевод с вьетнамского. 111 стр. Цена 29 к.

Р. Гамзатов. Горянка. Поэма. Перевод с аварского. 175 стр. Цена 57 к.

Лунный мальчик. Стихи современных французских поэтов. Перевел М. Кудинов. 24 стр. Цена 27 к.

С. Михалков. На родине В. И. Ленина. Стихи 31 стр. Цена 24 к.

М. Садовяну. Чудесная дубрава. Сказки. Перевод с румынского. 64 стр. Цена 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Айлисли. Люди и деревья. Повести. Перевод с азербайджанского. 208 стр. Цена 29 к.

В. Брюсов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 10 к.

И. Зиедонис. Избранная лирика. Предисловие В. Лукса. Перевод с латышского. 32 стр. Цена 11 к.

И. Козлов. Наш последний и решительный. Повесть. 334 стр. Цена 68 к.

И. Коцюбинская. Михаил Коцюбинский. Перевод с украинского («Жизнь замечательных людей»). 192 стр. Цена 62 к.

В. Кузнецов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 11 к.

М. Луконин. Лирика. 176 стр. Цена 76 к.
Л. Мартынов. Людские имена. Стихи. 160 стр. Цена 60 к.

Ю. Нагибин. Чужое сердце (Современная сказка). 350 стр. Цена 67 к.

М. Румянцева. Избранная лирика. 31 стр. Цена 12 к.

Л. Самойлов и М. Вирт. Охота за Святым Георгием. Повесть. 142 стр. Цена 16 к.

С. Сартаков. Первая встреча. 158 стр. Цена 34 к.

«НАУКА»

Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения. 430 стр. Цена 1 р. 89 к.

Китай сегодня. 336 стр. Цена 1 р. 6 к.
Р. Липец. Эпос и Древняя Русь. 302 стр. Цена 1 р. 16 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

К. Ваншенкин. Проза. 448 стр. Цена 86 к.
Ю. Грибов, А. Лазебников, О. Опарин. За строкой биографии В. И. Ленина. 144 стр. Цена 98 к.

Н. Задонский. Донские вечера. Исторические этюды. 208 стр. Цена 38 к.

Е. Ржевская. Спустя много лет. Повесть. 96 стр. Цена 19 к.

И. Удалов. Повесть о балтийских разведчиках. 160 стр. Цена 31 к.

«ИСКУССТВО»

М. Алпатов. Матисс. 105 стр. Цена 4 р. 60 к.

Ф. Дюрренматт. Комедии. Перевод с немецкого. 512 стр. Цена 1 р. 34 к.

В. Миронова. Константин Скоробогатов. 120 стр. Цена 39 к.

Театральные страницы. 1969. Составитель Б. Зингерман. 540 стр. Цена 1 р. 89 к.

Б. Федоров. Кирилло-Белозерский монастырь («Памятники древнерусского зодчества»). 103 стр. Цена 1 р. 92 к.

«ПРОГРЕСС»

Х. Искраий. Развалины крепостной стены. Роман. Перевод с испанского. 272 стр. Цена 77 к.

Д. Олдридж. Пленник чужой страны. Опасная игра. Романы. Перевод с английского. 622 стр. Цена 1 р. 94 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Ватман, В. Елизаров. Адвокат в гражданском процессе. 200 стр. Цена 62 к.

Г. Симоненко. Выплаты работникам, утратившим трудоспособность на производстве (Правовые вопросы). 168 стр. Цена 53 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Воронеж. Гравюры на дереве А. Камашникова. Предисловие Г. Троеловского. Стихи В. Гордейчева. Воронеж. «Коммуна». 45 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Гира. Бабые лето. Роман. Перевод с литовского В. Чапайтиса. Вильнюс. «Вага». 372 стр. Цена 71 к.

Г. Езерская. Живые, трепетные нити... Яснополяские этюды. Тула. Прионское книжное издательство. 46 стр. Цена 7 к.

В. Зайцев. Между львом и драконом. Дубровницкое Возрождение и эпическая поэма Гундулича «Осман». Минск. «Наука и техника». 164 стр. Цена 71 к.

А. Имерманис. Рига — Москва. Стихи. Рига. «Лиезма». 111 стр. Цена 32 к.

В. Костяков. Трилогия Уильяма Фолкнера. Под редакцией М. Бобровой. Саратов. Издательство Саратовского университета. 102 стр. Цена 18 к.

Ш. Курбанов. Этапы развития азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке. Баку. «Азернешр». 310 стр. Цена 78 к.

Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Саратов. Приволжское книжное издательство. 347 стр. Цена 1 р. 64 к.

А. Русакова. Томас Манн в поисках нового гуманизма. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 159 стр. Цена 64 к.

В. Соснора. Всадники. Стихи. Предисловие Д. Лихачева. Ленинград. Лениздат. 111 стр. Цена 46 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес. Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/VII 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 29/IX 1969 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10813. Зак. 2646. Тираж 127.200 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636